

ЭНТОНИ Гидденс

Устройство

общества

Очерк теории структуриации



Академический Проект

Москва

2005

УДК 316.3/.4
ББК 60.5
Г46

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «КУЛЬТУРА РОССИИ»
(ПОДПРОГРАММА «ПОДДЕРЖКА ПОЛИГРАФИИ
И КНИГОИЗДАНИЯ РОССИИ»)

Гидденс Э.

Г46 Устроение общества: Очерк теории структуризации.— 2-е изд.— М.: Академический Проект, 2005.— 528 с.— («Концепции»).

ISBN 5-8291-0629-9

Книга одного из наиболее читаемых и цитируемых социальных теоретиков современности является (в том числе и по мнению самого Э. Гидденса) наиболее удачной его попыткой изложить оригинальную авторскую социологическую теорию — теорию структуризации, на основании которой автор перерабатывает основные положения социологического анализа. Цель настоящей работы — проанализировать сущность взаимосвязей современного общества, а также обеспечить концептуальную основу их осмысления.

Для социологов-профессионалов, студентов социологических факультетов, а также для всех интересующихся проблемами развития и становления современного общества.

УДК 316.3/.4
ББК 60.5

ISBN 5-8291-0629-9

© Гидденс Э., 1984
© Тюрина И., перевод, 2003
© Академический Проект,
оригинал-макет, оформление,
2005

Предисловие

На протяжении ряда лет я пытался создать в своих работах подход к общественным наукам, который значительным образом отличался бы от существующих традиций социальной мысли. Издание, предлагаемое Вашему вниманию, — итог предыдущих трудов: в нем мои представления излагаются, как мне кажется, в достаточно четкой, вразумительной и логически последовательной форме. Маловыразительный термин «подход» к социальной науке на самом деле исключительно точно передает смысл того, что я считаю методологическим подтекстом теории структуризации. В общественных науках (и это вызвано причинами, детально рассматриваемыми нами далее) концептуально-понятийные схемы, регулирующие и придающие смысл процессам проникновения в социальную жизнь, по большей части отвечают на вопросы, что такое теория и зачем она нужна. Я вовсе не хочу сказать, что освещение, понимание и объяснение реальных причин и фундаментальных свойств человеческого поведения лежат за рамками целевого назначения социальной теории. Я полагаю, что задача установления и обоснования всеобъемлющих правил и принципов — специально не говорю «законов» — является только одним из ее аспектов или приоритетов. Проблема конструирования логически взаимосвязанных и серьезно обоснованных наборов обобщенных правил, которая, возможно, представляет собой центральное устремление большинства естественно-научных дисциплин, не является основной целью социальных наук. По меньшей мере, я так считаю.

Многие люди любезно согласились просмотреть и дать некоторые комментарии к первым вариантам моей книги и, таким образом, непосредственно способствовали ее появлению в том виде, в котором она предстает перед Вами. В частности, мне хотелось бы выразить особую благодарность: Mrs. D.M. Barry, John Forrester, Diego Gambetta, Helen Gibson, Derek Gregory, David Held, Sam Hollick, Geoffrey Ingham, Robert K. Merton, Mark Poster, W.G. Runciman, Quentin Skinner, John B. Thompson and Jonathan Zeitlin.

Январь, 1984. Э.Г.

Сокращения

- CCHM — A Contemporary Critique of Historical Materialism («Современная критика исторического материализма»), том 1 (London: Macmillan/ Berkeley: University of California Press, 1981).
- CPST — Central Problems in Social Theory («Основные проблемы социальной теории») (London: Macmillan/ Berkeley: University of California Press, 1979).
- CSAS — The Class Structure of the Advanced Societies («Классовая структура современных обществ»), издание переработанное и дополненное (London: Hutchinson/ New York: Harper & Row, 1981).
- NRSM — New Rules of Sociological Method («Новые правила социологического метода») (London: Hutchinson/ New York: Basic Books, 1976).
- PCST — Profiles and Critiques in Social Theory («Очерки и критика социальной теории») (London: Macmillan/ Berkeley: University of California Press, 1982).
- SSPT — Studies in Social and Political Theory («Исследования в социальных и политических науках») (London: Hutchinson/ New York: Basic Books, 1977).

Введение

Основанием для написания настоящей книги является ряд важных открытий и разработок, которые имели место в общественных науках в течение последнего полутора десятка лет. Эти открытия концентрировались главным образом в области социальной теории, и в максимальной степени затронули самую опасную, дерзкую и провокационную из общественных наук — социологию. Последняя спорна по самой природе своей. Вместе с тем в течение длительного периода времени после Второй мировой войны в мире, особенно в англо-говорящей части его, наблюдалось относительное согласие в вопросах, касающихся происхождения, характера и задач как собственно социологии, так и всей совокупности социальных наук в целом. Можно сказать, что существовала некая срединная позиция, разделяемая во всем остальном противоречивыми и соперничающими друг с другом точками зрения, — территория, на которой интеллектуальные баталии могли быть доведены до своего логического разрешения. На этом этапе социология представляла собой фундаментальную развивающуюся науку; дисциплину, постепенно приобретающую славу и доброе имя, даже несмотря на то, что для многих она все еще, несомненно, оставалась непопулярной. На международный уровень она вышла благодаря американской социологической мысли, и влияние Т. Парсонса (Parsons) на развитие социальной теории отмечалось не раз [1]*. Авторитет и признание, которое получили взгляды этого ученого, чрезмерно ретроспектив-

* См. комментарии с. 35–37.

но — многие находили его пристрастие к абстракциям и нечленораздельности непривлекательными, а сам Парсонс нередко подвергался критике и становился мишенью клеветников и очернителей. Тем не менее работа «Структура социального действия», впервые опубликованная в конце 30-х гг., но получившая широкую известность только в послевоенный период, по многим показателям являлась фундаментальным, с точки зрения формирования современной социологии как науки, трудом. В ней Парсонс установил и изложил систематизированную генеалогию социальной теории, основанную на интерпретации европейской научной мысли XIX — начала XX веков. По традиции к разряду крупнейших и наиболее важных социологических трудов причислялись работы Дюркгейма (Durkheim), Макса Вебера (Weber) и Парето (Pareto), Марксу же (Marx) отводилась весьма незначительная роль. По общему мнению, произведения, написанные представителями поколений 1890—1920 гг., выходили за рамки марксистской теории, внимательно анализируя полезный и ценный материал и избавляясь от рутины.

В книге был представлен четко выраженный подход к социальной теории, в основе которого лежала комбинация переработанного и усовершенствованного варианта функционализма и натуралистической концепции социологии. В последующих работах Парсонс детально доработал свои идеи и придал им законченный вид, особо подчеркнув, что хотя человеческая деятельность весьма специфична и имеет особые, присущие только ей черты, социальная наука во многом разделяет и следует тем же логическим принципам, что и естественно-научные дисциплины. Творя и работая в контексте американских условий, Парсонс пытался продемонстрировать, что происхождение его взглядов тесно связано с европейской социальной традицией, и это фактически привело к еще большему усилению доминирующих позиций американской социологии. Дюркгейм, Вебер и Парето рассматривались как предвестники создания «концептуальной системы деятельности», получившей свое полноценное выражение в трудах Парсонса и его коллег. Вполне вероятно, что фундаментальные теоретические корни социологии как науки следует искать в Европе, однако дальнейшее развитие этой дисциплины во многом осуществлялось по дру-

гую сторону Атлантического океана. Любопытно, что подобный результат был достигнут за счет последующего признания значимости научного вклада американских ученых в развитие социологической теории; позже Парсонс признал, что в «Структуре социального действия» Дж. Миду (Mead) явно уделено недостаточно внимания. Однако и по сей день, мы сталкиваемся с американскими учебниками по социальной (или «социологической») теории, которые начинаются с изложения идей европейских классиков, но затем создают впечатление, что развитие общественных дисциплин в Европе впоследствии прекращается, а весь дальнейший прогресс в этой области является исключительной заслугой американцев.

Но даже в условиях ограничений полемики, проистекающих из работ Парсонса, очевидно, что целый ряд ведущих разработок и открытий в области социальных наук принадлежит европейцам. В течение длительного периода времени марксизм оказывал значительно большее влияние на европейские, нежели американские интеллектуальные традиции, и некоторые наиболее последовательные критики взглядов Парсонса черпали вдохновение в трудах Маркса, равно как и Вебера, которого они толковали в абсолютно другой, чем Парсонс, манере. Дарендорф (Dahrendorf), Локвуд (Lockwood), Рекс (Rex) и другие авторы, разделяющие аналогичную точку зрения, рассматривали теоретическое наследие Парсонса гораздо серьезнее и глубже, чем делали это его американские, радикально настроенные критики (Миллз (Mills) и позже Гоулднер (Gouldner)). Первые однозначно признавали важность теоретических рассуждений и взглядов Парсонса, однако считали их односторонними вследствие пренебрежительного отношения к таким явлениям, как деление общества на классы, конфликт и власть — первичным в теории марксизма. Не будучи марксистами, они, тем не менее рассматривали возможность своеобразного синтеза идей Парсонса и Маркса. Несмотря на то, что обсуждаемый нами период времени характеризовался серьезным пересмотром марксистской теории — речь, в частности, идет о возрождении интереса к «молодому Марксу», попытках слияния марксизма и феноменологии, а впоследствии — соединения марксизма и структурализма, — все это было не слишком известно тем, кто называл себя «социоло-

гами», даже в Европе. Те же, кто считал себя социологами и марксистами одновременно, были склонны разделять базовые положения функционализма и натурализма, что, несомненно, является одной из причин, объясняющей нахождение дискутирующими сторонами общих интересов.

Раскол интересов обнаружился совершенно случайно в конце 60-х — начале 70-х гг. и постепенно приобрел угрожающий характер. Нет сомнений, что корни его следовало искать не только в научной, но и в политической сфере. Но каково бы ни было происхождение этого раскола, последствием его стало исчезновение любого подобия консенсуса, существующего ранее в вопросах подхода к социальной теории. На месте выработанного общими усилиями мнения возникло огромное и, как следствие, приводящее в замешательство множество конкурирующих друг с другом теоретических концепций, не обладающих в полной мере теми преимуществами, которые были характерны для «ортодоксального консенсуса» (достигнутого социологией в предкризисную эпоху натиска парсонсианства на основе «альянса» натурализма и функционализма — *Перев.*). Вскоре обнаружилось, что согласие по вопросам, связанным с сущностью социальной теории, фактически отсутствует; во всяком случае его гораздо меньше, чем можно было предположить. Некоторые научные подходы, такие, например, как символический интеракционизм, получили значительную поддержку, отказавшись атаковать оплот традиционного единодушия. Другие школы, развивавшиеся по большей части вдали от основной социально-научной магистрали (феноменология и франкфуртская школа), впервые привлекли к себе серьезное внимание. Ряд, казалось бы, давно забытых и практически отмирающих традиций получили новый толчок к развитию. Несмотря на тот факт, что Вебер, несомненно, находился под влиянием герменевтики и даже включил ее основное понятие «*verstehen*» («искусство истолкования и понимания») в свою концепцию, большинство из тех, кто связан с социологией, не считает ее частью собственного лексикона. Вместе с тем, отчасти благодаря союзу с феноменологией, традиции понимающей («интерпретативной») социологии снова вышли на передний план. В конце концов и другие научные направления (например, философия обыденного языка) были так или иначе усвоены социальной теорией.

Все вышесказанное привело к тому, что центр тяжести в отношении новаторских вкладов в развитие социальной теории вновь переместился в Европу. Было очевидно, что огромное количество наиболее интересных теоретических разработок проводилось именно здесь — по преимуществу это были работы, написанные не на английском языке. Европейская традиция социальной мысли была и остается не только живой, но и крайне энергичной. Каковы же результаты ее деятельности? Ибо утрата точки опоры — существовавшего ранее консенсуса, — судя по всему, оставила социальную теорию в состоянии безнадежного смятения и замешательства. Вопреки гомону конкурирующих друг с другом теоретических направлений, в существующей неразберихе и путанице возможно выделить ряд достаточно общих проблем. Одна из них состоит в том, что большинство рассматриваемых научных направлений — с заметным исключением в виде структурализма и «пост-структурализма» — придает особое значение живому, деятельному, активному и рефлексивному характеру человеческого поведения. Иначе говоря, они были едины в своем неприятии стремления ортодоксальной доктрины рассматривать человеческое поведение как результат действия неких внешних сил, которые акторы не способны ни осмыслить, ни подчинить себе. Вдобавок (и это касается и структурализма, и «пост-структурализма»), главную роль в деле разъяснения социальной жизни эти направления отводят языку и познавательным способностям. Словоупотребление встроено в определенные виды деятельности, характерные для нашей повседневной жизни, и в некотором смысле отчасти образуется благодаря им. Наконец, полагают, что снижение значимости эмпирических доктрин естественных наук имеет серьезные последствия и для социальных научных дисциплин. Речь идет не только о том, что социальные и естественные науки скорее все больше отдаляются, чем поддерживают и пропагандируют традиционное согласие. Сегодня мы являемся свидетелями того, что естественнонаучная доктрина вынуждена принимать в расчет те же самые явления, которые попадают в поле непосредственного зрения новых направлений социальной теории — в частности, язык (словоупотребление), а также толкование смыслового значения.

Теория структуризации в том виде, в котором она представлена мною в этой книге, рассматривает три вышеупомянутых базисных набора проблем, а также взаимосвязь, существующую между ними. «Структуризация» — в лучшем случае непривлекательный термин, даже несмотря на тот факт, что в оригинальном французском контексте он выглядит менее грубым и тривиальным. И все же я не могу подыскать более подходящего слова для выражения своих взглядов. Разрабатывая основы теории структуризации, я не намерен создать нечто грандиозное, способное заменить общепринятую традицию. Однако моя теория чувствительна в отношении недостатков не раз упомянутого нами ортодоксального консенсуса, а также поддерживает идею движения в направлении органичного теоретического синтеза.

Для того чтобы отринуть любые сомнения в отношении применяемой нами терминологии, мы хотели бы особо подчеркнуть, что используем термин «социальная теория» для обозначения проблем, волнующих все общественные науки. Круг этих проблем весьма широк. Речь идет о природе и характере человеческой деятельности и действующей «самости»; о том, как следует определить понятие взаимодействия и как оно относится к институциональным образованиям; а также об определении прикладного подтекста социального анализа. Я осознаю, что «социология» не является «родовой» дисциплиной, занимающейся изучением человеческих общностей в целом; скорее, она представляет собой отрасль социальной науки, которая концентрирует свое исследовательское внимание на «передовых» или современных обществах. Подобная научная характеристика подразумевает рациональное разделение труда и ничего более. Несмотря на то что индустриальный мир живет в соответствии со своими сугубо специфическими правилами и понятиями, не существует каких-либо способов, с помощью которых нечто, называемое «социологической теорией», можно было бы четко отграничить от более общих интересов и представлений социальной теории. Иными словами, в общем виде «социологическую теорию» можно рассматривать как отрасль социальной теории, не обладающую, однако, ярко выраженной индивидуальностью. Эта книга написана с несомненным соци-

логическим уклоном в том смысле, что я стремлюсь сосредоточиться главным образом на проблемах, близких современным обществам. Однако, будучи своего рода введением в теорию структуриации, моя работа в немалой степени нацелена на определение задач социальной теории в целом, а потому может рассматриваться в известном смысле как «теория». Кроме того, подчеркну, что основное внимание будет уделено осмыслению человеческой деятельности и социальных институтов.

«Социальная теория» — довольно размытый термин, хотя он и чрезвычайно полезен нам. С моей точки зрения, «социальная теория» подразумевает анализ широко распространенных философских проблем, но не является философией в полном смысле этого слова. В отрыве от философии общественные науки практически утрачивают всякий смысл. Заявляя, что специалисты в области общественных наук должны быть в курсе философских проблем, мы вовсе не делаем уступок тем, кто считает, что социальная наука является по существу скорее созерцательно-теоретической (умозрительной), нежели прикладной. Задача социологической теории заключается в объяснении основных свойств человеческого поведения и субъекта деятельности и может быть отнесена к разряду эмпирических. При этом она, как и все общественные науки в целом, уделяет основное внимание освещению конкретных, реально происходящих в социальной жизни процессов. Утверждать, что философские споры способны внести какой-либо вклад в этом вопросе, отнюдь не значит предполагать, что непременным условием начала мало-мальски стоящего исследования в социальной области является окончательное их разрешение. Напротив, проведение социологического исследования может пролить свет на философские разногласия, и наоборот. В частности, я считаю неверным сводить социологическую теорию к в высшей степени отвлеченным и абстрактным вопросам эпистемологии, так, будто все более или менее значимые открытия в области социологии обязательно предполагают четкое разъяснение последних.

Сделаем несколько замечаний, касающихся собственно социологической теории. Общественные науки традиционно приписывают понятию «теория» несколько значений, от которых я хочу сразу же и решительно отмежеваться. Одно

представление — особо популярное среди тех, кто ассоциируется с ортодоксальным консенсусом, хотя и не столь распространенное в наши дни — состоит в том, что теорией может быть названо лишь образование, представленное в виде логически выстроенной последовательности дедуктивно взаимосвязанных законов или обобщений. Нет сомнений, что подобная точка зрения возникла под влиянием определенных направлений логически-эмпирической естественно-научной философии. Но даже в рамках естественных наук это представление получило крайне ограниченное применение. Если оно вообще может быть хоть как-то подтверждено, то только относительно конкретных областей этих наук. Любой, кто постарается использовать подобное представление в контексте социологии, вынужден будет признать отсутствие (на данный момент) теории как таковой; ее построение является делом далекого будущего, целью, за достижение которой надо бороться, а отнюдь не актуальной задачей повседневности современных общественных наук.

Несмотря на то что эта точка зрения имеет своих приверженцев и сегодня, она страшно далека от того, к чему, с моей точки зрения, может или должна стремиться социологическая теория — по причинам, которые станут очевидными в ходе последующего изложения. Однако рассмотренное нами представление имеет более слабый вариант, располагающий многочисленными сторонниками и требующий на этом этапе детального и глубокого рассмотрения. Речь идет о концепции, согласно которой содержательная социологическая теория должна преимущественно представлять собой совокупность разного рода обобщений — в противном случае, она не способна будет выполнять объяснительную функцию. В соответствии с этой точкой зрения, под определение «социологической теории» подпадает скорее большинство концептуальных схем, нежели (как и должно быть на самом деле) обобщенные «поясняющие суждения».

Здесь следует выделить две основные проблемы. Первая касается характера объяснений или толкований, свойственных общественным наукам. Будем считать доказанным, что толкование зависит от контекста и представляет собой прояснение имеющихся вопросов. Теперь *предположим*, что единственными вопросами, стоящими внимания обществен-

ных наук, являются вопросы весьма обобщенного характера, на которые, следовательно, можно ответить, только апеллируя к отвлеченным понятиям и общим правилам. Однако такому предположению вряд ли стоит доверять, поскольку оно никоим образом не способствует прояснению сущности большинства тех вещей, которые предпринимают в этом отношении специалисты в области общественных наук (да и те, кто занят естественно-научными исследованиями). Большая часть вопросов «почему?» вовсе не требует для ответов каких-либо обобщений; аналогичным образом ответы не предполагают наличия обобщений, способных подкреплять их. Подобные замечания обычны для философской литературы, и я постараюсь продолжить их дальше. Гораздо более спорным является второе отстаиваемое и развиваемое мною утверждение о том, что обнаружение общих правил не есть наиважнейшая задача социологии. Если сторонники подхода, рассматривающего «теорию как объяснительное обобщение», слишком ограничили сущность «объяснения», они сгладили свою ошибку, не сумев достаточно тщательно исследовать, что представляет и должно представлять собой обобщение, рассматриваемое в контексте социальной науки.

Общие правила (или обобщения) тяготеют с теми или иными нюансами к одному из двух полюсов. Некоторые сохраняются благодаря тому, что сами акторы так или иначе знакомы с ними и используют их в качестве основы собственной деятельности. На самом деле социолог не занимается «обнаружением» подобных обобщений, хотя и может придать им новую логическую форму. Общие правила другого рода имеют отношение к условиям (или их определенным аспектам), которые, будучи неизвестны субъектам деятельности, активно влияют на них, независимо от того, что думают по этому поводу сами субъекты. Те, кого я буду называть «структурными социологами», интересуются, как правило, обобщениями второго рода — фактически речь идет о том, что имеют в виду, когда заявляют, что социологическая теория должна представлять собой «общераспространенные объяснительные правила». Однако первое также существенно для социологии, как и второе, а любая форма обобщения изменчива по отношению к другой. Условия, в которых были сделаны выводы относительно того, что с

субъектами «происходит», меняются коренным образом, если речь заходит о том, что «может произойти», исходя из имеющегося у субъектов опыта. Из всего вышесказанного можно сделать (логически открытый) вывод о том, что общественные науки способны оказывать трансформирующее воздействие на «предмет своего обсуждения». Однако из этого следует также, что открытие «законов» — то есть обобщений второго типа — является не единственной, а одной из многих точек преткновения, одинаково значимых для теоретического содержания социологии. Основу их составляет обеспечение концептуально-когнитивных средств или способов анализа того, что люди знают об истинных причинах собственных действий, в частности, в тех случаях, когда они или не отдают себе отчет (дискурсивно) в том, что знают их, или просто не осведомлены в этом вопросе. Сущность такого рода задач следует искать в области герменевтики, но вместе с тем они являются неотъемлемой и важной частью социальной теории. «Теория», так, как ее следует понимать в контексте социологии, не заключается только, или даже исключительно в формулировке общих правил (второго типа). Кроме того, к разряду понятий «социологической теории» относятся не только те представления, которые подходят или «встраиваются» в структуру подобных обобщений. Совсем наоборот, эти понятия должны быть неизбежно взаимосвязаны с другими, относящимися к познавательным способностям субъектов.

Большинство ныне существующих противоречий и споров, вызванных к жизни так называемым «лингвистическим поворотом», имевшим место в социальной теории, а также появлением пост-эмпирических научных доктрин, носят ярко выраженный понятийный характер. Иными словами, они касались вопросов релятивизма, рассматривали проблемы верификации и фальсификации и т. п. Преобладающий упор на вопросы концептуального характера стал причиной фактического игнорирования «онтологических» аспектов, столь милых сердцу структурной теории. Вместо того чтобы погружаться в различного рода концептуальные споры и искать ответ на вопрос, возможно ли в принципе изложить эпистемологию в том смысле, в котором она трактовалась веками, обществоведы должны, на мой взгляд, заняться в первую очередь до- и переработкой понятий «челове-

ческое существо», «человеческая деятельность», «социальное воспроизводство» и «социальные изменения». Исключительно важен в этом отношении глубоко укоренившийся в недрах социальной теории дуализм — противоречие между объективизмом и субъективизмом. Наряду с натурализмом и функционализмом объективизм являл собой третий «-изм», свойственный ортодоксальному консенсусу. Несмотря на заявленную Парсонсом «концепцию социального действия», нет никаких сомнений в том, что в его теоретической схеме объект (общество) преобладает над субъектом (разумным человеческим существом). Другие ученые, чьи взгляды единодушны с подобной точкой зрения, гораздо менее искушены в этом отношении, нежели Парсонс. Критикуя объективизм — и структурную социологию, — те, кто находился под влиянием герменевтики или феноменологии, способны были обнаружить и разоблачить основные недостатки этих взглядов. Однако они в свою очередь четко ориентировались на субъективизм. Концептуальный водораздел между субъектом и социальным объектом расширился, таким образом, до огромных размеров.

Теория структуризации исходит из предположения о том, что этот дуализм следует переосмыслить с позиции двойственности структуры. Несмотря на то что подобная трактовка признает значимость «лингвистического поворота», она тем не менее не является вариантом герменевтики или понимающей социологии. Признавая, что общество нельзя рассматривать как результат деятельности или порождение индивидуальных субъектов, этот взгляд далек от идей структурной социологии. Вместе с тем попытка сформулировать связное, логически последовательное представление о человеческой деятельности и потребностях структуры является существенным концептуальным достижением, заслуживающим, на наш взгляд, особого внимания. Описание этих идей приводится в первой главе и развивается на протяжении всей работы. Проблема эта связана напрямую с прочими основными темами, особенно с исследованиями пространственно-временных отношений. Структуральные свойства социальной системы существуют только благодаря непрерывному воспроизводству различных форм социального поведения во времени и пространстве. Устройство общественных институтов можно осмыслить, поняв, каким

образом различные социальные деятельности «растягиваются» в широком пространственно-временном диапазоне. Обращение к понятиям времени и пространства как ключевым для социальной теории снова возвращает нас к размышлениям относительно дисциплинарных барьеров, отделяющих социологию от истории и географии. Особенно много проблем возникает при анализе истории. Настоящее издание вполне может быть расценено как запоздавшая критика знаменитого и часто цитируемого высказывания Маркса, который утверждает, что «люди [позвольте незамедлительно сказать «человеческие существа»] сами делают свою историю, но ... при обстоятельствах, которые не сами они выбрали...»*. Пусть так. Но какое разнообразное множество сложнейших проблем социального анализа выявляет это, казалось бы, безобидное утверждение!

Формулируя теорию структуризации, мы целенаправленно обращаемся к идеям, заимствованным из совершенно различных источников. Некоторым подобная тактика может показаться сродни недопустимой эклектике, однако мы ни разу не смогли убедиться в правомочности подобных возражений. Несомненно, что работать в рамках устоявшихся научных традиций чрезвычайно удобно — тем более в условиях существования огромного разнообразия подходов, которые сегодня противостоят любому, вышедшему в своих рассуждениях за рамки единой традиции. Однако приверженность общепринятым точкам зрения может быть все-

* Эта фраза обнаруживается во вступительных параграфах работы «Восемнадцатое Брюмера Луи Бонапарта». Она написана в полемическом стиле; по мнению Маркса, те, кто не сведущ в вопросах истории, обречен на ее повторение, возможно даже в виде фарса. Цитата, в том виде, в котором она существует в оригинале, приводится ниже: «Люди сами делают свою историю, но они делают ее не так, как им вздумается, при обстоятельствах, которые не сами они выбрали, а которые непосредственно имеются налицо, даны им и перешли от прошлого. Традиции всех мертвых поколений тяготеют, как кошмар, над умами живых. И как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее и создают нечто еще небывалое, как раз в такие эпохи революционных кризисов они боязливо прибегают к заклинаниям, вызывая к себе на помощь духов прошлого, заимствуют у них имена, боевые лозунги, костюмы, чтобы в этом освященном древностью наряде, на этом заимствованном языке разыгрывать новую сцену всемирной истории» (цит. по: Маркс К., Энгельс Ф. Избранные произведения: В 3 т. Т. 1. М.: Изд-во политической литературы, 1980. С. 422.)

го лишь ширмой праздного ума. Если идеи ценны и поучительны, что в большей степени, чем происхождение, способствует их усилению во имя демонстрации полезности и пригодности, даже в рамках концептуальных основ, отличных от тех, которые их породили. Так, например, мы согласны с требованием «децентрализации» субъекта (лишения его центрального положения) и рассматриваем подобное смещение акцентов как фундаментальное с точки зрения теории структуризации. Однако мы не согласны с тем, что это подразумевает растворение субъективности в бессодержательном универсуме знаков. Скорее социальные практики, разворачивающиеся в рамках времени и пространства, считаются источником и основой образования и субъекта, и социального объекта. Признавая значимость «лингвистического поворота», представленного главным образом в традициях герменевтической феноменологии и философии обыденного языка, мы тем не менее считаем, что это понятие отчасти вводит нас в заблуждение. Наиболее существенные открытия в области социальной теории не слишком касаются обращения к языку как изменения взгляда на взаимоотношения между сказанным (или обозначенным) и сделанным, предлагая новое понятие *практики*. Коренное преобразование герменевтики и феноменологии, начало которому было положено Хайдеггером (Heidegger), с последующими нововведениями, предложенными Виттгенштейном (Wittgenstein), — основные сигнальные вехи нового пути. Но дальнейшее продвижение по этому пути требует отказа от искушения стать полноправным последователем этих мыслителей.

Позвольте нам вкратце остановиться на структуре предлагаемой Вашему вниманию работы. Остановившись в первой главе на основных понятиях теории структуризации, во второй мы приступаем к рассмотрению вопросов, относящихся к самой сути настоящего издания, начиная с обсуждения сознания (или сознательного), бессознательного и устройства повседневной жизни. Субъекты деятельности или акторы — я использую эти термины как взаимозаменяемые — обладают способностью понимать, что они делают, в то время как они это делают, и это является неотъемлемой характеристикой их деятельности. Способность к рефлексии, свойственная людям как субъек-

там деятельности, как правило, постоянно вовлечена в поток повседневного поведения, демонстрируемого в контексте социальной активности. Вместе с тем механизм рефлексии функционирует на дискурсивном уровне лишь отчасти. Значительная часть того, что субъекты знают о своей деятельности и ее причинах — иными словами, их информированность и компетентность, — поддерживается на уровне практического сознания. Последнее состоит из неявно выраженных представлений акторов о том, как следует «вести себя» в различных условиях социального окружения, которые не поддаются прямой логической операционализации. Значимость практического сознания — основная тема нашей работы, на протяжении которой мы пытаемся отделить этот тип сознания от разума (дискурсивного сознания или рассуждений, совершаемых путем логических умозаключений) и бессознательного. Признавая важность бессознательных аспектов познания и мотивации, мы не считаем возможным довольствоваться укоренившимися, общераспространенными представлениями о них. Я заимствую модифицированный вариант психологической концепции «Эго», но стараюсь связать его с тем, что, как я полагаю, является основным понятием теории структуризации — с однообразием, рутинной или монотонностью.

Общепринятая практика или рутина (все, что делается по привычке) является основным элементом повседневной социальной деятельности. Мы используем выражение «повседневная социальная деятельность» в буквальном смысле этого слова, сознательно уходя от более сложного и, на мой взгляд, двусмысленного значения, приписываемого ей феноменологией. Термин «повседневный» или «обыденный» точно отражает рутинный характер социальной жизни, продленной во времени и пространстве. Повторяемость действий, воспроизводимых в одинаковой манере день за днем, составляет материальную основу того, что я называю рекурсивным (возвратным) характером социальной жизни. (Говоря о возвратном характере, я подразумеваю, что структуральные свойства социальной деятельности постоянно восстанавливаются (благодаря двойственности структуры) из тех же ресурсных источников, которые породили их.) Однообразие жизненно важно для функционирования пси-

хологических механизмов, посредством которых в ходе повседневной деятельности удовлетворяется потребность в надежности или онтологической безопасности. Действуя преимущественно на уровне практического сознания, рутина вклинивается между потенциально взрывоопасным содержимым бессознательного и рефлексивным контролем деятельности, осуществляемым ее субъектами. Почему «эксперименты на доверие», проведенные Гарфинкелем (Garfinkel), вызвали столь сильный всплеск тревожности у тех, кто принимал в них участие, — результат, казалось бы, абсолютно несоизмеримый с тривиальными экспериментальными условиями? Потому, как мне кажется, что с виду второстепенные и несущественные правила поведения, условности и традиции повседневной социальной жизни оказываются фундаментальным каркасом социальной жизни, играют первостепенную роль в деле «укрощения» или обуздания источников подсознательной напряженности, которые в противном случае полностью поработили бы нас.

Ситуативный характер деятельности, разворачивающейся во времени и пространстве, однообразие действий и монотонность повседневной жизни — явления, связывающие исследования в области бессознательного и анализ феномена «соприсутствия» (повседневного взаимодействия «лицом к лицу», обыденного взаимодействия между людьми, находящимися в непосредственном физическом присутствии друг друга. — *Пер.*) — проводимый И. Гофманом (Goffman). Несмотря на очевидную неординарность, работы Гофмана обычно считаются легковесными с точки зрения теоретического содержания. На мой взгляд, подобное положение вещей можно объяснить двумя обстоятельствами: тем, что зачастую Гофмана воспринимают прежде всего как своего рода *выдумщица* от социологии — эквивалент сплетника, чьи наблюдения принимаются во внимание и приятно возбуждают, но тем не менее считаются поверхностными и по большому счету ерундовыми; или же тем, что основной акцент в его исследованиях сделан на особенностях социальной жизни современного общества, в котором господствует средний класс — ничинного сообщества безнравственных носителей ролей. Во всем вышесказанном определенно есть некий смысл, и в известной степени Гофман действительно уязвим с этих точек зрения, поскольку воздерживается от каких-либо методи-

ческих выводов, вытекающих из его изысканий. В тех случаях, когда он все же решается делать выводы, он стремится связать ритуалы социальной повседневности с этологическими основами поведения высших животных и развить эту тему. Подобная тактика, несомненно, поучительна, вместе с тем ее вряд ли можно считать наилучшим способом соотнесения исследований, проводимых Гофманом, с проблемами социальной теории, ибо она не компенсирует надлежащим образом пробелы в рассуждениях автора. Одним из таких пробелов является отсутствие ссылок на мотивацию, и это приводит к тому, что работы Гофмана подвержены интерпретации второго рода, упомянутой нами выше. Я стремлюсь продемонстрировать, как анализ мотивации, рассматриваемой относительно рутинности и бессознательного, способствует обнаружению системно-методического характера исследований и работы, проводимой Гофманом. Упор на доверие и тактичность, свойственный этому автору, поразительно перекликается с темами, обсуждаемыми в рамках эго-психологии, и порождает аналитически мощное понимание рефлексивного контроля потока взаимодействий (столкновений), составляющих основу повседневной жизни.

Позиционирование или расстановка индивидов в пространстве социальных взаимодействий составляет фундамент социальной жизни. В данном контексте термин «позиционирование» выступает как многозначный. Человек позиционируется относительно других в условиях непосредственного «соприсутствия»: Гофман приводит чрезвычайно утонченные, но впечатляюще-выразительные замечания относительно мимики, жестов и рефлексивного контроля за движениями тела, которые, с его точки зрения, неотъемлемо присущи и ответственны за поддержание социального порядка и социальной солидарности. Позиционирование, однако, можно рассматривать и в контексте пространственно-временной сериальности взаимодействий. Любой индивид позиционируется одновременно относительно потока повседневности; течения собственной жизни (иными словами, продолжительности собственного существования), а также относительно протяженности «институционального времени», «сверх-индивидуальной» структуры социальных образований. В конечном счете каждый человек различным образом позиционируется в

рамках социальных взаимоотношений, порождаемых специфическими социальными идентичностями; здесь речь идет главным образом о понятии социальной роли. Способы обыденного взаимодействия между людьми, находящимися в непосредственном физическом присутствии друг друга, прямо опосредованные сенсорными свойствами тела, безусловно отличаются от социальных связей и форм социального взаимодействия с теми, кто в данный момент отсутствует в пространстве или во времени.

«Позиционируются» не только индивиды; аналогичные вещи происходят и с обстоятельствами социального взаимодействия. Один из интереснейших способов анализа деятельности во времени и пространстве был разработан шведским социальным географом Т. Хагерстрандом (Hagerstrand). Исследуя перемещения индивидов во времени и пространстве, «временная география» уделяет особое внимание ограничениям человеческой деятельности, вытекающим из физических возможностей тела (пределы, устанавливаемые физической конституцией (строением) человека. — *Пер.*) и среды взаимодействия деятелей. Обращение к такого рода исследованиям иллюстрирует пользу, которую получает социология, апеллируя к работам географов. В качестве другого примера можно привести интерпретацию урбанизма (своего рода узора городской жизни), который, с нашей точки зрения, играет в социальной теории не последнюю роль; и, конечно, еще большую значимость имеет чувствительность этого подхода в отношении пространства и месторасположения.

Немало внимания Гофман уделяет концепции регионализации взаимодействий, которая, как мы полагаем, является значимой с точки зрения социальной теории. Традиционно понятие регионализации активно использовалось в работах географов, однако мы хотим рассмотреть его как нечто большее, нежели чисто пространственная характеристика. Ситуативный характер социального взаимодействия может быть исследован относительно различных локальностей, посредством которых согласуются обыденные действия индивидов. Локальность — это не только место, в котором разворачивается то или иное взаимодействие, но и окружающая его среда; Гарфинкель убедительно продемонстрировал, что фоновые ожидания постоянно (и по боль-

шей части автоматически) используются социальными акторами для организации и поддержания осмысленного коммуникативного процесса. Однако и фоновые ожидания в известном смысле зонированы, что в большой степени влияет и оказывается под воздействием периодического характера взаимодействий. «Стабильность» и постоянство во времени и пространстве, как правило, подразумевают и социальную устойчивость; по существу «фиксированный» характер атмосферы, в которой протекает повседневная жизнь, переплетается с рутинной ежедневного существования и оказывает существенное влияние структуру воспроизводства общественных институтов. Регионализация имеет значительный психологический и социальный резонанс точки зрения «ухода» от обращения к определенным видам деятельности и типам людей и «признания» других. Здесь мы снова находим точки соприкосновения, казалось бы, несопоставимых идей — Гофмана и Фуко (Foucault); оба признают важность изменяющихся под воздействием социальных и исторических факторов границ между обособленностью и раскрытием, ограничением и проявлением.

Мы считаем ошибкой рассматривать взаимодействия в условиях непосредственного физического присутствия друг друга в качестве своеобразного фундамента, на котором основываются более масштабные, «макроструктурные» социальные свойства. Так называемые «микросоциологические» исследования изучают реальность, про которую нельзя сказать, что она более значима, чем та, что является предметом «макросоциологического» анализа. И, наоборот, взаимодействие в ситуации соприсутствия мимолетно по сравнению с прочностью и основательностью крупномасштабных и освященных временем социальных институтов. Каждая точка зрения имеет своих сторонников и защитников, однако подобное расхождение во мнениях кажется нам поверхностным и бессодержательным — немного более конкретной формой ранее упомянутого нами дуализма, свойственного социальной теории. На наш взгляд, противостояние «микро» и «макро» следует переосмыслить с позиций того, каким образом взаимодействие в условиях взаимодействия «лицом к лицу» структурно встроено в систему обширных пространственно-временных институциональных образований — другими словами, как подобные системы охватыва-

ют крупные сектора пространства-времени. А это, в свою очередь, эффективнее исследовать как проблему взаимосвязи между социальной и системной интеграцией, в том смысле, в котором эти термины понимаем мы. Однако сюда необходимо внести существенную поправку. Отношения, существующие между социальной и системной интеграцией, невозможно понять на уровне чистых абстракций; здесь необходима теория урбанизма. Ибо появление и развитие системной интеграции стало возможным только благодаря наступлению эры городов — а в наши дни урбанизму «искусственной среды».

Нам следует быть крайне аккуратными при использовании понятия «социальная система» и связанного с ним представления об «обществе». Эти термины кажутся вполне невинными и, вероятно, должны быть обязательно использованы при условии соблюдения соответствующих мер предосторожности. «Общество» имеет два полезных, с нашей точки зрения, значения, которым мы доверяем, и на которые будем ссылаться — обозначение ограниченной системы и социального объединения в целом. Упор на регионализацию напоминает нам о том, что степень «системности» социальных систем весьма изменчив, а «общества» редко имеют явно выраженные границы — по крайней мере те, которые не относятся к числу современных национальных государств. Функционализм и натурализм склонны принимать и поддерживать необоснованные определения обществ, как безусловно разграниченных образований, и социальных систем — как внутренне высоко интегрированных объединений. Подобная точка зрения имеет тенденцию к тесной взаимосвязи с биологическими концепциями, даже в тех случаях, когда мы отказываемся от прямых аналогий с органическим миром; таким образом, речь идет о внутренне целостных сущностях, очевидно «вырванных» из контекста собственного окружения. Однако «общества» зачастую бывают совсем другими. Для того чтобы учесть это, обратимся к понятиям «интерсоциетальные системы» и «пространственно-временные пределы», относящимся к различным аспектам регионализации, которые характерны для социальных систем как обществ. По ходу повествования я активно использую эти понятия для оценки различных интерпретаций социальных изменений.

Разрабатывая теорию структуризации, мы стремились избежать дуализма «объективизм-субъективизм». Однако некоторые критики убеждены, что мы недооцениваем факторы, особо подчеркнутые первым; в частности, речь идет о принудительных (ограничительных) аспектах структуральных свойств социальных систем. Чтобы продемонстрировать, что это не так, мы детально проанализируем, что подразумевает понятие «принуждение» в контексте социальной теории и каким образом истолковываются в теории структуризации различные значения, приписываемые этому термину. Признание факта существования и значимости структуральных принуждений не уменьшает, с нашей точки зрения, привлекательности структурной социологии, однако мы не поддерживаем взглядов, близких методологическому индивидуализму. В контексте теории структуризации термин «структура» означает нечто другое — отличное от обычного смысла, приписываемого этому понятию в социальных науках. Мы также введем в обращение ряд других понятий, непосредственно связанных со структурой, и попытаемся показать, почему они необходимы. Наиболее важным среди них является понятие «структурных принципов» — структуральных свойств или особенностей обществ или социетальных множеств. Кроме того, мы предпримем попытку показать, что значимость понятия противоречия или конфликта для социального анализа возможно определить, прибегнув к представлениям о структурных принципах. Эти понятия нельзя выражать в целом и полностью абстрактной форме, а потому мы рассматриваем их относительно трех основных типов обществ, существовавших на протяжении всей истории человечества: трайбализм (родоплеменной строй), классовые общества и современные государства-нации, связанные с развитием промышленного капитализма.

Упоминание истории возвращает нас к утверждению, согласно которому человеческие существа сами делают свою историю. Что именно они делают? Что понимается здесь под «историей»? Ответ на этот вопрос невозможно представить в обоснованно-неоспоримой форме истинной максимы. Несомненно, существует различие между историей как имеющими место событиями и историей как изложением этих событий. Но мы не будем заходить так далеко. История есть прежде всего временность (темпоральность), события в своей

протяженности и длительности. Мы склонны ассоциировать временность с линейной последовательностью, а потому история представляется нам как движение в видимом направлении. Однако в действительности подобный подход может представлять собой культурно-ограниченный способ размышления о времени; даже если это не так, мы все же должны остерегаться знака равенства между «историей» и общественными (или социальными) сдвигами. По этой причине следует говорить об «историчности» как определенном смысле существования в социальном мире, подверженном непрерывным изменениям, в котором изречение Маркса является частью общекультурной осведомленности, а не теоремой, представляющей собой исключительную собственность мыслителей-обществоведов. История как изложение исторических событий также ставит перед нами дилеммы и озадачивает нас своими головоломками. Следует отметить, что они не являются характерологическими, т. е. не позволяют нам провести четкую границу между историей и социологией (или социальной наукой). Проблемы герменевтического толка, связанные со скрупулезным описанием различных форм существования, толкованием текстов, объяснением деятельности, развитием институтов и социальных преобразований — все это изучается общественными науками, в том числе и историей.

Как в таком случае следует подходить к изучению социальных изменений? Мы попытаемся показать, что поиск теоретических основ социальных трансформаций (в нашем случае под «теорией» понимается объяснение социальных изменений путем обращения к единой совокупности механизмов, таких, например, как стародавние фавориты эволюционной теории — адаптация и дифференциальный отбор) обречен. Он лишается всяческих оснований вследствие логических изъянов, присущих в общем виде широко распространенному предположению, согласно которому общественные науки способны постичь универсальные законы человеческого поведения. Точка зрения, в соответствии с которой человечество само творит свою «историю», образуется представлениями о том, что есть эта история и каковы воздействия, способные изменить ее. Вместе с тем в отношении эволюционизма стоит сделать ряд критических замечаний, ибо в том или ином виде он чрезвычайно влияете-

лен в различных областях социальных наук. Применительно к последним мы будем понимать под «эволюционизмом» интерпретацию социальных изменений посредством обращения к концепциям, обладающим следующими характеристиками или особенностями: неизменная (фиксированная) последовательность стадий развития, которые проходят общества, восходя по пути эволюции (даже если мы признаем, что некоторые общества, усложняясь, могут миновать отдельные стадии); концептуальная взаимосвязь с теорией биологической эволюции; детализация направленности каждой стадии развития относительно установленного критерия или критериев, таких, например, как нарастание сложности или расширение производительных сил. Против вышперечисленных соображений можно привести целый ряд возражений, касающихся как внутренне присущих им недостатков, так и производных выводов, которые эволюционизм неминуемо стремится сделать, даже тогда, когда они абсолютно не подкреплены логически. Мы полагаем, что в соответствии с обозначенными нами критериями, «исторический материализм» является разновидностью эволюционизма, по крайней мере в одном из основных значений, приписываемых этому спорному термину. Будучи истолкован подобным образом, исторический материализм обнаруживает ряд главных и второстепенных ограничений, свойственных эволюционной теории, и должен быть отвергнут на этих же основаниях.

Полагая, что «историю» невозможно свести к каким-либо схемам, столь популярным в концепциях эволюционизма в целом и исторического материализма в частности, мы предлагаем говорить об их упразднении, нежели о восстановлении. Утверждая подобное, мы имеем в виду, что оценка социальных изменений должна принимать совершенно иные формы, чем те, которые предлагает эволюционизм; ибо в их банальной реконструкции нет никаких преимуществ. Помимо ранее введенных понятий мы будем использовать еще два — «эпизод» и «мировое время» (первое принадлежит Геллнеру (Gellner), второе — Эберхарду (Eberhard)). Вся совокупность социальной жизни может быть представлена в виде последовательности эпизодов; социальные взаимодействия, происходящие в ситуации соприсутствия, несомненно принимают эпизодическую форму. В этой связи

мы обращаемся главным образом к крупномасштабным процессам изменений, в которых наличествует определенный тип институциональных преобразований, таких, например, как образование городов в аграрных обществах или появление ранних государств. Эпизоды эти могут плодотворно сравниваться друг с другом, но не в полном отрыве от обстоятельств своего происхождения. Влияние «мирового времени» прослеживается в степени сопоставимости подобных эпизодов. Таким образом, «мировое время» описывает меняющиеся исторические состояния, способные воздействовать на условия и последствия сходных на вид эпизодов и влияние того, что субъекты эпизодов *знают* об этих условиях и последствиях. Мы попытаемся продемонстрировать аналитическую ценность этих понятий, используя в качестве примера интерпретацию зарождения первых традиционных государств.

Теория структуризации не сможет считаться полезной, если она не будет способствовать разрешению проблем эмпирических исследований. В заключительной главе мы поднимаем этот вопрос, который, с нашей точки зрения, неотделим от использования положений теории структуризации как своего рода критики. Мы не стремимся обрести некий методологический скальпель. Иными словами, мы не думаем, что логика или содержание теории структуризации могут каким-то образом воспрепятствовать применению отдельных исследовательских методов, таких как обследование, опросы и т. п. Некоторые приведенные суждения и взгляды не противоречат способам применения конкретных методов исследования и интерпретации полученных результатов, но это уже другой вопрос. Точки соприкосновения теории структуризации и эмпирических исследований лежат в области разработки логических выводов, полученных в ходе изучения «исследуемого предмета», в котором исследователь принимает непосредственное участие, и объяснения действительного содержания ключевых понятий деятельности и структуры. Ряд моментов, особо подчеркнутых нами на абстрактно-теоретическом уровне, относится и к уровню эмпирических исследований. Значительная часть социологической теории, в особенности той, что связана со структурной социологией, рассматривает социальных субъектов как гораздо менее осведомленных, сообразительных и опыт-

ных, чем они есть на самом деле. Последствия такого положения вещей, без сомнения, просматриваются в эмпирической работе, в неспособности добывать информацию, позволяющую обращаться ко всему диапазону осведомленности субъектов, по крайней мере с двух сторон. То, что действующие субъекты (или акторы) смогут сообщить относительно обстоятельств и условий своей деятельности и деятельности окружающих их людей, будет носить ограниченный характер, если исследователи не постигнут и не отдадут дань уважения возможной многозначности ряда дискурсивных явлений — тех, которым они (как, впрочем, и сами социальные акторы), безусловно, уделяют пристальное внимание, но которые зачастую недооцениваются в социологических исследованиях. Мы имеем в виду те аспекты речи, которые по форме своей не могут быть отнесены к формулировкам пропозициональных предположений, или те, что, подобно юмору и иронии, обретают свое значение не столько исходя из содержания сказанного, сколько посредством стиля, образа выражения или манеры произнесения. К этому, однако, следует добавить второй фактор, гораздо более важный: необходимость признания значимости практического сознания. Если то, что субъекты знают о своей деятельности, ограничивается их собственными высказываниями, какими бы логичными и рассудочными они ни были, мы теряем из виду обширную область знаний и опыта. Изучение практического сознания должно стать неотъемлемой частью исследовательской работы. Ошибочно предполагать, что недискурсивные компоненты сознания поддаются эмпирическому изучению труднее, чем те, которые обоснованы предшествующими рассуждениями, даже несмотря на тот факт, что субъекты по определению не способны напрямую комментировать их. С другой стороны, бессознательное порождает проблемы совершенно иного порядка, что требует поиска опросных методик, отличных от тех, которые используются в ходе описательного социологического анализа.

Функционализм стал популярным в общественных науках не только благодаря достоинствам теоретического подхода, но и вследствие обеспечения эмпирических стимулов. Начало полевых изысканий в области антропологии в той или иной степени связывается с влиянием функционализ-

ма, и в социологии функциональный подход способствовал развитию значительного числа исследований. С нашей точки зрения, крайне важно уяснить привлекательность функционализма в этом отношении, не забывая однако, что на концептуальном уровне его влияние зачастую было пагубным. Функционализм решительно подчеркивает значимость непреднамеренных последствий деятельности, особенно в связи с тем, что подобные последствия возникают регулярно, а посему включаются в процесс воспроизводства институциональных аспектов социальных систем. Сторонники этого подхода совершенно правы, расставляя акценты подобным образом. Вместе с тем мы можем исследовать непреднамеренные последствия, не прибегая к использованию функциональных понятий. Более того, удовлетворительный ответ на вопрос, что представляет собой «непреднамеренное» в контексте результатов деятельности, может быть получен опытным путем только в том случае, если определены преднамеренные (априори установленные) аспекты действия; а это снова возвращает нас к необходимости интерпретации человеческой деятельности, более утонченной, нежели та, что выдвигается сторонниками допущений функционализма.

Понятие «структура» используется в теории структуры для обозначения правил и ресурсов, рекурсивно вовлеченных в систему социального воспроизводства; институциональные особенности социальных систем обладают структуральными свойствами в том смысле, что взаимоотношения стабильны и устойчивы во времени и пространстве. На отвлеченном уровне «структура» может быть представлена в виде двух аспектов правил — нормативных элементов и кодов значимости. Ресурсы также могут быть двух видов: авторитативные ресурсы, возникшие как следствие координации человеческой деятельности, и распределяемые ресурсы — производные управленческого контроля за материальными продуктами или другими элементами материального мира. Особый интерес представляют, на наш взгляд, исследования рутинных пересечений практик — «точек превращения» в структурных взаимоотношениях, а также способов, посредством которых институциональные практики сочетают социальную и системную интеграцию. Примером первых может служить демонстрация того, каким образом

частная собственность — совокупность прав собственности — может «преобразоваться» в индустриальную власть или способы поддержания административного управления. В контексте вторых следует эмпирическим путем установить, насколько близко сходятся друг с другом ситуативные практики, исследуемые в заданном диапазоне окружающей среды, объединенные таким образом, что непосредственно включаются в процесс системного воспроизводства. Существенную роль в этих условиях играет внимание к значимости локальности (места действия) как среды взаимодействия; мы не видим причин, по которым социологи должны были бы отказаться здесь от заимствования ряда исследовательских методов, разработанных специалистами-географами, включая графические приемы «временной географии».

Если рассматривать общественные науки в том же ключе, что и в период господства ортодоксального консенсуса, их достижения вряд ли будут выглядеть впечатляющими, а практическая полезность сведется к нулю. Естественные науки, или по меньшей мере наиболее продвинутые из них, имеют в запасе четко сформулированные, общепринятые законы, а также обладают капиталом в виде неоспоримых, полученных эмпирическим путем научных результатов, которые могут быть объяснены с помощью вышеупомянутых законов. Естественно-научные дисциплины связаны с удивительными технологическими возможностями, как деструктивного, так и конструктивного характера. В глазах тех, кто стремится моделировать социальные науки по образу и подобию естественных, первые, несомненно, потерпят поражение. Может показаться, что и в познавательном, и в практическом аспектах общественные науки однозначно подчинены естественно-научным дисциплинам. Однако, если мы откажемся воспринимать социальную науку как точную копию или модель естественной и решим, что в некотором смысле она представляет собой совершенно отличную сущность, то сумеем взглянуть на их сравнительные достижения и влияние по-новому. В общественных науках нет и не будет универсальных законов — не потому, главным образом, что методы эмпирических исследований и проверки достоверности так или иначе неадекватны, а в связи с тем, что, как мы отмечали ранее, причинная обусловленность, включенная в процесс

формулировки общих законов социального поведения людей, в основе своей изменчива и нестабильна с точки зрения осведомленности (или убежденности) акторов относительно обстоятельств собственной деятельности. Так называемый эффект самоподтверждающегося пророчества, о котором так много говорил и писал Мертон (Merton) и др., представляет собой частный случай родового для общественных наук явления. Речь идет об обоюдном пояснительном взаимодействии социальной науки и тех, чьи действия составляют ее предмет — своего рода «двойной герменевтике». Теории и открытия, сделанные в рамках общественных наук, не могут находиться в полной изоляции от мира значений и действий, который они описывают. Однако и акторы могут считаться социальными теоретиками, чьи предположения лежат в основе различных видов деятельности и институциональных образований, являющихся объектом изучения профессиональных социальных наблюдателей и ученых-обществоведов. Таким образом, между грамотными социологическими суждениями неискушенных в вопросах социологии акторов и сходными с ними размышлениями социологов-профессионалов не существует очевидных различий. Мы не будем отрицать, что подобные различия *есть*, однако они весьма туманны, а посему ученые-обществоведы не обладают абсолютной монополией ни на создание новаторских теорий, ни на эмпирические исследования того, что они изучают.

Все это, возможно, считается доказанным. Тем не менее, из вышесказанного вовсе не следует, что мы должны воспринимать достижения и влияние общественных наук иным образом. Как можно серьезно рассуждать о том, что общественная наука влияет на социальный мир столь же (или более) сильно, как естественно-научная дисциплина — на мир материальный? Мы полагаем, что подобная точка зрения отчасти имеет право на существование — хотя, конечно, приведенное нами сравнение не может претендовать на какую-либо точность, ввиду огромного разнообразия составляющих в каждом конкретном случае. Суть состоит в том, что рефлексия по поводу социальных процессов — теории и результаты эмпирических исследований и наблюдений — предполагает постоянный и непрерывный процесс вхождения, выхода и повторного вхождения в универсум описываемых событий.

В мире неживой природы, безразличном к тому, что знают о нем человеческие существа, подобное явление отсутствует. Рассмотрим в качестве примера теории суверенитета, сформулированные европейскими мыслителями семнадцатого века. Эти теории представляли собой результаты размышлений и исследований общественных тенденций, которые в свою очередь также получили статус тенденций. Невозможно представить себе современное суверенное государство, которое не опиралось бы на логически связанное представление о современном суверенном государстве. Очевидное стремление государства к расширению политического «самоконтроля» — атрибут современного Запада, порождающий особый социальный и интеллектуальный климат, в условиях которого возникли, проявляются и развиваются специализированные, «профессиональные» дискурсы социальной науки. Конечно, можно привести немало примеров, утверждающих, что изменения, в которых социальная наука играет далеко не последнюю роль, носят фундаментальный характер. По сравнению с ними преобразования природы, осуществленные при непосредственном участии естественных наук, не выглядят уже столь основательными.

Анализируя эти взгляды, мы сможем понять, почему общественные науки не способны генерировать большие объемы первичных знаний, а также чем можно объяснить тот факт, что зачастую социальные теории и идеи прошлого парадоксальным образом сохраняют свою актуальность и в наши дни, тогда как устаревшие естественно-научные концепции не способны на это. Наиболее интересные и продвинутые социально-научные идеи (а) вносят вклад в стимулирование общественного климата и социальных процессов, породивших их; (б) в большей или меньшей степени взаимосвязаны с широко распространенными теориями, способствующими развитию этих процессов; (в) едва ли заметно отличаются от обоснованной рефлексии, поддающейся влиянию неспециалистов-обывателей, четко формулирующих или усовершенствующих находящиеся в употреблении теории. Все это имеет последствия, в том числе и для социологии (где они наиболее очевидны и существенны), которые влияют на проведение эмпирических исследований и формулировку (восприятие) теорий. В отношении исследований эти последствия выражаются в гораздо более значитель-

ных, чем в естественных науках, трудностях, с которыми сталкиваются ученые-обществоведы, пытающиеся содействовать признанию теорией и ищущие одновременно способы их всесторонней проверки. Социальная жизнь не стоит на месте; активно применяемые или потенциально практические теории, гипотезы и открытия могут принимать в контексте социальной жизни такие формы, что исходные основания их проверки так или иначе изменяются. В этом смысле существует множество возможных, достаточно сложных превращений взаимного «проникновения», которые сочетаются с трудностями, связанными с контролем переменных, воспроизводством наблюдений, и другими методологическими «ловушками», в которых общественные науки могут обрести себя. Естественно-научные теории самобытны, оригинальны и новаторски в той мере, в которой они затрагивают вопрос, что обычные акторы или ученые-профессионалы думали об объектах или событиях, попавших в поле их зрения, раньше. Однако социально-научные теории частично основываются (хотя и не всегда дискурсивно излагаются с их помощью) на тех представлениях, которых в свое время придерживались сформулировавшие их субъекты. Будучи воплощены в жизнь повторно, они могут утратить свои изначальные качества и свойства; они могут стать слишком привычными. В момент своего появления понятие суверенности и связанные с ним доктрины государства были сногшибательно непривычны и удивительно свежи; в наши дни они превратились в своего рода элемент социальной реальности, формированию и укреплению которой они некогда содействовали.

Каким образом отдельным социальным теориям удается сохранять свою актуальность и после того как обстоятельства, породившие их, уходят в прошлое? Почему и сегодня — когда мы хорошо ориентируемся в понятиях и реалиях государственного суверенитета — теории государства, датированные XVII в., сохраняют свою значимость с точки зрения современной социально-политической мысли? Прежде всего потому, что эти теории внесли существенный вклад в построение того социального мира, в котором мы с вами сегодня живем. Нет сомнений, что они представляют собой размышление по поводу социальной реальности, которую когда-то сами и породили и которая удалена от современ-

ного социального мира, привлекающего наше внимание, одновременно оставаясь частью его. Естественнаучные теории, сменившиеся в результате прогресса науки, не представляют интерес для современных (находящихся в непосредственном обращении) научных практик. Это невозможно, если речь идет о теориях, участвовавших в создании того, что они в дальнейшем объясняют или развивают. Возможно, «исторический процесс смены идей» и не представляет серьезной значимости для практикующего естествоиспытателя, однако, с точки зрения общественных наук, он зачастую выходит на первый план.

Если наши рассуждения верны, это позволяет нам говорить о социальной науке как своеобразном критическом анализе, включенном в процесс практической организации социальной жизни. Мы не можем довольствоваться «технологической» версией критики, предложенной в рамках ортодоксального консенсуса, истоки которого следует искать в естественно-научной модели мира. Технологический взгляд на критический анализ предполагает, что критика социальной науки «изнутри» — критические оценки учеными-обществоведами идей друг друга — автоматически порождает «внешнюю критику» банальных мнений — основу для практического социального вмешательства. Однако в условиях существования «двойной герменевтики» проблема выглядит гораздо более сложной. Создание критической теории не является *альтернативой*; в большинстве случаев теории и открытия, сделанные в рамках общественных наук, имеют практические (и политические) последствия независимо от того, считает ли социолог (или политик) возможным «реализовать» эти доктрины в отношении конкретной практики или нет.

Настоящая книга не относится к разряду легких, с точки зрения написания, произведений; работая над ней, мы иногда сталкивались с трудностями упорядочения и соответствующей систематизации глав. Теория структурирования формулировалась и излагалась нами посредством так называемой «внутренней самокритики» — критической оценки множества современных, соревнующихся друг с другом школ и направлений социальной мысли. Не включая критические замечания в основной текст, мы представили их в форме при-

ложений к тем главам, к которым они имеют непосредственное отношение. (Комментарии к ним следуют за разделом комментариев к соответствующей главе.) Читатель, нацеленный безотрывно следить за ходом основного повествования, может оставить их без внимания. Однако эти замечания будут, несомненно, полезны тем, кто хочет получить ответ на вопрос, чем пропагандируемые нами взгляды отличаются от других, или заинтересован в более пристальном рассмотрении проблем, составляющих «сердцевину» той или иной главы. В книге используется множество неологизмов, собранных в глоссарий, приведенный в заключении.

Комментарии

1. Ошибочно полагать, что влияние Парсонса осталось в далеком прошлом, а сам ученый забыт аналогично тому, как это, со слов самого Парсонса, случилось со Спенсером вскоре после его смерти. Напротив, одной из наиболее зримых тенденций современной социально-научной мысли является важнейшая роль, отводимая взглядам и представлениям, так или иначе заимствованным в теории Парсонса. Примером могут служить работы Лумана (Luhmann) и Хабермаса (Habermas) в Германии, (Bourgeois) во Франции, Александра и др. в США. Не обсуждая эти работы в деталях, мы все же постараемся объяснить, почему не испытываем симпатий к тем их аспектам, которые тесно взаимосвязаны или непосредственно обоснованы идеями Парсонса. Все вышеупомянутые авторы крайне разборчивы и критичны в отношении связей Парсонса с функционализмом, который более других пытается отстоять Луман. И в этом смысле мы согласны с ними, что явствует из содержания нашей работы. Вместе с тем, в других отношениях, по причинам, которые также изложены в настоящей книге, мы настаиваем на необходимости радикального пересмотра теории Парсонса. Важным в этом плане является влияние идей Макса Вебера, обнаруживаемое в работах, принадлежащих перу Парсонса. Критики зачастую именуют нас «веберийцами» и считают нашу приверженность его взглядам несправимой ошибкой и недостатком. В отличие от них мы не относимся к этому понятию с пренебрежением, однако, не уверены, что оно соответствует нашей точке зрения. Обращаясь к идеям Вебера, мы подходим к ним с позиций,

отличных от тех, что характерны для вышеупомянутых авторов. Так, Хабермас склонен (довольно неожиданно) трактовать Вебера в стиле Парсонса, приписывая ему в качестве основополагающего интерес к рационализации ценностей и «социальной дифференциации» как обобщенным процессам развития. Социальная жизнь изображена здесь не в том преломлении, которое, на наш взгляд, следовало бы заимствовать у Вебера — речь идет о разнообразных практиках и борьбе четко позиционированных акторов; о конфликте и столкновении частных интересов; территориальности и принуждении со стороны политических структур или государств.

Парсонс считал себя «теоретиком действия» и называл свой подход к социологии «концептуальной системой деятельности». Однако — и мы пытались продемонстрировать это в своих работах (см., например, NRSM, гл. 3) — удовлетворительное, с нашей точки зрения, определение понятия «деятельность» (а также взаимосвязанных с ней понятий намерений и причин) в работах Парсонса отсутствует. Это не связано с тем, что, как полагают некоторые аналитики, более поздний акцент на функционализм и системную теорию подавил интерес к «волюнтаризму». Причина, на наш взгляд, состоит в том, что идея волюнтаризма утратила свою актуальность. В рассуждениях Парсонса волюнтаризм всегда связывался с разрешением «проблемы социального порядка», под которым он подразумевал координацию потенциально деструктивных индивидуальных мотиваций. Она решается посредством демонстрации того, что акторы (субъекты деятельности) усваивают в качестве мотивов общепринятые ценности, от которых зависит социальное единство. Необходимость считаться с деятельностью объединяется с требованием смыкания «психологической» теории мотивации и «социологической» интерпретации структуральных свойств социальных систем. Практически никакого внимания не уделяется концепции того, что мы называем осведомленностью или опытом социальных акторов, которые отчасти образуют специфику конкретных социальных практик. Мы не думаем, что какая-либо точка зрения, обязанная своим происхождением Парсонсу, способна должным образом справиться с этой проблемой — одной из центральных в рамках социологической теории, как мы понимаем ее в настоящем издании.

Хотя те, кто находится в долгу перед Парсонсом, не считают себя функционалистами и так или иначе отрицают функционалистский характер его теории, они все же перенимают некоторые идеи, родственные большинству версий функционализма. В частности, речь идет о преувеличенном внимании к «ценностно-согласованному» или символическому порядку в ущерб житейским, практическим аспектам социальной деятельности; о тенденции считать, что общества представляют собой четко различимые образования, сходные с биологическими организмами; о склонности к теориям эволюционного толка. Мы полагаем, что подобные акценты вводят нас в заблуждение, а потому прокомментируем их отдельно и особо. Нет сомнений, что попытки ряда авторов (в частности, Лумана и Хабермаса) «осовременить» идеи Парсонса важны и изысканны. Вместе с тем, мы считаем необходимым отвергнуть новые версии «парсонизма», также как и общепринятые разновидности структурной социологии, не связанной с именем Парсонса.

Элементы теории структуриации*

38

Э. Гидденс «Устроение общества»

Приступая к предварительному изложению основных положений теории структуриации [1]**, было бы полезно, на наш взгляд, остановиться на барьерах, отделяющих функционализм (включая системную теорию) и структурализм, с одной стороны, от герменевтики и различных форм «понимающей социологии», с другой. Несмотря на тот факт, что во многих отношениях функционализм и структурализм заметно отличаются друг от друга, существует и ряд общих для этих парадигм положений. Так, оба направления склонны придерживаться естественно-исторической концепции и имеют очевидную тенденцию к объективизму. Со времен Конта функционалистская парадигма рассматривала биологию как науку, модель которой наиболее точно соответствовала специфике социальных дисциплин. Именно биология была признана ориентиром в вопросах осмысления структуры и функционирования социальных систем, а также руководством к анализу процессов эволюции через механизмы адаптации. Структурализм, особенно в интерпретации Леви-Стросса (Lévi-Strauss), был враждебен по отношению к эволюционизму и свободен от биологических

* В современную социологию термин *структуриация* — «структурирование социальных отношений в пространстве и времени» был введен самим Гидденсом [см. Giddens A. Structuralism, post-structuralism // Social Theory Today. Cambridge: Polity Press, 1987] для обозначения *результата взаимодействия существовавшей прежде социальной структуры с деятельностью конкретного индивида*

** См. комментарии на стр. 85–89.

аналогий. Здесь сходство между социальной и естественной науками носит преимущественно когнитивный (познавательный) характер, постольку, поскольку каждая из них отражает однородные свойства целостного «устройства» мыслительной деятельности. И структурализм, и функционализм решительно подчеркивают превосходство социального целого над его отдельными, индивидуальными элементами (т. е. составляющими его акторами или деятелями, человеческими существами).

Очевидно, что герменевтика рассматривает социальные и естественные науки как абсолютно отличные друг от друга. Герменевтика является колыбелью того самого «гуманизма», которому столь яростно и настойчиво противопостоят сторонники структурализма. В герменевтической мысли, в том виде, в каком она представлена в работах Дильтея (Dilthey), пропасть между субъектом и социальным объектом достигает максимальных размеров. Субъективность есть априорно признанный центр культурного и исторического опыта, а, следовательно, и фундамент, краеугольный камень, лежащий в основе социальных или гуманитарных наук. За пределами сферы субъективного опыта находится материальный мир, управляемый обезличенными и беспристрастными отношениями причины и следствия. Несмотря на то что научные школы, склонные к натурализму, рассматривают субъективность как нечто близкое мистерии, или как остаточный феномен, герменевтика считает ее миром природы, трудным для осознания и понимания, который в отличие от человеческой деятельности можно постичь только извне. В концепциях понимающей социологии при объяснении человеческого поведения гармонично лидируют действие и значение; структурные понятия и представления не столь заметны, а принуждение и ограничения практически не обсуждаются. Однако, с точки зрения функционализма и структурализма, структура (в самых различных смыслах, приписываемых этому понятию) имеет преимущество над действием, и ограничивающие свойства ее подчеркиваются особо.

Различия между этими воззрениями на социальную науку зачастую считаются эпистемологическими, хотя на самом деле они носят и онтологический характер. Вопрос состоит в том, каким образом следует определять понятия

действия, значения и субъективности и как они могут соотноситься с представлениями о структуре и принуждении. Если понимающая социология зиждется на империализме предмета, то функционализм и структурализм проповедуют главенство социального объекта. Формулируя теорию структуризации, мы стремимся положить конец попыткам создания подобных империй. Согласно нашей теории, предметом социальных наук являются не опыт индивидуального актора и не существование какой-либо формы социальной тотальности, а социальные практики, упорядоченные в пространстве и времени. Социальные действия людей цикличны подобно некоторым самовоспроизводящимся природным явлениям. Это означает, что они не создаются социальными акторами, а лишь постоянно воспроизводятся ими, причем теми же самыми способами, посредством которых люди реализуют себя как акторы. В процессе и через собственную деятельность социальные деятели воспроизводят условия, делающие эту деятельность возможной. Вместе с тем разновидность «осведомленности», обнаруживаемая в природе в форме кодированных программ, весьма далека от когнитивных навыков и способностей человеческих существ. Осмысление познавательных возможностей людей и их включенности в деятельность является, на наш взгляд, одним из важнейших научных открытий, сделанных в рамках понимающей социологии. Теория структуризации принимает отправную точку положений герменевтики, поскольку в ней допускается, что описание человеческой деятельности предполагает знание форм жизни, отражаемых в ней.

В циклическом упорядочении социальных практик участвует специфическая рефлексивная форма познания, используемая человеческими существами. Целостная последовательность практик предполагает рефлексивность, однако последняя возможна лишь в условиях последовательной непрерывности этих практик, которая и позволяет воспринимать их отчетливо «тождественными» друг другу во времени и пространстве. Таким образом, «рефлексивность» следует понимать не просто как «самосознание», но как наблюдаемое свойство и характерную особенность движущегося потока социальной жизни. Быть человеческим существом, значит являться целеустремленным деятелем, который одновре-

менно осознает причины собственной деятельности и способен в случае необходимости детально развить и конкретизировать их (в том числе и ввести в заблуждение). Однако такие термины как «цель», «намерение», «причина», «мотив» и тому подобное следует использовать с крайней предосторожностью, ибо их употребление в философской литературе зачастую ассоциируется с герменевтическим волюнтаризмом. Кроме того, они «вырывают» действия людей из контекста пространства-времени. Человеческая деятельность, как и познание, предстает в виде непрерывного *потока* (*durée*) поведенческих проявлений. Целенаправленное действие не является совокупностью или последовательностью отдельных — обособленных или разрозненных — намерений, причин и мотивов. Куда правильнее говорить о рефлексивности как явлению, основанном на непрерывном мониторинге деятельности, осуществляемом самими индивидами и окружающими их людьми. Рефлексивный мониторинг (или контроль) действия зависит от рационализации, которая в нашем случае понимается скорее как процесс, нежели как состояние. При этом подразумевается, что она по сути своей связана со способностями и уровнем компетентности деятелей. Онтология пространства-времени — неотъемлемый образующий элемент социальных практик — составляет основу концепции структуриации, которая *начинается* с временности, а, следовательно, в каком-то смысле с «истории».

Этот подход может позаимствовать у аналитической философии деятельности чрезвычайно мало, поскольку обычно «деятельность» описывается большинством современных англо-американских авторов. «Деятельность» нельзя рассматривать как простую комбинацию «действий»: последние возникают лишь благодаря дискурсивному моменту внимания к *потоку* пережитого опыта. Кроме того, она не может обсуждаться в отрыве от человека, его посредничества и связи с окружающим миром и гармоничности действующей «самости». То, что мы называем *стратификационной моделью* действующей «самости», включает в качестве составных элементов рефлексивный мониторинг, рационализацию и мотивацию деятельности как устоявшуюся последовательность процессов [2]. Рационализация действия, рассматривающая «преднамерение» как процесс, является наравне с двумя

другими элементами стандартной характеристикой человеческого поведения, воспроизводимой как само собой разумеющееся. В ситуациях взаимодействия — при столкновениях и происшествиях — рефлексивный мониторинг действия, как правило, и вновь в соответствии с заведенным порядком осуществляет контроль среды его протекания. Позже мы обратим ваше внимание на тот факт, что этот феномен составляет основу интерполяции деятельности в рамках пространственно-временных отношений соприсутствия. В условиях многообразия обстоятельств взаимодействия рационализация деятельности является основополагающим принципом, посредством которого окружающие оценивают общую «компетентность» акторов. Однако следует отдавать себе отчет в необходимости противостоять стремлению некоторых философов ставить знак равенства между причинами и «нормативными обязательствами», которые составляют лишь часть процесса рационализации действия. Если не учитывать этот факт, нельзя понять, что нормы играют роль «фактических» границ социальной жизни, по отношению к которым возможно разнообразное множество поддающихся управлению установок. В качестве достаточно поверхностного примера подобных установок приведем общеизвестное положение, согласно которому причины, дискурсивно выдвигаемые акторами в качестве обоснования своих поступков, могут расходиться с фактической рационализацией действия, определяющей их поведение в действительности.

Зачастую это обстоятельство является источником беспокойства и волнений для философов и экспертов в области социальных явлений — ибо как можно удостовериться, что люди не лицемерят и не скрывают истинных мотивов своих действий? Однако эта проблема представляет относительно небольшой интерес по сравнению с обширными «серыми зонами», существующими между двумя слоями процессов и не доступными дискурсивному сознанию акторов. Значительный объем «запасов знаний» (выражение Альфреда Шюца (Schutz)) или того, что мы предпочитаем называть *взаимное знание*, сконцентрированный в случайных эпизодах, не доступен непосредственному сознанию акторов. В большинстве своем эти знания носят приклад-

ной характер: они неотъемлемо присущи способности «справляться» с рутинной социальной жизнью и вести себя в соответствии с определенными общепринятыми практиками. Водораздел, пролегающий между дискурсивным и практическим сознанием, подвержен флуктуациям и восприимчив к разного рода воздействиям, как в опыте индивидуального деятеля, так и в отношении сравнений акторов, функционирующих в различных обстоятельствах и контекстах социальной деятельности. Однако между ними не существует преграды, аналогичной той, которая отделяет бессознательное от дискурсивного сознания. Бессознательное включает те формы познания и побуждения, которые либо целиком вытеснены из сознания, либо проявляются в нем исключительно в искаженном виде. С точки зрения теории психоанализа, подсознательные мотивационные компоненты деятельности имеют собственную внутреннюю иерархию, которая отражает «глубину» истории жизни конкретного актора. Утверждая подобное, мы отнюдь не призываем к некритичному признанию ключевых положений концепции Фрейда (Freud). Нам следует остерегаться двух форм редукционизма, которые сокрыты или обозначены в его работах. Одна из них — упрощенное представление об институциональных образованиях, согласно которому фундаментальную основу институтов следует искать в области бессознательного; здесь практически полностью игнорируется роль автономных социальных сил. Вторая заключается в достаточно примитивной теории сознания, которая, стремясь продемонстрировать, насколько глубоко социальная жизнь обусловлена действием скрытых, подводных течений, зачастую не осознаваемых акторами, не способна адекватно постичь уровень рефлексивного контроля, поддерживаемого последними в отношении собственного поведения.

Деятель и деятельность

Стратификационная модель деятеля может быть представлена следующим образом (рис. 1). Рефлексивный мониторинг деятельности является рутинной функцией повседневной жизни и предполагает контроль не только собственного поведения, но и действий окружающих.

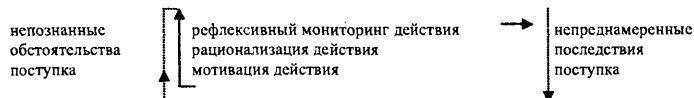


Рис. 1.

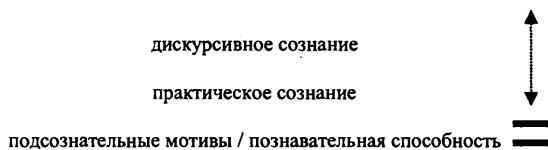
Иными словами, акторы не только непрерывно отслеживают течение собственной деятельности и ожидают аналогичного поведения от других; они также регулярно контролируют социальные и физические факторы своего окружения. Говоря о рационализации действия, мы подразумеваем, что акторы — в установленном порядке и, как правило, без излишней суеты — поддерживают целостное «теоретическое представление» о мотивах собственных действий. Как мы упоминали ранее, наличие подобных представлений не следует приравнивать к дискурсивному перечислению причин конкретных поведенческих проявлений, равно как и к способности определять эти причины на основе умозаключений. Вместе с тем компетентные деятели предполагают, что окружающие их акторы, как правило, способны в случае необходимости объяснить большинство из того, что они делают, и именно эта способность является основным показателем компетентности, используемым в повседневной практике. Излюбленные философские вопросы относительно побуждений и мотивов тех или иных действий волнуют обычно лишь неискушенных и не имеющих достаточного опыта акторов в тех случаях, когда отдельные поступки приводят их в сильное замешательство, или тогда, когда имеется своего рода «провал» или пробел в знаниях, который на самом деле может носить преднамеренный характер. В обычной ситуации мы, как правило, не спрашиваем у другого человека, почему он или она занимается той или иной деятельностью, традиционной для группы или культуры, к которым они принадлежат. Аналогичным образом мы не требуем объяснений и в том случае, когда имеет место непреднамеренное отклонение от принципов или правил поведения, за которое деятель едва ли несет ответственность, речь идет о реакциях-восклицаниях (смотри, например, обсуждение междометия «Ой» далее) или обмолвках. Однако если Фрейд прав, эти явления имеют под собой рационально-логическое обо-

снование, хотя и редко осознаваемое как самими нарушителями установленного порядка, так и теми, кто был свидетелем их поступков.

Мы будем различать понятия рефлексивного мониторинга и рационализации действия и его мотивации. Если причины относятся к основаниям тех или иных действий, то мотивы следует считать желаниями или потребностями, побуждающими совершать их. Вместе с тем в отличие от рефлексивного мониторинга и рационализации мотивация не связана напрямую со связностью и последовательностью действий. Она касается скорее потенциальных возможностей деятельности, нежели традиционного, привычного для деятеля образа действий. Мотивы имеют прямое отношение к действию только в относительно необычных или нестандартных условиях, в ситуациях, которые некоторым образом нарушают привычный (рутинный) ход событий. Главным образом они представляют собой всеобъемлющие планы или программы — «проекты» (терминология А. Шюца) — в рамках которых разыгрываются конкретные поведенческие сценарии. Многие из наших обыденных поступков не являются мотивированными напрямую.

Тогда как искушенные и опытные акторы практически всегда способны дать обоснованный отчет о целях и причинах своего поведения, они зачастую не могут с такой же легкостью описать его мотивы. Несмотря на то что далее мы обозначим ряд критических замечаний, касающихся интерпретации Фрейдом природы и сущности бессознательного, следует все же признать: подсознательная мотивация есть существенная особенность и характерная черта человеческого поведения. Понятие практического сознания представляет фундамент теории структуризации. Оно есть та особенность или свойство социального деятеля или субъекта, которое было практически упущено структурализмом [3]. Однако сходное положение вещей наблюдается и в других направлениях объективистской мысли. Если говорить о социологических традициях, то здесь подробное и тщательное рассмотрение свойств и сущности практического сознания характерно только для феноменологии и этнометодологии. В действительности именно эти научные школы наряду с обыденной философией возместили недостаток внимания к вышеупомянутым вопросам, свойственный ор-

тодоксальным социальным теориям. Мы отнюдь не считаем, что различия, существующие между дискурсивным и практическим сознанием, являются непоколебимыми и не поддаются никакому влиянию. Напротив, граница между ними изменяется под воздействием различных аспектов социализации и образованности деятеля. Таким образом, между дискурсивным и практическим сознанием не существует преград; речь идет лишь о несовпадениях между тем, что может быть сказано, и тем, что обычно делается. Однако между дискурсивным сознанием и бессознательным — барьеры все же существуют; и, как правило, они относятся к области вытеснения в подсознательное.



Далее мы поясним, что предлагаем эти понятия взамен традиционной психоаналитической триады «ego (мое «Я») — super-ego (сверх-Я) — id (оно)». Предложенное Фрейдом различие между «ego» и «id» не способно справиться с задачей анализа практического сознания, которому явно недостает теоретической базы в психоанализе, как в других, ранее упомянутых направлениях социально-научной мысли. Термин «предсознание», используемый в понятийном аппарате психоаналитической концепции, возможно, наиболее близок по смыслу представлениям о практическом сознании, однако в повседневной практике он, очевидно, означает нечто иное. Вместо «ego» предпочтительнее говорить об «I» («я»), что, естественно, и делал Фрейд в первоисточниках на немецком языке. Подобное словоупотребление не защищает нас от антропоморфизма, в котором «ego» представляется как своего рода мини-деятель; однако оно по меньшей мере помогает приступить к исправлению существующего положения вещей. Использование термина «I» обусловлено и соответственно ассоциируется с позиционированием деятеля в социальном окружении. Будучи предикативным по сути, он практически лишен смыслового содержания, по сравнению с богато наполненным «Me» — самописанием, представленным актором. Умение

оперировать понятиями «я» («I»), «меня» («Me») и «ты» и отношениями, существующими между ними, рефлексивно проявляющееся в разговорах и рассуждениях, жизненно важно с точки зрения формирования способностей и компетентности деятелей, изучающих язык. Поскольку мы не используем термин «ego», было бы правильно отказаться и от употребления достаточно грубого понятия «super-ego». С нашей точки зрения, его вполне можно заменить термином «внутренняя совесть» (мораль).

Все перечисленные понятия относятся к субъекту деятельности. Что же можно сказать о природе и сущности деятельности? Для ответа на этот вопрос обратимся к следующему. Повседневная жизнь представляет собой поток преднамеренной деятельности. Однако действия имеют непреднамеренные последствия; на рис. 1 показано, что посредством механизмов обратной связи эти последствия могут систематически превращаться в неосознанные условия дальнейших поступков. Так, например, закономерным результатом того, что мы грамотно говорим и пишем по-английски, является вклад в воспроизводство английского языка в целом. В данном случае грамотное употребление нами английского носит умышленный характер, в то время как содействие развитию этого языка — нет. Возникает вопрос: «Каким образом можно определить, что представляют собой непреднамеренные последствия человеческих действий?»

Зачастую предполагается, что человеческая деятельность должна определяться исключительно с позиций намерений или интенций. Иначе говоря, для того чтобы тот или иной поступок мог считаться действием, человек, совершивший его, должен был сделать это преднамеренно; в противном случае мы имеем дело с обыкновенной ответной реакцией. Эта точка зрения выглядит достаточно правдоподобной, и достоверность ее определяется, на наш взгляд, фактом существования целого ряда действий, которые не могут свершиться без намеренного участия субъекта деятельности. Примером подобного действия служит самоубийство. Вопреки концептуальным взглядам Э. Дюркгейма, мы полагаем, что «суицид» не может произойти вне ситуации стремления к саморазрушению. Человек, вышедший на проезжую часть и сбитый проезжающим мимо автомо-

билем, не является «самоубийцей», если все случившееся было несчастным случаем; речь здесь идет о том, что произошло с человеком, а не о том, что он сделал сам. Однако, с точки зрения интенций, самоубийство нетипично для большинства человеческих действий, поскольку имеет место только в том случае, если человек, совершивший его, намеревался достичь определенного результата. Большинство же действий не обладает этим свойством.

Вместе с тем некоторые философы утверждают, что для того, чтобы событие, в котором принимает участие человек, считалось образцом деятельности, необходимо, по меньшей мере, чтобы поступки этого человека имели под собой определенное (пусть даже и ошибочное) «обоснование», демонстрирующее их целенаправленность. Офицер подводной лодки потянул рычаг, намереваясь изменить направление своего судна, однако перепутал и по ошибке использовал другую рукоятку, что привело к затоплению линкора «Бисмарк». Он совершил свой поступок намеренно, хотя и не предполагал, каковы будут его последствия, и, таким образом, «Бисмарк» был потоплен посредством его действий. Другой пример — некто намеренно выливает кофе, ошибочно полагая, что это чай, в этом случае выливание кофе является неумышленным действием; в то же время другое основание произошедшего — «выливание чая» — превращает поступок человека в действие преднамеренное [4]. (В подавляющем большинстве случаев глагол «проливать» (расплескивать, разливать) указывает на непреднамеренность события. Речь идет о сбое в деятельности, посредством которой индивид намеревался достичь совершенно иного результата, например, передать чашку своему соседу. Фрейд утверждает, что практически все поведенческие ошибки, обмолвки, оговорки и т. п. не являются случайными, поскольку они мотивированы подсознательно, т. е. бессознательно вызваны чувствами, которые мы испытываем, но не допускаем до уровня сознания, или которые мы старались сознательно, но безуспешно подавить. — *Пеп.*) Это, несомненно, требует другого подхода к обоснованию их преднамеренности и целенаправленности.)

Однако и точка зрения, согласно которой событие получает статус действия лишь в том случае, если оно преднамеренно *по тому или иному* четко определенному основа-

нию, считается нами некорректной. Ибо смешивает понятие предназначения деятельности с описанием действий [5], а также путает рефлексивный мониторинг действия, осуществляемый людьми в процессе повседневной жизни, с отличительными особенностями этого действия как такового. Говоря о деятельности мы имеем в виду не только намерения людей сделать что-то, но и их способность сделать это в первую очередь (именно поэтому понятие деятельности подразумевает власть: приведем для сравнения определение понятия деятеля или субъекта деятельности, данное в Оксфордском Английском словаре (Oxford English Dictionary); «некто, кто обладает властью или добивается результата»). Понятие «деятельность» относится к событиям, инициатором и движущей силой которых является конкретный индивид, который мог бы повести себя иначе на любом этапе установленной последовательности действий. Чтобы ни случилось, не случилось бы без вмешательства индивида. Деятельность — это непрерывный процесс, своего рода поток, в котором рефлексивный мониторинг или сознательное отслеживание деятелями своих действий и действий окружающих составляет основу контроля за телесными движениями, поддерживаемого акторами в ходе повседневной жизнедеятельности. Мы делаем множество вещей, которых не собирались, а может быть, даже и не хотели делать, но тем не менее все равно *делаем*. И наоборот, существует ряд обстоятельств, при которых мы стремимся достичь определенного результата и добиваемся этого, хотя и не посредством собственной деятельности. Возьмем пример с разлитым кофе. Предположим, индивид А был не в духе и сыграл злую шутку, поставив чашку на блюде таким образом, что она при поднятии, вероятнее всего, разлилась бы. Индивид Б берет эту чашку, наполненную кофе, и она проливается. Казалось бы, все произошло по вине индивида А или хотя бы при его участии. Однако А не разливал кофе, это сделал Б. Таким образом, индивид Б, который вовсе не намеревался разлить кофе, разлил его; индивид А, который стремился к тому, чтобы кофе был разлит, не разливал его.

Что представляет собой непреднамеренное действие? Отличается ли оно от непреднамеренных последствий, возникающих в результате нашей деятельности? Рассмотрим

так называемый «эффект аккордеона», свойственный деятельности [6]. Человек щелкает выключателем, намереваясь осветить комнату. Несмотря на то что этот поступок носит умышленный характер, тот факт, что внезапное включение света испугнуло грабителя, таковым не является. Предположим, что грабитель пытается спастись бегством, однако задерживается полицейским и после суда, обвинившим его в краже со взломом, проводит год в тюремном заключении. Можно ли отнести все произошедшее к разряду непреднамеренных последствий, вызванных щелчком выключателя? И что именно индивид «сделал»? Приведем дополнительный пример, взятый из области теории этнической сегрегации [7]. Система этнической сегрегации может развиваться (безотносительно намерений людей, так или иначе затронутых ею) следующим образом, который мы проиллюстрируем, прибегнув к аналогии. Представьте себе шахматную доску с расположенными на ней наборами пяти- и десятицентовых монет, которые, подобно индивидам, живущим в городской зоне, рассредоточены по этой доске в случайном порядке. Предполагается, что несмотря на тот факт, что явная враждебность друг к другу отсутствует, члены одной группы не хотят жить по соседству с членами другой, ибо в таком случае они оказываются в этническом меньшинстве. Каждая монетка перемещается по шахматной доске до тех пор, пока не оказывается в положении, при котором по меньшей мере 50% сопредельных монет принадлежат к той же группе, что и она. В результате мы получаем модель максимальной сегрегации. Десятицентовые монеты образуют своего рода гетто среди пятицентовых соседей. Подобный «эффект композиции» является следствием совокупности действий — тех, кто передвигал монеты по доске, или посредников, функционирующих на рынке недвижимости, — каждое из которых носит преднамеренный (или умышленный) характер. Вместе с тем, конечный результат никто не планировал и не желал. Как таковой он принадлежит всем и никому.

Для того чтобы понять, что значит действовать непреднамеренно, нам следует прежде всего определиться с термином «преднамеренность» или интенциональность. Это понятие мы определяем, как характеристику действия (посредством которого, с точки зрения актора, возможно дос-

тичь определенного качества или результата), отражающую установку деятеля на достижение этого качества или результата [8]. Если определение деятельности, данное нами выше, является правильным, нам следует развести два понятия — то, что субъект действительно «делает», и то, что им планируется (преднамеренные аспекты действия). Деятельность имеет отношение к свершениям (или делам). Включив свет и вспугнув грабителя, субъект совершил определенные действия. Они были непреднамеренными, если он не знал о существовании грабителя и если по каким-то причинам, зная о нем, не пытался использовать эти знания для удаления незваного гостя. В концептуальном плане непреднамеренные действия могут быть отделены от непреднамеренных последствий деятельности, несмотря на то что подобное различие не будет иметь значения, всякий раз когда в центре внимания оказываются отношения между намеренным и непреднамеренным. Последствиями намеренных или непреднамеренных действий субъектов являются события, которые не произошли бы, поведи себя актер по-другому, но появление которых, вместе с тем, неподвластно ему (невзирая на то, каковы были его намерения).

Думается, мы имеем право утверждать, что все произошедшее с грабителем после того, как был повернут выключатель, можно считать непреднамеренными последствиями действия, при условии, что индивид, включивший свет, не знал о присутствии в помещении вора, а потому положил начало цепи событий неумышленно. Если здесь и существуют некоторые сложности, то они, как правило, возникают при ответе на вопрос, каким образом тривиальное на вид действие способно инициировать последующие события, удаленные от него во времени и пространстве, независимо от того, планировались ли они субъектом изначального действия или нет. Общая закономерность здесь такова: чем больше последствия действия удалены от своего первоисточника во времени и пространстве, тем с меньшей вероятностью они будут интенциональными (или умышленными). Эта вероятность обуславливается, однако, возможностями деятеля предвидеть последствия собственных действий (его компетентностью, а также тем объемом власти, который он способен мобилизовать. Обычно мы рассматриваем то, что деятель «делает», — в противоположность последствиям,

вытекающим из того, что было сделано, — как нечто, так или иначе находящееся под его (ее) контролем. В большинстве сфер жизни и для большинства форм деятельности масштаб этого контроля ограничен непосредственной ситуацией (обстоятельствами) действия или взаимодействия. Таким образом, включение света представляет собой нечто, совершенное субъектом деятельности, возможно, мы отнесем сюда же и невольное предупреждение вора об опасности; однако, последующая за этими событиями и непосредственно связанная с ними поимка вора полицейским, завершившаяся заключением мошенника в тюрьму, никоим образом не могут быть причислены к разряду таковых. Несмотря на то что эти события могли и не произойти, там и тогда, где они случились, если бы им не предшествовал акт зажигания света, возможность их осуществления зависела от такого множества других непредвиденных обстоятельств, что они вряд ли могут считаться «действиями» исходного актора.

Философы израсходовали море чернил, пытаюсь проанализировать сущность преднамеренной деятельности. Однако, с точки зрения общественных наук, практически невозможно переоценить значимость непреднамеренных последствий преднамеренного поведения. Классическое исследование этого вопроса представлено в трудах Мертона [9]. Мы согласны с его мнением, согласно которому изучение непреднамеренных последствий составляет основы социологического анализа. Конкретный поступок (элемент деятельности) может повлечь за собой а) незначимые или б) значимые последствия, которые в свою очередь подразделяются на в) однократно значимые и г) многократно значимые. В данном контексте «значимость» того или иного события зависит от характера проводимого исследования или типа разрабатываемой теории [10]. Затем, однако, Мертон идет дальше и пытается рассмотреть непреднамеренные последствия с позиций функционального анализа — иными словами, использует концептуальный подход, условно принятый в социологической литературе, но отвергаемый нами. Особенно подчеркнем тот факт, что вопреки заверениям Мертона, анализ непреднамеренных последствий не придает значения иррациональным формам или моделям социального поведения. Мертон сравнивает преднамеренную

деятельность (явные функции) и ее непреднамеренные последствия (латентные функции). Одной из целей определения последних является стремление продемонстрировать, что иррациональные на вид социальные действия на самом деле могут только казаться таковыми. В частности, подобная ситуация наблюдается, с точки зрения Мертонa, при обращении к устойчивым видам деятельности или установившимся институциональным практикам, которые зачастую выпускаются из виду как «суеверия», «абсурдная нелогичность», «обыкновенная инерция традиций» и т. п. Между тем, по мнению Мертонa, обнаруживая латентную функцию подобных действий — непризнанное и непреднамеренное следствие или ряд следствий, способствующих процессу непрерывного воспроизводства конкретной социальной практики, — мы демонстрируем, что они не так уж и иррациональны.

Так, например, некий ритуал «может выполнять латентную функцию интеграции группы, усиления групповой идентичности посредством периодически проводимых мероприятий, на которых разрозненные члены группы собираются вместе и вовлекаются в совместную деятельность» [11]. Вместе с тем, ошибочно предполагать, что подобная демонстрация функциональной взаимосвязи является основой существования практики. Неясным в этом контексте остается вопрос, связанный с осмыслением «основ общества» на базе вмененных социальных потребностей. Таким образом, если мы согласны с тем, что различные церемонии и ритуалы «необходимы» группе для ее выживания, то вынуждены признать, что постоянное возобновление их не является иррациональным. Однако утверждая, что социальная общность А нуждается в социальной практике Б, способствующей ее существованию и сохранению в установившейся форме, мы ставим вопрос, на который впоследствии придется дать ответ; ибо ответить сам на себя он не может. Взаимоотношения А и Б не походят на связь, существующую между желаниями (или потребностями) и намерениями субъекта индивидуальной деятельности. В последнем случае потребности, стимулирующие субъекта деятельности, порождают динамическое соотношение мотивации и интенциональности. Совсем не так обстоят дела, если речь заходит о социальных системах, за исключением тех из них,

где субъекты ведут себя в соответствии с тем, что считают социальными нуждами [12].

Подчеркивая важность всего вышесказанного, мы вовсе не намерены отрицать тезис Мертона о значимости связи непредвиденных последствий действия с институционализированными практиками, глубоко укорененными во времени и пространстве. Влияние непреднамеренных последствий может анализироваться в трех основных исследовательских контекстах, разделяемых аналитически. К первому относятся включение света / невольное предупреждение вора об опасности / вынуждение его спастись бегством и другие аналогичные действия. Особый интерес для исследователя представляет здесь накопление (или аккумуляция) событий, вытекающих из первоначального действия, без которого все произошедшее в дальнейшем было бы невозможно. Классическим примером является веберовский анализ влияния битвы при Марафоне (Battle of Marathon) на последующее развитие греческой культуры, а также формирование европейской культуры в целом, равно как и обсуждение последствий выстрела в Сараево, приведшего к гибели австрийского кронпринца Фердинанда [13]. Основное внимание уделяется здесь последствиям единичного события, прослеживаемым и анализируемым методом от противного. Исследователь задает вопрос: «Что было бы с событиями Б, В, Г ..., если бы не произошло событие А?», — пытаясь таким образом определить роль А в цепи или последовательности событий.

Второй тип обстоятельств, содержательных с точки зрения социального анализа, представляет собой последствия комплекса индивидуальных действий (в отличие от последствий единичного события). Здесь примером является обсуждение теории этнической сегрегации, изложенное выше. В данном случае объяснению подлежит конкретный «конечный результат» — непредвиденное последствие, возникшее в результате совокупного ряда преднамеренных действий. На передний план снова выходит проблема рациональности, хотя в этот раз против нее нет логических возражений. Теория игр достаточно убедительно показывает, что результат последовательности рациональных действий, предпринятых разрозненными индивидуальными акторами, может оказаться для них иррациональным [14].

«Обратный эффект» — лишь один пример непреднамеренных последствий, представляющий, правда, несомненный исследовательский интерес [15].

Третий тип контекста, в условиях которого следует анализировать непреднамеренные последствия, был упомянут в работах Мертона: здесь во главу угла ставятся механизмы воспроизводства институциональных практик. Непредвиденные последствия тех или иных действий предопределяют общепризнанные условия дальнейшей деятельности в нерелексивном цикле обратной связи (причинно-следственные петли). Ранее мы обращали ваше внимание на тот факт, что обособление функциональных взаимоотношений не достаточно для объяснения существования такого рода обратных связей. Каким образом совокупности непреднамеренных последствий оказывают влияние, способствующее процессу социального воспроизводства на протяжении длительных периодов времени? В общем и целом это нетрудно объяснить. Повторяющиеся действия, локализованные в одном пространственно-временном контексте, способствуют тому, что постепенно (в ситуациях, удаленных в пространстве и времени) непредвиденные (с точки зрения включенных в изначальную деятельность акторов) последствия становятся упорядоченными и стандартными. То, что происходит в новых условиях, прямо или косвенно воздействует на обстоятельства деятельности в исходной ситуации. Для того чтобы понять, что происходит, нам нет смысла обращаться к объясняющим переменным, за исключением тех, которые отвечают на вопрос, что мотивирует индивидов на участие в упорядоченных во времени и пространстве социальных практиках и что из этого следует. Непреднамеренные последствия возникают постоянно, являясь своеобразным «побочным продуктом» традиционного поведения, релексивно поддерживаемого субъектами деятельности.

Деятельность и власть

Каков характер логической связи, существующей между деятельностью и властью? Несмотря на то что подобный вопрос подразумевает множество различных аспектов, основная тенденция в этой области прослеживается достаточно четко. Для того, чтобы «поступить вопреки» (быть дея-

телем, обладающим рефлексивным знанием, достаточным для того, чтобы суметь изменить свое положение в мире. — *Пер.*), необходимо обладать способностью вмешиваться (или не вмешиваться) в происходящие события, оказывать влияние на те или иные процессы или обстоятельства. Для того чтобы быть деятелем, необходимо реализовывать способность к использованию (постоянно, в повседневной жизни) всего спектра власти, включая и воздействие на использование власти другими. Деятельность зависит от способности индивида «вносить изменения» в ранее существовавшее положение дел или ход событий. Деятель перестает быть деятелем, если он или она теряют способность «преобразовывать», т. е. реализовывать определенный вид власти. Проблеме того, что может считаться деятельностью, посвящено множество интересных социальных исследований — где власть индивида ограничивается сферой поддающихся влиянию обстоятельств. Тем не менее мы настаиваем на признании того факта, что условия социальной ограниченности (или принуждения), в которых у индивидов «нет права выбора», не означают исчезновение деятельности как таковой. «Отсутствие свободы выбора» не подразумевает замены действия реакцией (имеющей место, когда человек моргает в ответ на быстрое движение около его глаз). Это может показаться настолько очевидным, что не требует специального рассмотрения. Однако ряд весьма известных социально-теоретических школ, связанных главным образом с объективизмом и «структурной социологией», не признают подобного различия. Они полагают, что социальные принуждения действуют подобно естественным силам природы, а потому «отсутствие свободы выбора» равноценно непреодолимому и неподдающемуся осмыслению механическому давлению, принуждающему действовать строго определенным образом.

Интерпретируя изложенные выше наблюдения по-другому, мы заявляем, что деятельность логически подразумевает власть, понимаемую как способность к преобразованиям. В этом — наиболее универсальном своем значении — власть логически предшествует и превосходит субъективность, порядок рефлексивного мониторинга поведения. На наш взгляд, последнее стоит подчеркнуть особо, ибо понятия власти, используемые в общественных науках, имеют

тенденцию отражать дуализм субъекта и объекта, о котором мы упоминали выше. Так, «власть» зачастую определяется с позиций намерения или воли, как способность достигать желаемых и предопределенных результатов. Другие авторы (такие, например, как Парсонс и Фуко), напротив, рассматривают ее прежде всего как свойство общества или социальной общности.

Наша задача состоит не в том, чтобы опровергнуть один концептуальный подход и прославить другой; мы стремимся продемонстрировать, что их связь есть признак дуальности структуры. Мы совершенно согласны с Бахрахом (Bachrach) и Баратцем (Baratz), которые, как хорошо известно, заявляли, что власть имеет два (а не три, как утверждал Лукес (Lukes)) «пика» [17]. С одной стороны, речь идет о способности индивидов приводить в действие решения, которые они сами выбирают, а с другой — о «мобилизации направленности», заданной институтами общества. Нельзя сказать, что мы полностью удовлетворены подобным взглядом, ибо он подразумевает подход к власти с позиций «нулевой суммы». Отказываясь от использования этой терминологии, мы постараемся выразить дуальность структуры властных отношений следующим образом. Ресурсы (рассматриваемые через призму сигнификации и легитимации) представляют собой структуральные свойства социальных систем, возникающие и воспроизводимые в процессе человеческой деятельности, в ходе социального взаимодействия. По сути своей, власть не связана с удовлетворением частных интересов. В этой концепции использование власти характерно не только для отдельных типов поведения, но для всей деятельности в целом, при этом сама власть не является ресурсом. Ресурсы — это *средства*, с помощью которых осуществляется власть как рутинная составляющая поведения в процессе социального воспроизводства. Мы не должны воспринимать структуры власти или доминирования, являющиеся неотъемлемым элементом социальных институтов, как некие подавленные и притесненные, «податливые тела», функционирующие подобно автоматам, предложенным объективистской социальной наукой. Власть в рамках социальных систем, которые характеризуются некой протяженностью во времени и пространстве, предполагает регулярные отношения автономии и зависимости между

индивидуальными акторами или коллективами в контексте социального взаимодействия. Однако все формы зависимости предполагают некоторые ресурсы, посредством которых «подчиненные» могут влиять на действия «подчиняющих». Мы называем эту закономерность социальных систем *«диалектикой контроля»*.

Структура и структурация

Рассмотрим ключевые понятия, составляющие ядро теории структурации: «структура», «система» и «двуальность (двойственность) структуры». Нет сомнений, что первое из них — структура (или «социальная структура») — весьма популярно среди сторонников функционализма и обязано своим названием традициям «структурализма». Однако ни той, ни другой теории так и не удалось дать этому понятию определение, которое отвечало бы требованиям социальнанаучной теории. Приверженцы функционализма и их критики уделяли основное внимание понятию «функция», подчас вовсе игнорируя представления о «структуре»; таким образом, последний термин использовался, как правило, в общепринятом значении. Вместе с тем мы прекрасно осведомлены о том, что, как правило, понимают под «структурой» функционалисты, а фактически и подавляющее большинство обществоведов-аналитиков, которые рассматривают ее как своего рода «моделирование» социальных отношений и явлений. Зачастую структура представляется в терминах визуальных образов, сродни скелету или строению организма, или каркасу здания. Этот подход и соответствующие ему понятия тесно взаимосвязаны с дуализмом субъекта и социального объекта: «структура» выступает здесь как нечто «внешнее» по отношению к человеческой деятельности, является источником, порождающим ограничения свободной инициативы независимого субъекта. Представления о структуре, возникшие в рамках структурализма и постструктурализма, кажутся нам более интересными. Здесь, говоря о структуре, мы имеем в виду не модель тех или иных социальных отношений и явлений, а точку пересечения наличия и отсутствия; таким образом, основополагающие принципы ее выводятся, исходя из поверхностных проявлений.

На первый взгляд вышеизложенные представления о структуре не имеют ничего общего, однако, на самом деле каждое из них относится к существенным аспектам структурирования социальных отношений — аспектам, которые в теории структуриации постигаются посредством дифференцированного подхода к понятиям «структура» и «система». Анализируя социальные отношения, мы должны учитывать как синтагматический аспект проблемы — моделирование социальных отношений в пространстве и во времени, включая воспроизводство ситуативных практик, так и ее парадигматическое «измерение», затрагивающее виртуальное упорядочение «способов структурирования», периодически участвующих в процессе подобного воспроизводства. Структурализму свойственна некоторая неопределенность в вопросе, относятся ли структуры к матрице допустимых в пределах установленной совокупности преобразований, или они суть правила (принципы) превращений, управляющие этой матрицей. Мы полагаем, что структура, по крайней мере в элементарном своем значении, представляет собой «генеративные» (порождающие) правила (и ресурсы). Вместе с тем, некорректно называть ее «правилами преобразования», ибо все правила, по сути своей, носят трансформирующий характер. Таким образом, в контексте социального анализа структура существует в виде структурирующих свойств социальных систем, благодаря которым в них обеспечивается «связность» времени и пространства, свойств, способствующих воспроизводству более или менее одинаковых социальных практик во времени и пространстве, что придает им «систематическую» форму. Говоря о том, что структура представляет собой «виртуальный порядок» отношений преобразования, мы подразумеваем, что социальные системы, как воспроизводимые социальные практики, обладают не «структурами», но «структуральными свойствами», а структура, как образец социальных отношений, существующий в определенное время и в определенном пространстве, проявляется посредством подобных практик и как память фиксирует направление поведения компетентных субъектов деятельности. Это не мешает нам представлять структуральные свойства в виде иерархически организованной в пространстве и во времени протяженности практик, которые они рекурсивно формируют. Глубоко укоренив-

шиеся структуральные свойства, участвующие в воспроизводстве социетальных общностей, называются *структурными принципами*. Практики, обладающие наибольшей пространственно-временной протяженностью в рамках тех или иных общностей, рассматриваются нами как социальные институты.

Говоря о структуре как о «правилах» и ресурсах, или обособленных совокупностях правил и ресурсов, мы определенно рискуем ошибиться, что обусловлено спецификой представлений о «правилах», господствующих в философской литературе.

- (1) Зачастую правила ассоциируются с играми и воспринимаются нами как некие формализованные предписания или установки. Между тем правила, задействованные в воспроизводстве социальных систем, в большинстве случаев не являются таковыми. Даже те из них, которые приведены в систему законов, как правило, гораздо более спорны, нежели их собратья, используемые в играх. Несмотря на то, что использование правил игр, таких, например, как шахматы и т. п., в качестве прототипа контролируемых правилами свойств социальных систем часто приписывается Л. Виттгенштейну, гораздо более уместным, на наш взгляд, будет упомянуть здесь то, что Виттгенштейн говорил о детских играх как примерах рутинных, общепринятых социальных практик.
- (2) Зачастую правила рассматривают и обсуждают в единственном числе, так, будто они могут касаться специфических случаев или примеров поведения. Однако такой подход представляется нам ошибочным, если мы рассматриваем его по аналогии с течением социальной жизни, где практики поддерживаются и сосуществуют в рамках более или менее свободно организованных групп.
- (3) Правила невозможно осмыслить в отрыве от ресурсов — средств и способов, посредством которых в процесс производства и воспроизводства социальных практик включаются отношения преобразования. Таким образом, структуральные свойства представляют формы *доминирования и власти*.
- (4) Правила предполагают (и это достаточно четко было продемонстрировано Гарфинкелем) «методические про-

цедуры» социальных взаимодействий. В большинстве случаев правила пересекаются с практиками в контексте ситуативных взаимодействий: ряд «целевых» (*ad hoc*) положений, предложенных Гарфинкелем, постоянно приводится в качестве иллюстрации правил и фундаментален с точки зрения их формы. Следует подчеркнуть, что в силу всего вышесказанного каждый компетентный социальный актор является социальным теоретиком на уровне дискурсивного сознания и «экспертом-методологом» на уровнях дискурсивного и практического сознания.

- (5) Правила имеют две стороны, и это важно учитывать на концептуальном уровне, поскольку некоторые философы (например, Винч (*Winch*)) склонны объединять их. С одной стороны, правила относятся к производству значений, а с другой — к *санкционированию* способов социального поведения.

Вводя вышеупомянутое словоупотребление понятия «структура», мы стремились освободиться от традиционного механистического подхода к определению этого термина, свойственного ортодоксальной социологии. Понятия системы и структуриации берут на себя большую часть того, что обычно приписывается «структуре». Предлагая использовать термин «структура» в значении, на первый взгляд далеко от общераспространенных, мы отнюдь не призываем к отказу от более широких интерпретаций его. «Общество», «культура» и целый ряд других социологических понятий вполне могут употребляться в нескольких значениях, и это представляет определенную сложность лишь в тех случаях, когда различия существуют на смысловом уровне сказанного или написанного. Таким образом, мы не отвергаем традиционное использование термина «структура» для указания на некие общие институциональные черты общества или ряда обществ, например, можно говорить о «классовой структуре общества», «структуре индустриальных обществ» и т. д.

Согласно одному из основных положений теории структуризации, правила и ресурсы, которыми индивиды руководствуются при взаимодействии, должны рассматриваться и как средства производства социальной жизни в качестве

продолжающейся деятельности, и одновременно как продукты, производимые и воспроизводимые этой деятельностью (принцип дуальности (двуединства) структуры). Но как следует понимать подобное утверждение? Каким образом наши повседневные действия участвуют в воспроизводстве, скажем, глобальных институтов современного капитализма? Какие правила действуют в этом случае? Рассмотрим несколько возможных примеров правил:

- (1) «Правило постановки мата в шахматах заключается в...»;
- (2) Формула: $a_n = n^2 + n - 1$;
- (3) «Как правило, R встает каждый день в 6 утра»;
- (4) «Согласно правилам, все рабочие должны начать работу в 8 утра».

Конечно, можно привести массу других примеров, однако, перечисленные вполне подходят с точки зрения целей нашего повествования. В примере (3) «правило» более или менее соответствует понятиям привычки или рутины (однообразного, установленного режима). Восприятие подобных привычек как «правил», в полном смысле этого слова, представляется нам довольно неуместным, ибо в большинстве случаев в их основе не лежат какие-либо указания, наставления или инструкции, которым индивид должен неукоснительно следовать, и также санкции, подкрепляющие эти предписания; таким образом, в данном случае мы имеем дело с тем, что индивид делает по привычке. Привычка является элементом рутины, принципиальную важность которой в процессе повседневной социальной жизни мы неустанно подчеркиваем. «Правила», как понимаем их мы, несомненно, вторгаются в рутинную практику, однако, последняя не является правилом сама по себе.

Примеры (1) и (4) воспринимаются многими в качестве иллюстраций двух типов правил — конститутивных (образующих) и регулятивных. Объяснить правило, в соответствии с которым при игре в шахматы ставится мат, значит детально рассмотреть саму суть этой игры. Правило, устанавливающее, что работники должны начать работу в определенное время, не дает определение работы как таковой; оно предписывает, каким образом работа должна быть выполнена. Дж. Сирл (Searle) считает, что регулятивные правила обычно имеют форму «Делай X» или «Если Y, делай X».

Некоторые представители класса конститутивных правил имеют такую же форму, однако в большинстве случаев речь идет о формулировках типа «X считается Y» или «X считается Y при условии C» [18]. Подобное разграничение двух типов правил кажется нам отчасти сомнительным, свидетельством чему служит этимологическая «неуклюжесть» термина «регулятивное правило». Как-никак, но понятие «регулятивный» включает в себя понятие «правило»: словарное определение этого термина — «регулирование посредством правил». Мы считаем, что примеры (1) и (4) скорее отражают два аспекта правил, нежели символизируют два их типа. В случае (1) правило, несомненно, является элементом игры как таковой (оно создает саму возможность такой деятельности или определяет ее. — *Пер.*), однако, для тех, кто играет в шахматы, оно обладает санкционирующим или «регулирующим» свойством, ибо относится к аспектам игры, которые должны быть соблюдены (деятельность, называемая игрой в шахматы, состоит в осуществлении действий в соответствии с определенными правилами; вне этих правил шахматы не существуют. — *Пер.*). Однако и правило (4) обладает конститутивными свойствами. Хотя оно и не определяет, что такое «работа», зато дает нам представление об «индустриальной бюрократии». Следовательно, примеры (1) и (4) иллюстрируют два аспекта правил — их роль в создании смыслового содержания и тесную взаимосвязь с санкциями.

Пример (2) может показаться наименее адекватным с точки зрения концептуализации «правила» применительно к понятию «структуры». Вместе с тем мы намерены доказать, что оно является здесь гораздо более уместным, чем все обсужденные нами выше. Мы не собираемся утверждать, что социальная жизнь может быть сведена к совокупности рациональных математических принципов, отнюдь. Обращаясь к сущности формул, мы сумеем определить наиболее эффективное (с аналитической точки зрения) значение термина «правило» в контексте социальной теории. Формула $a_n = n^2 + n - 1$ взята из примера Виттгенштейна, иллюстрирующего игры с числами (number games) [19]. Один человек написал последовательность чисел; другой — составил формулу, поставив числа в определенном порядке. Что представляет собой подобная формула? Каким обра-

зом можно проинтерпретировать ее? Понять формулу не значит воспроизвести ее. Кто-то может произнести формулу, не осознав ее последовательности, с другой стороны, возможно понять сам ряд и не суметь при этом выразить его на вербальном уровне. Таким образом, понимание не является умственным процессом, сопровождающим решение головоломки, представленной определенной последовательностью чисел; по меньшей мере, это не тот процесс, который имеет место при прослушивании мелодии или произнесении предложения. Это, скорее, способность применять формулу в правильном контексте и должным образом во имя продолжения некоего ряда или последовательности событий.

Формула представляет собой обобщенную процедуру: обобщенную, поскольку используется в некотором диапазоне условий и случаев; процедуру, ибо предусматривает методическое возобновление и продолжение установленной последовательности действий. Таковы ли лингвистические правила? Мы убеждены, что да — и в гораздо большей степени, чем они подобны той разновидности правил, о которой говорил Хомский (Chomsky). И это, по-видимому, согласуется с доводами Витгенштейна или во всяком случае соотносится с ними. Витгенштейн замечал, что: «Понимать язык, значит владеть им» (язык как речевые действия. — *Пер.*) [20]. Здесь подразумевается, что использование языка является по преимуществу методологическим, а правила его представляют собой методично применяемые процедуры, включенные в контекст повседневной практической деятельности. Подобная перспектива в отношении языка кажется нам чрезвычайно важной, хотя зачастую она и игнорируется большинством последователей Витгенштейна. Правила, «сформулированные» посредством примеров (1) и (4), представляют собой определение (интерпретацию) деятельности и имеют отношения к определенным видам действий: все кодифицированные правила принимают подобную форму, поскольку выражают (описывают) на вербальном уровне то, что предполагается сделать. Однако правила есть процедуры деятельности, элементы *фактического* установленного порядка. Ссылаясь на это, Витгенштейн решил проблему, которая изначально была определена им как скептический «парадокс» правил и следования им. Пос-

ледний был сформулирован следующим образом: ни один образ действий не может определяться каким-то правилом, поскольку любой образ действий можно привести в соответствие с этим правилом. Однако если это действительно так, то верно и другое: любой образ действий может быть приведен в противоречие с правилом. Здесь мы сталкиваемся с неверным истолкованием проблемы, смешением смыслов «следования правилу» и «интерпретации правила» [21].

В таком случае мы будем рассматривать правила социальной жизни как способы или обобщенные процедуры, используемые в процессе установления / воспроизводства социальных практик. Сформулированные правила — правила, выраженные на вербальном уровне (законодательные нормы, бюрократические предписания, правила игры и т. п.), — представляют собой скорее кодифицированные толкования правил, нежели правила как таковые. Их следует воспринимать не как пример правил вообще, но как специфические типы сформулированного правила, которые в силу собственной очевидной формулировки приобретают различные специфические качества [22].

До настоящего момента наши рассуждения касались в основном предварительного подхода к проблеме. Как формулы соотносятся с практиками, в которые вовлечены субъекты деятельности? И какие из них наиболее интересны нам с точки зрения общих целей социального анализа? Что касается первой части вопроса, то здесь знание социальных правил, выраженное прежде всего на уровне практического сознания, является сущностью «способности знать», отличающей индивидов как субъектов деятельности. Будучи социальными акторами, все человеческие существа хорошо «информированы» относительно знаний, которыми они располагают и которые применяют в процессе производства и воспроизводства повседневных социальных взаимодействий; основная масса этих знаний носит скорее практический, нежели теоретический характер. Шюц и другие авторы отмечали, что в процессе повседневной деятельности акторы используют типичные схемы (формулы), позволяющие им улаживать возникающие жизненные проблемы в плановом порядке. Знание процедур или владение техниками «делания» социальных действий по определению носит методологический характер. Иными словами, подоб-

ное знание не предполагает (да и не может предполагать) точного определения всей совокупности ситуаций, с которыми может столкнуться актер; оно предусматривает обобщенную способность реагировать и влиять на неограниченный диапазон социальных условий и обстоятельств.

Наиболее значимые с точки зрения социальной теории типы правил включены в процесс воспроизводства институционализированных практик, т. е. практик, глубоко укорененных в пространстве и времени [23]. Основные характеристики правил, существенные с позиций общих проблем социального анализа, могут быть описаны следующим образом:

интенсивный	неявный	неформальный	слабо санкционированный
поверхностный	дискурсивный	формализованный	жестко санкционированный

Под интенсивными по характеру правилами мы понимаем формулы, постоянно вовлеченные в процесс повседневной жизни. Примером таких правил могут служить лингвистические правила. Сюда же относятся и методы организации беседы, используемые актерами в разговорах и при взаимодействиях. Им противопоставляются правила, хотя и широкие по размаху, но неглубокие с точки зрения влияния на характер и структуру социальной жизни. Подобное различие кажется нам чрезвычайно важным, хотя бы только потому, что многие социальные аналитики искренне убеждены в том, что более абстрактные правила — например, кодифицированные законы — оказывают большее влияние на процесс структурирования социальной деятельности. Мы считаем, однако, что многие на первый взгляд тривиальные процедуры повседневности воздействуют на социальное поведение гораздо сильнее и глубже. Оставшиеся категории говорят сами за себя, т. е. являются более или менее самоочевидными. Большинство правил, включенных в процесс производства и воспроизводства социальных практик, усваиваются актерами только на внутреннем уровне: иными словами, субъекты деятельности знают, как им «следует себя вести». *Дискурсивное выражение правила является его интерпретацией* и, как мы уже упоминали выше, способно само по себе видоизменить форму его применения. Типичным примером правил,

которые не только дискурсивно сформулированы, но и формально кодифицированы, являются законы. Конечно, законы относятся в большей степени к разряду санкционированных социальных правил и имеют в современном обществе формально установленные градации «воздаяний». Однако было бы серьезной ошибкой недооценивать силу неформальных санкций, применяемых в отношении множества житейских, повседневных практик. Как бы ни интерпретировались результаты, полученные Гарфинкелем в ходе его «экспериментов на веру», они, несомненно, демонстрируют непреодолимую силу, которой наделены, казалось бы, незначительные условности разговора [24].

Структурирующие качества правил могут изучаться в процессах формирования, поддержания, прекращения и реформирования социальных взаимодействий. Несмотря на то, что в процессе производства и воспроизводства взаимодействий субъекты деятельности используют огромное множество разнообразных процедур и тактик, особо значимыми среди них являются, вероятно, те из них, которые способствуют поддержанию чувства онтологической безопасности. «Эксперименты» Гарфинкеля, несомненно, существенны с этой точки зрения. Они указывают на то, что установки, вовлеченные в структурирование ежедневных взаимодействий, имеют характер, гораздо более стабильный и обязательный, чем это может показаться исходя из легкости, с которой им обычно следуют. Это стало очевидным, поскольку девиантные (отклоняющиеся) ответы или поступки, которые, по настоянию Гарфинкеля, совершались экспериментаторами, нарушали чувство онтологической безопасности «субъектов», «подрывая» основы доступности дискурса. Нарушение или игнорирование, конечно, не является единственным методом изучения конститутивных и регулятивных свойств интенсивно задействованных правил. Вместе с тем нет сомнений, что опыты Гарфинкеля способствовали обнаружению достаточно «плодородной» области исследований — являясь своего рода «алхимией от социологии», «превратившей эпизоды повседневности в научно-просветительский трактат» [25].

В своей работе мы различаем понятия «структура» (как некий общий термин), «структуры» (во множественном числе) и «структуральные свойства социальных систем» [26].

Понятие «структура» подразумевает не только правила, задействованные в производстве и воспроизводстве социальных систем, но и ресурсы (которые нам еще предстоит рассмотреть более подробно). Традиционные для общественных наук толкования термина «структура» связывают это понятие с наиболее устойчивыми аспектами социальных систем, и нам не хотелось бы отходить от этого значения. Структура состоит из правил и ресурсов, способствующих производству/воспроизводству социальных институтов. Согласно определению, институты представляют собой наиболее стабильные черты социальной жизни. Говоря о структуральных свойствах социальных систем, мы имеем в виду их институционализированные характеристики, «зафиксированные» во времени и пространстве. И, наконец, мы используем понятие «структуры» (во множественном числе) для обозначения отношений преобразования и посредничества, влияющих на социальную и системную интеграцию и являющихся своеобразными «переключателями», лежащими в основе наблюдаемых условий воспроизводства системы.

Вернемся теперь к вопросу, поставленному нами изначально: каким образом следует понимать то, что поведение индивидуальных субъектов деятельности воспроизводит структуральные свойства больших общностей? Ответить на него гораздо проще и вместе с тем сложнее, чем может показаться с первого раза. На уровне логики ответ на подобный вопрос будет не более чем трюизмом. Иначе говоря, несмотря на то что непрерывное существование больших общностей или обществ не зависит, казалось бы, от деятельности любого из его индивидуальных членов, эти общности (или общества) очевидно прекратят свое существование, если деятели, входящие в них, исчезнут. В реальности ответ на этот вопрос зависит от проблем, которые нам еще предстоит обсудить — речь идет о механизмах интеграции различных типов социетальных общностей. В своей повседневной деятельности социальные акторы используют и воспроизводят структурные характеристики глобальных социальных систем. Однако общества — и мы постараемся объяснить это — не всегда представляют собой единообразные «коллективы». «Социальное воспроизводство» не следует приравнивать к укреплению «социальной сплоченности». Местоположение (локализация) субъектов деятельности и

коллективов в различных секторах или регионах обобщенных социальных систем в значительной мере определяет влияние их привычного поведения на интеграцию социетальных общностей. Здесь мы достигли пределов лингвистических примеров, которые могли бы быть использованы в качестве иллюстрации понятия «дуальность структуры». Множество проблем социального анализа может быть изучено посредством обращения к исследованиям рекурсивных свойств речи и языка. Когда мы произносим грамматически правильное высказывание, то опираемся на те синтаксические правила, которые это высказывание помогает установить. Однако мы говорим на «том же» языке, что и другие члены нашего языкового сообщества; мы все (с теми или иными незначительными поправками) пользуемся сходными правилами и лингвистическими обычаями. Совсем не так может обстоять дело со структуральными свойствами социальных систем в целом. Вместе с тем понятие «дуальность структуры» лежит в другой области, дающей ответ на вопрос, каким образом могут быть осмыслены социальные системы (и лавным образом общества).

Дуальность структуры

<i>Структура (ы)</i>	<i>Система (ы)</i>	<i>Структуриция</i>
Правила и ресурсы, или совокупности отношений преобразования, организованные как свойства социальных систем	Воспроизводимые взаимоотношения субъектов деятельности или коллективов, организованные в виде регулярных социальных практик	Условия, контролирующие целостность или изменение структур, а, следовательно, управляющие воспроизводством социальных систем

Подытожим все вышесказанное. Структура, как регулярно воспроизводящиеся «наборы» правил и ресурсов, существует вне времени и пространства, проявляется в памяти индивидов в виде «отпечатков» социальной практики и отличается «отсутствием субъекта». Социальные системы, обладающие структуральными свойствами, напротив, существуют в виде воспроизводимых в пространстве и времени ситуативных действий субъектов деятельности. Анализ структуриации социальных систем предполагает изучение способов производства и воспроизводства этих систем — основывающихся на осмысленных действиях

актеров, занимающих по отношению друг к другу определенные позиции и использующих правила и ресурсы в разнообразных контекстах деятельности — в процессе взаимодействия. Ключевым понятием теории структурирования является концепция дуальности структуры, логически вытекающая из вышеизложенного обсуждения. Субъектов деятельности и структуры нельзя рассматривать как две независимые друг от друга категории; таким образом, речь в данном случае идет не о дуализме, а о дуальности (или двуединстве). В соответствии с представлениями о дуальности структуры, структуральные свойства социальной системы выступают и как средства производства социальной жизни в качестве продолжающейся деятельности и одновременно как результаты, производимые и воспроизводимые этой деятельностью. Структура не является чем-то «внешним» по отношению к индивидам: будучи своего рода «отпечатками» в их памяти и проявляясь в социальной практике, она представляется скорее «внутренней», нежели внешней (как это считал Дюркгейм) по отношению к их деятельности. Структуру нельзя отождествлять с принуждением, она всегда как ограничивает, так и создает возможности для действия. Это, конечно, не препятствует распространению структуральных свойств социальных систем во времени и пространстве, выходящему из-под контроля индивидуальных субъектов деятельности. Точно так же это не подвергает риску возможность того, что представления самих акторов о социальных системах, созданных и воссоздаваемых ими в процессе их деятельности, могут материализовать эти системы. Рейфикация социальных взаимоотношений или дискурсивная «натурализация» исторически обусловленных обстоятельств и результатов человеческой деятельности является одним из основных аспектов идеологии социальной жизни [27].

Однако даже самые грубые формы материализованного мышления не касаются фундаментально значимой «способности знать», свойственной человеческим существам. Ибо «способность знать» опирается скорее на практическое, нежели дискурсивное сознание. Знание социальных условностей и правил поведения, определяющих собственную деятельность индивида и деятельность окружающих его людей, которое позволяет деятелям ориентироваться в

разнообразных ситуациях социальной жизни, детально и поражает воображение. Все компетентные члены общества имеют опыт и хорошо осведомлены относительно практических аспектов социальной деятельности и являются знатоками «социологами». Знания, которыми они располагают, не являются чем-то второстепенным по отношению к устойчивым моделям социальной жизни, но представляются нам важной составляющей частью их. Мы специально подчеркиваем это, поскольку стремимся избежать ошибок, свойственных функционализму, структурализму и другим ортодоксальным традициям общественной мысли, которые, недооценивая или вовсе игнорируя намерения и резоны самих действующих субъектов — рационализацию действий как процесс, постоянно вовлеченный в структуризацию социальных практик, — искали объяснение значимых для других человеческих действий в явлениях, о которых эти субъекты не имели никаких понятий [28]. Вместе с тем не менее важно остерегаться другой крайности, свойственной герменевтическим подходам и различным вариантам феноменологии, которые склонны рассматривать общество как искусственное порождение человеческих существ. Каждый из этих взглядов являет собой пример ошибочного редукционизма, проистекающего из неспособности соразмерно осмыслить дуальность структуры. Согласно теории структуризации, момент продуцирования действия является одновременно и моментом его воспроизводства в контексте повседневной социальной жизнедеятельности — моментом конструирования определенной социальной практики, как части отношений общества. Подобная ситуация сохраняется даже во время насильственного свержения власти или при наиболее радикальных формах социальных изменений. Рассматривать структуральные свойства социальных систем в качестве «социальных продуктов» некорректно, ибо такой взгляд неявно предполагает наличие неких предопределенных акторов, объединившихся во имя их создания [29]. Напомним, что, воспроизводя структуральные свойства, субъекты деятельности воспроизводят также и условия, которые делают возможными подобные действия и социальные практики. Структура не существует независимо от знаний деятелей относительно того, что они делают в процессе повседневной деятельности. Субъекты деятельности

всегда имеют представление о том, что делают: в виде некоторого описания, существующего на уровне дискурсивного анализа. Однако другие описания могут представлять их деятельность совершенно иным, незнакомым и непривычным, образом; и, кроме того, субъекты могут практически ничего не знать о многочисленных последствиях собственной деятельности.

Дуальность структуры всегда является главным основанием преемственности социального воспроизводства во времени и пространстве. Это в свою очередь предполагает рефлексивный мониторинг деятелей в ходе повседневной социальной деятельности. Однако сознательность всегда ограничена. Поток действий непрерывно производит, которые являются непреднамеренными, и эти непреднамеренные последствия могут также формировать новые условия действия посредством обратной связи. История человечества творится преднамеренной деятельностью, но не является преднамеренным проектом. Она постоянно ускользает от попыток повести ее по какому-то задуманному направлению. Однако подобные попытки постоянно предпринимаются людьми, которые действуют под угрозой и надеждой на то обстоятельство, что являются единственными создателями, творящими собственную «историю», — осознавая этот факт.

Теоретизирование людей по поводу собственной деятельности с очевидностью доказывает, что как социальная теория не является плодом воображения профессиональных обществоведов, так и идеи, генерированные ими, неминуемо «возвращаются», включаясь в саму ткань социальной жизни. В частности, это проявляется в попытках отслеживать и таким образом контролировать чрезвычайно обобщенные условия воспроизводства системы, что весьма характерно и значимо для современного мира. Для осмысления процессов «отслеживания» воспроизводства на концептуальном уровне нам следует ввести некоторые разграничения, благодаря которым станет ясно, что представляют собой социальные системы как воспроизводимые практики в условиях взаимодействия. Очевидно, что взаимоотношения, предполагаемые или реализуемые в социальных системах, чрезвычайно разнообразны с точки зрения степени их «фиксации» и проницаемости. Однако, при-

знав это, мы выделяем два уровня средств, при помощи которых в процессе взаимодействия формируются определенные элементы «системности». Первый — известен и широко распространен в традициях раннего функционализма, где взаимозависимость представляется как своего рода гомеостатический процесс, родственные присущим организму механизмам саморегуляции. С этим нельзя не согласиться, но не стоит и забывать о существовании общепризнанного факта, согласно которому «рыхлость» большинства социальных систем делает любые аналогии с органическим миром весьма условными, а подобный относительно «механистический» способ воспроизводства системы не является единственно и исключительно возможным в человеческих обществах. Гомеостатическая система воспроизводства, функционирующая в человеческом обществе, может рассматриваться в контексте действия каузальных петель, в которых ряд непредвиденных последствий деятельности направлен на возврат к исходному состоянию системы. Однако в ряде случаев мы сталкиваемся с процессами селективной (избирательной) «информационной фильтрации», посредством которой акторы, занимающие стратегически важные позиции, пытаются рефлексивно регулировать общие условия системного воспроизводства с тем, чтобы либо поддержать существующее положение вещей, либо изменить его [30].

Различие между гомеостатическими каузальными петлями и рефлексивной саморегуляцией воспроизводства системы следует дополнить еще одним разграничением, позволяющим говорить о существовании социальной и системной интеграций [31]. «Интеграция» понимается нами как упорядоченные связи, взаимообмены или просто взаимность практик (автономии и зависимости) между индивидами или коллективными действующими лицами [32]. В этом случае социальная интеграция предполагает системность на личном уровне, в ситуации сопresутствия или взаимодействия лицом к лицу. Системная же интеграция относится к взаимодействию с теми, кто отсутствует физически во времени или в пространстве. Механизмы системной интеграции, несомненно, включают в себя механизмы социальной интеграции, однако последние отличаются по ряду ключевых параметров от тех, что вовлечены в процессы взаимодействия на личном уровне (в условиях сопresутствия).

<i>Социальная интеграция</i>	<i>Системная интеграция</i>
Взаимодействия акторов в условиях их сопresутствия	Взаимодействие между индивидуальными или коллективными дейст­во­вателями в расширенных пространственно-временных промежутках

ФОРМЫ ИНСТИТУТОВ

Аналитическое разделение двух аспектов правил — производящих значения (структурирующих каждодневный дискурс и взаимные понимания действий как «значимых» для участников взаимодействия. — *Пер.*) и санкционирующих способы социального поведения, а также понятие ресурсов, фундаментальное с точки зрения осмысления власти, приводит нас к различным выводам, на которых следует остановиться особо [33]. То, что мы именуем «модальностями» структуриации, служит делу прояснения основных параметров дуальности структуры во взаимодействии, связывая познавательные способности деятелей со структуральными свойствами. В процессе воспроизводства систем взаимодействия акторы опираются на модальности структуриации, воссоздавая таким образом их структуральные свойства. Стоит подчеркнуть, что коммуникация значений в процессе взаимодействия отделима от действия нормативных санкций только аналитически. Это очевидно, например, поскольку использование языка само по себе санкционировано самой сущностью его «общественного» характера [34]. Отождествление действий или аспектов взаимодействия — их точное описание, герменевтически укорененное в способности индивида «функционировать» должным образом в тех или иных жизненных ситуациях — предполагает переплетение значений, нормативных элементов и власти. Это нагляднее всего прослеживается в достаточно распространенных обстоятельствах социальной жизни, где оспаривается само содержание социальных явлений, в том виде в каком оно обычно описывается. Осознание предмета подобных споров, различающихся и частично совпадающих описаний или характеристик деятельности является важным элементом «понимания образа жизни», хотя это и не оговаривается в работах таких авторов, как Винч, рассматривающих формы жизни как унифицированные и согласованные одновременно [35].

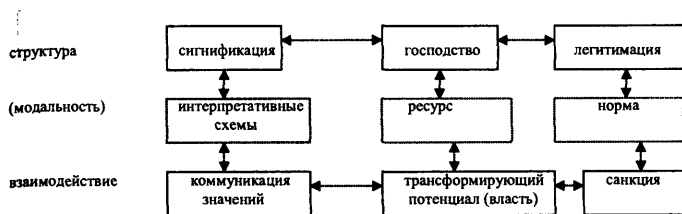


Рис. 2

На рис. 2 изображены характеристики дуальности структуры [36]. В процессе непрерывной, систематической ежедневной деятельности ее субъекты способны не только рефлексивно отслеживать собственные действия и поведение других людей, но и «контролировать подобный мониторинг» на уровне дискурсивного сознания. «Интерпретационные (объяснительные) схемы» представляют собой способы типизации, являющиеся частью запасов знаний акторов, рефлексивно используемых ими в целях поддержания коммуникативных процессов. Запасы знаний, к которым в процессе производства и воспроизводства взаимодействий обращаются субъекты деятельности, аналогичны тем, которые используются ими при приписывании значений, обосновании действий и т. д. [37]. Коммуникацию значений, как и все аспекты контекстуальности деятельности, не следует трактовать просто как событие, имеющее место в пространстве и во времени. Субъекты деятельности регулярно включают пространственные и временные характеристики взаимодействий в процессы построения смысловых значений. Будучи основным элементом взаимодействия, коммуникация является более содержательным понятием, чем коммуникативное намерение (цель коммуникации — то, что актор «предполагал» сказать или сделать). Здесь нам следует остерегаться двух форм возможного редукционизма. Некоторые философы пытались построить всеобъемлющие теории значений или коммуникаций исходя из коммуникативных намерений; другие, напротив, предполагали, что коммуникативное намерение (или цель коммуникации) в лучшем случае несущественно в плане конституирования (производства) значимых качественных характеристик взаимодействия, а «значение» определяется структурным порядком знако-

вых систем. В теории структуризации, однако, они рассматриваются как одинаково интересные и значимые, скорее как аспекты дуальности, нежели как несовместимые и взаимоисключающие элементы двойственности.

В обыденном английском представлении об «ответственности и подотчетности» убедительно указывает на пересечение интерпретационных схем и норм. Быть «ответственным» за чьи-либо действия, значит излагать и объяснять их причины, а также «подводить» под них нормативные основания, посредством которых возможно «находить этим действиям оправдание». Нормативные компоненты взаимодействия концентрируются на отношениях между правами и обязанностями тех, кто участвует в ряде обстоятельств взаимодействия. Формально кодифицированные нормы поведения, такие, например, как те, что изложены в виде законов (по крайней мере в современных обществах), обычно претендуют на определенную симметрию между правами и обязанностями, подкрепляющими и оправдывающими друг друга. Однако на практике подобная симметрия может отсутствовать, и этот факт мы хотим подчеркнуть особо, поскольку и «нормативный функционализм» Парсонса, и «структуралистский марксизм» Альтюссера (Althusser) чрезмерно преувеличивают степень «интернализации» нормативных обязательств членами общества [38]. Ни та, ни другая точка зрения не совместимы с теорией деятельности, рассматривающей людей в качестве способных к познанию деятелей, рефлексивно отслеживающих потоки взаимодействий друг с другом. Когда социальные системы воспринимаются главным образом с позиций «социального объекта», основной акцент делается на всепроникающем влиянии нормативно согласованного легитимного порядка, как абсолютной детерминанты, «программирующей» социальное поведение. Подобная перспектива скрывает или маскирует тот факт, что нормативные элементы социальных систем представляют собой условные требования, которые поддерживаются и «имеют значение» благодаря эффективной мобилизации санкций в условиях реальных взаимодействий. Нормативные санкции отражают структурную асимметрию господства и отношения людей, номинально подчиненных им, могут отличаться от выражения приверженности, которую, как предполагается, эти нормы порождают.

Подчеркнем, что преимущественный анализ структуральных свойств социальных систем представляется нам обоснованным только в том случае, если он останавливается на определенных аспектах рефлексивно отслеживаемого социального поведения. Аналитически возможно различить три структурных аспекта социальных систем: сигнификацию (или означение), господство и легитимацию. Содержание анализа этих структуральных свойств приводится на рис 3.



Рис. 3

Теория порождения знаков, используемая при исследовании смысловых структур, должна принимать во внимание исключительные успехи, достигнутые в области семиотики за последние десятилетия. В то же время нам не следует ассоциировать семиотику со структурализмом и его недостатками, связанными с анализом человеческой деятельности. Знаки «существуют» только как средство и итоговый результат коммуникативных процессов, имеющих место при взаимодействии. Представления о языке, свойственные структурализму (подобно аналогичным дискуссиям относительно легитимации), склонны рассматривать знаки как заданные и фиксированные свойства речи или письма, отстраняясь от изучения их рекурсивной подоплеки, сокрытой в коммуникации значений.

Структуры сигнификации возможно усвоить только в их взаимосвязи с господством и легитимацией. И все это благодаря всепроникающему влиянию власти в социальной жизни. В этом контексте можно выделить ряд достаточно конкретных установок, которые, на наш взгляд, следует тщательно избегать. Так, некоторые существенные вопросы были выдвинуты на передний план и озвучены Ю. Хабермасом в его критике воззрений Ханса Георга Гадамера (Gadamer) и последовавших за ней дебатах [39]. Помимо

всего прочего, Хабермас критикует Гадамера за его представления о лингвистически насыщенных «традициях», не способные продемонстрировать, что структуры значений имманентно предполагают властные дифференциации. Подобная критика вполне обоснована, но Хабермас стремится развить свои идеи дальше и показать значимость «систематически искажаемых» форм коммуникации. На этой основе, однако, ему не удастся удовлетворительно интегрировать концепцию власти и институциональную теорию. «Господство» не тождественно «систематически искажаемым» структурам сигнификации, ибо оно — в том смысле, в котором понимаем его мы, — есть само условие существования кодов значений [40]. «Господство» и «власть» нельзя представлять исключительно в терминах асимметрии распределения, скорее, мы имеем дело с чем-то, неотъемлемо присутствующим социальным ассоциациям (или, с нашей точки зрения, человеческой деятельности как таковой). Таким образом — и здесь мы должны принять во внимание выводы, сделанные в работах Фуко, — власть нельзя рассматривать как явление, пагубное по самой сути своей, или просто как возможность «сказать нет»; точно также господство невозможно «преодолеть» в условиях мифического общества будущего, что так упорно стремились доказать некоторые направления философии социализма.

В чем состоит смысл заявлений, согласно которым семиотика имеет преимущество над семиотикой, а не наоборот? Нам кажется, что его можно прояснить путем сравнения структуралистских и постструктуралистских представлений о значении, с одной стороны, и взглядов позднего Виттгенштейна, с другой [41]. Появление теории, согласно которой значение создается «различиями» между родственными понятиями, в которых, согласно Ф. Де Соссюру (Saussure), отсутствуют «позитивные ценности», неизбежно приводит нас к точке зрения, подчеркивающей превосходство семиотики. Пространство знаков, системы значений возникают благодаря упорядоченному характеру различий, которые заключают в себе знаки. «Уход в знаки» — откуда затруднительно или даже невозможно заново выйти в мир реальной деятельности и событий — представляет нам тактику, весьма характерной для авторов, приверженных традициям структурализма и постструктурализма.

Однако подобный уход вовсе не является неотвратимым, если мы отдаем себе отчет в том, что относительный характер кодовых знаков, порождающих значение, обусловлен упорядочением социальных практик, самой возможностью «функционировать» в условиях множественности контекстов социальной деятельности. Это открытие было сделано (хотя и на совершенно ином философском «фоне») самим Виттгенштейном, когда он пересматривал основные идеи, представленные в его ранних работах. Тогда как анализ языка и значения «ранним» Виттгенштейном заканчивается достаточно парадоксально — напоминая отчасти знаменитый индийский фокус с веревкой — поздние взгляды автора обращаются к рутинным социальным практикам. Даже наиболее замысловатые и трудные для понимания семиотические отношения основываются на семантических свойствах, порождаемых нормами повседневной деятельности.

Обращаясь к терминологии нашей таблицы, отметим, что «знаки», используемые в качестве основы сигнификации, не следует отождествлять с «символами». Многие авторы склонны рассматривать эти понятия как идентичные, мы же считаем символы, видоизменяемые в рамках символических порядков, одним из основных аспектов «кластеризации» институтов [42]. Символы сгущают «избытки значений», свойственные и обусловленные поливалентным характером знаков; они соединяют пересечения знаков, особо ценные и плодородные в разнообразных формах смысловых ассоциаций, действуя аналогично метафорам и метонимиям. Символические порядки и связанные с ними способы дискурса являются главным институциональным локусом идеологии. Однако в теории структуриации идеология не рассматривается в качестве специфического «типа» символического порядка или формы дискурса. Так, например, невозможно разделить «идеологический дискурс» и «науку». Понятие «идеология» относится только к тем асимметриям господства, которые соединяют сигнификацию с легитимацией частных интересов [43].

На примере идеологии можно удостовериться, что структуры сигнификации отделимы от господства и легитимации исключительно на уровне аналитического приема. Господство зависит от мобилизации двух различных типов ресурсов. Аллокативные ресурсы относятся к возможностям — или, что более точно, разновидностям способности

трансформировать — распоряжаться материальными объектами, вещами и т. п. Авторитативные ресурсы (или полномочия) предполагают способность управлять, командовать другими людьми или акторами. Может показаться, что некоторые виды аллокативных ресурсов (такие как сырье, земля и т. п.) «существуют реально», хотя, как мы заявляли ранее, это не характерно для структуральных свойств в целом. В определенном смысле, с точки зрения обладания пространственно-временным наличием, это соответствует действительности. Однако «материальность» этих объектов абсолютно не влияет на тот факт, что они становятся ресурсами (в том значении, которое приписываем этому термину мы) только будучи включенными в процессы структуриации. Трансформируемый характер ресурсов логически равносителен, равно как и по сути своей взаимосвязан с аналогичными свойствами знаковых кодов и нормативных санкций.

Вышеупомянутая классификация институциональных порядков основывается на противостоянии тому, что в ряде случаев именуется «субстантивистскими» концепциями «экономических», «политических» и других институтов. Мы можем представить соответствующие взаимосвязи (отображаемые Гидденсом через сочетание начальных букв терминов.— Пер.) следующим образом:

- S-D-L : символические порядки / способы дискурса
 D (полн.)-S-L : политические институты
 D (распр.)-S-L : экономические институты
 L-D-S : правовые институты
 где S = сигнификация, D = господство, L = легитимация.

«Субстантивистские» концепции предполагают определенную институциональную дифференциацию этих разнообразных порядков. Иными словами, считается, например, что «политика» возможна лишь в обществах с развитыми формами государственных органов управления и т. п. Вместе с тем исследования антропологов убедительно доказали, что явления, относящиеся к разряду «политических» — те, что имеют дело с упорядочением властных отношений, — встречаются во всех обществах. То же самое можно сказать и о других институциональных порядках. Особенно осторожно следует подходить к осмыслению понятия «эконо-

мический», даже определив для себя, что оно не требует в качестве предварительного условия наличия четко дифференцированной «экономики». В ряде работ по экономической проблематике наблюдается явная тенденция к «заученному повторению» общих, традиционно-культурных представлений, имеющих смысл исключительно в условиях рыночной экономики. Невозможно должным образом определить родовое понятие «экономический», апеллируя к борьбе за дефицитные ресурсы [44]. Подобная трактовка будет сродни определению власти через обращение единственно к борьбе частных интересов и групп. Основной особенностью и характеристикой термина «экономический» является не недостаток ресурсов как таковых и не борьба или противоречия, сконцентрированные вокруг их распределения. Скорее, сфера «экономического» определяется и фиксируется неотъемлемо конструктивной ролью аллокативных ресурсов в структуриации социетальных общностей. И еще одно предостережение. Если мы утверждаем, что все общества страдают от нехватки ресурсов, то вполне естественно будет допустить, что конфликты, связанные с распределением дефицита, представляют собой основной двигатель социального прогресса — именно это предполагается не только в некоторых версиях исторического материализма, но и в различных немарксистских теориях. Однако подобное допущение является одновременно логически неполноценным (зависящим от поверхностных форм функциональных рассуждений) и эмпирически ложным [45].

Время, тело, взаимодействие

Завершая наше краткое вступление, вернемся к теме времени и истории. Как конечность *Dasein* и «бесконечность возникновения бытия из небытия» время является, пожалуй, наиболее загадочной характеристикой человеческого опыта. Не даром (!) философом, предпринявшим попытку разобраться с этой проблемой самым фундаментальным образом, стал М. Хайдеггер, вынужденный использовать терминологию, пугающую своей неопределенностью. Однако время, или формирование опыта в пространстве — времени, является банальной и очевидной особенностью по-

вседневной жизни людей. Сущность ставящего в тупик и сбивающего с толку характера времени объясняется отчасти отсутствием «соответствия» между нашим беспроблемным овладением непрерывным потоком поведения в пространстве и времени и трудностью его восприятия с философских позиций. Мы не претендуем на объяснение и разрешение этого вопроса — «проблемы Святого Августина». Однако основным интересом социальной теории является, с нашей точки зрения — «проблема порядка», представляемая нами, иначе, чем Парсонсом — объяснение того, как ограничения индивидуального «присутствия» преодолются посредством «растягивания» (stretching) социальных отношений в пространстве и времени.

Можно сказать, что *протяженность* повседневной жизни проявляется аналогично тому, что Леви-Стросс называет «обратимое время». Является ли время «как такое» обратимым или нет, события и рутина повседневной жизни не связаны с ним односторонним потоком движения. Понятия «социальное воспроизводство», «рекурсивность» и т. п. отражают повторяющийся характер повседневной жизни, общепринятые практики которой формируются в терминах пересечения преходящих (но непрерывно возвращающихся) дней и времен года.

протяженность повседневного (обыденного) опыта: «обратимое время»

отрезок жизни индивида: «необратимое время»

длительная протяженность институтов: «обратимое время»

Рис. 4.

Повседневная жизнь обладает продолжительностью, течением (или потоком), однако никуда не ведет; само прилагательное «повседневный» и его синонимы указывают на то, что время конституируется многократной повторяемостью. Жизнь индивида, напротив, не только конечна, но и необратима — «существование во имя смерти». «Это смерть, умирать и знать это. Это Черная Вдова, смерть» (Lowell). В данном случае время представляет собой продолжительность существования тела, границу или рубеж присутствия, отличные от «испарения» времени-пространства, свойственного протяженности повседневной деятельности. Наши

жизни «прекращаются» в необратимом времени, уходят со смертью организма. Тот факт, что мы говорим о «жизненном цикле», подразумевает наличие повторяющихся элементов и здесь. Однако в действительности жизненный цикл представляет собой понятие, относящееся к преемственности поколений и, таким образом, к третьему измерению темпоральности, обозначенному выше. Это «надивидуальная» *протяженность* долговременного существования институтов, *длительная протяженность* институционального времени.

Обратимое время институтов является одновременно условием и следствием практик, организованных в непрерывной последовательности повседневной жизни, основной формой существования дуальности структуры. Однако, как мы уже упоминали выше, некорректно утверждать, что рутинные практики обыденной жизни представляют собой «фундамент», на котором во времени и пространстве возводится здание институциональных форм социетальной организации. Скорее, каждая из них участвует в создании другой, а все вместе они формируют действующую личность. Все социальные системы, независимо от того, насколько они могущественны или обширны, одновременно выражают и отображаются в рутине повседневной социальной жизни, опосредуя физические и сенсорные свойства человеческого тела.

Эти рассуждения весьма значимы для понимания взглядов, изложенных в настоящей книге. Тело представляется нам «локусом» (ключевой точкой) действующей самости, однако, последняя не является только расширением физических свойств и характеристик организма как его «носителя». Построение теории самости предполагает обращение к понятию мотивации (или мы будем это утверждать) и соотнесение мотивации со взаимосвязями между бессознательными и осознанными качествами деятеля. «Самость» не может быть понята вне контекста «истории», рассматриваемой в данном случае как временность (темпоральность) человеческих практик, выраженная во взаимной интерполяции трех обозначенных нами измерений.

Ранее нами было введено в обращение понятие соприсутствия, относящееся к социальной интеграции. Изучение взаимодействия в ситуации соприсутствия является существенным элементом «заклучения в скобки» времени и про-

странства — условия и результата социальных связей людей. «Системность» достигается здесь главным образом за счет рутинного рефлексивного мониторинга поведения, закрепленного в общественном сознании. Отношения в условиях соприсутствия состоят из того, что Гофман к месту называет взаимодействиями, исчезающими во времени и пространстве. Никто не анализировал взаимодействия так тщательно как Гофман, а посему в ходе нашего повествования мы будем не раз ссылаться на его работы. Значимость исследований Гофмана в немалой степени обусловлена его вниманием к временному и пространственному упорядочению социальной деятельности. Он является одним из немногих социологов, рассматривающих пространственно-временные отношения в качестве основы производства и воспроизводства социальной жизни, вместо того, чтобы трактовать их как некие «границы» социальной деятельности, которые вполне можно оставить «на откуп» «специалистам» — географам и историкам. Вместе с тем, ученые, работающие в номинально обособленной предметной области географии, внесли свой независимый вклад. Так, мы не только предполагаем, что временная география Хагерстранда (с соответствующими критическими исправлениями) предлагает формы анализа значимости теории структуриации, но и считаем, что некоторые вовлеченные в рассмотрение идеи прямо дополняют представления Гофмана.

Мы уже говорили о том, что отношения с теми, кто физически отсутствует, предполагает социальные механизмы, отличные от тех, что работают в ситуации соприсутствия. Здесь мы сталкиваемся с рядом основополагающих вопросов, касающихся структурирования институтов. Они представляют собой «боковую ветвь» — особенно в современном мире наших дней, подверженном масштабной экспансии пространственно-временного дистанцирования социальной деятельности. Однако одновременно привлекают внимание к проблеме «истории», поскольку категория «отсутствующие другие» включает и ушедшие поколения, чье «время» может значительно отличаться от времени тех, кто подвергается определенному воздействию последствий собственных действий. Эти вопросы будут рассмотрены нами в заключительных главах.

Комментарии

1. Подробный анализ основных понятий теории структуризации изложен в *NRSM*, гл. 2 и 3, а также в *CCHM*, гл. 1 и 2.
2. *CPST*, с. 56–57.
3. *CPST*, гл. 1.
4. Donald Davidson, «Agency», in *Essays on Actions and Events* (Oxford: Clarendon Press, 1980), с. 45
5. *NRSM*, гл. 2.
6. Joel Feinberg, «Action and responsibility», in Max Black, *Philosophy in America* (Ithaca: Cornell University Press, 1965). Содержание понятия «последствия» обсуждается в: Lars Bergström, *The Alternatives and Consequences of Actions* (Stockholm: Almqvist, 1966).
7. Thomas Schelling, «On the ecology of micromotives», *The Public Interest*, vol. 25. 1971; «Dynamic models of segregation», *Journal of Mathematical Sociology*, vol. 4, 1971. Также см. дискуссию по вопросу в: Raymond Boudon, *The Unintended Consequences of Social Action* (London: Macmillan, 1982), с. 43ff.
8. *NRSM*, с. 76.
9. Мертон благоволил, однако, термину «непредвиденные» последствия, предпочитая его понятию «непреднамеренных следствий». В нашем анализе концепция «намерения» предполагает осведомленность субъекта относительно возможных последствий того или иного действия, а потому подразумевает и ожидание или предвкушение («предвидение») их. Конечно, можно предвидеть некие события, не стремясь к ним, но вместе с тем невозможно, намереваясь получить определенные результаты, не ждать их появления. R.K. Merton, «The unanticipated consequences of purposive action», *American Sociological Review*, vol. 1, 1936; он же, «Manifest and latent functions», in *Social Theory and Social Structure* (Glencoe: Free Press, 1963).
10. Merton, «Manifest and latent functions», с. 51.
11. Там же, с. 64–65.
12. Подробнее см. *CPST*, гл. 6.
13. Max Weber, *The Methodology of the Social Sciences* (Glencoe: Free Press, 1949).
14. Mancur Olson, *The Logic of Collective Action* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1965); Boudon, *The Unintended*

- Consequences of Social Action*; Jon Elster, *Logic and Society, Contradictions and Possible Worlds* (Chichester: Wiley, 1978); Jon Elster *Ulysses and the Sirens* (Cambridge: Cambridge University Press, 1979).
15. Boudon, *The Unintended Consequences of Social Action*, гл. 2.
 16. Дальнейшее обсуждение этой темы см.: «Власть, диалектика контроля и классовая структура» в Anthony Giddens and Gavin Mackenzie, *Social Class and the Division of Labour* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
 17. Peter Bachrach and Morton S. Baratz, «The two faces of power», *American Political Science Review*, vol. 36, 1962; *Power and Poverty* (New York: Oxford University Press, 1970); Lukes Steven, *Power: A Radical View* (London: Macmillan, 1974). Сравнительное обсуждение проблемы см.: CPST, с. 88–94.
 18. John R. Searle, *Speech Acts* (Cambridge: Cambridge University Press, 1969), с. 34–35.
 19. Ludwig Wittgenstein, *Philosophical Investigations* (Oxford: Blackwell, 1972), с. 59.
 20. Там же, с. 81.
 21. Там же.
 22. Там же.
 23. CPST, с. 80ff.
 24. Harold Garfinkel, «A conception of, and experiments with, «trust» as a condition of stable concerted actions», in O.J. Harvey, *Motivation and Social Interaction* (New York: Ronald Press, 1963).
 25. Erving Goffman, *Frame Analysis* (New York: Harper, 1974), с. 5.
 26. В работе NRSМ мы не считали необходимым различать понятия «структура» и «структуры» и непреднамеренно использовали последнее в качестве синонима первого.
 27. CPST, с. 195–196.
 28. Для сравнения см.: Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism* (Brighton: Harvester, 1979), гл. 2.
 29. Там же, с. 48.
 30. Для сравнения, там же, с. 78–79. В данном контексте мы выделяем три уровня «системности», которые в целях упрощения сокращаем здесь до двух.

31. Это отличие было введено в обращение Д. Локвудом (Lockwood), который, однако, употреблял его иначе, нежели мы: David Lockwood, «Social integration and system integration», in George Z. Zollschan and W. Hirsch, *Exploration in Social Change*. — London: Routledge, 1964).
32. Формулировка понятия «системная интеграция», предложенная нами в CPST, с. 77, была довольно неопределенной и неоднозначной. Мы не стали прояснять, от чего зависят и чем определяются различия между социальной и системной интеграцией — разграничением феноменов «соприсутствия» и «отсутствия» в социальных взаимоотношениях или отличием связей, соединяющих индивидуальных субъектов действия, в противоположность тем, что объединяют коллективы. В данном контексте мы полагаем более адекватным противопоставление «соприсутствие» — «отсутствие», вместе с тем эти основания настолько переплетены, что наша предыдущая недоработка вряд ли имела серьезные последствия.
33. CPST, гл. 2.
34. Для сравнения: Paul Ziff, *Semantic Analysis* (Ithaca: Cornell University Press, 1960).
35. Для сравнения: Hanna F. Pitkin, *Wittgenstein and Justice* (Berkeley: University of California Press, 1972), с. 241–264.
36. Подобному стилю представления этих отношений мы обязаны Д. Грегори (Gregory); см. его работу *Regional Transformation and Industrial Revolution* (London: Macmillan, 1982), с. 17.
37. Peter Marsh et al., *The Rules of Disorder* (London: Routledge, 1978), с. 15 и далее.
38. NRSМ, с. 108–110.
39. Jürgen Habermas, *Zur Logik der Sozialwissenschaften* (Tübingen: Siebeck & Mohr, 1967); «On systematically distorted communication», *Inquiry*, vol. 13, 1970.
40. Для сравнения см.: «Habermas's critique of hermeneutics» в SSPT.
41. См. CPST, с. 33–38.
42. Paul Ricoeur, «Existence and hermeneutics», in *The Conflict of Interpretations* (Evanston: Northwestern University Press, 1974).
43. Развитие этой точки зрения см. в: CPST, гл. 5. Символические порядки и способы дискурса формируют «культурные» аспекты социальных систем. Однако мы полага-

ем, что, наряду с такими понятиями, как «общество» и «история», термин «культура» несет на себе двойную нагрузку, и призываем говорить о «культурах» в широком смысле этого слова, считая, что в таком варианте этот термин равнозначен понятию «общества»; вместе с тем в ряде случаев необходимо употреблять эти термины более аккуратно.

44. Для сравнения: Karl Polanyi *et al.*, *Trade and Market in the Early Empires* (New York: Free Press, 1957), с. 243–270 и далее.
45. Основания этих утверждений детально излагаются во введении и гл. 3 ССНМ.

Сознание, самость* и социальные взаимодействия

В этой главе мы постараемся осветить целый ряд вопросов. Прежде всего речь пойдет о фундаментальных проблемах концептуального характера, которые возникают вследствие попыток применить основные понятия теории структуры при объяснении бессознательного. Это в свою очередь поднимает вопрос о том, как наилучшим образом содержательно осмыслить «Я» («I») рефлексирующего субъекта. Далее мы перейдем к рассмотрению психологических основ взаимодействия сознания и бессознательного, руководствуясь по преимуществу работами Эриксона (Erikson). Наш главный тезис будет заключаться в том, что подобное описание (или объяснение) неизбежно ведет к рассмотрению социальных вопросов, связанных с рутинным характером повседневной жизни. Прибегнув к анализу «критических ситуаций», в которых обычный порядок вещей подвергается радикальным изменениям, мы попытаемся продемонстрировать, как рефлексивный контроль за социальными взаимодействиями в условиях соприсутствия согласуется с деятельностью бессознательных структур личности. Это позволит нам оценить некоторые положения Гофмана, касающиеся взаимоотношений между сопresentствующими субъектами. Позиция, которой мы будем неуклонно придерживаться в ходе нашего изложения, заключается в том, что ключевым моментом действующей «самости» является тело, расположенное в пространстве-времени.

* Термин введен в социологический оборот основоположником концепции символического интеракционизма Дж. Г. Мидом [см. *Mead George H. Mind, Self and Society*. Chicago: University of Chicago Press, 1934].

Рефлексивность, дискурсивное и практическое сознание

Фрейд выделяет в человеческой психике три структурных компонента, представленных в английском языке довольно неудачными терминами «Ид» (Id), «Эго» (Ego) и «Супер-Эго» (Super-Ego). Полагая, что они не являются единственно целесообразными, воспользуемся терминами трехчленного деления, предложенными в стратификационной модели психики: «базисная система безопасности», «практическое сознание» и «дискурсивное сознание». Эти понятия не имеют непосредственных параллелей с категориями, предложенными Фрейдом. Пересекающиеся плоскости моделей и норм организации человеческого поведения включаются во все три указанные структуры личности. Вместе с тем, «I» (*das Ich*) находится в центре дискурсивного сознания, а потому требует к себе особого внимания. Для решения стоящей перед нами задачи обозначим проблемы, связанные с употреблением фрейдовских понятий и проистекающие главным образом из вопроса о субъекте деятельности [1]*.

Хотя субъектом действия у Фрейда, безусловно, является индивид, он часто рассматривал Ид, Эго и Супер-Эго как самостоятельно действующие элементы, функционирующие в рамках личности. Вплоть до 1920-х гг. Фрейд употреблял термин *das Ich* (Эго) для обозначения как самой личности, так и отдельной сферы психического. То же самое можно сказать в отношении понятия «Супер-Эго», иногда отличаемого автором от концепции «идеального Я». По-видимому, подобная терминологическая путаница является индикатором более серьезной и глубокой концептуальной проблемы. Если предположить, что *das Ich* является компонентом психики, то как тогда можно объяснить высказывание Фрейда, согласно которому Эго «отвечает за игнорирование неприемлемых идей и взглядов»? [2] Можно ли утверждать, что решение, принимаемое Эго, представляет собой некую миниатюрную модель процесса принятия решений субъектом? Очевидно, это не имеет никакого смысла. Фрейд пишет также и о «желании Эго уснуть»; вместе с тем,

* См. комментарии на с. 168–173.

согласно его концепции, оно «стоит на страже», охраняя спящего от худших порождений бессознательного. Возникает аналогичный вопрос: кто спит и чей сон охраняется — Эго или субъекта? И, наконец, главной функцией Эго является, по Фрейду, самозащита (self-preservation), которая осуществляется путем «научения представлять происходящие в окружающем мире изменения с выгодой для себя» [3]. Однако какую «самость» защищает Эго? Является ли то, что выгодно для Эго, выгодным и для нас?

Современные исследователи научного наследия Фрейда традиционно утверждают, что вводящий в заблуждение антропоморфизм, характерный для его работ, исчезает, если мы обращаемся к Ид, Эго и Супер-Эго как к неким «процессам» или «силам». На наш взгляд, подобная тактика малоэффективна, ибо, используя эти понятия, практически невозможно постичь природу человеческого поведения должным образом. Сам Фрейд действительно говорит о потоках, блоках энергии и т. п., но эти представления образуют затем своего рода механистическую концепцию происхождения человеческого поведения, которая ассоциируется с наиболее примитивными формами объективизма. Отчасти эта проблема связана с употреблением терминов «Эго», «Супер-Эго», «Ид» (как в оригинальном немецком, так и в английском вариантах), каждый из которых несет на себе дополнительную смысловую нагрузку, подразумевающую деятельность, т. е. указывает на существование некоего «мини-субъекта» деятельности внутри субъекта как такового. В такой ситуации лучше всего вообще отказаться от терминов «Ид» и «Супер-Эго», признав при этом самобытность понятия *das Ich*, или «I».

Предположим, что «I» есть субъект деятельности. Несмотря на тот факт, что это утверждение является исходным положением ряда философских школ (от картезианства до философии Дж. Мида (Mead)), оно явно ошибочно. В своих работах Мид подробно рассматривает процессы, посредством которых «самость» (self) проявляется в качестве «Me» («Мое»). Однако в этом случае «Я» изображается как некое заданное ядро деятельности, а его происхождение всегда остается загадочным или в лучшем случае малопонятным. Чтобы связать «Я» с деятельностью, необходимо пойти путем децентрализации субъекта, предложенным струк-

туралистами, избегая при этом выводов, рассматривающих субъекта как знак или символ, существующий внутри смысловой структуры. Формирование «Я» происходит исключительно посредством «дискурса Другой» — иными словами, путем освоения языка — однако «Я» должно быть связано и с телом, как сферой деятельности. С точки зрения лингвистики, «Я» выступает как своего рода «переводной механизм или преобразователь»: необходимость «позиционирования» (нахождения своего места) в социальном окружении позволяет определить, кто есть «Я», в ситуации разговора. Хотя у нас может появиться соблазн рассматривать «Я» как некую сущность, связанную с богатейшими и самыми сокровенными аспектами нашего опыта, не стоит забывать, что это понятие представляет собой один из наиболее поверхностных терминов языка [4]. Ибо «Я» соотносено исключительно с говорящим, «субъектом» предложения или высказывания. Согласно Миду, субъект, освоивший употребление «I» (Я), умеет использовать и «Me» (*мое, мне и т. п.*), что достигается посредством овладения синтаксически дифференцированным языком, иными словами, на той стадии языкового развития, которая позволяет различать «I» и «Me» в процессе коммуникации. Так, я должен знать, что я это «Я», когда я говорю с «Тобой», но ты это «Я», а я это «Ты», когда ты говоришь со «Мной», и т. д. Мы считаем, что осуществление подобных операций не только предполагает достаточно высокий уровень владения языком, но и влечет за собой необходимость сложного рефлексивного контроля за телом, а также умение вести себя в различных контекстах (обстоятельствах) социального окружения.

Признание важности рефлексивного контроля за собственным поведением в повседневной социальной жизни вовсе не умаляет значимости бессознательных источников познания и мотивации. При этом, однако, не стоит забывать о различиях между «сознанием» (или «сознательным») и «бессознательным».

Проанализируем традиционное употребление этих понятий в английском языке. Иногда мы говорим о сознании как эквиваленте того, что может быть названо «чувствительностью» [5]. Так, когда человек спит или оглушен ударом по голове, мы говорим, что он «потерял сознание» или «лишился чувств». «Бессознательное» обозначает здесь нечто,

отличное от того, что имеют в виду ортодоксальные психоаналитики, а «сознание», которому оно противопоставляется, трактуется весьма широко. В этом контексте быть «в сознании» — значит воспринимать различные воздействия окружающей среды. Подобное понимание не имеет прямого отношения к собственно рефлексивному «сознанию», ибо «терять сознание» или «приходить в сознание» могут не только люди, но и высшие животные. Скорее, речь идет о некоторых сенсорных механизмах тела и их «стандартных» функциях; а само представление предваряется понятиями практического и дискурсивного сознания.

В ряде случаев термин «сознательное» используется применительно к тем обстоятельствам или условиям, в которых человек обращает внимание на происходящие вокруг события для того, чтобы соответствующим образом скоординировать свою деятельность. Другими словами, оно (сознательное) относится к рефлексивному контролю за собственным поведением или тому, что мы привыкли называть «практическое сознание». Так, например, учитель может «осознавать», что делают дети, сидящие в классе на передних партах, и «не замечать», что на задних рядах ученики начали болтать на посторонние темы. В этом случае мы сталкиваемся с невнимательностью, но отнюдь не с бессознательностью — состоянием, характерным для индивида, «потерявшего сознание». Если это значение «сознательного» и имеет аналог в животном мире, то во всяком случае уже не столь очевидный. Третье определение «сознательного», отнесенное Стивеном Тулмином (Toulmin) к разряду «способностей артикулировать», в общем и целом соответствует дискурсивному сознанию [6]. В качестве иллюстрации Тулмин приводит следующий пример: бизнесмен, зарабатывающий деньги, обманывая своих клиентов, занимается «сознательным и умышленным мошенничеством». Если же его действия непреднамеренны и он не осознает их возможные последствия, то этот человек становится причиной чьих-то финансовых проблем «бессознательно». Иначе говоря, для того чтобы деятельность осуществлялась «сознательно», человек должен «думать» о том, что он или она делает. В этом смысле «сознание» есть способность отдавать себе отчет в собственных действиях и породивших их причинах.

Бессознательное, время, память

Совершенно очевидно, что психоаналитическая трактовка «бессознательного» должна каким-то образом справиться с различием, существующим между ней и вышеупомянутым третьим значением «сознания» (или «сознательного») — тем, что мы обозначили как дискурсивное сознание. Дискурсивное сознание есть способность артикулировать или выражать происходящее с помощью слов. Термин «бессознательное», в том виде, в котором он используется в психоанализе, означает нечто противоположное — неспособность артикулировано высказать побудительные причины тех или иных действий.

Для того чтобы развить наши представления о «бессознательном», необходимо сказать несколько слов о памяти, ибо память и язык очевидно связаны между собой. Мы полагаем, что «бессознательное» можно объяснить только посредством обращения к памяти, а это в свою очередь требует тщательного исследования того, что представляет собой последняя. И здесь мы снова сталкиваемся с проблемами теоретического осмысления времени, значение которых подчеркивалось нами ранее.

- (1) На первый взгляд может показаться, что память имеет отношение только к минувшим дням — прошлому опыту, следы которого каким-то образом зафиксировались в организме. В таком случае человеческая деятельность разворачивается в пространстве настоящего, а воспоминания о прошлом привлекаются, когда они необходимы или желательны. Несостоятельность подобного подхода обнаруживается при попытке рефлексии того, что представляет собой настоящий момент. «Настоящее» не может быть выражено словами или представлено в письменном виде, не «растворяясь» в прошлом. Если время есть не последовательный ряд «текущих моментов», а «непосредственное присутствие» (в том смысле, в котором его понимал Хайдеггер), то память есть аспект присутствия.
- (2) Можно предположить, что память, кроме всего прочего, есть инструмент воспоминаний или средство активизации прошлого — способ восстановления, извлечения или «воспоминания» необходимой информации. Эта точ-

ка зрения определенно согласуется с представлением, согласно которому между прошлым и будущим имеется четкая граница, а память является средством воскрешения прошлого в настоящем. Однако если это не так, то определение памяти как воспоминания о прошедших событиях теряет свою убедительность. Название, предложенное Прустом, следует воспринимать как иронический комментарий по поводу такого рода примитивных взглядов и представлений. Совершенно очевидно, что способность вспоминать (или воскрешать события ушедших дней) имеет отношение к памяти, но никоим образом не определяет ее содержания.

Основываясь на вышеизложенном, можно с уверенностью заключить, что память тесным образом связана с восприятием, или перцепцией. Весьма интересно, на наш взгляд, что теории восприятия имеют тенденцию склоняться либо к субъективизму, либо к объективизму. Одна точка зрения, соответствующая квазикантианской традиции, отводит основополагающую роль в формировании действительности воспринимающему субъекту как преобразователю того, что в противном случае было бы бесформенной пустотой [7]. Вторая, противоположная точка зрения заключается в том, что перцепция организуется предзаданным объективным миром [8]. Попытки преодолеть это расхождение привели к осознанию особого значения пространственно-временных характеристик восприятия. Точно так же, как намерения, мотивы и пр., восприятие не дискретно, но представляет собой поток деятельности, интегрированный с движением тела во времени и пространстве. Перцепция организуется посредством опережающих структур (структур антиципации по Отто Зельцу — *Пер.*), позволяющих воспринимать поступающую информацию, одновременно перерабатывая уже поступившую; в норме она связана с постоянным (даже во время отдыха) движением глаз и, как правило, головы. Опережающие структуры перцепции являются «посредником, благодаря которому прошлое воздействует на будущее» и который «идентичен основным механизмам памяти» [9]. Ключом к пониманию восприятия вообще вполне могло бы оказаться осязание, или тактильная чувствительность, считающаяся наиболее простым и, конечно же, наименее изучен-

ным чувством. Эта чувствительность не связана с каким-либо специализированным органом чувств или отделом нервной системы (как, например, зрение) и представляет собой самоочевидный элемент движения тела в контексте его деятельности. Далее, характерной чертой большей части исследований восприятия является изучение различных ощущений в отрыве друг от друга, т. е. каждый раз анализируется какой-либо один вид чувствительности [10]. Искусственность подобного подхода становится очевидной при самом беглом рассмотрении человеческого поведения в любых ситуациях повседневной жизни.

Таким образом, восприятие связано с неразрывной целостностью пространства-времени, активно организуемой воспринимающим субъектом. Основным ориентиром должно быть не отдельное ощущение и не рефлексивный субъект, но тело в его взаимодействии с материальным и социальным миром. Перцепция основана на неврологических структурах, посредством которых воспроизводятся непрерывность и преемственность человеческого опыта. Это воспроизводство неотъемлемо включено в рефлексивный контроль деятельности. Бессмысленно отрицать, что способность к восприятию присутствует уже у младенца. Иными словами, у него сформированы не только сами органы чувств, но и неврологические структуры, позволяющие ему реагировать на окружающую среду с некоторой, пусть еще примитивной избирательностью. Есть масса сведений о том, что грудные дети поворачивают голову по направлению к источнику звука, следят глазами за движущимися предметами и тянутся к ним ручками, а такое поведение, несомненно, требует интеграции чувств [11]. Новорожденный ребенок способен оценивать временной интервал между слуховыми сигналами в двух ушах и поворачивать голову в ту или другую сторону соответственно. Конечно, при дальнейшем психомоторном развитии подобные реакции становятся более точными, и лишь по прошествии длительного времени дети научаются формировать абстракции, т. е. понятия о тех объектах, которые они не воспринимают непосредственно. Совершенно очевидно, что назвать или определить объект не значит просто «приклеить ярлык» к явлению с уже известными свойствами. Назвать что-либо правильно — значит быть способным правильно об этом говорить, т. е. типизировать свойства называемого объекта, отнести его к классу объектов с об-

щими свойствами, отличающими их от объектов других классов [12]. В этой связи стоит рассмотреть положительные и отрицательные стороны гибсоновского понятия «возможность». Согласно Дж. Гибсону (Gibson), все возможные действия, применимые в отношении объекта (т. е. предопределенные его свойствами), могут быть восприняты непосредственно. В этом взгляде подчеркивается практический характер восприятия, но не выявляется его связь с процессом образования понятий, который, вероятно, должен иметь культурную специфику.

Если рассматривать перцепцию как совокупность механизмов, обеспечивающих непрерывность и преемственность человеческого опыта, которые формируются и формируют движения тела в контекстах его поведения, возможно понять значимость избирательного внимания в повседневной деятельности. В любой ситуации происходит много событий, которые остаются незамеченными. Почему это происходит? Обычно это объясняется тем, что человек попросту «отфильтровывает» ненужную ему информацию. Но подобный процесс должен быть активным, а посему это объяснение ошибочно. Избирательность играет положительную, а не отрицательную роль, символизируя активную позицию человека в окружающей среде. Рассмотрим эксперимент, вызвавший в свое время немало споров [13]. Участникам предлагалось одновременно прослушать две магнитофонные записи разного содержания, которые звучали, соответственно, в разных наушниках с одинаковой громкостью. Необходимо было услышать только одну определенную запись и в точности повторить ее. Все участники не только великолепно справились с заданием, но вообще «не слышали» вторую запись. Этот эксперимент интересен нам постольку, поскольку отражает тактику поведения индивидов в ситуациях соприсутствия с другими людьми, когда одновременно ведутся несколько разговоров. Результаты были объяснены наличием так называемых негативных информационных фильтров [14], блокирующих ненужную информацию на пути к высшим корковым центрам; было предположено, что этот процесс контролируют определенные механизмы нервной системы. Подобные теории не только рассматривают индивида как пассивного «получателя» информации, но и совершенно бездоказательно разобщают восприятие и память: считается, что в процессе восприятия чего-либо в любой данный момент многое из воспринятого «блокируется», т. е. быстро «забывается» [15]. Американский психо-

лог Ульрих Найссер (Neisser) пишет, что предполагалось, будто через миллисекунды после регистрации употребление информации зависит уже не от восприятия, а от памяти. Однако такой взгляд не привлекает умозрительно и не правдоподобен эмпирически. Если рассматривать восприятие как то, что субъекты делают, т. е. как часть их активности в пространстве и времени, то нет необходимости предполагать наличие каких-либо блокирующих механизмов вообще.

Организмы активны: они делают одно и не делают другое. Для того, чтобы сорвать одно яблоко, вовсе не обязательно «блокировать» восприятие остальных плодов; достаточно просто не трогать их. На примере сбора яблок можно долго рассуждать о том, как возникает решение выбрать конкретное яблоко, как оно достается и т. п., однако, мы не сможем установить, почему мы не срываем те яблоки, которые нам не нравятся [16].

Если «настоящее» не оторвано от потока деятельности, то «память» не может быть ничем иным как способом описания человеческой способности знать. Если память не обозначает «прошлый опыт», то и сознание (в любом из трех вышеупомянутых значений) не характеризует «настоящее». То, что человек «осознает», не может быть зафиксировано в определенной точке времени. Поэтому нам необходимо различать сознание как чувственное восприятие (первый и самый общий смысл «сознания»), память как конституирование сознания во времени и вспоминание как способ повторения прошлых опытов в фокусе непрерывной целостности человеческой деятельности. Если память соотносится со свойственной человеческому опыту властью над временем, то дискурсивное и практическое сознание касается *психологических механизмов вспоминания*, используемых в контекстах деятельности. Дискурсивное сознание связано с теми формами вспоминания, которые возможно выразить вербально. Практическое сознание включает вспоминания, к которым субъект имеет доступ в *процессе* действия, не будучи способным выразить то, что он или она таким образом «знают». Бессознательное же относится к тем видам вспоминания, к которым нет прямого доступа вследствие того, что рефлексивный контроль и особенно дискурсивное

сознание создают своего рода негативный барьер, препятствующий их непосредственному выходу. Этот барьер имеет двойственную природу. Во-первых, формирование базисной системы безопасности, «канализирующей» или контролирующей уровень тревожности, на основе первого опыта младенца происходит на долингвистическом этапе, вследствие чего, вероятно, этот опыт остается «за пределами» дискурсивного сознания. Во-вторых, бессознательное содержит вытеснения, что само по себе не допускает дискурсивной формулировки его содержания.

В общем и целом наше употребление понятий «сознание» и «бессознательное» соответствует взглядам Фрейда. Однако утверждая, что большинство повседневных действий не имеют в основе своей непосредственной мотивации, мы ставим под сомнение саму модель мотивации, которой он придерживался. По Фрейду, все то, что человек делает или производит, носит целенаправленный характер, в том числе, например, и очевидные «ляпы», такие как оговорки или обмолвки. Фрейд стремился доказать, что «случайные» явления фактически происходят из бессознательных мотивов, и действительно преуспел в этом. Однако в идее, что каждое действие целенаправленно, т. е. имеет под собой определенный мотив, смысла не больше, чем в утверждении, согласно которому деятельность состоит из цепи совокупных намерений или причин. Логический изъясн заключается в упрощенном взгляде на саму природу человеческой деятельности. С нашей точки зрения, деятельность не есть простая совокупность действий, хотя именно такое понимание неизбежно следует из преимущественной концентрации Фрейда на отграниченных «сегментах» поведения (невротических симптомах). Вместо того чтобы предполагать, что каждый «поступок» имеет свой «мотив», необходимо осознать процессуальный характер «мотивации» (т. е. наличие постоянного рефлексивного контроля за поведением и его контекстами. — *Пер.*). Это значит, что бессознательное лишь изредка подключается к рефлексивному контролю, и такое взаимодействие зависит не только от внутриличностных психологических механизмов индивидуального актора, но опосредовано социальными отношениями людей в повседневной жизни.

Немного уточнив это положение, мы наметим переход к тому, что будет обсуждаться в следующих главах. Основ-

ные позиции таковы. Повседневная жизнь — в большей или меньшей степени, зависящей от особенностей контекста и специфики индивидуальной личности, — подразумевает наличие системы *онтологической безопасности*, выражающей *независимость (автономность) контроля за действиями человека* в рамках *предсказуемого хода событий*. Психологические истоки онтологической безопасности следует искать в базисных механизмах контроля тревожности (это хорошо показал Эриксон, чьи идеи мы обсудим ниже) — иерархически упорядоченных компонентах личности. Формирование чувства доверия к другим как наиболее глубокого элемента этой системы происходит на основе предсказуемых и заботливых действий по уходу, связанных с фигурами родителей. Младенец рано начинает оказывать доверие и доверять. Обретая все большую автономность, он осваивает «механизмы защиты» (Гофман), обеспечивающие обоюдный характер доверия (вежливость, тактичность и т. п.). Система онтологической безопасности охраняется этими механизмами, но основывается не столько на них, сколько на предсказуемости происходящих событий, нарушаемой в критических ситуациях. Увеличение уровня тревожности, не сдерживаемой базисной системой безопасности, и есть, таким образом, специфическая черта критических ситуаций.

Критическая оценка фрейдовского подхода к определению деятельности и понятия «самость» позволяет сделать несколько выводов. «I» есть основная структура рефлексивного контроля деятельности, однако ее невозможно определить ни через деятеля, ни через «самость» (self); в отличие от «самости», «I» не имеет своего собственного образа. Под «субъектом деятельности» (agent или actor) мы понимаем личность, соотношенную с телом, которое имеет пространственно-временные характеристики. Вместе с тем, «самость» не есть самостоятельный мини-субъект действия, «функционирующий» внутри индивида. «Самость» представляет собой сумму тех форм вспоминания, посредством которых человек осознает, «что» стоит у истоков его деятельности. Таким образом, субъект сам наделяет свою «самость» свойствами деятельности. Именно поэтому «самость», тело и память тесно взаимосвязаны.

Эриксон: тревожность и доверие

К изучению бессознательных элементов человеческого поведения весьма часто подходят с позиций объективизма. Все дело в том, что такая позиция (как и многие другие способы теоретически обосновать бессознательное) не отводит рефлексивному контролю сколько-нибудь существенной роли в организации человеческой деятельности, действительные истоки которой находятся где-то в другом месте. Нам предстоит рассмотреть ряд положений, касающихся бессознательного и социальных взаимодействий, не поддавшись при этом искушению последовать версиям структурного психоанализа (в первую очередь психоанализа Жака Лакана (Lacan), которые столь модны сегодня в определенных кругах. Хотя работы Лакана бесспорно интересны, сама его концепция субъекта, по нашему мнению, несостоятельна и отчасти напоминает «структурный марксизм» [17]. Лакан — один из главных противников того направления в психоанализе, которое именуется «эго-психологией». Его полемику с Салливаном (Sullivan), Хорни (Horney), Эриксоном, Кардинером (Cardiner) и другими эго-психологами можно считать достаточно успешной, учитывая тот факт, что сегодня они практически ушли в тень. Полагая, однако, что работы упомянутых авторов совершенно не утратили своего значения, мы будем неоднократно обращаться к ним.

С начала нашего века психоаналитическая теория (в той же мере, что и марксизм) изобиловала как «критическими» и «ревизионистскими» подходами, так и попытками сохранить ортодоксальное учение. Что касается эго-психологии, то она развивалась на базе двух принципиальных направлений, разрабатывающих и пересматривающих «классические» постулаты Фрейда. Первое из них связано с именем Анны Фрейд, следуя за которой, эго-психологи убедительно доказывают, что результатом чрезмерной фрейдовской поглощенности «вытеснением» и «бессознательным» становится недооценка когнитивных, рациональных составляющих человеческого поведения. Социальные аналитики и в особенности антропологи, представляющие другое направление, показывают в своих работах все разнообразие способов человеческого поведения в обществе. Сколь бы ни были важ-

ны культурологические изыскания Фрейда, они так или иначе связаны с эволюционизмом, которым проникнута антропология девятнадцатого века. Осознать разнообразие моделей поведения в обществе — значит принять и разнообразие форм организации семьи, а следовательно, и способов ранней социализации. Вот этими идеями и проникнута эгопсихология: существенные отклонения от традиционного психоанализа здесь очевидны, но они вовсе не ведут к культурологическому релятивизму; есть процессы, одинаковые для представителей любых человеческих обществ. В своей книге «Детство и общество» Эриксон сформулировал это следующим образом:

Современный психоанализ занимается изучением эго, ...смещает акцент с концентрации на изучении условий, притупляющих и искажающих эго конкретного человека, на изучение корней эго в социальной организации... Продолжительное детство делает человека в техническом и умственном отношении виртуозом, но и оставляет в нем пожизненный осадок эмоциональной незрелости* [18].

На наш взгляд, Эриксон и Салливан являются самыми значительными фигурами среди исследователей, которые, сохранив определенные универсальные принципы фрейдовской теории стадий психосексуального развития, одновременно признали и достижения, сделанные в рамках социальных наук. Их идеями, конечно, не без критической оценки, нам еще предстоит руководствоваться в дальнейшем изложении. Основываясь на клинических и культурологических исследованиях, Эриксон выделил стадии развития личности с младенчества до зрелости. Его трактовка природы мотивации и развития умственных способностей ребенка чрезвычайно убедительна. Однако, на наш взгляд, он недостаточно ясно обозначил тот переломный период, когда овладение языком способствует осознанию ребенком своей индивидуальности (что показал Хомский (Chomsky)), и результаты которого налицо, а истоки далеко не очевидны.

* Перевод терминов и цитат приводится по кн.: Эриксон Э. Г. Детство и общество. СПб., 1996. (Прим. пер.)

В любом обществе главенствующую роль в раннем развитии ребенка играет его (как правило, родная) мать. Начальные этапы развития личности связаны с удовлетворением потребностей и снятием напряжений, обусловленных физиологическими свойствами организма. Очевидно, что фрейдовская трактовка этих явлений страдает излишним детерминизмом, а объяснение их различий (между обществами и внутри одного конкретного общества) предполагает куда более гибкий подход. Можно сказать, что формирование бессознательного зависит от самых ранних контактов ребенка с матерью, и понятие «двигательная активность ребенка» имеет совсем не тот смысл, что «действие» взрослого. Вслед за Эриксоном мы выделим три последовательно сменяющих друг друга стадии, или *ядерных конфликта*, с разрешением которых связана трансформация тела в своего рода инструмент или проводник деятельности в окружающем мире. Первый конфликт — «базисное доверие» против «базисного недоверия». Младенец представляет собой пучок импульсов, реализующих определенные генетически заложенные гомеостатические механизмы адаптации к условиям внешней (чуждой новорожденному) среды; действия матери обеспечивают уход и защиту. «Доверие» (здесь — характерная черта личности) понимается как психологически «связанное» пространство-время и возникает благодаря осознанию того факта, что отсутствие не означает «дезертирства» или покинутости. Источник психологических реакций на присутствие или отсутствие находится в теле, телесных потребностях, способах их удовлетворения и контроля.

Эриксон пишет: «Первым социальным достижением младенца в то время оказывается его готовность без особой тревоги или гнева переносить исчезновение матери из поля зрения, поскольку она стала для него и внутренней уверенностью, и внешней предсказуемостью. Предсказуемость, непрерывность и тождественность обеспечивают «зачаточное чувство эго-идентичности, зависящее... от «понимания» того, что существует внутренняя популяция хранимых в памяти и предвосхищаемых ощущений и образов, которые прочно увязаны с внешней популяцией знакомых и предсказуемых вещей и людей» [19]. То, что называется доверием (trust), соответствует здесь уверенности (confidence) и с

самого начала предполагает наличие взаимности; говоря об уверенности, мы имеем в виду зарождающееся у младенца ощущение собственной надежности, связанное с обобщенным распространением доверия на других. Конечно, формирование чувства доверия не происходит бесконфликтно. Как раз наоборот, доверие противопоставляется и противоборствует с базисной тревожностью, попытки контролировать которую и являются наиболее общим мотивационным источником человеческого поведения. Общение с матерью, плохо это или хорошо, неизбежно сказывается на всем дальнейшем развитии ребенка. В своей заботе о малыше мать играет роль «обобщенного другого», включая ребенка в некий прототип социальных отношений с их нормами, требованиями и санкциями. Отсутствие и тревожность компенсируются соприсутствием и доверием, при этом у ребенка формируется понимание запрещенного и дозволенного, на котором, собственно говоря, и построено все многообразие взаимодействий человека с обществом. Это осознание расширяется и закрепляется по мере увеличения автономии маленького человека, связанной с умением владеть своим телом как проводником собственной деятельности и существовавшей в период овладения языком. В зависимости от тех или иных ситуаций любой человек имеет право дистанцироваться от других, оберегая уединенность своего тела и целостность (integrity) собственной «самости». Однако «самость» несет и определенные социальные обязательства, связанные с необходимостью признавать и уважать потребности других. Ребенок пока не разбирается в этих тонкостях, не способен он и демонстрировать (посредством мимики) свои чувства к другим. Беккер (Becker) утверждает, что выражение лица есть «позитивное чувство собственной душевности и сердечности, обращенное в мир для рассмотрения, а, возможно, и саботажа другими» [20].

Конфликт «доверие против недоверия», на котором основываются все способы снятия напряжений, организован вокруг механизмов проекции и интроекции. По Фрейду, интроекция есть приписывание себе внешней добродетели и внутренней уверенности, а проекция — приписывание другим внутреннего зла [21]. Эти механизмы связаны с идентификацией; в дальнейшем на них накладываются более зрелые структуры психики, но в критической ситуации проек-

ция и интроекция обнаруживают себя вновь. По мере физического развития тела психика ребенка вступает в новый возрастной этап. Эриксон считает, что фрейдовская трактовка этого процесса как чередования зон наслаждения не совсем удачна, хотя фиксации либидо на какой-либо из этих зон иногда и происходят. «Удержание» (holding on) и «отпускание» (letting go) применимы к контролю над испражнениями, но связаны главным образом с движениями конечностей. Удержание и отпускание — поведенческие корреляты ядерного конфликта этой стадии, конфликта «автономия против стыда и сомнения». В конечном счете и первый, и второй конфликты, находящиеся в достаточно напряженных отношениях, могут разрешаться как в мягкой и доброжелательной, так и во враждебной или разрушительной форме. Поэтому удержание может принять характер либо жестокого самопоглощения, либо заботы (иметь и сохранять), выражающей личную автономию. Аналогичным образом, отпускание может стать разрушительным высвобождением агрессии или безразличным «пусть все идет своей чередой». Здесь необходимо подчеркнуть различие, существующее, на наш взгляд, между понятиями «стыд» и «вина». Вслед за Фрейдом многие психоаналитики связывают стыд исключительно со страхом обнажения гениталий. Такая трактовка обращает наше внимание на аспект тревожности, связанный с внешним «обликом» человека, большое значение которому, как мы увидим далее, придавал Гофман. Очевидно, однако, что чувство стыда — феномен куда более широкий [22].

Насколько у человека выражено чувство стыда или сомнения в себе, можно понять по частоте употребления в обычном разговоре терминов «стыд» и аналогичных ему — «униженность», «оскорбленность» и т. п. Вряд ли можно согласиться с тем, что чувство вины «лично», сокровенно, а стыд — «публичен». Стыд подрывает самоуважение и, очевидно, тесно связан с более мягким опытом «смущения» (или «замешательства»). Стыд и смущение образуются на стыке запрещенного и дозволенного вследствие «разоблачения» попытки что-либо сделать. В отличие от «вины», «стыд» и «смущение» относятся к обеим контактирующим сторонам, т. е. могут ощущаться человеком по поводу как своего, так и чужого поведения. Мы можем стыдиться или испытывать

смущение в отношении самих себя и собственных поступков, но также и по поводу кого-либо другого. Вот здесь и обнаруживается разница между этими эмоциями. Стыдиться поведения другого индивида — значит ощущать некую взаимосвязь с ним или даже ответственность за него. Смущение за кого-то есть противоположность безразличию, т. е. определенное соучастие и расположение к тому, кто оказался излишне «раскрытым» перед другими.

В свете рассуждений Гофмана, анализирующего аналогичные ситуации, особенно интересно отметить, что Эриксон связывает стыд у ребенка (имеющий осязаемые остаточные явления в системе безопасности взрослого) с положением тела и осознанием его «передних» («фронт») и «задних» («тыл») планов. Фрейдовская теория анальной задержки приобретает здесь намного более социализированную форму. Зоны «переднего» и «заднего» планов, в контексте которых происходят социальные взаимодействия, возможно, напрямую связаны с первичным опытом регионализации тела. Защищенность «фронта» при взаимодействии с обществом позволяет избежать тревожности, связанной с ощущением стыда, а стыд и смущение возникают вследствие потери этой защищенности. Тыльная сторона тела (behind) имеет для ребенка совершенно особое значение (the behind):

...это неизвестный континент маленького человека, область тела, где могут магически властвовать и куда могут «с боем» вторгаться те, кто обычно стремится уменьшить право малыша на автономию... Поэтому исход этой стадии решающим образом зависит от соотношения любви и ненависти, сотрудничества и своеволия, свободы самовыражения и ее подавления. Из чувства самоконтроля, как свободы распоряжаться собой без утраты самоуважения, берет начало прочное чувство доброжелательности, готовности к действию и гордости своими достижениями; из ощущения утраты свободы распоряжаться собой и ощущения чужого сверхконтроля происходит устойчивая склонность к сомнению и стыду [23].

На следующей стадии, приходящейся на период бурного языкового развития, с наибольшей очевидностью проявля-

ется конфликт «инициатива против чувства вины». Это эдипова стадия, которая, сколь бы сложной она ни была, является критическим этапом психологического развития человека. В сфере телесного она характеризуется способностью держаться и передвигаться в вертикальном положении и развитием инфантильной сексуальности. В плане дальнейшего развития личности главная роль отводится подавлению ранней привязанности к матери (как девочек, так и мальчиков), обусловленному значительным скачком в языковом развитии. В это время ребенок начинает проявлять инициативу, обретая внутренний контроль, необходимый ему при переходе от непосредственного контекста семьи (постоянного присутствия своих родителей) к самостоятельности и отношениям на равных. Все это, однако, приобретается ценой подавления, которое в ряде случаев может вести к повышению уровня тревожности, происходящей из чувства вины.

... Именно здесь ребенок навсегда становится разделившимся внутри себя. Фрагменты инстинкта, которые до этого кризиса усиливали рост его детского тела и разума, теперь оказываются разделенными на детский набор, навсегда сохраняющий изобилие потенциалов роста, и родительский набор, поддерживающий и усиливающий самоконтроль, самоуправление и самонаказание [24].

При рассмотрении этих стадий мы обнаруживаем прогрессирующее стремление ребенка к автономии, на которой как раз и основана сама возможность осуществления рефлексивного контроля или мониторинга деятельности. Вместе с тем подобная «автономия» не предполагает наличия барьера для стимулов, которые провоцируют тревожность, и не обозначает способов ее контроля, характерных для системы безопасности взрослой личности. Мотивационные компоненты ребенка и взрослого определяются стремлением избежать тревожность и защитить самоуважение от «переполнения» стыдом и чувством вины. Можно сказать, что механизмы системы безопасности остаются на бессознательном уровне, так как они долингвистичны, несмотря на то, что эдипова фаза и есть тот самый период, когда ребенок научается определять себя как «Я».

III локомоторно-генитальная стадия
 II мышечно-анальная стадия
 I орально-сенсорная стадия

		Инициатива <i>против</i> чувства вины
	Автономия <i>против</i> стыда и сомнения	
Базисное доверие <i>против</i> недоверия		
1	2	3

Рис. 5

Из рис. 5 видно, что наличие сменяющих друг друга стадий предполагает различные соотношения и комбинации телесного и психического в их зависимости и независимости друг от друга. Если бы наша задача состояла в анализе индивидуальных различий, мы обратились бы к пустым ячейкам, заполняющимся по мере того, как в организацию человеческого поведения включаются те или иные фиксации детского возраста или формы регрессии.

Исследования развития ребенка достаточно аргументированно доказывают, что формирование способностей к автономной деятельности тесным образом связано с осознанием других как субъектов действия. Различают три основных этапа формирования представлений о деятельности, соответствующих стадиям, описанным Эриксоном. Первый — распознавание того, что называется «простым действием», из которого следует, что другие могут вмешиваться в ход событий, изменяя их [25]. Осознание ребенком своего тела как источника деятельности происходит одновременно с приписыванием этих свойств телам других. Реакции младенцев самого раннего возраста при взаимодействии с «похожими на субъект деятельности» другими различны, хотя аспекты поведения фигур, вызывающих реакцию, относительно просты и четки [26]. Вместе с тем, отношение к другим субъектам деятельности носит пока инструментальный характер, иными словами, они представляются некоторыми объектами окружения, а не физическими существами, функционирующими отдельно от самости, которые могут уйти и вернуться. Эмоциональное созревание, связанное с чувством доверия (второй этап), по-видимому, тесно переплетено с осознанием дея-

тельности как свойства отдельно существующих индивидов. Наделение же «человеческими» свойствами людей вообще, а не только родительских фигур, знаменует переход к третьему этапу.

Выготский продемонстрировал тесную взаимосвязь между локомоторным развитием (умением управлять телом как источником действия) и владением языком. Несмотря на то, что в его работах не решается «проблема Хомского» (каким образом ребенок относительно неожиданно обучается операциям с синтаксическими структурами?), они проливают свет на важнейшие аспекты связи деятельности и речи. Дифференцированное использование языка опосредуется развитием «практического мышления» ребенка, иначе говоря, зависит от определенных аспектов практического сознания [27]. Можно предположить, что развитие «практического мышления» ускоряется с разрешением третьего конфликта, обозначенного Эриксоном, ибо подобное мышление подразумевает исследование тела как проводника деятельности. Однако начальные проявления «практического мышления» относятся к моменту первых исследовательских движений младенца; овладение речью *конвергирует* с развитием практического мышления в ключевой фазе развития. Поразительно, насколько некоторые из наблюдений Выготского, касающиеся восприятия взрослыми индивидами «диссоциации» речи и поведения, напоминают наблюдения Мерло-Понти (Merleau-Ponty) больных с органической патологией мозга (см. с. 65–7). Например, ребенок может выполнить довольно сложное задание только при условии, что каждое действие будет описано вербально. Дети, так же как и многие «психически больные» люди, с легкостью разговаривают сами с собой на людях — феномен, который необходимо отличать от «эгоцентрической речи» Ж. Пиаже (Piaget).

Достаточно часто ссылаясь на Эриксона, мы должны отметить, что некоторые из его идей приняты нами с существенными ограничениями. Мы полагаем, что наименее интересные области работы Эриксона прославили его больше всего — речь идет об исследованиях формирования «эгоидентичности» и стадий развития личности от рождения до подросткового возраста и далее. Эриксон критически пере-

смачивает фрейдовский подход к «эго» и его отношениям с обществом [28]. Частично это связано с тем, что формулировки Фрейда неадекватны с социологической точки зрения. В своих работах Фрейд полагался на мало приемлемые тексты (такие как современные дискуссии о психологии толпы). В то же время основу психоаналитического метода составляют индивидуальные клинические случаи (истории болезни). Вот здесь видно существенное расхождение. Ни сам Фрейд, ни его многочисленные последователи не выработали приемлемой концепции дифференцированного общества; «идея социальной организации и ее отношения к эго» была «сведена к упоминанию о наличии «социальных факторов» [29]. Так, с точки зрения Эриксона, понятие Эго строилось Фрейдом через противопоставление его беззаконной природе толпы и первобытным инстинктам Оно. Для обозначения моральных ценностей человека Фрейд использует понятие Супер-эго или Эго-идеал, имея в виду некую ношу или нагрузку, которую должно выдерживать Эго. Эриксон стремится компенсировать однобокость этого подхода. Вместо того чтобы концентрироваться исключительно на том, что социальная организация не позволяет ребенку, следует учитывать те выгоды, которые она ему сулит, не забывая при этом, что типы социальных организаций могут различаться. Таким образом, учение Эриксона об «эго-идентичности» дополняет традиционные психоаналитические концепции [30].

Мы полностью согласны с критическими замечаниями Эриксона. Однако сам термин «эго-идентичность» не вполне удовлетворителен. Мы уже говорили о том, что понятие «Эго» порождает в психоаналитической теории довольно много концептуальных проблем. Поэтому введение понятия «эго-идентичность» может лишь увеличить существующую путаницу. Сам Эриксон признает, что здесь возможны как минимум четыре коннотации: «осознанное» восприятие собственного Я, «бессознательное стремление к личностной целостности», «критерий скрытых действий эго-синтеза» и «поддержание внутренней солидарности и идентичности с идеалами группы» [31]. На наш взгляд, ни одно из этих значений не выглядит достаточно вразумительным; оставим же в покое понятие, включающее их все!

Рутинизация и мотивация

В ходе дальнейшего повествования мы отойдем от концепции эго-идентичности и будем использовать представления Эриксона об истоках и сущностных свойствах автономности (независимости) действий человека и доверия. С нашей точки зрения, в связке объект — мир и ткани социальной деятельности чувство доверия зависит от определенных, наделенных особыми свойствами связей между индивидуальным субъектом деятельности, и социальными условиями, в которых этот субъект осуществляет свою повседневную деятельность. Если бы субъекта невозможно было постичь иначе, кроме как посредством рефлексивного построения ежедневной деятельности в рамках социальных практик, мы не смогли бы понять механизмы индивидуальности в отрыве от рутины повседневности, в которой существует и которую производит и воспроизводит человек. Понятие *рутинизации*, закрепленное на уровне практического сознания, представляется нам существенным с точки зрения теории структуриации. Рутинизация обеспечивает целостность личности социального деятеля в процессе его (ее) повседневной деятельности, а также является важной составляющей институтов общества, которые *являются таковыми* лишь при условии своего непрерывного воспроизводства. Исследование рутинизации дает нам главный ключ к объяснению типовых форм взаимоотношений, существующих между базисной системой безопасности, с одной стороны, и рефлексивно создаваемыми процессами, свойственными эпизодическому характеру социальных взаимодействий, с другой.

Мы можем исследовать психологическую сущность рутины, обратившись к последствиям ситуаций, в которых установленные модели привычной повседневной жизни были подорваны или коренным образом уничтожены — проанализировав так называемые «критические ситуации». Речь пойдет о тех случаях, когда критические — для конкретных индивидов или групп индивидов — ситуации самостоятельно «встраиваются» в размеренную систему социальной жизни на уровне характера взаимосвязи, существующей между жизненным процессом или «циклом» индивида (*течением* его жизнедеятельности), с одной стороны, и

спецификой *традиционных* общественных институтов, с другой. Как правило, эти кризисы отмечены ритуалами или церемониями, связанными с изменениями социального статуса затрагиваемого ритуалом лица (в качестве примера подобных ритуалов можно привести крещение, инициацию, посвящение в рыцари и т. п. — *Пер.*), с которыми индивид сталкивается с момента появления на свет и вплоть до смерти. Несмотря на тот факт, что, с точки зрения непосредственно задействованных в них индивидов, эти ситуации знаменуют собой нарушение последовательности, они все же являются существенным элементом целостности социальной жизни и имеют очевидную тенденцию к рутинизации.

Под «критическими ситуациями» мы будем понимать непредсказуемые обстоятельства радикального разобщения (нарушения) целостности, воздействующие на значительное количество индивидов; ситуации, угрожающие или разрушающие веру в устойчивость институционализированных образцов социального поведения. Мы затрагиваем эту проблему не с позиций анализа социальных причин, порождающих подобные ситуации, а с точки зрения их психологических последствий и того, что эти последствия означают для большей части рутинной социальной жизни. Поскольку ранее мы неоднократно обсуждали критические ситуации [32], то остановимся здесь только на одном эпизоде — знаменитом описании печально известных событий новейшей истории. Речь идет о работе Бруно Беттельгейма (Bettelheim) «The Informed Heart», в которой описывается и анализируется опыт самого автора и других людей — бывших узников концентрационных лагерей Дахау и Бухенвальда. В лагерях, пишет Беттельгейм: «я ...наблюдал быстрые изменения, и не только в поведении, но и в личности заключенных; изменения невероятно быстрые и значительно более радикальные, чем те, которые можно было бы вызвать психоаналитическим лечением»* [33]. Опыт существования в концентрационном лагере характеризовался не только ограничением, но и явно выраженным разрушением привычных форм повседневной жизни, обусловленным нечеловеческими условиями существования, постоянным страхом

* Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 86.

перед угрозой или фактом насилия со стороны лагерной охраны, нехваткой пищи и других элементарных средств существования.

Изменения личности, описанные Беттельхеймом — их претерпевали все узники, которых содержали в лагере в течение ряда лет — следовали в определенном порядке. Последовательность эта носила очевидно регрессивный характер. Большинство узников травмировал уже сам процесс заключения в лагерь. Оторванные от семьи и друзей, как правило, без какого-либо предварительного оповещения многие заключенные подвергались пыткам еще на пути следования в лагерь. Представители среднего класса и люди, обладающие профессиональным опытом, те, кто в большинстве своем не сталкивался прежде с полицией или пенитенциарной системой, испытывали сильнейший шок на начальных стадиях этапирования и «посвящения» в лагерную жизнь. Согласно Беттельхейму, большинство самоубийств, имевших место в тюрьме и во время транспортировки, совершалось представителями именно этой группы. Подавляющее большинство новых узников пыталось психологически дистанцироваться от ужасающих реалий лагерной жизни, стремясь действовать в соответствии с опытом и ценностями предыдущей жизни; но это оказывалось невозможным. «Инициатива», которую Эриксон считал основой автономности человеческой деятельности, подвергалась быстрому уничтожению; гестапо в какой-то степени осознанно принуждало узников усваивать по-детски непосредственные и простые образцы поведения.

Большинство узников лагерей не подвергалось публичным телесным наказаниям, однако пронзительный страх получить 25 ударов сзади охватывал их несколько раз на дню... Угрозы, подобные этой, а также ругательства, которыми узников забрасывали как представители СС, так и старшие из числа самих заключенных, были, как правило, связаны исключительно с анальной сферой. «Дерьмо» и «задница» являлись столь распространенными выражениями, что к заключенным редко обращались иначе [34].

Охрана осуществляла жесткий, но умышленно выборочный контроль за туалетом как выделениями организма и общей чистоплотностью. Все эти действия производились публично. Лагеря фактически ликвидировали любые раз-

личия между «передними» и «задними планами», физически и социально превращая последние в центр притяжения лагерной жизни.

Особое внимание Беттельхейм уделяет общей непредсказуемости событий, происходящих в лагерях. Чувство автономности действий, которое индивиды испытывали в процессе рутинной повседневной жизнедеятельности в условиях традиционного социального окружения, практически полностью исчезало. Ощущение «будущности», свойственное целостному (ничем ненарушаемому) *протеканию* социальной жизни, разрушалось под воздействием очевидно вероятностного (условного, зависящего от ряда обстоятельств) характера самой надежды на наступление завтрашнего дня. Иными словами, узники жили в условиях радикальной онтологической «ненадежности»: ощущение бессмысленности работы, конечности самого существования, невозможность планировать собственную жизнь, обусловленная вероятностью внезапных изменений лагерной политики, имели чрезвычайно губительные последствия» [35]. Некоторые заключенные превращались в то, что другие называли «Muselmänner» — «ходячие трупы», людей, лишенных воли, инициативы и какого-либо интереса к собственной судьбе. Их поведение не напоминало поведение человеческих существ: они избегали близкого общения с другими людьми, с трудом перемещали свое тело и шаркали ногами при ходьбе. Вскоре они умирали. Сумели выжить лишь те, кто хотя бы отчасти контролировал собственную повседневную жизнь. Кто, по словам Беттельхейма, сохранил «основу значительно истощенных, но все же наличествующих человеческих качеств». Тем не менее, и эти люди не смогли избежать ряда по-детски наивных установок — они теряли ощущение времени, практически утрачивали способность «думать наперед», и их настроение сильно колебалось из-за, казалось бы, тривиальных событий.

Подобное поведение было характерно для узников, пробывших (как и Беттельхейм) в лагере не более года. «Старые заключенные», содержащиеся в лагерях на протяжении нескольких лет, вели себя иначе. Они практически утратили всяческую связь с внешним миром и «воссоздали» себя как субъектов, интегрировавшись в лагерную жизнь в качестве непосредственных участников ритуалов вырожде-

ния, которое они на первых порах существования в лагере находили столь ужасным и отвратительным. Зачастую эти узники не могли вспомнить имена, места и события, имевшие место в их прошлой жизни. В конце концов подавляющее большинство старых заключенных превращалось в людей с полностью реконструированной личностью, развивающейся путем имитации взглядов и манер поведения тех самых людей, которых они нашли такими отвратительными по прибытии в лагерь, — лагерной охраны. Узники, проведенные в лагерях несколько лет, копировали действия пленивших их людей не только во имя заискивания перед ними, но и, как полагал Беттельхейм, вследствие интроекции нормативных ценностей СС.

Как можно объяснить все вышесказанное? Последовательность этапов (хотя и не представленная Беттельхеймом именно в таком виде) кажется нам вполне понятной. Подрыв и умышленное, длительное наступление на сами основы повседневной жизни породили высокую степень тревожности, стали причиной «размывания» верхнего слоя социализированных реакций или ответных действий, обусловленных стабильным и гарантированным контролем за собственными действиями и предсказуемой структурой социальной жизни. Усиление тревожности выражалось в регрессивных образцах и линиях поведения, разрушающих фундамент базисной системы безопасности, основывающейся на чувстве доминирующего доверия к другим. Те, кто был плохо подготовлен к встрече с такого рода проблемами, поддавался давлению и «пошел ко дну». Те, кто сумел сохранить минимальную степень контроля и чувство собственного достоинства, смогли выживать в течение длительного периода времени. Однако со временем большинство старых узников подверглось процессу «ресоциализации», в ходе которого произошло восстановление (правда, ограниченное и в высокой степени противоречивое [36]) установки на доверие посредством идентификации с лагерными властями. Аналогичные последствия повышенного уровня тревожности, регрессии, сопровождаемой изменением типовых образцов поведения, наблюдались во многих критических ситуациях, имевших место в различных контекстах — реакциях на длительное нахождение в зоне обстрела на полях сражения, при пристрастных допросах и пытках в тюрьмах и в других обстоятельствах крайнего стресса [37].

Обыденная социальная жизнь, напротив, предполагает — в большой или меньшей степени, зависящей от специфики контекста и особенностей конкретной личности — наличие у индивидов чувства онтологической безопасности, основу которой составляет автономность человеческой деятельности в рамках предсказуемой рутины социальных действий и взаимодействий. Рутинный характер линий поведения, которым индивиды следуют в повседневной практике, не «возникает вдруг». Он «создается» посредством рефлексивного мониторинга деятельности, осуществляемого в условиях соприсутствия. «Размывание» привычных способов деятельности, вызванное повышенным уровнем тревожности, не контролируемым базисной системой безопасности, представляется нам характерной чертой критических ситуаций. В повседневной социальной жизни акторы мотивированы на поддержание тактичных форм поведения, детально проанализированных Гофманом. Однако это происходит не потому, что, как предполагал Гофман, социальная жизнь представляет собой своего рода «контракт взаимопротекции» — договор, добровольно принимаемый людьми. Тактичность является тем механизмом, посредством которого деятели могут воспроизводить условия «базисного доверия» или онтологической безопасности — условия, способствующие осуществлению контроля и управления примитивными формами тревожности и напряженности. Таким образом, можно утверждать, что многие характерные черты повседневных социальных взаимодействий не мотивированы напрямую. Скорее, речь идет об обобщенном мотивационном стремлении к интеграции привычных социальных практик во времени и пространстве.

Присутствие, соприсутствие и социальная интеграция

Рутина повседневной жизни является основой даже наиболее сложных форм социетальной организации. В процессе повседневной деятельности индивиды «сталкиваются» друг с другом в ситуативных контекстах взаимодействия — взаимодействия с другими в условиях физического соприсутствия «лицом к лицу».

Социальные свойства соприсутствия фиксируются в пространственном расположении тела, его ориентации по отношению к другим и переживающей «самости». Гофман уделяет значительное внимание анализу этого феномена, особенно в отношении «лица», но, пожалуй, наиболее впечатляющим являются рассуждения на эту тему, предложенные М. Мерло-Понти. Начнем с их рассмотрения, а затем перейдем непосредственно к наблюдениям Гофмана. Мерло-Понти указывает на то, что тело не «занимает» время-пространство в том смысле, как это делают материальные объекты. Он пишет об этом следующим образом: «Контур моего тела — это некая граница, которую обыкновенные пространственные отношения не пересекают»* [38]. Это происходит потому, что тело и опыт телодвижений являются ключевым моментом форм деятельности и сознания, которые фактически определяют его целостность. Пространственно-временные отношения присутствия, сконцентрированные на теле, приспособляются не к «пространственности позиции», в терминологии Мерло-Понти, но к «пространственности ситуации». «Здесь» тело относится не к определенному ряду координат, а к положению тела, ориентированного на собственные задачи. Почти так же считает и Хайдеггер: «В конечном счете, коль скоро мое тело может быть «формой» и перед ним могут существовать фигуры, выделяющиеся на сплошном фоне, это происходит лишь оттого, что тело поляризуется своими задачами, *существует в отношении* них, собирается с силами, дабы достичь свои цели, и в итоге телесная схема говорит нам о том, что мое тело пребывает в мире»** [39].

Исследования, проведенные Голдштейном (Goldstein) и другими среди пациентов с нарушенной мозговой деятельностью, дают нам графическое представление о том, как это происходит [40]. Так, некоторые из этих индивидов не способны совершать движения, абстрактные по отношению к визуально наличествующей среде или обстановке. Человек может указать на часть своего тела только в том случае, если он или она визуально наблюдают производимое дви-

* Мерло-Понти М. Феноменология восприятия: Пер. с фр. / Под ред. Вдовинной И.С., Фокина С.А. СПб.: Ювента: Наука, 1999. С. 137.

** Там же. С. 140.

жение и на самом деле дотрагиваются до этой части тела. Данные такого рода наблюдений позволяют нам сделать вывод, что хотя оба движения кажутся на первый взгляд «позиционными», «касание» не равносильно «указанию». Их различие указывает на значимость телесного пространства как удивительно сложного поля матриц привычной деятельности. Пациенту с нарушением мозговой функции, которого просили совершить заданное телодвижение, требовалось для выполнения этой задачи представить себе общее положение собственного тела. И это не ограничивалось минимальными жестами, как в случае со здоровыми людьми. Так, получив задание поздороваться, пациент обращает внимание на формально правильное положение всего своего тела — он может совершить необходимое действие, только адаптировавшись к обобщенной ситуации, в контексте которого это действие (жест или телодвижение) происходит. Здоровый индивид, напротив, рассматривает данную ситуацию как тест или игру. По словам Мерло-Понти, он или она используют «тело как способность предопределенного действия» [41]. Это дилемма пациента, благодаря которой мы можем глубже понять специфику повседневной интеграции тела в протяженность деятельности. Ибо тело функционирует и воспринимается своим хозяином как «тело» только в контексте деятельности. Вопрос, заданный Виттгенштейном: «В чем состоит различие между тем, что я поднимаю свою руку и моей поднимающейся руки?», порождает множество трудностей, к которым его автор, возможно, хотел привлечь наше исследовательское внимание. По-видимому, он рассматривает в качестве типичной только ситуацию теста или игровую команду; в этом случае мы можем сделать ошибочный вывод, что теория деятельности строится, скорее, на противопоставлении «движений» и «действий» как обособленных и изолированных друг от друга процессов, нежели на пространственно-временной контекстуальности телесной деятельности в потоке повседневного поведения.

Деятельность тела, имеющая место в потоке действий, немедленно включается в онтологическую безопасность или чувство «доверия» в отношении целостной непрерывности мира и собственной личности, подразумеваемой самой *протяженностью* повседневной жизни. Пациенты, страдаю-

щие вследствие нарушения деятельности мозга, должны тщательно исследовать физические свойства объекта для того, чтобы распознать в нем, скажем, «ключ». Здоровые индивиды будут столь внимательно исследовать объект только в необычных ситуациях — например, когда участвуют в игре, где у них есть веские основания полагать, что объекты могут быть не теми, за кого себя «выдают». Если мы попытаемся подвергать детальному обследованию каждый встречающийся нам объект, то целостная непрерывность и связанность повседневной жизни будет невозможна. Отсюда очевидно, что предложенные Гарфинкелем «несущественные клаузулы» («etcetera clause») используются не только в языке или разговоре, но применимы и к телесной деятельности в физическом отношении ко внешнему миру. Все это в свою очередь взаимосвязано со временем и чувством времени. Обратимся еще раз к Мерло-Понти:

«Там, где у нормального человека каждое двигательное или тактильное событие устремляет к сознанию изобилие интенций, которые идут от тела как центра виртуальной деятельности либо к самому этому телу, либо к объекту; у больного, напротив, тактильное впечатление остается смутным и замкнутым в себе... Нормальный человек считается с возможным, которое, не теряя своего статуса возможного, приобретает таким образом какую-то особую актуальность; у больного же, наоборот, поле актуального ограничивается тем, что он встречает в реальном контакте, или тем, что связано с этими данными четкой дедукцией»* [42].

Конечно, тело не представляет собой недифференцированную целостность. То, что А. Гелен (Gehlen) именуется «эксцентричным» положением человеческих существ — прямое и открытое отношение к внешнему миру — несомненно, является следствием биологической эволюции. Нам нет нужды представлять биологическую эволюцию в виде гипотетически сходной формы эволюции социальной для того, чтобы увидеть ее последствия для социальных процессов, протекающих в условиях соприсутствия. У человеческих существ лицо является не только непосредственным

* Мерло-Понти М. Феноменология восприятия: Пер. с фр. / Под ред. Вдовиной И.С., Фокина С.А. СПб.: Ювента: Наука, 1999. С. 150–151.

физическим источником речи, но и основной зоной тела, на которой отражены лабиринты опыта, чувств и намерений. Во многих отношениях, пусть банально, но одновременно и значимо, лицо в процессе социальных взаимоотношений индивидов влияет на их расположение в пространстве в условиях соприсутствия. Позиционирование «лицом» к другому или другим, к кому адресовано сообщение, разительно отличается от позиционирования в большинстве животных сообществ. Количество людей, способных непосредственно участвовать в социальных взаимодействиях «лицом к лицу», по сути своей строго ограничено, за исключением тех случаев, когда один или несколько индивидов обращаются к толпе или аудитории, стоящей перед ними. Однако подобные обстоятельства, несомненно, требуют, чтобы индивиды, составляющие толпу или аудиторию, приносили в жертву непрерывное тесное общение друг с другом. Первичность лица как деятеля и средства выражения и коммуникации имеет этические последствия, многие из которых детально анализируются Гофманом. Повернуться спиной к говорящему человеку означает в большинстве (если не во всех?) обществ жест игнорирования или неуважения. Более того, большинство (или даже все?) обществ имеет тенденцию признавать лингвистическое сходство между лицом как термином, относящимся к области физиогномики, и лицом как средством поддержания чувства собственного достоинства. Нет сомнений, что существует ряд культур, таких, например, как китайская культура или отдельные ее сектора, которые уделяют особое внимание сохранности лица в большинстве обстоятельств окружающей среды. Несомненно также и то, что это может иметь отношение к знаменитому различию, подчеркиваемому Бенедикт (Benedict) и другими, между культурами «стыда» и «вины», даже если подобное различие и кажется нам отчасти натянутым. Однако моменты сохранности и «сбережения» лица почти наверняка характерны для всего многообразия транскультурных контекстов социальных взаимодействий.

Родственные темы контроля за телом в процессе деятельности в условиях соприсутствия и всепроникающего влияния лица присутствуют во всех работах Гофмана. Как нам следует понимать термин «соприсутствие»? В том смысле, в котором он использовался Гофманом, и как понимаем

его мы, соприсутствие закрепляется на уровне перцепционных и коммуникативных модальностей тела. То, что Гофман именует «совершенными обстоятельствами соприсутствия», обнаруживается всякий раз, когда субъекты деятельности «чувствуют, что они достаточно близки, чтобы осознаваться в любой своей деятельности, включая «прочувствование» других, и достаточно близки, чтобы восприниматься в своем ощущении того, что их осознают» [43]. Несмотря на то что «совершенные обстоятельства соприсутствия» существуют исключительно в ситуации непосредственного контакта между физически присутствующими людьми, в наши дни, благодаря электронным коммуникациям и особенно телефону, стали возможны и опосредованные контакты, допускающие тесную связь и близость, характерные для условий соприсутствия [44]. В современных обществах, а в ином виде и в других культурах, пространство комнаты определяет, как правило, вероятные границы соприсутствия, за исключением тех случаев, когда речь идет о вечеринках, где «доступным» может оказаться весь дом. Конечно, существует множество «общественных мест», например, уличная толкотня и т. п., где невозможно обозначить физические пределы условий соприсутствия.

Гофман: взаимодействия и рутины

Поскольку Гофман последовательно и настойчиво уделяет внимание анализу рутины повседневной жизни, его работы содержат множество ярких примеров, проясняющих характер социальной интеграции. Прежде чем приступить к полезному для нас развитию этих идей, следует детально проанализировать и возразить некоторым неверным толкованиям работ Гофмана. Он настоятельно нуждается в защите от докучливых притязаний его поклонников. Зачастую Гофман воспринимается как идиосинкразический наблюдатель социальной жизни, чья чувствительность в отношении тонкостей того, что мы называем практическим и дискурсивным сознанием, происходит скорее от комбинации высокого интеллекта и игривого стиля, нежели является производной согласованного подхода к социальному анализу [45]. Это весьма обманчивая и неопределенная причина, по которой Гофман в большинстве случаев не причисляется

к разряду социальных теоретиков, заслуживающих особого внимания. В любом случае подчеркнем, что работы Гофмана представляются нам в высшей степени систематичными, и именно это серьезно определяет их интеллектуальное могущество. Другим недоразумением, которое Гофман вряд ли мог предусмотреть, является то, что его работы соответствуют только условиям «микросоциологии», которые очевидно отличаются от «макросоциологических» проблем. Гораздо интереснее, с нашей точки зрения, рассматривать труды Гофмана как имеющие отношение к распределению пересечений присутствия и отсутствия в процессе социального взаимодействия. Механизмы социальной и системной интеграции с необходимостью переплетаются друг с другом. Работы Гофмана, несомненно, затрагивают и ту и другую, даже, несмотря на то что он был крайне осторожен в отношении проблем долгосрочного институционального процесса или развития.

Кроме того, зачастую предполагается, что значимость работ Гофмана не только ограничена рамками современных обществ, но и то, что они прямо отражают те характеристики поведения, которые можно отнести к разряду новых и преимущественно американских. Так, комментируя работу Гофмана, Гоулднер пишет:

«...она (работа) останавливается на эпизодах и представляет жизнь исключительно в том виде, в котором она поддерживается в узком, межличностном окружении, внеисторично и неинституционально, как существование над историей и обществом... (Она) отражает новый мир, в котором новый слой — средний класс — не думает больше, что тяжелая работа приносит несомненную пользу, а успех зависит от прилежности и исполнительности. В этом новом мире остро чувствуется иррациональность отношений между индивидуальными достижениями и величиной получаемых вознаграждений, между фактическим вкладом и социальным регулированием. Это мир высокооплачиваемой голливудской звезды и фондовых бирж, предлагающих ценные бумаги, цены на которые не соответствуют получаемым прибылям» [46].

Гоулднер недвусмысленно (и не в ее пользу) сравнивает эту точку зрения с тем, что он называет «структурным» подходом. Социальный мир, изображенный Гофманом, не толь-

ко отличается высоким уровнем культурного развития, но и характеризуется наличием временных, а не прочных и устойчивых институциональных форм, упорядочивающих существование людей. Нельзя сказать, что обвинение, выдвигаемое Гофманом, — настолько, насколько это можно считать обвинением — неоправдано полностью. Однако критика Гоулднера еще раз демонстрирует нам, что дуализм, упоминавшийся нами ранее, весьма распространен в социальных науках. Стабильность институциональных форм невозможна вопреки или вне взаимодействий, имеющих место в повседневной жизни, но вместе с тем и *включается в эти самые взаимодействия*.

Исчезновение социальных взаимодействий отражает временность *протяженности* повседневной жизни и условный характер структуризации. Однако Гофман приводит очень убедительное доказательство, утверждая, что «постепенное исчезновение», свойственное синтагматическому упорядочению социального взаимодействия, согласуется с очевидной устойчивостью формы в социальном воспроизводстве. Хотя, насколько мы знаем, он никогда не заявлял подобного, нам думается, что его работы обнаруживают черты и свойства соприсутствия, характерные всем обществам, однако, те же самые работы, несомненно, могут быть значимы и в плане определения новых качеств современности. Работы Гофмана охватывают много миров. И все-таки, используя идеи, представленные в них, мы не являемся приверженцами всех акцентов, которые были расставлены самим автором.

Труды Гофмана внесли серьезный вклад в исследование отношений, существующих между дискурсивным и практическим сознанием в условиях социальных взаимодействий. Вместе с тем он практически не говорит о бессознательном и, возможно, даже отрицает саму идею, согласно которой последнее играет в социальной жизни хоть сколько-нибудь значимую роль. Более того, анализ взаимодействий, проведенный Гофманом, предполагает, скорее, мотивированных субъектов деятельности, нежели исследование источников человеческой мотивации, как утверждали многие из его критиков. Недостаток этот достаточно серьезен и является одной из основных (помимо отсутствия интереса к долгосрочным процессам трансформации соци-

альных институтов) причин того, что работы Гофмана зачастую кажутся нам «поверхностными». Почему субъекты деятельности, чей рефлексивный мониторинг поведения описан столь детально и тонко, придерживаются в повседневной жизни рутинных практик? На этот вопрос можно было бы ответить, если бы имели дело с ситуацией, в которой изображенные Гофманом индивиды умышленно представлялись в качестве циничных деятелей, абсолютно сознательно и расчетливо адаптирующихся к заданным социальным условиям. Однако, несмотря на то что многие понимали Гофмана именно таким образом, это не является основным следствием, которое нам хотелось бы извлечь из открытой им области исследования. Упор на преобладание в социальных взаимодействиях тактичности, восстановление деформаций социальной структуры и поддержание «доверия» предполагает, скорее, преимущественное внимание к защите социальной целостности, внутренним механизмам социального воспроизводства.

Гофман предлагает типологию форм взаимодействия, и мы будем использовать некоторые из представленных им понятий, отчасти модифицируя их по мере необходимости. Диапазон понятий выглядит следующим образом:

- [соприсутствие]
- встречи (сборища)
- общественные события (мероприятия)
- нефокусированное взаимодействие
- фокусированное взаимодействие:
 - взаимодействия (личные встречи)
 - рутины (эпизоды).

Сборища имеют отношение к сосредоточению людей (двух или более индивидов) в контексте соприсутствия. Под термином «контекст» (Гофман употребляет вместо него понятие «ситуации») мы будем подразумевать те «диапазоны» или «участки» пространства-времени, в рамках которых происходят конкретные встречи. Любой человек, оказавшийся в этом пространственно-временном диапазоне, делает себя «доступным» для вхождения в сборище или может фактически образовать его, если последнее двухэлементно по сути. Сборища предполагают *обоюдный* рефлексивный мониторинг поведения, осуществляемый в и посред-

ством соприсутствия. Контекстуальность их жизненно важна (и самым неотъемлемым образом) с точки зрения подобных процессов мониторинга. Контекст включает физическую среду взаимодействия, но одновременно не является только пространством, «в котором» оно происходит. Элементы контекста, в том числе временная последовательность телодвижений и разговоров, регулярно используются субъектами деятельности в процессе построения коммуникаций. Значимость их в плане формулировки «смыслового содержания» жестов и слов трудно переоценить, и это было убедительно доказано Гарфинкелем [47]. Так, лингвисты часто пытаются анализировать семантические проблемы либо в терминах «внутренней» лингвистической компетенции конкретных ораторов, либо исследуя свойства отдельных речевых актов. Вместе с тем «смыкание значений» поливалентных терминов обыденного языка, достигаемое в дискурсе, возможно постичь только путем изучения контекстуальной упорядоченности всех разговоров.

Встречи могут принимать весьма свободную и скоротечную форму, такую, например, как мимолетный обмен «дружескими взглядами» или приветствиями в коридоре. Более формализованные контексты встреч называются общественными мероприятиями. Последние предполагают наличие множества индивидов. Как правило, общественные мероприятия достаточно четко ограничены во времени и пространстве и характеризуются наличием специальных видов фиксированного материального «оснащения» — формализованно подготовленных столов, стульев и т. п. Общественное мероприятие обеспечивает «структурирующий социальный контекст» (терминология Гофмана), в условиях которого многие встречи «формируются, прекращаются и снова формируются, в то время как модель поведения имеет тенденцию признаваться в качестве соответствующей и (зачастую) формальной или преднамеренной» [48]. Все многообразие типовых (рутинных или стандартных) аспектов повседневной жизни, таких, например, как рабочий день на фабрике или в офисе, относится к этому же разряду. Однако существует также множество нестандартных социальных событий, включая вечеринки, танцы, спортивные мероприятия и т. п. Конечно, участок физического пространства может одновременно являться местом действия не-

скольких социальных событий, каждое из которых включает разнообразные встречи или сосредоточения индивидов. Гораздо чаще, однако, имеет место нормативно санкционированное «доминирующее социальное событие», подчиняющее себе другие мероприятия, происходящие в конкретном пространственно-временном секторе.

Контекстуальные характеристики скоплений, случающихся в условиях социальных мероприятий или вне их, могут быть разделены на две основные группы. Нефокусированное взаимодействие относится к тем ко всей совокупности телодвижений и сигналов, которые сообщаются между индивидами, присутствующими в рамках определенного контекста. Основными источниками принуждения здесь являются физические свойства тела и ограниченные возможности позиционирования лица. Обобщенная осведомленность акторов относительно присутствия других субъектов деятельности может распространяться в широком пространственном диапазоне и охватывать даже тех, кто находится позади них. Однако подобные «сигнализования тела» весьма расплывчаты по сравнению с теми, которые возможны и постоянно используются в процессе взаимодействия лицом к лицу. Фокусированное взаимодействие имеет место всякий раз, когда два или более индивидов координируют свои действия посредством непрерывного пересечения выражений лиц и голосов. Несмотря на то что участники способны отслеживать большинство того, что происходит в более широком диапазоне социального окружения, фокусированное взаимодействие четко разграничивает тех, кто в нем участвует, и тех, кто присутствует. Единицей фокусированного взаимодействия является встреча лицом к лицу или столкновение. Столкновения представляют собой путеводную нить социального взаимодействия, преемственность встреч друг с другом, упорядоченную в рамках повседневного цикла деятельности. Хотя Гофман формально и не включает это в свою концептуальную схему, нам кажется очень важным подчеркнуть тот факт, что столкновения, как правило, носят рутинный характер. Иными словами, то, что с точки зрения текущего момента может показаться лаконичными и тривиальными обмена, становится гораздо более реальным и практически значимым, когда рассматривается в качестве неотъемлемого элемента повторяющегося харак-

тера социальной жизни. Рутинизация взаимодействий имеет первостепенное значение для сочленения мимолетного столкновения с социальным воспроизводством, а, следовательно, и с видимой «стабильностью» институтов.

Мы определяем социальную интеграцию как системность в условиях соприсутствия. Некоторые явления буквально «напрашиваются» на то, чтобы считаться наиболее релевантными формированию социальной интеграции, определяемой подобным образом. Во-первых, для того чтобы постичь связь, существующую между взаимодействиями и социальным воспроизводством, растянутым во времени и пространстве, нам следует обратить особое внимание на то, каким образом взаимодействия формируются и преобразуются в *протяженности* повседневного существования. Во-вторых, нам необходимо попытаться определить основные механизмы дуальности структуры, посредством которых взаимодействия организуются в и через пересечения практического и дискурсивного сознания. Это в свою очередь должно быть изложено в терминах контроля за телом и поддержки (или правил, или условных договоренностей). В-третьих, помимо всего прочего взаимодействия обеспечиваются и поддерживаются посредством *разговоров*, т. е. повседневного речевого общения. Анализируя коммуникацию значения в процессе взаимодействия с помощью использования объяснительных схем, явление разговора, неотъемлемо присущее взаимодействиям, следует воспринимать очень серьезно. Наконец, следует изучить контекстуальную организацию взаимодействий, поскольку мобилизация времени-пространства представляет собой «основу» всех вышеупомянутых элементов. Мы постараемся решить эту проблему, определив несколько базисных понятий, таких как «наличие — присутствие», «локальность (место действия)» и отношение «обособленность/ раскрытие». Не обсуждая эти понятия в данной главе, мы вернемся к ним позже.

Сериальность

Взаимодействия представляют собой упорядоченные явления, интерполированные в рамках и, помимо этого, придающие форму сериальности повседневной жизни. Систематические свойства взаимодействий могут быть сведены к

двум базисным характеристикам: открытость — закрытость и очередность. Рассмотрим вкратце каждую из них. *Протяженность* повседневной жизни, проживаемая каждым индивидуально, есть непрерывный поток деятельности, нарушаемый исключительно (но регулярно) относительным бездействием во время сна. *Протяженность* деятельности может «заклучаться в скобки» или, по выражению Шюца, «концептуально сегментироваться» возвратным моментом внимания со стороны субъекта. Это происходит, когда кто-нибудь просят пояснить «причину» или обосновать (объяснить) определенные особенности собственного поведения. Однако *протяженность* повседневной жизни также «обособляется скобками», отмечающими начало и окончание взаимодействия. Гофман пишет: «Тогда мы можем говорить об открытии и закрытии временных скобок и ограничениях пространственных «скобок» [49]. Будучи приверженцем драматургических метафор и аналогий, Гофман приводит в качестве примера приемы, используемые при начале и завершении театральных представлений. В начале спектакля, например, звенит звонок, гаснет свет, поднимается занавес. В конце действия свет в зале снова загорается и занавес опускается. Большинство социальных событий использует те или иные виды формальных знаковых приемов, знаменующих их начало и окончание — атрибут как ритуальных мероприятий, свойственных традиционным культурам, так и множеству более светских социальных событий, имеющих место в современных обществах. Например, обособление церемоний инициации, как правило, символизируется разительным изменением в манере поведения в пределах рамок самого мероприятия — «маркерами», указывающими на переход от мирского к священному. Роже Каюа (Caillois) продемонстрировал параллели между сферами религии и «игры» (а также непосредственное историческое влияние на них) [50].

Можно предположить, что «скобки» или «маркеры» имеют тенденцию восприниматься обычными актерами как особо важные в тех случаях, когда действия, протекающие в контексте взаимодействия или в рамках социального события, существенно отличаются, с точки зрения их участников, от стандартных ожидаемых результатов повседневной жизни. Гофман приводит следующий пример. В процессе

медицинского обследования обнаженного тела или позирования в обнаженном виде индивид, как правило, предпочитает не раздеваться в присутствии аудитории — другого или других; то же самое происходит и по завершении взаимодействия — при одевании. Раздевание и одевание, происходящие наедине, позволяют человеку внезапно представить тело и также внезапно его скрыть. Таким образом обозначаются границы эпизода и одновременно подчеркивается, что происходящее лишено сексуальной или другой значимости, которая в ином случае могла бы подразумеваться. Это является частью того, что Гофман именует «манипуляцией» взаимодействиями, и тесно взаимосвязано с рассуждениями Виттгенштейна относительно переплетения различных форм жизни. Наличие взаимодействий, имеющих границы и обладающих определенным социальным «оттенком» или «характером», делает возможным преобразование и группировку всего многообразия частных эпизодов в различные друг от друга «типы».

Мы (и немалое количество их) обладают способностью и склонностью использовать фактическую и реальную деятельность — деятельность, выразительную саму по себе — в качестве модели, на которой очерчиваются границы переходов к веселью, хитрости, эксперименту, повторению, сну и мечтам, фантазиям, ритуалам, демонстрации, анализу и благотворительности. Подобные яркие и живые призраки событий включаются и приспособляются к действующему миру, но не таким близким образом, какой характерен повседневной деятельности в буквальном смысле этого слова [51].

Большинство взаимодействий, образующих сериальность социальной жизни, происходит либо вовне (в пространстве-времени), либо на заднем плане скоплений, базирующихся на социальных событиях. В подобных обстоятельствах общение лицом к лицу не подразумевает явных границ, изолирующих взаимодействие от индивидов, не участвующих в нем. В этих условиях рефлексивный мониторинг тела, телодвижений и позиционирования используется, как правило, во имя формирования «условной ограниченности взаимодействия» [52]. Иными словами, нормативно

санкционированная «преграда» отделяет тех, кто участвует во взаимодействии, от тех, кто просто присутствует. Это совместная работа, в процессе которой непосредственные участники взаимодействия лицом к лицу и сторонние наблюдатели — зачастую, вовлеченные в процесс общения с другими сторонами — выказывают друг другу своего рода «гражданское невнимание». Гофман определяет различные способы достижения и разрушения подобного состояния. Как и во всех других случаях обобщенного мониторинга взаимодействия, здесь существует множество необычно сложных ритуалов, используемых, например, с целью демонстрации «невнимания». Так, от свидетелей — очевидцев ожидают обычно, что они не только не будут использовать ситуацию близкого присутствия, посредством которой возможно получить информацию о происходящих вокруг личных взаимодействиях, но и станут активно демонстрировать собственное невнимание. В ряде случаев последнее довольно проблематично. Ибо если невнимание носит чрезмерно нарочитый и напускной характер, оно может произвести обратное впечатление и дать понять, что индивид на самом деле подслушивает.

Здесь возможны разного рода осложнения. Существует ряд ситуаций, в которых индивид заинтересован в подслушивании содержания социального взаимодействия и сознательно симулирует невнимание. Однако в этом случае актуален риск быть замеченным вследствие искусственности позы или массы других особенностей, способных выдать истинный смысл происходящего. Отсюда никоим образом не следует, однако, что большинство изумительно утонченных лабиринтов взаимодействия носят преднамеренный или умышленный характер или являются результатом циничных манипуляций; именно к таким выводам склонны многие интерпретаторы Гофмана. Совсем наоборот. Наиболее удивительным является, на наш взгляд, то, что навыки взаимодействия, обнаруживаемые актерами в процессе производства и воспроизводства взаимодействий, укоренены в практическом сознании. Структуриации социальных взаимодействий характерна скорее тактичность, нежели цинизм. Вопреки тому, что содержание понятия «тактичность» может существенно видоизменяться, значимость ее не подвергается сомнению в весьма разнящихся во всех про-

чих смыслах обществах и культурах. Такт или тактичность — неявное концептуальное соглашение участников взаимодействий — является, по-видимому, основным механизмом обеспечения «доверия» или чувства онтологической безопасности на протяжении длительных пространственно-временных промежутков. Поддерживая и защищая условную обособленность взаимодействия, такт выходит на первый план в ситуациях, угрожающих ее целостности. Так, например, в ограниченных пространствах, подобных кабине лифта, практически невозможно занять позицию, исключающую слушание. В англо-американском обществе индивиды, попавшие в подобную ситуацию, склонны временно приостановить процесс общения, иногда позволяя себе короткие реплики, указывающие на то, что взаимодействие не прекращено, а всего лишь отложено. Точно так же, если несколько человек разговаривают, и вдруг один из них прерывает беседу и отвечает на телефонный звонок, то другие не могут сразу же продемонстрировать свое невнимание к этому, и продолжающийся между ними разговор становится на некоторое время прерывистым и неуверенным [53]. Эти и подобные им контексты взаимодействий напрямую выражают асимметрию власти. Так, если двое индивидов, находящихся в лифте, продолжают разговаривать, не обращая внимание на чрезмерную близость окружающих их людей, вполне может оказаться, что они таким образом демонстрируют своим подчиненным собственное безразличие к сохранению в подобной ситуации гражданского невнимания. Тем не менее они могут выдать определенную обеспокоенность фактом отклонения от стандартных норм, а посему говорить даже громче, чем делали бы это в других обстоятельствах.

Социальные взаимодействия предполагают «зонирование в пространстве»; это касается как расположения тел относительно друг друга, внутри и вовне области взаимодействия лицом к лицу, так и согласованной, с точки зрения периодичности и очередности, сериальности вкладов, составляющих взаимодействие. Совместное пространственное расположение существенно с точки зрения обособления взаимодействий (буквального «заклучения их в скобки») и является, как мы постараемся продемонстрировать это позже, предметом того, что Хагерstrand именует «ограничени-

ями взаимодействия» и «пределами вместимости». Обобщенные нормативные санкции, определяющие приемлемую пространственную близость индивидов в общественных местах подвержены кросс-культурным изменениям, аналогично нормам, влияющим на границы допустимых телесных контактов между людьми в различных ситуациях [54]. Однако пространственное расположение может быть эффективно организовано только в рамках «непринужденной беседы» — на небольшом расстоянии друг от друга, дабы не было необходимости кричать, и не слишком близко, чтобы невозможно было наблюдать за стандартными выражениями лица, помогающими контролировать искренность и достоверность произносимого. Взаимодействия лицом к лицу в ситуации соприсутствия других практически всегда характеризуются определенным обособлением тела от тех, кто не является их участником. При этом пространственное расположение тел таково, что любые физические барьеры, препятствующие свободному обмену взглядами или визуальному контакту, отсутствуют. Этого трудно добиться в толпе с ее хаотичными и множественными, разнонаправленными движениями — например, на вечеринке или в переполненном поезде. В подобных ситуациях имеет место временное ослабление санкций, которые в обычном случае контролируют чрезмерную мобильность взаимодействующих. При данных обстоятельствах человек вполне может перемещать свое тело туда-обратно, если другие понимают, что это делается им во имя сохранения визуального контакта, нарушаемого или блокируемого положением других людей. Эти движения могут осуществляться в излишне подчеркнутой форме, дабы продемонстрировать другим, что актер, производя их, понимает, что в обыденной ситуации они будут выглядеть несколько эксцентрично.

Очередность во взаимодействиях исследовалась в основном авторами этнометодологического направления [55]. Их работы часто недооцениваются и обвиняются в тривальности. Мы полагаем, однако, что эта оценка является недальновидной. Очередность укоренена в родовых свойствах человеческого тела и посему отражает фундаментальные аспекты природы взаимодействия. Более того, она является основной чертой последовательного характера социальной жизни, связанной с глобальным, всеобъемлющим

процессом социального воспроизводства. Очередность представляет собой форму «ограничения взаимодействия», протекающую из простого, но существенного факта, согласно которому основной способ коммуникации человеческих существ, взаимодействующих в ситуации соприсутствия, — разговор — является «одноразрядным». Разговор синтагматически разворачивается в потоке *протяженности* взаимодействия, и поскольку цель коммуникативного взаимодействия может быть достигнута только в том случае, если одновременно, в определенный момент времени разговаривает только один человек, эпизоды взаимодействия неизбежно носят последовательный характер. Следует подчеркнуть, что эмпирические исследования речевого общения наглядно демонстрируют, что оно гораздо менее симметрично, чем можно было бы предположить. Организация очередности редко происходит таким образом, что участники заканчивают начатые ими фразы. Разговоры изобилуют произвольными задержками в речи; ораторы внезапно вмешиваются в то, что произносят другие, таким образом, четкое разделение на роли отсутствует [56].

Очередность относится как к сериальности столкновений, так и к взаимодействию субъектов, происходящему в рамках этих столкновений, и может быть непосредственно связана с властными различиями. Любые организации предполагают координацию взаимодействий в потоках пространственно-временных отношений, «протекающих» в надлежащем образом упорядоченных контекстах и местах действия (см. с. 119ff). Так, процесс организации судебных разбирательств как повседневной деятельности, происходящей в зале суда, имеет формализованный, последовательный характер, согласно которому одно дело слушается и рассматривается как определенное социальное событие, в то время как участники следующего ожидают своей очереди в соседнем, сопредельном зале. В обществах можно найти множество аналогичных примеров более широкого пространственно-временного диапазона. Приведенные ниже рассуждения Сартра, затрагивающие проблему сериальности, напрямую связаны с мнимой тривиальностью очередности в разговорах. Сартр обращает наше внимание на то, что банальный пример сериальности, очередь, поджидающая автобус, может быть использован для демонстрации взаимного сопря-

жения пространственно-временных отношений наличия и отсутствия:

...эти самостоятельные и независимые люди формируют группу *постольку, поскольку* все вместе стоят на одном и том же тротуаре, защищающем их от транспорта, курсирующего по площади; *постольку, поскольку* они группируются вокруг одной и той же автобусной остановки и т. д., и т. п. ...Все или практически все они являются рабочими и регулярными пользователями автобуса; им известно расписание и частота рейсов; и, следовательно, все они ждут *одного и того же* автобуса: скажем, рейса 7.49. Именно он *представляет их текущий интерес*, поскольку они зависят от него (поломок, аварий, несчастных случаев). Вместе с тем — поскольку все они являются жителями этой местности — текущий интерес такого рода относится к более масштабным и глубоким структурам их родового интереса: улучшения системы общественного транспорта, замораживание тарифов на проезд и т. п. Автобус, которого они ждут, объединяет этих людей, являясь их интересом как индивидов, которые *этим утром* направляются по делам *на правый берег*; однако как рейс 7.49 этот автобус представляет собой *их интерес как пассажиров, пользующихся сезонным билетом*; все ограничено во времени: путешественник осознает себя как *резидента* (то есть он является таковым в течение 5 или 10 предыдущих лет), и тогда автобус характеризуется своим ежедневным, неизменным возвращением (фактически это *тот же самый автобус*, с тем же самым водителем и кондуктором). Объект приобретает структуру, которая выходит за пределы его простого инертного существования; как таковой он имеет пассивное будущее и прошлое, и поэтому воспринимается пассажирами как незначительный частный фрагмент их собственной судьбы [57].

Разговоры и рефлексивность

Наиболее ценные идеи Гофмана, проливающие свет на поддержание и воспроизводство взаимодействий, касаются связи, существующей между рефлексивным контролем тела — то есть рефлексивным самомониторингом жестов,

телодвижений и позы — и обоюдной координацией взаимодействия посредством такта и почтительного отношения к нуждам и потребностям других людей. Преобладание такта, доверия или онтологической безопасности достигается и поддерживается посредством широкого диапазона навыков, используемых субъектами деятельности в процессе производства и воспроизводства социального взаимодействия. Подобные навыки зиждятся в первую очередь на системе нормативно регламентированного контроля мелких и назначительных, как может показаться, даже менее существенных, чем очередность, элементов телодвижений или выражений. Это особенно очевидно в условиях их отсутствия или нарушения — у «душевнобольных» и в ситуации временных телесных и вербальных упущений или ошибок.

С точки зрения Гофмана, «психическое расстройство», и даже наиболее серьезные формы «психотического нарушения», проявляются прежде всего в неспособности или нежелании принимать и поддерживать многообразие мелких (хотя и нетривиальных) форм мониторинга телодвижений и жестов, составляющих нормативное ядро повседневных взаимодействий. Сумасшествие представляет собой скопление «ситуативных некорректностей (или бестактностей)» [58]. Психотическое поведение отклоняется или значительно расходится с общепринятым порядком пространственно-временных отношений, поддерживаемым с помощью тела и его возможностей, посредством которых человеческие существа «ладят друг с другом» в ситуации соприсутствия. «Душевнобольные» не адаптируются к чрезвычайно строгим (и устойчивым) требованиям контроля за телом, предъявляемым «нормальным индивидам»; они не признают сложные принципы, управляющие и контролирующие образование, поддержание, прекращение или временную приостановку социальных взаимодействий; а также не способны поддерживать разнообразные формы и проявления тактичности, являющиеся основой «доверия» [59]. Индивиды редко «просто» соприсутствуют в ситуации и никогда не могут позволить себе подобное в условиях социального взаимодействия. В контексте соприсутствия рефлексивный мониторинг действия предполагает своего рода «контролируемую бдительность или настороженность»: по выражению Гофмана, акторы должны «проявлять свое присутствие». Это именно то, чего не дела-

ют многие «психически больные люди», находящиеся в состоянии очевидного кататонического ступора или передвигающиеся механически, как будто принудительно направляемые внешней силой [60].

Проявление присутствия с легкостью принимает различные формы и имеет предумышленный характер, однако, несомненно, осуществляется прежде всего на уровне практического сознания. Обратимся к внешнему виду и заметным показателям одежды и украшений. Забота о внешнем виде проявляется, например, посредством внимания и тщательности, с которой индивид выбирает и «аранжирует» одежду и украшения в зависимости от конкретного контекста деятельности, в которой он собирается принять участие. Однако неверно предполагать, что подобная тщательность представляет собой прототипичный способ поддержания собственного стиля. Более сложным и сущностным является постоянный мониторинг соответствия одежды и позы в ситуации присутствия посторонних. Так, «душевнобольные» могут сидеть в расслабленной позе, при этом их одежда приведена в беспорядок или скомкана; одетые в юбки женщины могут не следить за соблюдением принятого в западных обществах правила сидеть, сдвинув ноги, и т. п. Между представителями богемы или бродягами, не подчиняющимися в своей манере одеваться и вести себя общественным условностям, и «психически больными» людьми существует фундаментальное отличие. Ибо нормативные ожидания, на которых основывается контроль за телодвижениями и внешним видом, касаются не только внешних атрибутов аксессуаров или явных показателей моторного поведения, но и «непрерывного контроля», который одновременно «осуществляет» и демонстрирует деятельность.

То, что подобный постоянный самоконтроль является неотъемлемым атрибутом социальной жизни, очевидно благодаря значимости так называемых «задних планов» — присутствующих в том или ином виде во всех обществах, — в которых люди могут отчасти ослабить контроль за собственными телодвижениями, жестами и внешним видом. Однако даже оставаясь в одиночестве, индивид может поддерживать респектабельный вид. Ибо тот, кто обнаруживается небрежно «несобраным», передает другие личностные аспекты, которые, по всей видимости, заметны только в по-

добных ситуациях [61]. Суть состоит в том, что обеспечение «имиджа квалифицированного субъекта деятельности» внутренне присуще самому понятию «деятельность», а мотивы, которые побуждают и усиливают эту связь, свойственную процессу воспроизводства социальных практик, аналогичны *тем*, что непосредственно управляют этим процессом. Жестко санкционированный характер подобных явлений со всей очевидностью обнаруживается в нижеприведенных рассуждениях:

В таком случае манера представлять собственную персону (телесная идиома) является условным дискурсом. Помимо этого, она носит нормативный характер. Иными словами, в большинстве случаев существует принудительная обязанность передавать в присутствии посторонних людей определенную информацию и не создавать других впечатлений... Хотя индивид может прекратить разговор, он не способен завершить коммуникацию, осуществляемую посредством телесной идиомы... Парадоксально, на наш взгляд, то, что способ, которым индивид может передать минимальное (хотя и значимое) количество информации о себе, заключается в том, чтобы соответствовать и вести себя так, как того ожидают от людей его круга [62].

Многие «психические больные» испытывают трудности или не подчиняются нормам, связанным с «открытием» и «закрытием» взаимодействий. Так, пациент психиатрической клиники может удерживать кого-то из штата персонала независимо от того, что этот человек подает знаки, указывающие на его или ее желание идти дальше. Душевнобольные люди могут неотступно следовать за человеком, невзирая на скорость движения последнего, и пытаются сопровождать представителей персонала за пределы больницы, стремясь проникнуть через внешнюю дверь, даже если клиника является закрытой. В подобных ситуациях штатному сотруднику разрешено ограничивать пациента физически, буквально вырываясь из его «объятий». Происшествия такого рода, характерные для повседневной жизни психиатрических клиник, имеют тенденцию противоречить предположению относительно общности

интересов, которую обычно стремится продемонстрировать персонал. Стремительный уход сотрудников иллюстрирует обстоятельства, которые во внешнем мире возможны лишь в тех случаях, когда индивид, покидающий сцену действия подобным образом, демонстрирует непринятие сильной душевной связи — например, любовных отношений, — на существование которой претендует «преследователь». Разумеется, подобный результат не всегда не осознается психически нездоровым человеком, находящимся под опекой в больнице. Фактически многие неестественные и эксцентричные моменты взаимодействий между здравомыслящими и душевнобольными индивидами представляют собой своего рода «эксперимент», который последние ставят над обычными рамками социальных взаимодействий. Лэйинг (Laing) полагает, что «шизофреники» вполне справедливо считаются людьми, серьезно — на уровне практического сознания и реального поведения — воспринимающими вопросы, гипотетически задаваемые философами в их мировоззренческих работах. Их на самом деле беспокоит не ортодоксальное решение проблемы, такой, например, как «В каком смысле я являюсь личностью?», «Существует ли мир только в таком виде, в каком я себе его представляю?» и т. п. [63]. Однако большая часть «экспериментальной деятельности» умалишенных относится к условностям и нормативным санкциям, связанным со сложностями контроля за телом в рамках непосредственных социальных взаимодействий. «Опыты с доверием», проведенные Гарфинкелем, дублируют некоторые раздражающие ощущения беспокойства, возникающие у «нормальных» индивидов в тех случаях, когда под сомнение ставятся рутинные практики повседневной жизни.

Эти рассуждения касаются и разговора как дискурсивного посредника коммуникативного намерения в условиях соприсутствия. Анализ «реакций-восклицаний» (выражений или высказываний, не являющихся речью как таковой) позволяет осуществить переход к исследованию разговоров. Подобные восклицания еще раз убеждают нас в том, что незначительные и «спонтанные», как нам представляется, характеристики человеческого поведения находятся под жестким нормативным контролем. Реакции-восклицания нарушают общепринятые правила не говорить с самим со-

бой открыто. Рассмотрим восклицание «Ой!» [65]. На первый взгляд кажется, что это обычная рефлекторная реакция на происшествие, примерно как невольное моргание при резком взмахе руки. Однако на самом деле это не самопроизвольная реакция, она нуждается в детальном анализе, поскольку отражает общие характеристики действий человека. Когда кто-то, уронив или разбив что-либо, вскрикивает «Ой!», может, на первый взгляд, показаться, что изданный звук говорит о потере контроля, привлекая внимание к выводам, которых индивид хотел бы избежать, оповещает о дезорганизации рутинных форм контроля, отражающих рефлексивно контролируруемую деятельность. В действительности же восклицание демонстрирует другим, что конкретное происшествие является обычной случайностью, за которую индивид не несет ответственность. «Ой!» используется, дабы продемонстрировать, что ляпсус носит случайный и непредвиденный характер и никоим образом не является свидетельством общей некомпетентности актора или некоего тайного намерения. Но и здесь существует масса других тонких нюансов и возможностей. Так, например, «Ой!» произносится при незначительных неудачах, но не в случае серьезных катастроф и несчастий. Следовательно, восклицание «Ой!», каким бы самопроизвольным и непосредственным оно ни казалось, свидетельствует о внимании к последствиям непредвиденных происшествий, а по сему указывает на общую компетентность, которая не принимает во внимание то, что рассматривается как незначительная оплошность.

Более того. «Ой!» может быть истолковано как предупреждение другим. В обстановке соприсутствия существует риск, и индивиды, находящиеся в близости, должны позаботиться об этом. Восклицание «Ой!» может возникнуть и у того, кто наблюдает, в этом случае его реплика становится предупреждением другому человеку, что допущенная им незначительная оплошность не воспринимается как свидетельство некомпетентности. Звук восклицания обычно короткий, однако, в некоторых ситуациях он может растягиваться. Так может происходить в критические моменты каких-либо действий, которые необходимо преодолеть для их успешного завершения. Шутливо подбрасывая ребенка в воздух, отец говорит: «Ой!» или «Оп-

па!» Восклицание занимает то время, когда ребенок может почувствовать потерю опоры, ободряет его и, возможно, отвлекает ребенка на то, чтобы понять восклицание [66].

Таким образом, восклицание «Ой!» вовсе не оторвано от речи, как может показаться изначально, поскольку оно задействовано в самом общественном характере коммуникации, пересекающейся с практикой, что, по мнению Витгенштейна, является основой использования языка. В свете предыдущих дискуссий очевидно, что индексальность обыденного языка не является «проблемой» ни для непрофессиональных ораторов, ни для философского анализа. «Индексальность» означает «контекстуальность»: контекстуальность речи, как и контекстуальность положения тела, жестов и телодвижений, представляет собой основу гармонизации этих явлений как взаимодействий, расширенных во времени и пространстве. Беседа — неотъемлемая деталь подавляющего большинства взаимодействий, демонстрирующая к тому же сходства систематической формы. Обычно речевое общение происходит в форме диалога. «Диалог» допускает множественность, это указывает на то, что диалоги представляют собой эпизоды, имеющие начало и конец в пространстве-времени. Нормы речевого общения имеют отношения не только к тому, что говорится, синтаксической и семантической форме высказываний, но и к рутинизированным обстоятельствам речевого общения. Диалоги, или элементы речевого общения, предполагают наличие стандартизированных способов начала и окончания, а также методов, посредством которых возможно удостовериться и продемонстрировать «состоятельность» ораторов как индивидов, обладающих правом участвовать в диалоге. Само понятие «заключение в скобки» указывает на условное установление границ в письме. Завершая настоящий раздел, предоставим слово Гофману. Что представляет собой речевое общение, рассматриваемое в контексте взаимодействия? «Это пример соглашения, посредством которого индивиды собираются вместе и занимаются вопросами, санкционированно, совместно и непрерывно требующими внимательности; именно это требование объединяет их в своеобразном субъективном, внутреннем мире» [67].

Позиционирование

Выше мы уже говорили о том, что социальные системы организованы в форме регулярных, упорядоченных социальных практик, проявляющихся во взаимодействиях, расщепленных в пространстве и времени. Актеры, чье поведение составляет эти практики, «зонированы» (или позиционированы). Все они зонированы или «расположены» во времени и пространстве, двигаясь вдоль того, что Хагерstrand называет пространственно-временной траекторией. Кроме того, они зонированы и друг относительно друга, что подразумевается самим термином «социальная позиция». Социальные системы существуют и через целостную непрерывность социальных практик, исчезающих во времени. Однако некоторые структуральные свойства их лучше описывать как отношения «позиция — практика» [68]. По своей структуре социальные позиции представляют собой специфические пересечения сигнификации, господства и легитимации, имеющие отношение к типизации субъектов деятельности. Социальная позиция подразумевает определение «идентичности» в рамках системы социальных связей и взаимоотношений; идентичности как «категории», к которой относится ряд специфических нормативных санкций.

Начиная с Ральфа Линтона (Linton) понятие социальной позиции ассоциировалось, как правило, с гораздо более изученным понятием роли [69]. Не останавливаясь на этом вопросе подробно, сделаем лишь некоторые замечания. Это понятие связано с двумя очевидно противоположными точками зрения, каждая из которых вызывает у меня определенную тревогу. Одна принадлежит Парсонсу, который рассматривал роль как фундаментальное понятие — точка соприкосновения мотивации, нормативных ожиданий и «ценностей». Подобный взгляд на концепцию роли гораздо больше, нежели допустимо, увязан с парсонсианским принципом зависимости социетальной интеграции от «консенсуса ценностных ориентаций». Вторая позиция представляет собой драматургическую точку зрения, отстаиваемую Гофманом, о которой мы в деталях поговорим в следующей главе. Две упомянутые нами концепции могут показаться несовместимыми, хотя на самом деле они имеют много общего. Каждая имеет тенденцию акцентировать внимание на

«установленном» характере ролей, отражая таким образом дуализм действия и структурные особенности многих областей социальной теории. Сценарий написан, место действия установлено, а актеры делают все от них зависящее, дабы выполнить приготовленную им роль. Отрицание этих взглядов отнюдь не говорит о том, что мы сможем обходиться без понятия роли, однако, оно предполагает рассмотрение «позиционирования» акторов как более значимого процесса. Определяя понятия, мы обратимся к формулировкам, которые были предложены нами в предыдущих работах. Социальная позиция трактуется нами как «социальная идентичность, влекущая за собой определенный (однако расплывчато заданный) круг прав и обязанностей, которые актор, соответствующий этой идентичности (или «лицо», занимающее эту позицию) может активировать или выполнить: эти права и обязанности формируют ролевые предписания, связанные с той или иной позицией» [70].

На наш взгляд, «позицию» правильнее трактовать как «позиционирование», поскольку второй термин предполагает широкий диапазон возможных значений. Акторы всегда позиционируются относительно трех аспектов темпоральности, на основе которых строится теория структуризации. Позиционирование деятелей в условиях соприсутствия представляет собой простейшую форму структуризации взаимодействий. Здесь позиционирование предполагает множество разнообразных модальностей телодвижений, жестов, а также общее передвижение тела по региональным секторам повседневной рутины. Нет сомнений, что расположение акторов в «регионах» каждодневных пространственно-временных траекторий движения сопровождается их позиционированием в рамках более широкой регионализации социетальных общностей и внутри интерсоциетальных систем, диапазон распространения которых конвергируется с геополитическим распределением социальных систем в глобальном масштабе. Очевидно, что значимость позиционирования, рассматриваемого с этих элементарных позиций, тесно увязана с уровнем пространственно-временного дистанцирования социетальных общностей. В тех обществах, где социальная и системная интеграции более или менее равнозначны, позиционирование имеет многоуровневую структуру лишь отчасти. В современных же обществах

индивиды позиционируются в пределах постоянно расширяющейся сферы зон — дома, на рабочем месте, по соседству, в городе, государстве-нации и мировой системе — которые обнаруживают свойства системной интеграции, все в большей степени соотносящей несущественные детали повседневной жизни с социальным феноменом массового расширения пространства-времени.

Для всех индивидов позиционирование относительно пространственно-временных траекторий обыденной жизни означает одновременное расположение в рамках «жизненного цикла» или жизненного пути. Возможно, формирование «Я» зиждется на своеобразном врожденном нарциссизме или самолюбовании, характерном для «зеркальной стадии» развития личности. Ребенок приобретает навыки рефлексии деятеля, позиционируя свое тело относительно его образа. Само содержание понятия «Я» как «механизма» преобразования неизбежно связывает самость с ее позицией в рамках сериальности дискурса и деятельности. Позиционирование относительно жизненного пути предполагает категоризацию социальной идентичности. Среди ряда других возможных форм классификации возрастов «детство» и «взрослость» всегда объединяют биологический и социальный критерии взросления. Различные этапы жизненного пути представляют собой основное ограничивающее условие, определяющее фундаментальную значимость семьи в процессе соединения физического и социального воспроизводства. Человеческое общество, члены которого являлись бы представителями одной возрастной группы, не смогло бы существовать, ибо младенцы долгое время находятся в более или менее полной зависимости от старших [71].

Вместе с тем эти формы позиционирования перекликаются с расположением индивидов в пределах *длительной протяженности* институциональных образований, формирующей всеобъемлющую структуру социального позиционирования. Только в контексте подобного «пересечения» в рамках институционализированных практик возможно постичь способы пространственно-временного позиционирования относительно дуальности структуры. Мы полагаем, что возраст (или возрастная градация) и социальный пол (гендер) являются наиболее всеобъемлющими критериями

свойств социальной идентичности, и такое положение характерно для любых обществ. Однако, несмотря на то что в социологической литературе принято говорить о возрастных ролях, гендерных ролях и т. п. в общем виде, мы не будем следовать этой традиции. Социальная идентичность, приписываемая на основе возраста или пола — или других «аскриптивных» характеристик, таких, например, как кожная пигментация — имеет тенденцию быть в фокусе стольких аспектов поведения, что применять для их описания термин «роль» неверно и поверхностно [72]. Содержание понятия роли, и на это указывают многие критики его чрезмерного использования в социальных науках, концептуально грамотно только в контексте социального взаимодействия, где нормативные права и обязанности, ассоциируемые с конкретной идентичностью, сформулированы достаточно четко. Драматургическое происхождение этого понятия обращает наше внимание на то, что говорить о роли стоит лишь тогда, когда мы имеем дело со специфическими типами среды взаимодействия, в которых нормативно заданное определение «ожидаемых» линий поведения выражено четко и отчетливо. Подобная среда взаимодействия практически всегда обеспечивается специальным местом действия или его типом, где происходят упорядоченные взаимодействия сопричастующих субъектов [73]. Как правило, такая обстановка связывается с более явным замыканием отношений, чем то, что характерно для социальных систем в целом.

«Позиционирование» постигает то, что мы будем называть контекстуальностью взаимодействия и позволяет нам осознать значимость идей Гоффмана для развития теории структуриации. Любое социальное взаимодействие есть взаимодействие ситуативное, происходящее в определенных (пространственных и временных) условиях. Его можно определить как прерывистое, хотя и регулярное появление взаимодействий, постепенно исчезающих во времени и пространстве, но одновременно постоянно воссоздаваемых в рамках различных пространственно-временных областей. Систематический или рутинный характер взаимодействий, проявляющийся как во времени, так и в пространстве, отражает институционализированные свойства социальных систем. Рутинность основывается на традициях, обычаях и при-

вычках, однако, ошибочно полагать, что эти феномены не требуют объяснения, поскольку представляют собой повторяющиеся формы поведения, совершаемые «безрассудно». Напротив, Гофман (и вся этнометодология в целом) способствовали пониманию того, что монотонный или рутинный характер большинства социальных действий представляет собой нечто, что должно непрерывно «прорабатываться» теми, кто реализует его в своем повседневном поведении. Одним из наиболее существенных недостатков работ Гофмана является, на наш взгляд, отсутствие внимания к мотивации. В предыдущих разделах мы стремились компенсировать это, предположив, что доверие и такт как основные качества, приносимые участниками взаимодействий, можно объяснить с точки зрения отношений, существующих между базисной системой безопасности — *практическим* поддержанием чувства онтологической безопасности — и рутинным характером социального воспроизводства, мастерски организованного субъектами социальных действий. Мониторинг тела, контроль и использование мимики в процессе «деятельности лица» фундаментальны с точки зрения социальной интеграции во времени и в пространстве.

Чрезвычайно важно подчеркнуть и то, что теорию рутины как общепринятой практики не следует отождествлять с теорией социальной стабильности. Теория структуры рассматривает «порядок» как нечто, превосходящее пространство и время в социальных взаимоотношениях людей; рутинизация играет ключевую роль в разъяснении того, каким образом это происходит. Рутинизация сохраняется в процессе наиболее глобальных социальных изменений, даже тогда, когда некоторые ее элементы, ранее считавшиеся неоспоримыми, подвергаются сомнению. Так, например, революционные процессы, как правило, разрушают привычный ход жизни множества людей, охваченных восстанием или ставших несчастными жертвами социальных событий, инициаторами которых они не являлись. Однако власть рутины подвергается большим испытаниям в ситуациях, при которых структура повседневной жизни становится объектом прямой и систематической деформации — как в концентрационных лагерях. Но даже здесь, и это убедительно продемонстрировал Беттельхейм, привычные практики, включая самые неприятные из них, способны к восстановлению.

Полезно было бы рассматривать правила, вовлеченные в социальные взаимодействия, как сгруппированные в структуры или «фреймы» (как это предлагал Гофман). Процесс создания подобных структур может трактоваться как упорядочение действий и значений, посредством которого в процессе «исполнения» повседневной рутины поддерживается чувство онтологической безопасности. Фреймы представляют собой группы правил, которые помогают создавать и регулировать деятельность, относя ее к тому или иному типу и определяя в качестве объекта установленного диапазона санкций. Когда бы индивиды ни собирались в условиях специфического контекста, они сталкиваются (однако в подавляющем большинстве случаев отвечают на него без каких-либо затруднений) с вопросом «Что здесь происходит?» Подобный вопрос едва ли допускает простой ответ, поскольку в любых социальных ситуациях одновременно может «происходить» разнообразное множество вещей. Как правило, участники взаимодействия задают этот вопрос на уровне практики, согласовывая собственное поведение с поведением других индивидов. Или, если подобный вопрос формулируется дискурсивно, он затрагивает один конкретный аспект ситуации, который приводит в замешательство или создает беспокойство. Формирование особой рамочной структуры, состоящей из и ограниченной взаимодействиями, «придает смысл» действиям, в которые вовлечены участники, с точки зрения их самих и окружающих индивидов. Сюда входит не только «буквальное» понимание событий, но и критерии, на основании которых индивид может осознать, что происходящее носит характер комичности, игры, театрального представления и т. п.

Первичные фреймы повседневной деятельности можно отнести к тем, что порождают «дословные» языки описания как для непрофессиональных участников социальных взаимодействий, так и для социальных наблюдателей-экспертов. Первичные фреймы сильно различаются по степени своей точности и закрытости. Каким бы ни был уровень организации, первичный фрейм позволяет индивидам категоризировать бесконечное множество обстоятельств или ситуаций таким образом, чтобы они могли реагировать на «происходящее» соответствующим образом. К примеру, некто приходит к заключению, что события, имеющие место в

конкретный промежуток времени и в конкретном пространстве, относятся к разряду вечеринок; таким образом, он может настроиться на соответствующее поведение даже в тех случаях, когда определенные аспекты происходящего ему незнакомы. Большинство работ Гофмана касается правил, обеспечивающих переход от первичных к вторичным фреймам. «Ключевыми моментами» превращений такого рода становятся формулировки, посредством которых деятельности, осмысленной в контексте первичного, приписывается значение на уровне вторичного фреймов [74]. Так, например, ссора может быть «игрой», обманчиво серьезным пояснением шутки. Вместе с тем, точно такой же тип анализа может быть осуществлен в целях определения правил, используемых при переходе между различными первичными фреймами.

Мы полагаем, что дальнейшее рассмотрение анализа фреймов, предложенного Гофманом, вряд ли целесообразно в настоящем контексте. Вместо этого кратко остановимся на значении дискурсивной формулировки правил, обратив свое внимание на работу Видера (Wieder), посвященную анализу «власти кодекса» [75]. Исследования Видера строятся на результатах включенного наблюдения за жизнью поселения для реабилитирующихся условно-досрочно освобожденных заключенных. Обитатели поселения говорили о существовании правил поведения, которые назывались «кодексом». Последний был детально выражен на вербальном уровне, но, конечно, не формализован в письменном виде, поскольку устанавливался и согласовывался заключенными, а не персоналом. Ни один из заключенных не мог четко перечислить все максимы, составляющие этот кодекс, однако, все они были способны сослаться на то или иное его положение, а сам кодекс часто становился предметом обсуждений. Основу его составляли следующие правила: не «стучи» (не доноси на других заключенных начальству); не «признавай себя виновным» (т. е. не бери на себя вину или ответственность за поступок, рассматриваемый персоналом как незаконный); не воруй у других заключенных; дели с другими все непредвиденно полученные подношения или преимущества и т. п. Персонал был хорошо осведомлен относительно кодекса и использовал эти знания при общении с заключенными. Видер пишет: «Он использовался в каче-

стве широкомасштабной схемы интерпретации, которая «структурировала» их окружение» [76]. Вместе с тем вербализация кодекса означала, что он появился путем, недоступным для имплицитно сформулированных правил. Он формирует «терминологию мотива», обращаясь к которой, и персонал, и заключенные интерпретируют происходящие события, особенно те, что являются девиантными или проблематичными. Кодекс не воспринимался просто как описание того, что уже было неявно признано; скорее, обстоятельства, в которых к нему обращались, могли изменяться фактом его активизации. Само словосочетание «власть кодекса» указывало на то, что оно подразумевает не только осознание факта существования кодекса, но и негативные санкции в отношении тех, кто его преступает; таким образом, кодекс предстал перед нами как средство контроля, и это отчасти объясняло, каким образом он в действительности функционировал как таковой. Мы полагаем, что это является характерной особенностью «интерпретации правил», дискурсивно выдвигаемой во многих социальных контекстах.

Правила, рефлексивно применяемые в ситуациях соприсутствия, никогда не ограничиваются конкретными (имеющими место «здесь и сейчас») взаимодействиями, но используются в процессе их воспроизводства во времени и пространстве. Правила речи, первичных и вторичных фреймов, поведения в ходе межличностного взаимодействия применимы к широкому кругу социальных ситуаций, хотя они могут и не иметь одинакового с тем или иным «обществом» протяжения во времени и пространстве. Здесь нам стоит остановиться на концептуальном различии между «социальным взаимодействием» и «социальными отношениями» (хотя впоследствии мы не всегда будем тщательно разграничивать эти понятия). Социальное взаимодействие есть взаимодействия, в процессе которых индивиды находятся в ситуации соприсутствия, и поэтому имеет отношение к социальной интеграции как уровню «компоновочных блоков», при помощи которых артикулируются и связываются институты социальных систем. Социальные отношения, безусловно, участвуют в структурировании взаимодействия, но также являют собой базовые «строительные блоки», на основании и вокруг которых институты артикулируются в

системной интеграции. Взаимодействие зависит от «позиционирования» индивидов в пространственно-временных контекстах деятельности. Социальные отношения касаются «позиционирования» индивидов внутри «социального пространства» символических категорий и связей. Правила, связанные с социальными позициями, обычно имеют дело с детализацией прав и обязанностей индивидов, обладающих определенной социальной идентичностью или принадлежащих к определенной социальной группе. Иными словами, особое звучание приобретают нормативные аспекты подобных правил, но вместе с тем сюда подходят и все ранее упомянутые характеристики их. К примеру, правилам могут следовать неявно, не формулируя их дискурсивно. Множество подобных случаев встречается в антропологической литературе. В качестве примера можно привести культуры, в которых распространен односторонний брак между родственниками. Хотя представители этих культур, очевидно, имеют некоторые представления о том, кто с кем вступает в брак, правила, которыми они руководствуются, носят скорее неявный, чем ясно выраженный характер.

Гофман демонстрирует, что социальная интеграция зависит от образов действий, рефлексивно применяемых компетентными деятелями, однако, он не указывает достаточно четко, каковы пределы или границы такого рода компетентности, равно как и не определяет формы, которые она принимает. Мы хотели бы задать вопрос: в каком смысле деятели «компетентны» в отношении характеристик социальных систем, производимых и воспроизводимых ими в процессе их деятельности?

Предположим, что «компетентность» тождественна правильной или обоснованной осведомленности — не говорим «вере», ибо вера или убежденность представляют собой лишь одну сторону компетентности. Не имеет смысла рассматривать практическое сознание как состоящее исключительно из высказываемых представлений, хотя некоторые элементы, в принципе, могут быть сформулированы подобным образом. Практическое сознание предполагает знание и понимание правил и тактики, посредством которых повседневная социальная жизнь создается и воссоздается во времени и пространстве. Социальные акторы могут иногда заблуждаться относительно того, какими эти прави-

ла или тактики могут быть — в каких случаях их ошибки *могут* возникать как «ситуативный беспорядок». Однако если социальная жизнь отличается целостностью и непрерывностью, то большинство акторов должны быть правы в подавляющем большинстве случаев; иными словами, они осознают то, что делают, и успешно передают собственные знания другим людям. Компетентная осведомленность, являющаяся частью практической деятельности, составляющей большую часть повседневной жизни представляет собой основополагающее (наряду с властью) свойство социального мира. То, что компетентные акторы знают о социальном мире, не отделено от их мира, как и в случае знаний о событиях или объектах в природе. Проверка того, что представляют собой знания акторов, и как эти знания используются ими на практике (в которую вовлечены как непрофессиональные акторы, так и социальные наблюдатели), зависит от использования тех же самых данных или сведений — понимание рекурсивно организованных практик — на основании которых строятся гипотезы относительно этих знаний. Пределы их «валидности» определяются тем, насколько акторы способны согласовывать собственную деятельность с другими таким образом, чтобы достигать целей, преследуемых их поведением.

Конечно, между знанием правил и тактик практического поведения в окружающей деятеля *обстановке* и знанием правил, применяемых в условиях, далеких от его или ее опыта, существуют потенциальные различия. Насколько социальные навыки деятеля позволяют ему немедленно адаптироваться в культурно чуждых контекстах, однозначно сказать нельзя: здесь возможны изменения, характерные и для слияния различных форм условностей или обычаев, выражающих отличающиеся границы между культурами или обществами. Осведомленность деятелей относительно более широких условий социальной жизни, выходящих за рамки тех, где протекает их собственная деятельность, проявляется не только посредством дискурсивно формулируемых знаний или убеждений. Зачастую это происходит при помощи манер или способов осуществления рутинной деятельности; так, например, в ситуации очевидной социальной неполноценности акторы проявляют свою осведомленность фактом собственного притеснения. Работы Гофмана

изобилуют комментариями относительно подобных явлений. Однако что касается «знаний акторов об обществах, членами которых они являются» (и других, членами которых они не являются), то здесь речь идет о дискурсивном сознании. В данном случае между критериями валидности, с точки зрения которых оцениваются убеждения и утверждения (гипотезы, теории) в отношении непрофессиональных членов общества и социальных наблюдателей, отсутствует логическое различие.

Каковы — хотя бы в самом общем виде — обстоятельства, имеющие тенденцию влиять на уровень и характер «постижения» акторами условий системного воспроизводства? Как правило, сюда относят следующие факторы:

- (1) средства и возможности доступа акторов к знаниям, опосредованные их социальным положением;
- (2) способы артикуляции знаний;
- (3) условия, имеющие отношение к валидности заявляемых утверждений, рассматриваемых в качестве «знаний»;
- (4) факторы, определяющие способы распространения наличных знаний.

Конечно, тот факт, что акторы функционируют в определенных контекстах, «вписанных» в рамки более крупных совокупностей, ограничивает их познания относительно обстоятельств, с которыми они (акторы) не сталкиваются напрямую. Все социальные акторы знают гораздо больше, чем было пережито ими лично, и это является результатом отложения опыта в языке. Вместе с тем субъекты деятельности, живущие в определенной социальной *среде*, могут в той или иной степени игнорировать происходящее за ее пределами. Это относится не только к «поперечному» — имеется в виду пространственное разнесение, но и к «вертикальному» измерению крупных обществ. Так, индивиды, причисляющие себя к элите, могут быть неосведомлены относительно образа жизни менее привилегированных слоев населения, и наоборот. Однако здесь стоит упомянуть, что вертикальная сегрегация *среды* почти всегда есть и сегрегация пространственная. Обращаясь к категории под номером (2), мы получаем возможность определить, насколько заявленные убеждения упорядочены с точки зрения всеобщих «дискурсов», а также понять природу различных дис-

курсов. Характерно, что наиболее здравые, обыденные требования к знаниям сформулированы фрагментарным, несвязным образом. *Мастер на все руки (bricoleur)* это не только «примитивист»: большинство повседневных разговоров неискушенных членов любых обществ основывается на противоречивых или неизученных требованиях к эрудиции. Не вызывает сомнений, однако, что возникновение социально-научных дискурсов оказало воздействие на все уровни социальной интерпретации в обществах, где оно обрело власть и влияние. Так, Гофман привлек внимание обширной аудитории, не ограниченной профессиональным социологическим сообществом.

Относительно категории (3) достаточно сказать, что индивиды могут оперировать ошибочными теориями, ссылаться на ложные описания или оценки контекстов собственной деятельности и свойств окружающих социальных систем. Именно здесь находятся очевидные источники возможного противоречия между практическим и дискурсивным сознанием. Они могут иметь психодинамические — в механизмах подавления и вытеснения — корни, которые разделяют или путают истинные причины того, почему люди ведут себя тем или иным образом, и то, что они склонны или способны сказать относительно этих причин. Вместе с тем, очевидно, могут иметь место более систематические социальные воздействия давящего характера, определяющие насколько члены общества поддерживают ложные представления о его характеристиках. Излишне упоминать, что особенно значимыми с точки зрения категории (4) являются (в историческом и пространственном плане) отношения между устной культурой и средствами письма, печати и электронных коммуникаций. Последние изменили не только запасы уже имеющихся, но и типы вновь генерируемых знаний.

Критические замечания:

Фрейд о подтекстах языка

Проиллюстрируем некоторые идеи и понятия, анализируемые в настоящей главе, обратившись к интерпретации обмолвок, допускаемых в разговорной речи. То, что Фрейд именует «парафазиями» (*ошибочными действиями*), имеет отношение не только к оговоркам (когда, желая что-либо

сказать, кто-то вместо одного слова употребляет другое), но и к опискам (когда то же самое происходит при письме), очиткам (когда читают не то, что напечатано или написано), ослышкам (когда человек слышит не то, что ему говорят), а также ко временному забыванию имен и других предметов. Фрейд полагает, что все эти случаи подходят друг другу благодаря внутреннему сходству, выражаемому частицей *Ver-* (*Versprechen* — оговорка, *Verlesen* — очитка, *Verbören* — ослышка, *Vergessen* — забывание). Все парафазии подразумевают ошибки, однако, почти все они весьма несущественны, в большинстве своем скоропреходящи и не играют важной роли в жизни людей, допустивших их. Фрейд пишет: «Только изредка какая-нибудь из них, например затеривание предметов, приобретает известную практическую значимость. Именно поэтому на них не обращают особого внимания, вызывают они лишь слабые эмоции и т. д.»* [77]. В действительности, Фрейд стремился показать, что незначительные сбои такого рода являются ключом к разгадке базисных характеристик психодинамики личности.

Не обсуждая в деталях вопрос о том, относятся ли парафазии к единому классу ошибок или нет, сконцентрируемся на обмолвках. Используя классификацию, предложенную филологом Мерингером (*Meringer*) и психиатром Майером (*Maier*) (с прочими убеждениями которых он не соглашался), Фрейд ссылается на следующие типы вербальных ошибок или оговорок: *перемещения* («*Die Venus von Milo*» вместо «*Die Venus von Milo*» (перемещение в последовательности слов — «Милос из Венеры» вместо «Венеры из Милоса»)); *предвосхищения или антиципации* («*Es war mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer*» — «Мне было на душе (дословно: в груди) так тяжело», но вначале вместо слова «*Brust*» — грудь — была сделана оговорка — несуществующее слово «*Schwest*», в которой отразилось предвосхищаемое слово «*schwer*» — тяжело); *отзвуки или постпозиции* («*Ich fordere Sie auf, auf das Wohl unseres Chefs aufzutossen*» — «Предлагаю Вам выпить (дословно: чокнуться) за здоровье нашего шефа»; но вместо *anstossen* — чокнуться — сказано: *aufstossen* — отрыгнуть); *контаминации*

* Цит. по: Фрейд З. Введение в психоанализ: Лекции. М.: Наука, 1989. С. 14.

(выражение «er setzt sich auf den Hinterkopf» как комбинация выражений «er setzt sich einen Kopf auf» — «он настаивает на своем» и «er stellt sich auf die Hinterbeine» — «он встал на дыбы (воспротивился чему-то)»); *замещения или субституции* («Ich gebe die Präparate in den Briefkasten anstatt Brütkasten» — «Я ставлю препараты в почтовый ящик» вместо «Я ставлю препараты в термостат»)[78].

Мерингер пытался объяснить подобные обмолвки с точки зрения фаз нейтрального возбуждения. Когда говорящий иннервирует первое слово фразы, в дело вступает процесс возбуждения, связанный с предвосхищением формы высказывания. Иногда этот процесс приводит к нарушению более поздних звуков высказывания. Возбуждение более интенсивного психически звука может воздействовать на другие, более слабые, звуки или слова. Таким образом, проблема обнаружения первопричины обмолвок сводится лишь к тому, чтобы установить какие именно звуки являются в том или ином слове более интенсивными. Мерингер полагает, что для того, чтобы установить, какой из звуков, составляющих слово, обладает наибольшей интенсивностью, достаточно наблюдать свои собственные переживания при отыскании какого-либо забытого слова, например, имени. То, что воскресает в памяти прежде всего, обладало наибольшей интенсивностью до утраты. Как правило, высокой интенсивностью отличаются начальный звук слова или те гласные, на которых находится ударение. Фрейд уделяет этому мало внимания. В ситуации забывания слов начальный звук или выделенная гласная вспоминаются первыми весьма редко. Временами говорящие могут полагать, что так оно и происходит, однако, на самом деле они обычно заблуждаются; Фрейд утверждает, что в подавляющем большинстве случаев начальный звук, произносимый говорящим при попытке активизации памяти, является ошибочным.

Для иллюстрации последнего феномена обратимся к знаменитому примеру Фрейда, описывающего собственные огрехи памяти, когда им было забыто имя художника Синьорелли (Signorelli). Рассказывая об известных фресках «Четыре последние вещи» — Смерть, Страшный суд, Ад и Рай, написанных в соборе итальянского городка Орвието, Фрейд обнаружил, что не может воскресить в памяти имя художника. Вместо искомого имени — Синьорелли — ему

упорно приходили в голову два других — Ботичелли и Больтраффио. Когда другой человек напомнил ему настоящее имя, он признал его без каких-либо колебаний. Причину того, почему имя Синьорелли ускользнуло из памяти, не следует искать ни в особенностях этого имени, ни в психологическом характере тех обстоятельств, в которых Фрейд пытался вспомнить его. Само по себе имя это было известно Фрейду не хуже, чем одно из подставных имен (Ботичелли) и несравненно лучше, нежели второе — Больтраффио. Все случилось тогда, когда Фрейд ехал лошадьми с одним чужим для него господином из Рагузы (в Далмации) в Герцеговину.

Фрейд предложил следующую версию произошедшего. Объяснить исчезновение из памяти имени удалось лишь после того, как была восстановлена тема, непосредственно предшествовавшая данному разговору. Непосредственно перед тем, как упомянуть Орвието, Фрейд и его попутчик беседовали о нравах и обычаях турок, живущих в Боснии и Герцеговине. Фрейд рассказал своему компаньону о том, с каким фатализмом и покорностью турки относятся к болезни и смерти. Когда доктор сообщает им, что больной безнадежен, они отвечают: «Господин [Herr], о чем тут говорить? Я знаю, если бы его можно было спасти, ты бы спас его»* [79]. Слова «Босния», «Герцеговина» и «Негг» поддаются включению в ассоциативную цепь, связывающую между собой имена Signorelli (Signor — господин), Ботичелли и Больтраффио. Фрейд хотел было рассказать своему собеседнику еще один случай, тесно связанный в его памяти с первым. Боснийские турки ценят выше всего на свете половое наслаждение и в случаях заболеваний, делающих его невозможным, впадают в отчаяние, резко контрастирующее с их фаталистическим равнодушием к смерти. Так, один из них сказал: «Ты знаешь, господин [Herr], если лишиться *этого*, то жизнь теряет всякую цену». Фрейд воздержался от сообщения об этой характерной черте, не желая касаться в разговоре с чужим человеком несколько щекотливой темы. Таким образом, он отклонил свое внимание и от дальнейшего развития тех

* Фрейд З. Психопатология обыденной жизни / Разрешенный автором перевод В. Медема. М., 1923.

мыслей, которые готовы были у него возникнуть в связи с темой «смерть и пол». Незадолго до этого, находясь в Trafoi (небольшой деревушке близ Тироля), Фрейд получил печальное сообщение: один из его пациентов, на лечение которого он потратил много труда, покончил с собой вследствие «неисцелимой половой болезни» [80]. Совпадение слов «Trafoi» и «Boltraffio» заставляет предположить, что в этот момент, несмотря на то что Фрейд намеренно направил свое внимание в другую сторону, данное воспоминание все же оказало свое действие.

Установив сходство, Фрейд полагает более невозможным рассматривать исчезновение из памяти имени Синьорелли, как простую случайность, и признает здесь наличие известного (неосознанного) мотива. То, что он сознательно предпочел позабыть и не упоминать в разговоре, привело к вытеснению из его памяти другого элемента — имени художника.

Связь, установленная здесь [81], указывает на то, что имя Синьорелли разложилось на две части. Последние два слога (elli) воспроизведены в одном из подставных имен без изменений (Boticelli); первые же два подверглись переводу с итальянского языка на немецкий («Signor» — «Herr»). Помимо этого имело место замещение слов *Герцеговина* и *Босния* — двух географических названий, часто употребляющихся вместе. Весь процесс, результатом которого стало забывание, разворачивался и протекал всецело вне сознания. Вытесненная тема и факторы, «напомнившие» заместительные имена, не имели между собой никаких очевидных связей. Отчасти очевидные сходства являются следствием наличия в словах общих звуков, однако, систематическое объяснение произошедшего возможно лишь в том случае, если мы воспринимаем забывание как результат психологического подавления — вытеснения. Конечно, не все случаи забывания имен относятся к этому разряду: «Наряду с обычным забыванием собственных имен, встречаются и случаи забывания мотивированного, причем мотивом служит вытеснение»* [82].

* Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб.: Алетейя, 1997. С. 17.

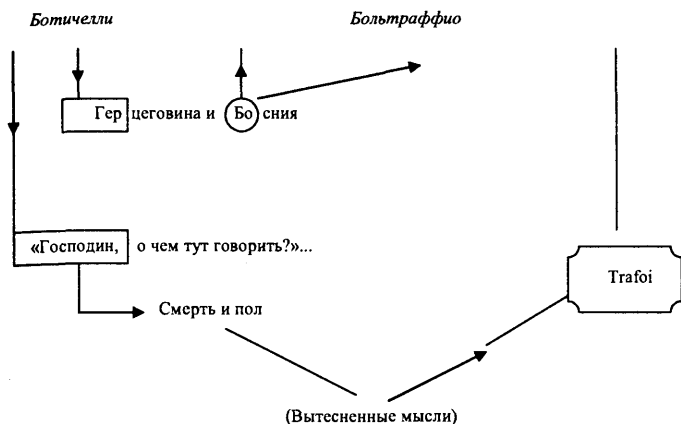


Рис. 6

Сходный механизм, по мнению Фрейда, срабатывает и в случае оговорок. Расстройства речи, обнаруживающиеся в форме обмолвок, могут быть сродни тем, что анализировались Мерингером и Майером, т. е. вызываться влиянием других составных частей той же речи, или же происходить путем, аналогичным тому процессу, который наблюдается в примере Синьорелли, когда воздействия, ставшие причиной ошибки, имеют внешнее (по отношению к высказыванию) происхождение, «проистекая» из его непосредственного окружения. И тот, и другой тип оговорок берет свое начало в своеобразном «возбуждении»: в первом случае — внутреннем по отношению к высказыванию или ситуации, в которой оно произносится, во втором — внешнем по отношению к ним. Лишь в первом случае есть надежда на то, чтобы из феномена обмолвок можно было сделать выводы о существовании механизма, связывающего отдельные звуки и слова так, что они взаимно влияют на способ их произношения. Более того, будучи подверженным тщательному анализу, первый тип оговорок фактически растворяется. Оговорки, казавшиеся на первый взгляд банальным последствием «эффекта соприкосновения звуков», оказываются при дальнейшем рассмотрении зависимыми от внешних (мотивированных) воздействий.

В своих работах Фрейд приводит множество примеров оговорок:

- (1) Пациентка говорит: «Я складываюсь, как *Tassenmescher* (несуществующее слово) — я имею в виду *Taschenmesser* (перочинный ножик)». Фрейд признает, что звуки могут быть перепутаны вследствие трудности произношения, однако, он обращает внимание пациентки на ошибку и связывает последнюю с темой, вызывающей у женщины подсознательную тревогу.
- (2) Другая пациентка, отвечая на вопрос о том, как чувствует себя ее дядя, сказала: «Даже не знаю. Теперь я вижу его только *in flagrante* (поимка с поличным, на месте преступления)».оборот, который она собиралась использовать, звучал как *en passant* (мимоходом). Допущенная оговорка имела отношение к эпизоду из прошлого этой женщины.
- (3) Молодой человек заговаривает с дамой на улице, обращаясь к ней со следующими словами: «Если Вы разрешите, барышня, я Вас провожу», но в слово «*begleiten*» — проводить вставлены еще три буквы «*dig*». Таким образом, в слове *begleit-digen* кроется, кроме слова *begleiten* (проводить), очевидно, еще слово *beleidigen* (оскорбить). Молодой человек хочет проводить (*begleiten*) даму, однако, боится, что его предложение оскорбит (*beleidigen*) ее. Как и в случае с забыванием имени Синьорелли, скрытое намерение — не вполне невинное предложение молодого человека — приводит к бессознательно мотивированной оговорке.
- (4) Председатель собрания, на котором обсуждаются спорные вопросы, говорит: «Теперь мы поспорим (*streiten*) — вместо перейдем (*schreiten*) — к вопросу четыре повестки дня». Истинная точка зрения оратора, которую он всячески пытался подавить, проявилась в речевой ошибке.
- (5) Кого-то спрашивают: «В каком полку Ваш сын?» В ответ звучит: «В 42-м полку Убийц» (по-немецки *Mörder*, вместо *Mörser* (минометный)).
- (6) Гость, присутствующий на светском мероприятии, высказывает мнение: «Да, чтобы доставлять мужчинам удовольствие, женщина должна быть привлекательной. Мужчина гораздо состоятельнее; *as long as he has his five straight limbs*» (курсив мой. — *Пер.*), он ни в чем не нуждается!» Это высказывание — один из многочисленных примеров того, что Мерингер и Майер называют контаминациями, а

Фрейд рассматривает как проявления психологического процесса «уплотнения». Оно (высказывание) представляет собой «сращивание» двух сходных по смыслу идиоматических выражений: «as long as he has his four straight limbs» и «as long as he has his five wits about him» (в переводе на русский — «быть на чеку, понимать что к чему»). Фрейд полагает, что многие обмолвки могут быть приняты за шутку. Разница заключается в том, сознательно или бессознательно ошибся говорящий.

- (7) Вторичный анализ примеров, упоминаемых Мерингером и Майером: «Es war mir auf der Schwest... auf der Brust so schwer». Этот случай невозможно объяснить антиципацией звуков. Возможно, эту оговорку следует толковать в терминах подсознательной ассоциации между словами «Schwester» (сестра), «Bruder» (брат) и «Brust der Schwester» (грудь сестры).

Подводя итог, Фрейд заключает: «Каждая обмолвка имеет свое основание» [83]. Это касается и других (помимо обмолвок) видов расстройства речи, таких как бормотание и заикание от смущения. Все они — симптомы внутреннего конфликта, проявляющегося в искажениях общего ритма речи и произношения. Фрейд заявляет, что расстройства речи не появляются во всех тех ситуациях, когда человек «всецело присутствует» — при тщательно подготовленном выступлении или серьезном объяснении в любви.

Ce qu'on conçoit bien
S'énonce clairement
Et les mots pour le dire
Arrivent aisément [84]*.

* Фрейд пишет по этому поводу следующее: «Даже при оценке стиля писателя мы имеем все основания — и привыкли к этому — руководствоваться тем же принципом, без которого мы не можем обойтись при выяснении отдельных погрешностей речи. Ясная и недвусмысленная манера писать показывает нам, что и мысль автора здесь ясна и уверена, а там, где мы встречаем вымученные, вычурные выражения, пытающиеся сказать несколько вещей сразу, мы можем заметить влияние недостаточно продуманной осложняющей мысли или же заглушенный голос самокритики» (Пер.: Цит. по: Фрейд З. Психопатология обыденной жизни. СПб.: Алетейя, 1997. С. 77).

Действительно ли подсознательная мотивация имеет место во всех случаях оговорок? Фрейд склонен считать, что это так, и именно потому, что «когда разбираешь каждый случай оговорки, такое объяснение находится» [85].

Сравним рассуждения Фрейда об оговорках (обмолвках) с работами Гофмана, посвященными «ляпсусам» в речи дикторов радио и телевидения [86]; данное сравнение может показаться бесперспективным, хотя на самом деле оно весьма интересно с точки зрения теории структуриации. Взгляды Гофмана существенно отличаются от идей, которых придерживается Фрейд, и посему мы не станем углубляться в анализ его аргументации, а применим некоторые из полученных им выводов для оценки фрейдовской концепции расстройств речи. Речь дикторов радио и телевидения коренным образом отличается от обычных разговоров, но именно поэтому позволяет проникнуть в самую суть их обстоятельств и деталей. Дикторы не являются авторами озвучиваемых текстов. Их речь представляет собой элемент предварительно запланированной последовательности действий, от которой они не могут уклониться ни в чем, за исключением крайне незначительных деталей. В то же время предполагается, что речь дикторов должна создавать впечатление «натуральной беседы» и поддерживать ощущение спонтанности происходящего. Соответствовать столь противоречивым требованиям достаточно сложно, поскольку дикторы должны произносить тексты свободным от ошибок образом. Таким образом, задачей ведущего теле- или радиопрограммы является «ведение внешне точной и безошибочной натуральной беседы» [87].

Тем не менее, дикторы, конечно же, допускают оговорки. Среди примеров подобных ляпсусов, приведенных Гофманом, несложно найти ошибки, упоминаемые Мерингером и Майером:

- (1) «В заключение телепередачи «Церковь в эфире» позвольте напомнить нашим слушателям, что время калечит все раны» (метатезы или спунеризм).
- (2) «Вы слушаете «tisous» (в переводе с английского «слизистый, покрытый слизью») Клайда Лукаса (Clyde Lucas)» (предвосхищение).
- (3) «А теперь в игру за красных вступает номер сорок четвертый — Фрэнк Фуллер (Frank Fuller) — «futility (дословно «тщетность, пустота») infielder» (постпозиция).

- (4) «В эфире радиостанция Канадской Широковещательной Кастрации» (контаминация).
- (5) «До нас дошел слух, что сегодня утром в театре Рокси взорвался самодельный «blonde» (блондин) — вместо «bomb» (бомба)» (субституция).

Многочисленные примеры сходны с теми, что были названы Фрейдом. Так:

- (1) «Vicegoys — и хорошее удушье (choke) Вам обеспечено».
- (2) «Взбейте яичный желток, добавьте молока, постепенно смешивайте с сахарной пудрой. Пока Вы это делаете, следите за тем, как смесь гнуснеет».
- (3) «А теперь, дорогие друзья, позвольте представить Вам особого гостя нашей телевизионной программы, которого все мы так долго ждали — всемирно известный литератор, лектор и путешественник, человек, ведущий светский образ жизни. Мистер, мистер, мистер... О, черт возьми, как же его зовут?»
- (4) «Друзья, непременно посетите ресторан Фрэнки, специализирующийся на слоновьей пище и обедах» («restaurant for elephant food and dining»).

Большинство упомянутых нами оговорок носит юмористический характер [88] и надлежащим образом подкрепляет предположение Фрейда о том, что шутки и обмолвки отчасти сходны. Хотя это и невозможно продемонстрировать напрямую, подобные примеры фактически соответствуют фрейдовской трактовке вербальных парафазий. Неправильно высказанные или замещенные слова не являются простой альтернативой тем, что должны были быть произнесены. Они сбивают с толку и приводят в замешательство, затрудняя восприятие идей, которые диктор должен «донести» до аудитории; некоторые из них имеют «единственно действительно верное» значение, на что указывает Фрейд; другие имеют самоочевидный сексуальный характер. Рассмотрим два других вида обмолвок, встречающихся в речи дикторов радио:

- (1) «Как только дамы снимут свои одежды, о них немедленно позаботятся».
- (2) «Испытайте удобство наших кроватей. Я лично стою за каждой кроватью, которую мы продаем».

- (3) «Пропавшие вещи и машины были внесены в список украденного Департаментом полиции Лос-Анджелеса».
- (4) «А здесь, в Голливуде, поговаривают, что бывшая старлетка ожидает через месяц своего пятого ребенка» («...the former movie starlet is expecting her fifth child...»).
- (1) «Tums даст Вам мгновенное облегчение — никаких проблем с желудком или недомоганий в течение всей ночи... Примите Tums и отправляйтесь спать с широкой... (переворачивает страницу) улыбкой».
- (2) «А сейчас, леди и джентльмены, настало время познакомиться Вас с нашим особенным гостем — выдающимся лектором и общественным деятелем, миссис Элмой Додж... [включение супермена], которая способна преодолеть расстояние между двумя зданиями одним прыжком».
- (3) Локальная телевизионная станция транслирует матч по боксу, проходящий в «Мэдисон Сквэр Гарден»; внезапно репортаж прерывается сообщением о смерти местного политического деятеля. После восстановления трансляции диктор заявляет: «Да, удар был не очень!»

В данных случаях речь идет не об обмолвках или оговорах, здесь мы сталкиваемся с парафазиями. Смысл того, что говорящий намеревался донести до своих слушателей, искажается. Вторая группа примеров интересна постольку, поскольку, не зная мы истинных обстоятельств происходящего, может показаться, что содержащиеся в них типические высказывания имеют «единственно действительно верное» значение. Они не имеют очевидных мотивов, за исключением тех случаев, когда продюсеры и режиссеры-постановщики, ответственные за монтаж программ, почему-то (преднамеренно или нет) организовали цикл таким образом, что это привело к известным последствиям. Первая категория оговорок поддается объяснению с трудом. Возможно, эти обмолвки представляют собой бессознательно мотивированные двусмысленности. Однако подобное кажется нам маловероятным. Скорее всего, двусмысленный характер сказанного остается незамеченным как ораторами, так и слушателями, если все происходит в рамках обычных повседневных бесед. Интересно не только то, что неоднозначность такого рода высказываний не становится не-

медленно очевидной, но и то, что в обыденных разговорах появлению значений, отличных от подразумевавшихся говорящими, препятствуют, как правило, контекстуальные особенности речевого общения. Ораторы могут адресовать свои высказывания конкретным людям, с которыми они пересекаются, подбирая слова и фразы таким образом, что это исключает возможные разночтения. Дикторы радио и телевидения не имеют такой возможности, поскольку обращаются к абстрактной аудитории, состоящей из несоприсутствующих с ними людей.

Следовательно, рассматривать речевое общение посредством радио или телевидения как типичный пример общения вообще, безусловно, некорректно. Можно выделить две основные причины, по которым обмолвки, допущенные ведущими радиопрограмм, бросаются в глаза сильнее, чем те, что встречаются в повседневных беседах. Во-первых, мы имеем дело с общением физически удаленных друг от друга людей. В данной ситуации сказанное, освобожденное от любых оттенков или намеков, «говорит само за себя» гораздо больше, нежели тогда, когда оно «вкраплено» в ткань повседневной деятельности. То же самое можно утверждать относительно многочисленных примеров расстройств речи, упомянутых Фрейдом и собранных им в результате терапевтической практики. Как и радиовещание, социальное взаимодействие врача и пациента вряд ли является примером обыденной беседы. Слова пациента рассматриваются как нечто, имеющее особую значимость и требующее тщательного анализа. Во-вторых, дикторы считаются специалистами, продуцирующими безупречную речь, что опосредуется самим характером их профессии. Основная задача исполнителя — плавное и понятное оглашение текста. Понимание случайного и непредвиденного характера заурядных обыденных разговоров приходит лишь тогда, когда мы начинаем понимать, насколько специфической и необычной является относительно безукоризненная речь дикторов радио и телевидения. Как правило, и «непрофессиональные» ораторы, и специалисты в области лингвистики склонны считать обыденную речь гораздо более «совершенной» и «упорядоченной», чем она есть на самом деле. Подводя итоги недавно проведенного эмпирического исследования речевого общения, Бумер (Boomer) и Лавер (Laver) отмечают:

Следует признать, что «нормальная» речь не равнозначна речи «совершенной». Нормы непринужденной, спонтанной речевой деятельности носят демонстративно несовершенный характер. Разговоры отличаются частыми паузами, произвольными задержками речи, колебаниями, неудачными началами, неверно произнесенными звуками, внесением поправок... В обычных условиях мы просто не замечаем ни свои собственные оговорки, ни обмолвки, допущенные другими людьми. В потоке речи такого рода ошибки возможно вычленить, применив специальную — «корректирующую» — технику слушания [89].

В большинстве случаев отличить оговорки от фрагментированного (буквально «разбитого на куски») стиля практически *всех* разговоров, имеющих место в повседневной жизни достаточно сложно. Гофман полагает, что для того чтобы проверить, является ли конкретное высказывание оговоркой или «ошибкой», необходимо знать, что при повторном обращении произнесший его человек внесет в него изменения (кроме того, к разряду ошибочных, несомненно, относятся и те изречения, которые были фактически усовершенствованы или «исправлены»). Установить факт оговорки, опираясь на идеализированную манеру произнесения звуков или модель речевого общения, невозможно. Для того чтобы понять специфику повседневных разговоров, мы должны обратиться к другим типам возможных ошибок. Какие выводы отсюда следуют?

Во-первых, что касается оговорок, то здесь можно привести доводы в пользу того, что Мерингер и Майер были не так далеки от истины, как это утверждал Фрейд. Фромкин (Fromkin) продемонстрировала, что неправильное произношение слов обнаруживает свойства и особенности, сходные с теми, что характерны для «надлежащего» процесса их генерирования [90]. Это не говорит о том, что подобные ошибки не являются следствием бессознательных побуждений, однако, позволяет предположить, что рефлексивный мониторинг речеобразования, необходимый для объяснения речевых расстройств, имеет, как правило, «непрерывный» характер. Явления предвосхищений или постпозиций также, по-видимому, связаны напрямую с рефлексивным мониторингом речевой деятельности. Слова должны быть перемещены из мозга и преобразованы в речь, оформившись в

синтагматически упорядоченные группы, в противном случае расстройств речи будут невозможны.

Второй крупный вид погрешностей имеет отношение не к самому процессу речеобразования как таковому, а к очередности. Говорящий может начать свою речь, не дождавись завершения предыдущего высказывания, частично «перекрывая» или напрямую перебивая другого оратора; два человека могут начать говорить одновременно; любой из них может прервать повествование, став виновником ненужной паузы, нарушающей течение беседы. Как и в случае собственно речевых ошибок, большинство такого рода «накладок» проходит полностью незамеченным участниками обыденной процедуры общения. Они «фиксируются» только тогда, когда, например, речь была записана, и ее особенности становятся предметом детального анализа. И в этом случае повседневная речь отличается от речи дикторов электронных средств массовой информации, где любые накладки, двусмысленности и т. п. производят заметный эффект. Зачастую в диалогах происходит наложение фраз, когда один из участников начинает говорить, не дождавись, пока другие замолчат. Однако люди, участвующие в беседе, не обращают на это внимания, поэтому их высказывания воспринимаются как отдельные и обособленные речевые элементы.

В-третьих, ошибочное речевое общение, признанное таковым, подразумевает, как правило, методики устранения «неисправностей», иницируемые самим говорящим или слушателями. Внесение поправок последними происходит сравнительно редко; отчасти это можно объяснить тем, что многие дефекты или изъяны, представляющие собой фонологические или синтаксические ошибки, не воспринимаются как таковые, когда оцениваются относительно идеализированной грамматической модели; отчасти же это происходит потому, что слушатели проявляют такт в отношении того, что может быть расценено как некомпетентность говорящих. Устранение дефектов самими ораторами практически всегда ограничивается проблемами очередности, оставляя за скобками собственно речевые расстройства.

Результаты наблюдений дают нам представление о том, что есть повседневная речевая деятельность, и подтверждают тот факт, что вербальные парафазии невозможно объяс-

нить с точки зрения идеализированной концептуальной модели «правильной» речи. Используемая дикторами манера говорить отличается от повседневного языка постольку, поскольку она практически соответствует этой модели. Фактически речь и деятельность дикторов, исполняющих свои обязанности, позволяет нам увидеть, какой была бы социальная жизнь людей, походи она на представления сторонников объективизма. Большинство того, что произносится, программируется до того, как становится объектом передачи или демонстрации, и может лишь незначительно модифицироваться деятелем, строго придерживающимся определенного сценария поведения. Таким образом, актер выступает здесь единственно как «носитель» предустановленных образцов социальной организации — или, по выражению Гофмана, как «аниматор», «музыкальная шкатулка, из которой исходят высказывания» [91]. Подавляющее большинство ситуаций речевого общения (и взаимодействия) совершенно не подходят под это описание. «Свободный» или небрежный характер повседневной речи, или того, что представляется таковым по сравнению с идеализированной моделью, в действительности является ее родовым свойством, обнаруживающим себя в социальной *практике*. Иными словами, поражает не отсутствие (или недостаток) в высказываниях формального «лоска», но тот факт, что речевое общение и (неизменно условный) процесс воспроизводства социальной жизни обладают какой бы то ни было соразмерностью или симметрией формы. В процессе повседневного взаимодействия нормативные элементы, вовлеченные в речевое общение во имя «грамотного речеобразования», почти никогда не являются основным побудительным стимулом участников. Скорее, речь насыщена практическими потребностями рутины социальной жизни.

Признать это — значит переосмыслить взгляды Фрейда. С точки зрения последнего, любое расстройство речи носит мотивированный характер и в принципе может быть объяснено при условии наличия достаточной информации о психологическом портрете конкретного индивида. Здесь отчетливо прослеживается представление об упорядоченной речи, причиной нарушения которой являются обмолвки и оговорки. Позиция, которую отстаиваем мы, в сущности прямо противоположна. «Хорошо организованная или

упорядоченная» речь, по крайней мере в условиях повседневного общения, зависит от общей мотивационной включенности говорящих в процесс осуществления ими практической деятельности. «Правильная речь», как и многие другие элементы подобной деятельности, не мотивирована напрямую в большинстве случаев; исключение здесь составляет речь дикторов. Заметим в скобках, что иногда расстройства речи также могут носить мотивированный характер. Так, в обстановке траура понесший утрату человек, сохраняющий обычную манеру поведения и речи, может быть заподозрен в черствости и бездушии. Там, где проявление эмоций считается правомерным и социально одобренным, расстройства речи или деформации манеры говорить могут стать одним из способов «вхождения» в образ [92].

Если наиболее специфические формы словоупотребления не являются непосредственно мотивированными, тогда из этого следует, что большинство обмолвок невозможно объяснить за счет подсознательной мотивации. Что это дает нам в отношении фрейдовской теории вербальных парафазий? Позволим себе сделать следующее предположение. Вероятно, трактовка, предложенная Фрейдом, применима лишь в условиях, значительно отличающихся от тех, что подразумевались им изначально. С точки зрения Фрейда, обмолвки имеют тенденцию встречаться главным образом в произвольных или рутинных ситуациях, где от сказанного практически ничего не зависит. В таких случаях подсознательное, вероятно, «прорывается» вовне и нарушает произносимые высказывания. Мы полагаем, что в этих условиях — составляющих, кстати, большую часть социальной жизни — бессознательные элементы менее склонны непосредственно влиять на то, что говорится. Рутинизация, предполагающая непрерывное «воспроизводство» привычного и хорошо знакомого в обстановке глобальной онтологической безопасности, является основным условием эффективного рефлексивного мониторинга деятельности, осуществляемого человеческими существами. Беспокойство по поводу реальной манеры вести беседу усиливается только тогда, когда актер особо заинтересован в том, чтобы преподнести информацию должным образом и быть «правильно» понятым. Именно этим озабочены дикторы радио и телевидения. Вероятно, также обстоят дела и при объяснении в любви,

что противоречит предположениям Фрейда. Аналогичным образом можно считать мотивированными случаи забывания имени «Синьорелли» и имен собственных вообще. Последние обладают особой значимостью по сравнению с другими словами. Неправильно произнесенное имя или обращение могут, в отличие от других обмолвок, стать причиной возникновения личной обиды. Таким образом, правильное воспроизведение имен собственных имеет особую «цену», и это, возможно, означает, что процесс их припоминания вызывает больше тревоги и непосредственных опасений, нежели прочие ситуации словообразования. Нечто подобное наблюдается и при общении (терапевтическом взаимодействии) врача и пациента.

Комментарии

1. Особенно полезное и поучительное, на наш взгляд, об-суждение этих проблем представлено в Irving Thalberg, «Freud's anatomies of self», в Wollheim Richard, *Freud, A Collection of Critical Essays* (New York: Doubleday, 1974). Доработанный вариант этой работы см. В: Richard Wollheim and James Hopkins, *Philosophical Essays on Freud* (Cambridge: Cambridge University Press, 1982).
2. Цит. по Thalberg, «Freud's anatomies of self», с. 156.
3. Freud, *An Outline of Psychoanalysis* (London: Hogarth, 1969), с. 56–7.
4. P.F. Strawson, P.F., *The Bounds of Sense* (London, Methuen, 1966), с. 162–170; G. E. M. Anscombe, «The first person», in Samuel Guttenplan, *Mind and Language* (Oxford: Blackwell, 1972); J. L. Mackie, «The transcendental «I», in Zak Van Straaten, *Philosophical Subjects* (Oxford: Clarendon Press, 1980).
5. Stephen Toulmin, «The genealogy of «consciousness» in Paul F. Secord, *Explaining Human Behaviour* (Beverly Hills: Sage, 1982), с. 57–58.
6. Там же, с. 60–61.
7. См.: J. S. Bruner, *Beyond the Information Given* (New York: Norton, 1973).
8. J. S. Gibson, *The Ecological Approach to Visual Perception* (Boston: Houghton-Mifflin, 1979).
9. Ulric Neisser, *Cognition and Reality* (San Francisco: Freeman, 1976), с. 22. См. также, он же, *Memory Observed* (San

- Francisco: Freeman, 1982); John Shotter, «Duality of structure» and «intentionality» in an ecological psychology», *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 13, 1983.
10. Neisser, *Cognition and Reality*, с. 29.
 11. M. Wertheimer, M., «Psychomotor coordination of auditory and visual space at birth», *Science*, vol. 134, 1962.
 12. Neisser, *Cognition and Reality*, с. 72.
 13. E.C. Cherry, «Some experiments on the recognition of speech with one or two ears», *Journal of the Acoustical Society of America*, vol. 25, 1953.
 14. A.M. Treisman, «Strategies and models of selective attention», *Psychological Review*, vol. 76, 1969.
 15. J.A. Deutsch and D. Deutsch, «Attention: some theoretical considerations», *Psychological Review*, vol. 70, 1963.
 16. Neisser, *Cognition and Reality*, с. 84–85.
 17. CPST, стр. 120–123.
 18. Erik H. Erikson, *Childhood and Society* (New York: Norton, 1963), стр. 15–16.
 19. Там же, с. 247.
 20. Ernest Becker, *The Birth and Death of Meaning* (New York: Free Press, 1962), с. 95.
 21. См. также Erikson, *Childhood and Society*, с. 249; Harry Stack Sullivan, *The Interpersonal Theory of Psychiatry* (London: Tavistock, 1955), гл. 4. Мы не согласны с утверждением Эриксона, согласно которому эти психологические явления могут быть напрямую соотнесены с формой социальных институтов.
 22. G. Piers and M. B. Singer, *Shame and Guilt* (Springfield: Addison, 1963). Здесь мы ссылаемся на некоторые наблюдения, изначально относящиеся к теории суицида; для сравнения SSPT, с. 393, сноска 32.
 23. Erikson, *Childhood and Society*, с. 251.
 24. Там же, с. 256.
 25. Dennie Wolf, «Understanding others: a longitudinal case study of the concept of independent agency», in George E. Forman, *Action and Thought* (New York: Academic Press, 1982).
 26. T.B. Brazelton *et al.*, «The origins of reciprocity», in M. Levis and L. Rosenblum, *The Infant's Effects on the Caregiver* (New York: Wiley, 1974).

27. L.S. Vygotsky, *Mind in Society* (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1978), с. 20ff.
28. Erik H. Erikson, *Identity, Youth and Crisis* (London: Faber & Faber, 1968), гл. 5; он же, *Identity and the Life Cycle* (New York: International Universities Press, 1967).
29. Erikson, *Identity and the Life Cycle*, с. 19.
30. См. там же, глава 3 «The problem of ego-identity».
31. Там же, с. 102.
32. См. CPST, с. 123–128.
33. Bruno Bettelheim, *The Informed Heart* (Glencoe: Free Press, 1960), с. 14. Работа Гофмана, посвященная «тотальным институтам», во многом пересекается с анализом, представленным Бруно Беттельхеймом: Goffman, *Asylums* (Harmondsworth: Penguin, 1961).
34. Bettelheim, *The Informed Heart*, с. 132.
35. Там же, стр. 148.
36. «Поскольку старые (проведшие в лагере несколько лет. — *Пер.*) узники примирились, или вынуждены были примириться, с по-детски непосредственной зависимостью от СС, многие из них, как нам представляется, хотели верить в то, что хотя бы некоторые люди, из числа тех, к кому они относились как ко всемогущим «отцам», были на самом деле справедливыми и добрыми»; там же, с. 172.
37. См. примеры, приведенные в: William Sargant, *Battle for the Mind* (London, Pan, 1959).
38. M. Merleau-Ponty, *Phenomenology of Perception* (London: Routledge, 1974).
39. Там же, с. 101.
40. L. Goldstein, *Language and Language Disturbances* (New York: Grune and Stratton, 1948).
41. Merleau-Ponty, M., *Phenomenology of Perception*, с. 104.
42. Там же, с. 109.
43. Erving Goffman, *Behaviour in Public Places* (New York: Free Press, 1963), с. 17; он же, *Interaction Ritual* (London: Allen Lane, 1972), с. 1.
44. Для сравнения см. Ithiel De Sola Pool, *The Social Impact of the Telephone* (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1981).
45. С нашей точки зрения, этот взгляд превалирует, например, в работе Jason Ditton, *The View from Goffman* (London:

- Macmillan, 1980). См. также Alasdair MacIntyre, *After Virtue* (London: Duckworth, 1981), стр. 108–109. Для сравнения R. Harré and P.F. Secord, *The Explanation of Social Behaviour* (Oxford: Blackwell, 1972), гл. 10.
46. Alvin W. Gouldner, *The Coming Crisis of Western Sociology* (London: Heinemann, 1971), с. 379–381.
 47. CPST, с. 83–84 и далее.
 48. Goffman, *Behaviour in Public Places*, с. 18.
 49. Erving Goffman, *Frame Analysis* (New York: Harper, 1974), с. 252.
 50. Roger Caillois, *Man, Play and Games* (London: Thames & Hudson, 1962); см. также знаменитую работу Jan Huizinga, *Homo Ludens* (London: Routledge, 1952).
 51. Goffman, *Behaviour in Public Places*, с. 560. Обсуждая взгляды Гофмана, мы не будем останавливаться на концептуальных проблемах, которые активно поднимаются, но с трудом поддаются разрешению. В общем и целом им отводится достаточно внимания; в частности, в качестве примера можно привести анализ Шюцем природы «множественных реальностей», а также другие направления современной философии, занятые вопросами релятивистских последствий толкования смысловых систем. См. NRSМ, гл. 4.
 52. Goffman, *Behaviour in Public Places*, с. 156ff.
 53. Там же.
 54. Эта тема достаточно хорошо изучена. Наиболее известная работа по проблеме принадлежит Edward T. Hall, *The Silent Language* (New York: Doubleday, 1959); см. также, он же, *The Hidden Dimension* (London: Bodley Head, 1966).
 55. Harvey Sacks and Emmanuel A. Schegloff, «A simplest systematics for the organisation of turn-taking in conversation», *Language*, vol. 50, 1974.
 56. Для сравнения см.: George Psathas, *Everyday Language: Studies in Ethnomethodology* (New York: Irvington, 1979).
 57. Jean-Paul Sartre, *Critique of Dialectical Reason* (London: New Left Books, 1976), с. 259.
 58. Goffman, *Interaction Ritual*, с. 141ff.
 59. Habermas, Jürgen, *Theorie des kommunikativen Handelns*, 2 vols. (Frankfurt: Suhrkamp, 1981), т. 1, разд. 3.
 60. Goffman, *Behaviour in Public Places*, с. 25.

61. См. для сравнения: общие размышления относительно феномена вежливости в: Penelope Brown and Stephen Levinson, «Universals in language use: politeness phenomena», in Esther N. Goody, *Questions and Politeness* (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
62. Goffman, *Behaviour in Public Places*, с. 35; для сравнения см.: John Blacking, *The Anthropology of the Body* (London: Academic Press, 1977).
63. «Я полагаю, что многие телесные ощущения носят личный характер. Если моя рука обожжена, боль испытываю я сам, а ожог видят и другие, окружающие меня люди. Однако так бывает не всегда. Некоторые люди убеждены в том, что могут на самом деле *ощущать* боль других людей, или непосредственно мыслить чужими мыслями; другие же считают, что окружающие способны прочувствовать то, что чувствуют они, или «проникать» в их мысли», R.D. Laing, *Self and Others* (London: Penguin, 1971), с. 34.
64. Harold Garfinkel, «A conception of, and experiments with, «trust» as a condition of stable concerted actions», in O.J. Harvey, *Motivation and Social Interaction* (New York: Ronald Press, 1963).
65. Erving Goffman, *Forms of Talk* (Oxford: Blackwell, 1981), с. 101ff.
66. Там же, с. 103.
67. Там же, с. 70–71.
68. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism* (Brighton: Harvester, 1979), с. 51–52.
69. В качестве одного из последних (среди множества других) примеров см.: Bruce J. Biddle, *Role Theory* (New York: Academic Press, 1979).
70. CPST, с. 117.
71. Там же.
72. Эта точка зрения часто использовалась в дебатах по поводу ролевой теории, имевших место в Германии порядка двадцати лет назад. Сегодня интересной и актуальной, на наш взгляд, остается работа F. H. Tenbrück, F.H., «Zur deutschen Rezeption der Rollanalyse», *Kölner Zeitschrift für Soziologie*, vol. 3, 1962.
73. Для сравнения см.: Nigel Thrift, «Flies and germs: a geography of knowledge», in Derek Gregory and John Urry, *Social Relations and Spatial Structures* (London: Macmillan, 1984).

74. Для сравнения см.: William Labov, «Rules for ritual insults», in David Sudnow, *Studies in Social Interaction* (New York: Free Press, 1972).
75. D. Lawrence Wieder, «Telling the code», in Roy Turner, *Ethnomethodology* (Harmondsworth: Penguin, 1974).
76. Там же, с. 149.
77. Sigmund Freud, *Introductory Lecturers on Psychoanalysis* (Harmondsworth: Penguin, 1974), с. 51.
78. R. Meringer, and C. Mayer, *Versprechen und Verlesen* (Vienna, 1895).
79. Freud, *The Psychopathology of Everyday Life* (Harmondsworth: Penguin, 1975), с. 39.
80. Там же, с. 40.
81. Впервые опубликовано в статье Фрейда «The physical mechanism of forgetfulness» (1890), см. типовое издание, т. 3.
82. Freud, *The Psychopathology of Everyday Life*, с. 44.
83. Там же, с. 135.
84. Boileau, *Art poétique*, цит. там же, с. 148.
85. Freud, *Introductory Lecturers on Psychoanalysis*, с. 71.
86. Erving Goffman, «Radio talk: A study of the ways of our errors», in *Forms of Talk* (Oxford: Blackwell, 1981).
87. Там же, с. 242.
88. Несомненно, что они были выбраны именно по этой причине. Большинство данных, используемых Гофманом, взято из коллекций «глупых ошибок» под ред. К. Шафера (Schafer), например, *Prize Bloopers* (Greenwich: Fawcett, 1965).
89. Donald S. Boomer and John D.M. Laver, «Slips of the tongue», *British Journal of Disorders of Communication*, vol. 3, 1968, с. 2.
90. Victoria A. Fromkin, «The non-anomalous nature of anomalous utterances», *Language*, vol. 47, 1971.
91. Goffman, *Forms of Talk*, с. 226.
92. Как указывает Гофман, там же, с. 223ff.

Время, пространство и регионализация

Временная география

В предыдущей главе мы остановились на определении конкретных психологических качеств субъекта деятельности и анализе взаимодействия в ситуациях соприсутствия. Небезынтересными в этом отношении являются позиционирование акторов в контекстах взаимодействия, а также «переплетение» и чередование самих контекстов. Однако для того чтобы продемонстрировать, каким образом все это соотносится с основными аспектами социальных систем в целом, необходимо понять, как социальная теория должна реагировать — в конкретном, а не абстрактно-философском плане — на «ситуативность» взаимодействия во времени и пространстве.

Большинство социальных аналитиков рассматривают время и пространство всего лишь как окружение, в котором протекает деятельность, и легкомысленно соглашаются с характерным для современной западной культуры представлением, сводящим время к измеримому часовому времени. Не принимая в расчет последние работы географов, можно смело утверждать, что ученые-обществоведы потерпели неудачу в попытках представить и проанализировать формы организации социальных систем во времени и пространстве. Как мы упоминали, изучение этого вопроса есть фундаментальная задача, продиктованная «проблемой порядка» в том виде, в котором она существует в теории

структуризации. Речь здесь идет не о какой-то сугубо специфической «области» социальной науки, которую по желанию можно принимать во внимание или сбрасывать со счетов. Рассматриваемая сквозь призму структуризации, задача эта приобретает статус краеугольного камня социальной теории, а потому имеет важное значение с точки зрения проведения здесь эмпирических исследований.

К счастью, нам нет нужды решать эти проблемы *de novo*. Последние несколько лет прошли под знаменем очевидной конвергенции между географией и другими социальными науками, в результате которой географы, опираясь на установившиеся и общепризнанные традиции социальной теории, внесли заметный вклад в развитие общественной научной мысли. По большей части труды этих ученых неизвестны широкой научной общественности и представителям социальных наук, несмотря на то что в них содержатся идеи самого общего назначения. Определенный вклад в изучение проблемы внесли работы Т. Хагерстранда; однако, влияние географии никоим образом не ограничивается трудами этого автора и его ближайших соратников [1]*. Анализируя теорию структуризации, мы подчеркнули значимость этого подхода, не рассматривая его в деталях и не пытаясь указать на присущие ему ограничения. Ниже мы постараемся наверстать упущенное.

Отправным пунктом сформулированной Хагерстрандом концепция «временной географии» является усиленно подчеркиваемый нами феномен рутинного характера повседневной жизни. Последний связывается с особенностями и свойствами человеческого тела, его возможностями перемещаться, изменяться и общаться, траекторией движения в рамках «жизненного цикла» — а, следовательно, с человеческим существом, рассматриваемым как своеобразный «биографический проект». Как было сказано выше, подход, предложенный Хагерстрандом, основывается главным образом на определении видов ограничений человеческой деятельности, обусловленных конституцией (строением) человека и физической средой его социальной деятельности. Отсюда возникают всеобщие «пределы», ограничивающие человеческую деятельность во времени и пространстве. Ха-

* См. комментарии на с. 235–238.

герстранд определял подобные ограничения по-разному, однако, особо выделял следующие моменты [2].

- (1) Единая и неделимая целостность человеческого тела, других живых существ и неорганических сущностей в *среде* обитания человека. Материальность, жестко ограничивающая возможности человека передвигаться и воспринимать.
- (2) Конечность человеческой жизни как «бытия в направлении смерти». Столь существенная особенность человеческого существования определяет неизбежные демографические пределы взаимодействия во времени и пространстве. По этой причине время представляет для человека достаточно дефицитный ресурс.
- (3) Ограниченная возможность одновременного участия в решении нескольких задач, усиленная тем фактом, что каждая из них имеет определенную протяженность во времени. Очередность иллюстрирует последствия подобного ограничения.
- (4) Тот факт, что движение в пространстве есть одновременно и движение во времени.
- (5) Ограниченные «пределы вместимости» пространства-времени. Иными словами, все физические объекты обладают ограничением на количество людей, занимающих данное пространство для определенного рода деятельности (прим. перев.): два человека не могут одновременно занимать одно и то же пространство; физические объекты обладают сходными характеристиками. Следовательно, любая пространственно-временная зона может быть подвергнута анализу с позиции ограничений двух типов объектов, которые могут быть размещены в ее пределах.

Хагерстранд полагает, что вышеперечисленные аспекты «временной географической реальности» символизируют материальные оси человеческого бытия и лежат в основе всех без исключения ситуаций взаимодействия в условиях соприсутствия [3]. Рассматриваемые в качестве ресурсов (и соответственно вовлеченные в процесс порождения и распределения власти) эти факторы формируют системы взаимодействий, образуемые траекториями ежедневных, еженедельных, ежемесячных и глобальных пере-

мещений взаимодействующих друг с другом индивидов. Хагерстранд считает, что траектории движения индивидов во времени и пространстве «согласуются друг с другом под давлением и влиянием возможностей, вытекающих из факта их совместного существования в земном пространстве и времени» [4].

Методологический подход, названный Хагерстрандом «временной географией», положил начало серии долгосрочных исследований, проводившихся в одном из церковных приходов Швеции. Область, находившаяся в ведении данного прихода, славилась богатой и всеобъемлющей статистикой состояния населения; это позволило Хагерстранду проследить жизненные пути всех индивидов, проживавших на ее территории (въезжавших в нее и выезжавших за ее пределы), на протяжении столетия. Упорядочив и систематизировав полученные данные в виде биографических описаний, Хагерстранд предпринял попытку проанализировать их как слагаемые жизненных путей в пространстве-времени, которые возможно изобразить графически с помощью определенных условных знаков. Иными словами, типичные модели перемещения индивидов можно представить как многократное повторение рутинных действий на протяжении дня или более длительных пространственно-временных промежутков. Субъекты деятельности перемещаются в физических контекстах (или средах), свойства и особенности которых вступают во взаимодействие с их возможностями, обусловленными вышеупомянутыми ограничениями, одновременно с тем, как сами субъекты взаимодействуют друг с другом. Взаимодействия индивидов, перемещающихся в пространстве-времени, порождают «связки деятельности» (или — в терминологии Гофмана — социальные взаимодействия) на «станциях» или в определенных пространственно-временных пунктах, расположенных в пределах ограниченных областей (например, домов, улиц, городов, штатов: внешней границей земного пространства служит вся Земля — в эпоху высоких технологий исключение здесь составляют космические путешественники). Динамичные «пространственно-временные картины» Хагерстранда представляют несомненный интерес благодаря графической форме, актуальной в ситуациях, выходящих за рамки тех, в которых она использовалась до настоящего времени.

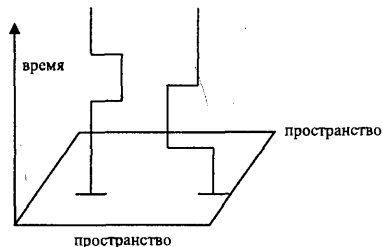


Рис. 7. Траектории индивидуального движения во времени и пространстве [5].

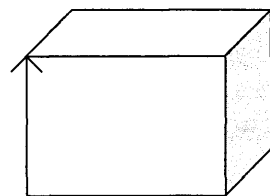


Рис. 8. Трехмерное пространство-время.

Рис. 7 и 8 демонстрируют это в простейшей форме. Предположим, два индивида живут по соседству в миле друг от друга; в указанный день пространственно-временные пути каждого из них сводят их на определенный (небольшой) промежуток времени в контакт друг с другом в точке X — возможно, они встретились в кафе или ресторане, — после чего пути их снова расходятся. Если зафиксировать повседневные действия конкретного индивида, можно нарисовать общую «пространственно-временную картину» его или ее обыденной жизни, суммировав траектории индивидуального движения во времени и пространстве. Являясь отображением жизненного пути, эта картина будет содержать обобщенные модели пространственно-временных перемещений на протяжении «жизненного цикла». Например, человек может жить в родительском доме до тех пор, пока в результате замужества не обретет новый. Вступление в брак может привести к смене работы, таким образом изменятся и место проживания, и рабочее место как «станции» на пути ежедневного движения индивида. Мобильность в пределах рынка недвижимости, брачные отношения или карьерный рост, равно как и множество других возможных факторов, могут воздействовать на типичные жизненные пути.

Социальные взаимодействия, в которые индивид вступает в ходе повседневной жизни, подвластны вышеупомянутым ограничениям. Конечно, Хагерstrand сознает, что субъекты деятельности являются не просто способными к передвижению, но целеустремленными существами с соб-

ственными намерениями, или «проектами». Для того чтобы проекты, задуманные индивидами, были реализованы, они должны преодолеть встречающиеся на их пути трудности, используя ограниченные по сути своей пространственно-временные ресурсы. Вышеперечисленные ограничения относятся к разряду «ограничений физических возможностей». Некоторые из них затрагивают главным образом распределение во времени: так, например, потребность в еде и сне, регулярно испытываемая людьми, устанавливает определенные рамки пространственно-временного зонирования повседневной деятельности. «Ограничения взаимодействия» определяют возможность людей собираться вместе в определенных местах для взаимодействия друг с другом. Масштабы пространства-времени, доступные индивиду в течение дня, представляют собой призму, ограничивающую выполнение поставленных в проекте задач. Призмы повседневного поведения — это не просто географические или физические границы, они отгорожены «со всех сторон стенами пространства и времени». Размеры призм в значительной степени обуславливаются уровнем пространственно-временной конвергенции средств коммуникации и преобразований, доступных субъектам деятельности.

Понятие пространственно-временной конвергенции было предложено другим географом Джанелле (Janelle) для описания феномена «сжатия» времени, необходимого для преодоления расстояния между различными позициями, возникшего вследствие усовершенствования транспортных систем [6]. Так, время путешествия от восточного до западного побережья Соединенных Штатов можно оценить в зависимости от изменения в скорости транспортировки, которое стало возможным с прогрессом на транспорте. Пешком это путешествие занимает более двух лет; верхом на лошади — восемь месяцев; в дилижансе — четыре месяца; по железной дороге в 1910 г. — четыре дня; обычным авиарейсом сегодня — пять часов; на скоростном реактивном самолете чуть больше двух часов. Описать внешние границы призм повседневного поведения можно, изобразив пространственно-временную конвергенцию графически. Вместе с тем очевидно, что между и внутри социальных сообществ существуют значительные отличия в плане ограничений мобильности и взаимодействия, затрагивающих различные группы

и индивидов. Сериальность и очередность представляются нам неотъемлемыми характеристиками большинства способов транспортировки. Так, например, поезд-экспресс преодолевает расстояние между двумя городами за три часа. Однако количество пассажирских мест в нем ограничено даже для тех людей, которые могут и хотят за них заплатить. Более того, если человек опоздал на поезд, может случиться так, что следующие (до появления второго экспреса) несколько часов будут ходить только поезда местного назначения, что придаст пространственно-временной конвергенции «пульсирующий» (или прерывистый) характер [7]. Кроме того, в большинстве случаев мобильность имеет место в рамках сравнительно сжатых пространственно-временных призм.

В литературе существует достаточное количество примеров, иллюстрирующих концепцию Хагерстренда: один из них принадлежит Палму (Palm) и Преду (Pred), которые используют для демонстрации призму повседневной пространственной мобильности одинокой матери по имени Джейн [8]. На рис. 9 изображен возможный радиус пространственной мобильности Джейн в течение дня. Джейн может покинуть дом и отправиться на работу не ранее определенного часа, поскольку ее ребенок нуждается в кормлении и других видах ухода, а также потому, что единственные доступные ясли открываются в четко установленное время. У нее нет машины, поэтому, добираясь до двух «станций», коими являются ясли (N_1) и место работы (W_1), она сталкивается с жесткими ограничениями физических возможностей и взаимодействия. Наличие последних ограничивает Джейн в выборе работы, а тот факт, что у нее практически нет шансов получить или не потерять хорошо оплачиваемое рабочее место, усиливает другие препятствия, с которыми она сталкивается на своем повседневном пути. В середине дня Джейн должна забрать ребенка из яслей, поскольку те закрываются; таким образом, она вынуждена работать неполный рабочий день. Предположим, что Джейн может выбирать из двух работ, одна из которых лучше оплачивается и дает возможность иметь машину (W_2), позволяя ей отдать ребенка в ясли (N_2), находящиеся дальше от ее дома. Устроившись на более прибыльную работу, она обнаруживает, что время, затрачиваемое на дорогу в ясли,

«на» и «с» работы и обратно домой (Н), не оставляет ей возможности заняться другими делами — сходить за покупками, приготовить еду и убраться в доме. Поэтому Джейн может посчитать себя «вынужденной» оставить новую работу и вернуться к первой, низкооплачиваемой, альтернативе частичной занятости рядом с домом (W_1).

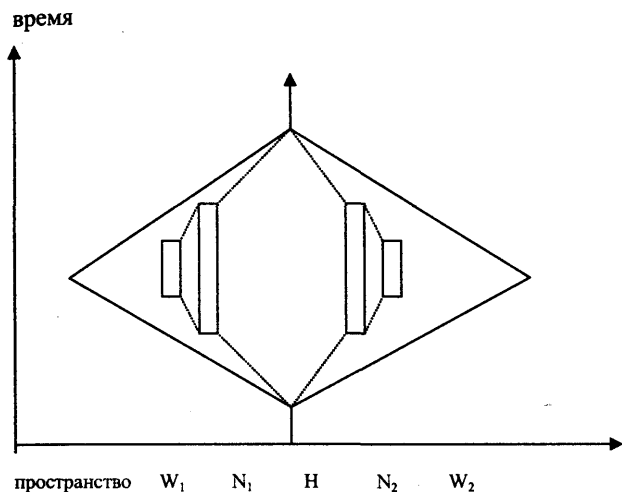


Рис. 9

Хагерstrand предпринял попытку применить свой подход для объяснения сериальности жизненных путей или «биографий» индивидов. С его точки зрения, жизненная биография образуется «внутренним душевным опытом и событиями», «связанными со взаимодействием тела и явлений окружающей среды» [9]. Течение повседневной жизни индивида предполагает, что он или она последовательно и непрерывно сталкиваются с различными сущностями, присутствующими в среде взаимодействия. Таковыми сущностями могут быть: другие акторы, неделимые объекты (устойчивые физические свойства среды деятельности), делимые вещества (воздух, вода, полезные ископаемые, пищевые продукты) и домэйны (от англ. domain — 1) имение, поместье, земли, владение; 2) территория, зона, область, район). Последние относятся к тому, что мы предпочитаем называть регионализацией пространства-времени, под которой

нами понимается движение жизненных путей по зонам социального взаимодействия, обладающим различными формами пространственного разграничения. Отличительные свойства и особенности домэйнов могут быть подвергнуты непосредственному анализу с позиций ограничений взаимодействия, порождаемых установившимся распределением «станций» и «связок деятельности» и воздействующих на всех людей, чья деятельность сосредоточена в этих домэйнах. Таким образом, характер взаимодействующих в пространственно-временных домэйнах социальных моделей определяется общей организацией ограничений физических возможностей и взаимодействия. Существуют «экологические» ограничения, которые, как это стремился продемонстрировать Томми Карлштейн (Carlstein), порождаются тремя типами «включений»:

- (1) включение материалов, артефактов, организмов и человеческих существ в зоне пространства-времени;
- (2) включение видов деятельности, требующих значительных временных затрат, в бюджеты времени людей;
- (3) включение связок деятельности различных масштабов, объемов и продолжительностей в социальную систему, т. е. формирование групп вследствие неделимости и целостности людей [10].

Критические замечания

Очевидно, что школа «временной географии» представляет определенный интерес для теории структуризации [11]. Временная география анализирует принуждения, определяющие рутинный порядок обыденной жизни, подчеркивая (как и теория структуризации) значимость практического характера повседневной деятельности в условиях соприсутствия для формирования социального поведения. Мы можем расширить и конкретизировать наши представления о пространственно-временном структурировании ситуаций взаимодействия, которые изображаются Гофманом (какими бы значимыми ни были его работы) как предустановленные и фиксированные *обстоятельства* социальной жизни. Интерес Хагерстранда к повседневным социальным практикам носит явный и очевидный характер; он настойчиво стремится использовать временную географию для осмыс-

ления «влияния обычного дня обыкновенного человека» на общую организацию социальных систем [12]. Вместе с тем временная география имеет очевидные недостатки, некоторые из которых видны благодаря предшествующим рассуждениям, представленным в настоящей книге.

Ниже изложены основные критические замечания к этому подходу. Во-первых, школа «временной географии» использует упрощенное и явно недостаточное представление о субъекте деятельности. Подчеркивая значимость человека в структурированных пространственно-временных контекстах, Хагерstrand отстаивает идеи, соответствующие тем, что мы пытались развить ранее. Однако он склонен считать «индивидов» существами, формирующимися независимо от социальных условий, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. Субъекты деятельности рассматриваются им как целеустремленные создания в том смысле, что в своих действиях они руководствуются «проектами», которые пытаются реализовать. Однако сущность и происхождение этих проектов не объясняются. Во-вторых, подход, предложенный Хагерstrandом, по существу повторяет идею дуализма деятельности и структуры, хотя и делает это в достаточно нестандартной форме, обусловленной первостепенным интересом к пространству и времени. «Станции», «домэйны» и т. п. рассматриваются как нечто предустановленное, заданное и зафиксированное, результат необъяснимых процессов формирования и изменения институциональных образований. Неудивительно поэтому, что Хагерstrand практически не уделяет внимания преобразовательному потенциалу человеческой деятельности, включая самые рутинные формы ее. В-третьих, преувеличенный интерес к свойствам тела, ограничивающим его перемещение во времени и пространстве, представляется нам необоснованным. Мы утверждаем, что все виды принуждений и ограничений являются одновременно разновидностями возможностей, средством «санкционирования» деятельности. Более того, своеобразный способ формирования концептуального представления о «принуждении», используемый Хагерstrandом, выдает определенную культурную ограниченность его взглядов. Так, ограничения физических возможностей, взаимодействия и т. п., как правило, обсуждаются Хагерstrandом с

точки зрения управления ими как дефицитными ресурсами. Здесь нетрудно усмотреть возможные аналогии с историческим материализмом. Работы Хагерстранда наводят нас на мысль о том, что распределение дефицитных ресурсов тела и его возможностей оказывает определяющее воздействие на организацию социальных институтов в обществах любых типов. На наш взгляд, подобное утверждение имеет основание только в современных обществах, где «рациональному» использованию ресурсов придается особое значение [13]. В конечном счете временная география практически не уделяет внимания понятию власти. Хагерстранд говорит об «принуждении, устанавливаемом властями», связанном с ограничениями физических возможностей и взаимодействия. Однако формулировка их оставляет желать лучшего и порождает противоречивое представление о власти как источнике ограничений деятельности. С другой стороны, если рассматривать власть как производительную силу, «принуждение», упоминаемое Хагерстрандом, является собой модальность, порождающую и поддерживающую структуры господства.

Для того чтобы развить эти идеи, принимая во внимание все вышесказанное, обратимся еще раз к понятию «местоположение», в том виде, в котором оно используется представителями географической науки. Школа временной географии весьма метко критикует это понятие в том, что касается демонстрации значимости анализа организации пространства-времени для изучения социального поведения людей. Вместе с тем, слишком много внимания уделяется временному измерению и его интеграции в социальную теорию. Хагерстранд не подвергает тщательному концептуальному анализу понятия места или местоположения и применяет их в относительно свободной форме. В контексте социальной теории понятие «местоположение» не может использоваться просто для обозначения «точки в пространстве», так же, как мы не имеем права говорить о моментах времени как последовательности «сейчас». Это означает, что понятие присутствия — а точнее, обоюдности присутствия и отсутствия — следует объяснять в терминах их пространственных и временных измерений. Разрабатывая теорию структуризации, мы предложили два достаточно уместных в данном контексте понятия — «место действия» и «нали-

чие-присутствие», — затрагивающие отношения между социальной и системной интеграцией [14].

Понятие места действия (локальности) подразумевает использование пространства с целью обеспечения *среды протекания* взаимодействия, необходимой для определения его *контекстуальности*. Формирование локальностей определенно зависит от тех моментов, особую значимость которых подчеркивал Хагерстренд: тела, его средств и возможностей мобильности и коммуникации относительно физических параметров окружающего мира. Локальности в значительной степени обеспечивают «устойчивость» (или «стабильность») социальных институтов, хотя и не совсем понятно, в каком именно смысле они ее «обуславливают». Обычно локальности определяются в показателях их физических характеристик — как свойства материального мира или, в большинстве случаев, как комбинации последних с артефактами человеческого общества. Однако было бы ошибочно полагать, что локальности могут быть описаны исключительно посредством этих терминов; аналогичное заблуждение было свойственно бихевиоризму в отношении определения человеческих поступков. «Дом» осознается как таковой только тогда, когда наблюдатель отдает себе отчет в том, что он есть «жилище», обладающее рядом свойств и отличительных качеств, обусловленных способами его использования в человеческой деятельности.

Локальности могут колебаться в известных пределах — от комнаты в доме, уличного перекрестка, фабричного цеха, небольших городов и крупных мегаполисов до государственных, имеющих четко определенные территориальные границы. Обычно локальности «районированы» изнутри, и внутренние зоны играют важную роль в процессе формирования контекстов взаимодействия. Обратимся к понятию контекста еще раз. Одна из причин использования термина «локальность», предпочитаемого нами термину «местоположение», состоит в том, что свойства окружения постоянно используются субъектами деятельности при организации социальных взаимодействий во времени и пространстве. Очевидный элемент — материальная сторона того, что Хагерстренд именует «станциями» — речь идет о «местах остановок», где физическая подвижность траекторий индивидуального движения во времени и пространстве приоста-

наливается или сокращается на время социальных взаимодействий — как локальностей, в которых пересекаются рутинные деятельности различных индивидов. Однако свойства окружения регулярно используются и в целях образования смыслового содержания взаимодействия: как это происходит, хорошо продемонстрировано в работах Г. Гарфинкеля и И. Гофмана. Таким образом, контекст связывает наиболее характерные, детальные элементы взаимодействия с глобальными свойствами институционализации социальной жизни.

Модели регионализации

Говоря о «регионализации», мы будем иметь в виду не только локализацию или установление местонахождения в пространстве, но и зонирование общепринятых социальных практик в пространстве-времени. Возьмем, к примеру, частный дом — локальность, представляющую собой «станцию», на которой в течение обычного дня происходит множество взаимодействий. Современные дома регионализированы на этажи, коридоры и комнаты. Эти разнообразные составляющие дома не являются просто отдельными частями, но зонированы во времени и пространстве. Комнаты нижнего этажа используются в основном днем, в спальне комнаты индивиды «удаляются» ночью. Наиболее фундаментальной «демаркационной линией» является во всех обществах граница между днем и ночью, разделяющая периоды интенсивной социальной жизни и восстановления сил и предопределенная физической потребностью человеческого организма в регулярном сне. Ночное время было настолько заметным «фронтиром» социальной активности, что могло бы поспорить с любыми пространственными границами. В общем и целом оно остается таковым и поныне. Однако изобретение мощных, регулируемых источников искусственного освещения значительно расширило потенциальные возможности взаимодействия в ночные часы. Так, Мюррей Мэлбин (Melbin) пишет:

«Последний великий фронтир человеческой иммиграции проходил во времени: распространение бодрствования человека на все двадцать четыре часа суток. Появились разные формы сменной работы на предприятиях, возникло

круглосуточное патрулирование, телефоны стали использоваться в любое время. Появилось большое число постоянно функционирующих больниц, аптек, авиарейсов, гостиниц, круглосуточных ресторанов, пунктов проката автомобилей, автозаправочных станций и ремонтных мастерских, кегельбанов и радиостанций. Увеличилось количество срочных служб, таких, как агентства автотуризма, слесарные мастерские, поручители; для наркоманов, самоубийц и азартных игроков появились «горячие линии», работающие в любое время. В этих предприятиях работают разные люди, однако сами организации работают непрерывно»* [15].

Вполне уместно вспомнить здесь проведенное Эвитаром Зерубавелем (*Zerubavel*) исследование структурирования времени крупной современной больницы, где зонирование осуществляется в соответствии с жестким и точным расписанием. Большинство медицинских услуг в данной больнице оказывается посменно чередующимся средним медперсоналом. Большая часть сестер работает в разных палатах, находящихся к тому же в разных секторах больницы; работа чередуется в ночную и дневную смены. Цикл перемещения из палаты в палату совпадает с чередованием дневных и ночных смен, поэтому если кто-нибудь «заступает на день», он или она переходит в другой сектор. График дежурства персонала разработан до мелочей. Если работа среднего медицинского персонала регулируется в соответствии со стандартизованными четырехнедельными циклами, то ротация интернов и ординаторов носит непостоянный характер. Сестры всегда меняются в один и тот же день недели, таким образом, чередования смен происходят по графику, состоящему из двадцати восьми суток, и не совпадают с календарными месяцами. Работа штатного врачебного персонала больницы, напротив, организована в соответствии с календарными месяцами, а потому начинается в разные дни недели.

Недельные и суточные зоны также скрупулезно регламентированы. Многие стандартные действия, особенно те, что относятся к обязанностям среднего медперсонала, со-

* Цит. по: Гидденс Э. Социология: Пер. с англ. / Научный редактор профессор В.А. Ядов, общая редакция Л.С. Гурьевой и Л.Н. Иосилевича. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 112.

вершаются с четко установленными промежутками в семь дней. «Время отдыха» сестер также рассчитывается исходя из недельного графика. Оно может быть поделено на отдельные части, каждая из которых должна быть кратна семи дням, начинаться в воскресенье и заканчиваться в субботу, дабы соответствовать очередности рабочей деятельности. «Будние дни» отличаются от «уикэндов»: хотя больница и работает круглосуточно, некоторые услуги в выходные дни не оказываются. Медицинский персонал знает, например, что лаборатории не работают по выходным, что делает невозможным получение результатов анализов. Поэтому врачи стараются минимизировать количество новых пациентов, поступающих в выходные дни, и предпочитают не модифицировать схемы лечения «старых» больных. Как правило, субботы и воскресенье считаются «спокойными» днями недели; понедельники же — самыми суетливыми и оживленными. В повседневной жизни больницы чередование «дня» и «ночи» напоминает деление недели на будние и выходные дни. О том, что работа по ночам по-прежнему считается достаточно необычной и специфической, свидетельствует термин, используемый для ее описания — «ночное дежурство» («night duty»), — который не имеет своей противоположности — «дневного дежурства» (английское словосочетание «day duty» переводится обычно как «повседневные обязанности»)[16].

Интересная классификация моделей регионализации предложена на рис. 10. Под «формой» регионализации мы подразумеваем внешний вид границ, определяющих терри-

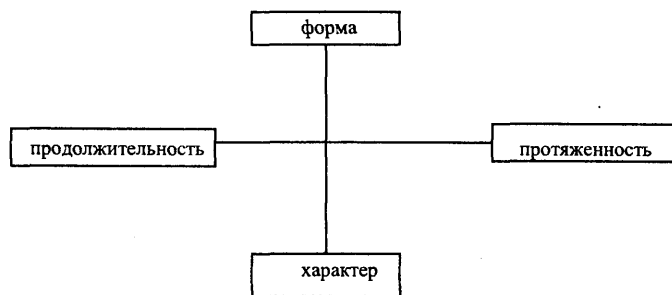


Рис. 10

торию региона. В большинстве локальностей границы, разделяющие зоны, имеют вещественные (материальные) или символические проявления. В контекстах взаимодействия «лицом к лицу» допускается большая или меньшая степень возможности проникающего «присутствия», охватывающего сопредельные зоны. Мы уже говорили о том, что в условиях общественных «сборищ» регионализация взаимодействия, как правило, проявляется исключительно в положениях и позиции тела, интонациях и манере выражаться и т. п. Практически все социальные взаимодействия, имеющие место в ситуации подобных сборищ как регионально ограниченных эпизодов, отличаются незначительной продолжительностью. Межкомнатные стены, напротив, могут осуществить зонирование социальной жизни таким образом, который невозможно преодолеть обычными средствами соприсутствия. Несомненно, там, где стены слишком тонки, течение социального взаимодействия нарушается разного рода заминками или препятствиями. Ариес (Ariès), Элиас (Elias) и др. показали, как, начиная с восемнадцатого века, внутренняя организация жилища большинства людей была взаимосвязана с меняющимися аспектами семейной жизни и сексуальности [17]. ДоXVIII в. дома бедняков в Западной Европе состояли зачастую из одной или двух комнат, в которых проходила «общественная» жизнь людей, размещались «коммунальные службы» и спальные помещения. Величественные дома аристократии имели много комнат, соединенных анфиладой, что исключало наличие коридоров, которые в современных жилищах обеспечивают своего рода «уединенность», практически недоступную ранее всем классам общества.

Регионализация приводит к образованию зон, существенно различающихся по протяженности и масштабам. Обширные по своей протяженности зоны «охватывают» большие участки пространства и времени. Конечно, пересечение «диапазонов» пространства и времени может меняться, однако, значительные по протяженности зоны, как правило, отличаются высокой степенью институционализации. Все зоны, в том виде, в каком они определяются нами, предполагают протяженность во времени и пространстве. Иногда понятие зоны может использоваться в географии для обозначения на карте физически ограниченной области ма-

териального мира, обладающей теми или иными особенностями и характерными свойствами. Мы придаем этому термину иное значение, связанное со структуриацией социального поведения в пространстве-времени. Так, между Севером и Югом Англии существуют значительные региональные (зональные) отличия, проявляющиеся в классовых отношениях и ряде других социальных показателей. «Север» предстает перед нами не просто как географически обособленная область, но как зона, имеющая «освященные временем» социальные традиции. Говоря о «характере» регионализации, мы имеем в виду способы, посредством которых пространственно-временная организация локальностей упорядочивается в рамках глобальных социальных систем. Во многих обществах понятия «дом», «жилище» использовались, главным образом, для обозначения материальной составляющей семейных отношений и производства, осуществляемого в самом помещении или на прилегающих садово-огородных участках, наделах земли. Становление и развитие капиталистических отношений «развело» понятия дома и рабочего места; это различие оказало влияние на общую организацию систем производства и другие институциональные характеристики современных обществ.

Передний и задний планы

Одним из аспектов характера регионализации является степень наличия-присутствия, соответствующая определенным видам локальностей. Понятие «наличие-присутствие» необходимо дополняет понятие соприсутствия. «Совместное существование» в ситуации взаимодействия «лицом к лицу» предполагает наличие возможностей и способов, посредством которых акторы могут «собираться вместе». Временная география Т. Хагерстренда обращает наше внимание на ряд обычно присутствующих здесь факторов. Еще несколько сот лет назад общности с ярко выраженным наличием-присутствием представляли собой группировки индивидов, находящихся в непосредственной близости друг от друга, и это было справедливо для *всех* культур. Такому положению дел способствовали: материальность субъекта деятельности, ограничения индивидуальных передвижений тела *в процессе* повседневного функционирования, физи-

ческие свойства пространства. Средства сообщений соответствовали транспортным средствам. Даже при использовании быстрых лошадей, морских и речных судов, маршбросков и т. п. большое расстояние в пространстве требовало на свое преодоление значительных временных затрат. Механизация транспорта явилась основной движущей силой, положившей начало впечатляющему процессу пространственно-временной конвергенции, свойственной нашей эпохе. Однако еще более радикальным и значимым событием современной истории (результаты которого не использованы до конца и сегодня) стало вызванное развитием системы электронной передачи сигналов отделение средств связи от транспортных средств, так или иначе связанных с мобильностью человеческого тела. Электромагнитный телеграф, изобретенный Морзе, явился такой же вехой на пути культурного развития человеческого общества, как и колесо, и другие технические новшества.

Различные модели регионализации локальностей, упомянутые нами выше, определяют специфику наличия-присутствия. Так, деление дома на комнаты способствует тому, что социальные взаимодействия происходят в различных частях здания, не вторгаясь в пространства друг друга, и обеспечивает определенную симметрию и соразмерность распорядков дня его жильцов. Однако жизнь в доме в условиях тесного сосуществования, несомненно, подразумевает высокую степень наличия-присутствия: здесь вполне возможно возникновение и длительное существование ситуаций соприсутствия деятелей «здесь и теперь». Тюрьмы и психиатрические клиники часто ассоциируются с вынужденным продолжительным сосуществованием индивидов, не привыкших к подобной практике повседневной жизни. Заключенным, живущим в одной камере, редко удается избавиться от присутствия друг друга как днем, так и ночью. С другой стороны, «дисциплинирующее влияние» тюрем, психбольниц и других разновидностей «тотальных институтов» основывается на исключении из практик повседневного индивидуального движения «вовне» элементов наличия-присутствия. Так, арестанты, вынужденные непрерывно соприсутствовать со своими соседями по камере, практически лишены возможности социально взаимодействовать с другими узниками тюрьмы, даже если те нахо-

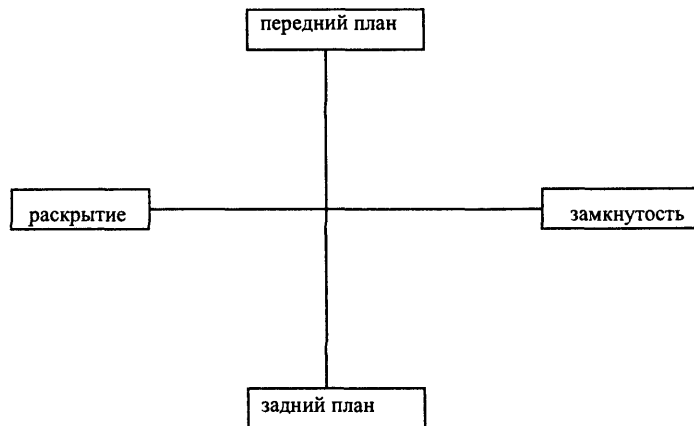


Рис. 11

дятся всего лишь по другую сторону стены. Принудительная «изоляция» заключенных от «внешнего мира», ограничивающая возможности сопresутствия людьми, находящимися в той же локальности, несомненно, является определяющей характеристикой «тотальных институтов».

Значимость регионализации с точки зрения структуры социальных систем становится очевидной, когда мы обращаемся к особенностям зонирования различных типов окружения. Понятия «передней» и «лицевой стороны» относятся главным образом к позиционированию тела в социальных взаимодействиях. Регионализация тела, столь важная с позиций психоанализа, — который, по выражению Лакана, исследует «отверстия на поверхности» тела — дополнена в пространстве регионализацией контекстов взаимодействия. Регионализация ограничивает зоны пространства-времени, что позволяет поддерживать отношения различия между «передним» и «задним» планами, которые акторы используют в процессе формирования контекстуальности деятельности, и обеспечивает чувство онтологической безопасности. Отчасти термин «фасад» помогает установить связи, существующие между внешним видом и передним планом [18]. Однако он наводит на мысль о том, что фронтальные аспекты регионализации, по сути своей, недостоверны, а истинная или реальная сущность скрывается на заднем плане. Подробный анализ передних и задних пла-

нов позволил Гофману сделать аналогичный вывод: реальные чувства людей, выполняющих «в кадре» формальные или стилизованные роли, «сокрыты за сценой». Несмотря на то что зачастую так оно и происходит, мы сталкиваемся здесь с определенной ограниченностью драматургической модели Гофмана, особенно очевидной в ранних работах автора, а также с последствиями недостаточного учета или игнорирования факта мотивации общепринятых практик повседневной жизни. Если субъекты деятельности являются просто актерами, играющими на сцене и скрывающими свою истинную «самость» под маской, приличествующей случаю, это означает, что социальный мир по большей части лишен содержания. На самом деле, почему индивиды уделяют столько внимания исполнению формальных ролей? Актеры, играющие в настоящем театре, руководствуются мотивом произвести впечатление на публику, поразив ее качеством игры, поскольку являются специалистами — профессионалами своего дела. Но эта ситуация представляет собой частный случай социальной жизни. Рассматривать ее как родовое общественное явление, значит, заблуждаться и допускать ошибку, аналогичную той, о которой, анализируя речевое общение, говорит Гофман. «Безукоризненная манера говорить», свойственная диктору радио или телевидения, представляет собой исключение, связанное с предполагаемым уровнем компетенции мастера «гладкой речи»; в большинстве контекстов повседневной жизни субъекты деятельности не видят стимулов, побуждающих их изъясняться подобным образом.

Поддержание чувства онтологической безопасности было бы невозможно, если бы передние планы являлись не более чем фасадами. По выражению Гарри Салливана, вся социальная жизнь превратилась бы в безысходный поиск «действий безопасности» во имя защиты чувства собственного достоинства в процессе выполнения рутинной деятельности. Те, кто действительно настроен подобным образом, обнаруживают, как правило, высокую степень тревожности. Поскольку в большинстве случаев имеет место глубокое, хотя и относительно обобщенное, эмоциональное погружение в повседневную рутину, акторы (субъекты деятельности) обычно не ощущают себя актерами (исполнителями), каким бы ни было терминологическое сходство этих поня-

тий. Имитируя на подмостках социальную жизнь, театр бросает ей вызов. Вероятно, именно это имел в виду Артауд (Artaud), написав следующие строки: «Настоящий театр всегда казался мне страшным и опасным действием, в котором, сверх того, нарушается сама идея театральности и игры...» [19] Обратимся к исследованию поведения людей, страдающих истерией, проведенному Лэингом:

Кроме тех, кто находится в подавленном состоянии, встречаются пациенты, испытывающие недостаток в собственной искренности или «неподдельности». Принято считать, что типичные стратегии поведения людей, страдающих истерией, фальшивы, неестественны и чрезмерно драматизированы. Напротив, истерики зачастую настойчиво утверждают, что их чувства и переживания реальны и искренни. Это мы полагаем, что они всего лишь наиграны. Это истерик настаивает на серьезности своего намерения покончить жизнь самоубийством, в то время как мы убеждены, что речь идет не более чем о пафосном «жесте». Истерик жалуется на то, что он обанкротился. Мы называем человека истериком на основании нашей уверенности в том, что в действительности он вовсе не банкрот, а просто мнит или воображает себя таковым...» [20]

Следовательно, деление на передний и задний планы никоим образом не совпадает с границей, существующей между обособлением (сокрытием, утаиванием) личностных аспектов и их разоблачением (раскрытием или «обнародованием»). Речь идет о двух осях регионализации, функционирующих в сложной взаимосвязи возможных отношений между значением, нормами и властью. Задние планы представляют собой важный ресурс, рефлексивно используемый влиятельными и не очень индивидами для обеспечения и поддержания психологической дистанции между их собственными взглядами на социальные процессы и теми трактовками, которые встречаются в «официальных» нормах. Подобные обстоятельства в наибольшей степени приближены к тем ситуациям, где индивиды ощущают себя исполнителями ролей, в истинность которых они на самом деле не

«верят». Здесь важно выделить две разновидности таких ситуаций, ибо только одна из них максимально точно соответствует драматургической метафоре. В любых обществах происходят социальные события, подразумевающие, что участвующие в них индивиды будут придерживаться ритуальных форм поведения и обращения; особая роль в данном контексте отводится нормативным санкциям, жестко регламентирующим «правила игры». Обычно эти события зонально ограничены от остальной социальной жизни и отличаются от нее тем, что в них от случая к случаю воспроизводятся сходные образцы поведения. По-видимому, именно в этих обстоятельствах индивиды с особой остротой ощущают, что «играют роли», лишь номинально учитывающие их личностные особенности. Манера поведения и последовательность действий могут отличаться натянутостью, а стиль подчеркиваться гораздо больше, нежели это характерно для повседневной социальной жизни.

Раскрытие и «самость»

Задние планы ритуализированных социальных событий напоминают «закулисье» театра или действия «за кадром» в кино и на телевидении. Однако пространство за кулисами вполне может представлять собой «сцену», коль скоро речь заходит об обыденной рутине социальной жизни. Ибо события такого рода предполагают определенную игру на публике, хотя из этого вовсе не следует, что индивиды, находящиеся в безопасности «за сценой», могут расслабиться, дать волю тем чувствам, которые держат под контролем, или «восстановиться». Тем не менее различия, существующие между передним и задним планами, весьма существенны: считается, что чем больше событие походит на ритуал, тем с большей вероятностью оно организуется как автономная и самоуправляющаяся последовательность происшествий, в которой закулисный «реквизит» находится вне поля зрения зрителей и наблюдателей. Отметим, что «публичная» и «приватная» сферы деятельности отличаются друг от друга гораздо сильнее, чем это следует из взаимоисключающего характера этих категорий. Официальные мероприятия являются прототипами общественных событий и зачастую предполагают участие известных «общественных деятелей».

Однако кулуары происходящего здесь нельзя считать «частной сферой»: удаляясь со сцены, главные действующие лица оказываются в кругу своих подчиненных — людей, находящихся «за кулисами», где возможность отдохнуть и расслабиться фактически «сходит на нет».

В большинстве своем формальные мероприятия заметно отличаются от обстоятельств, в которых задние планы представляют собой зоны, где субъекты деятельности восстанавливают независимость, утраченную или ограниченную вследствие необходимости «быть на людях». Сюда, как правило, относятся ситуации, в условиях которых актеры, уклоняющиеся от следования установленным нормам, подвергаются воздействию соответствующих санкций. Состояния обособленности и раскрытия, позволяющие субъектам деятельности пренебрегать общепринятыми нормами, являются важными особенностями диалектики контроля в ситуациях, подразумевающих надзор. В наших работах мы писали о том, что надзор сочетает в себе два родственных процесса: проверку информации, используемой в целях координации социальной деятельности подчиненных, и прямое управление их поведением. Появление современного государства с его капиталистической индустриальной инфраструктурой привело к существенному росту и распространению надзора [21]. Сегодня само определение понятия «надзор» предполагает открытие, «разоблачение», придание чему-либо видимой формы. Собранная информация позволяет выявлять модели и принципы деятельности тех, к кому она относится, а непосредственное руководство — держать эту деятельность под наблюдением и контролировать ее. Таким образом, минимизация или манипуляция возможностями «разоблачения» представляют интерес для тех индивидов, чье поведение подвергается контролю и наблюдению — причем степень выраженности этого интереса определяется тем, насколько действия, ожидаемые от них в конкретных ситуациях, кажутся им нудными, утомительными или пагубными.

В условиях заводского цеха задними планами могут быть «отдаленные уголки» помещения, комнаты для принятия пищи, туалеты и т. п., равно как и замысловатые зоны уклонения от контакта с руководством, которые работники могут создавать посредством определенных перемещений и

положений тела. Литература по проблемам индустриальной социологии пестрит многочисленными примерами использования такого рода зон в целях контроля за состоянием окружения (и поддержания «режима» автономии во властных взаимоотношениях). В качестве примера приведем слова рабочего, повествующего о типичном инциденте, происшедшем в одном из цехов автомобильного завода:

Я работал с одной стороны машины, когда крышка багажника внезапно опустилась и, падая, задела голову парня, стоявшего напротив меня. Теперь я мог видеть все происходящее. Он бросил работу, огляделся вокруг себя, дабы убедиться, не наблюдает ли кто за ним. Я старался не смотреть в его сторону — и тогда он схватился за голову. И выглядел как человек, которому все смертельно надоело. Его мысли были очевидны: «Остановлюсь-ка я на минутку». Он колебался и оглядывался по сторонам. Можете представить себе, на что похожи заводские цеха. Везде краска. Он не собирался падать в краску... поэтому в нерешительности прошел несколько ярдов и со стоном опустился на какие-то плиты. Это выглядело ужасно смешно. Один из ребят заметил его и остановил конвейер. Вслед примчался и управляющий. «Пускайте конвейер... пускайте конвейер». Конвейер был запущен, и мы должны были продолжить работу. Число работников уменьшилось. Руководству понадобилась уйма времени, чтобы вытащить этого парня. Они не могли принести носилки. Прошло, наверное, полчаса, прежде чем им удалось поднять его. А он, вы знаете, лежал все это время, изредка приоткрывая глаза, чтобы посмотреть, что происходит... [22]

Очевидно, что пренебрежительное отношение к власти предрержащим встречается в подобных ситуациях довольно часто. Однако инцидент, описанный здесь, подчеркивает тот факт, что подобные «дискредитирующие» поступки не всегда ограничиваются задним планом, действиями, совершаемыми в отсутствие тех, на кого они нацелены.

В ряде аналогичных контекстов региональное зонирование деятельности связывается с сериальностью взаимо-

действий во времени и пространстве. Вместе с тем его нельзя сводить к разделению публичной и частной сфер деятельности. Рабочий даже не пытается скрыть от своего товарища по работе, что симулирует с целью временного ухода или избавления от гнета поточной линии. Такого рода дифференциация передних и задних планов — встречающаяся главным образом в условиях очевидного дисбаланса власти — в общем и целом отличается от тех случаев, где ситуационные нормы взаимодействия ослаблены или пренебрегаются. К последним относятся ситуации, в которых передовые позиции, элементы контроля за действиями индивидов и некоторые «компенсаторные» механизмы заботы о других могут быть ослаблены. По меньшей мере в одном из случаев понятие «уединенность» («прайваси») определяется как региональное обособление индивида — или индивидов, ибо «прайваси» не всегда подразумевает одиночество — от повседневной необходимости контролировать свои действия и поступки, вследствие чего свободу получают «ребяческие» формы поведения. Мы полагаем, что в большинстве (во всех?) обществ зонирование тела связано с пространственно-временным зонированием деятельности по траекториям суточного передвижения внутри локальностей. Так, прием пищи происходит, как правило, в определенных местах и в определенное время и носит «публичный» (в узком смысле этого слова) характер, предполагающий присутствие членов семьи, друзей, коллег по работе и т. п. Процесс одевания и украшения тела не всегда относится к разряду «приватных», однако, в большинстве культур он, по-видимому, все же считается таковым. Несмотря на заявления Элиаса, утверждающего, что сексуальная активность населения средневековой Европы отличалась особой откровенностью [23], во всех обществах половая близость происходит «за кулисами», что, безусловно, не исключает множественных вариаций частичного совпадения стилей публичного и приватного поведения.

Вполне убедительно, на наш взгляд, предположить, что пересечения регионализации и проявлений внимания к состоянию тела тесно взаимосвязаны с механизмами поддержания базисной системы безопасности. Задние планы, позволяющие индивиду остаться в полном одиночестве, могут быть менее значимы, чем те, которые допускают «регрес-

сивное поведение» в ситуациях соприсутствия. В таких зонах возможны:

...богохульство, откровенные замечания сексуального характера, бесконечное ворчание, ...небрежный стиль одежды, «кисельная» осанка при сидении и стоянии, употребление диалектной или ненормативной лексики, невнятное бормотание и крик, наигранная агрессивность и «ребячливость», бесцеремонная невнимательность к другому в незначительных, но потенциально символических действиях — таких маленьких физических самопроявлениях, как хмыканье, насвистывание, жевание, покусывание губ, рыгание и пускание газов [24]*.

Отнюдь не означая снижения доверия, подобные типы поведения могут способствовать укреплению базисного доверия к близким людям, изначально заложенного в отношении к родителям (лицам, обладающим качествами отца и матери). Для них не характерно повышение уровня тревожности, вызванной критическими ситуациями; напротив, здесь мы сталкиваемся с ослаблением напряженности, возникающей в других жизненных ситуациях вследствие необходимости жесткого контроля за телом и его проявлениями.

Регионализация как родовая характеристика

Различия между обособленностью, раскрытием, задними и передними планами проявляются не только в контекстах соприсутствия, но и в расширенных диапазонах пространства-времени. Конечно, в этом случае они едва ли поддаются непосредственному рефлексивному контролю со стороны тех, на кого воздействуют, хотя возможно и такое. Свойственная современным обществам регионализация городских зон или территорий является предметом многочисленных исследований, начало которым было положено в работах представителей Чикагской социологической школы — Р. Парка (Park) и Э. Берджесса (Burgess). В большин-

* Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. Ковалева А.Д.; Ин-т социол. РАН и др. М.: КАНОН-Пресс-Ц; Кучково поле, 2000. С. 165.

стве западных обществ зонирование городов на районы, заметно различающиеся по своим социальным характеристикам, является следствием функционирования рынков недвижимости и разделения частного и государственного жилищных секторов. В действительности зонирование районов может быть не столь симметричным, как это утверждают некоторые сторонники урбанистической экологии, однако, их расположение, несомненно, порождает различные формы соотношения передних и задних планов. Когда-то промышленные районы городов на севере Англии заметно выделялись на фоне окружающего городского ландшафта — заводы и фабрики с гордостью выставлялись на всеобщее обозрение. Современные тенденции городского планирования таковы, что эти районы считаются неприглядным «задним планом», требующим сокрытия в специальных анклавах или переноса на окраины. Этому можно привести множество примеров. Легкость, с которой люди, проживающие в престижных секторах рынка недвижимости, способны перемещать свою собственность, порождает «исход на окраины», постепенно превращающий центральные районы города из авансены в «задний план» — зоны обветшания и разрушения, избегаемые представителями «респектабельных классов». Будучи территориально обособленными, городские «гетто» могут оставаться невидимыми, что особенно характерно для тех районов, где жители меняются нечасто, а повседневная внешняя и внутренняя мобильность ограничена. В основе подобной пространственной регионализации лежат разнообразные модели явлений временных рядов.

Регионализация расширенных диапазонов пространства-времени исследовалась многими авторами, прибегающими к хорошо известным представлениям о «неравномерном развитии» и различиях, существующих между «центром» («ядром») и «периферией». Эти понятия применимы, однако, к широкому кругу локальностей, как крупных, так и мелких. Минуя тему неравномерного развития, обратимся к проблеме различия центра и периферии, соотнеся его с укорененностью во времени. Мы говорим о существовании центров мировой экономики, центров городов, следовательно, и повседневные траектории индивидуального движения во времени и пространстве также имеют свои центры. В современных обществах двумя основными (по крайней мере, для

большинства мужского населения) центрами, вокруг которых организуется деятельность в течение всего дня, являются дом и рабочее место. Внутри локальностей также выделяются центральные и периферийные зоны. Так, например, некоторые комнаты дома, такие как гостевые спальни, используются лишь «периферийно» — от случая к случаю.

Зачастую различия между центром и периферией ассоциируются с протяженностью во времени [25]. Те, кто занимает центральные зоны, «устанавливают» контроль за ресурсами, позволяющими сохранять дистанцию между ними и людьми с «периферии». Признанные «авторитеты» используют множество способов социального «огораживания» [26], позволяющих им обособиться от тех, кого они считают «младшими по чину» или аутсайдерами.



Рис. 12

«Лидирующие» индустриальные страны западного «ядра» занимают в мировой экономике центральное положение, обусловленное их устойчивым превосходством над «менее развитыми» государствами. Геополитическая регионализация мировой системы может меняться — о чем свидетельствует, например, смещение центров серийного промышленного производства в некогда периферийные восточные регионы, — однако, фактор временного преобладания решающим образом опосредует и первенство в пространстве. В пределах государств-наций регионализация центра и периферии, по-видимому, связана с существованием «образований», составляющих основу структуризации господствующих классов [27]. Вместе с тем разнообразие сложных отношений здесь столь велико, что предложенные нами примеры носят исключительно иллюстративный характер.

Время, пространство, контекст

Позвольте кратко изложить основные вопросы, рассмотренные в настоящей главе. Предметом нашего обсуждения являлась *контекстуальность* социальной жизни и общественных институтов. Социальная жизнь происходит и создается посредством пересечений присутствия и отсутствия в «постепенном утекании» времени и «незаметном исчезновении» пространства. Физические свойства тела и *среды*, в которой оно функционирует, неизбежно придает социальной жизни последовательный характер и ограничивает возможности пространственного доступа к «отсутствующим» другим. Подход, получивший название временной географии, предлагает безусловно интересный и ценный способ условного изображения пересечений пространственно-временных траекторий движения в процессе повседневной деятельности, который, однако, требует в качестве дополнения теоретически обоснованных представлений о субъекте действия и организации среды взаимодействия. Определяя понятия локальности и регионализации, мы стремимся разработать концептуальную систему, способную категоризировать контекстуальность с позиций ее неизбежной включенности во взаимоотношения социальной и системной интеграции [28].

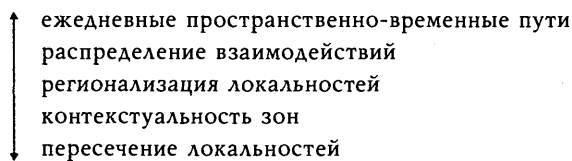


Рис. 13

Графические методы, используемые временной географией, доказали свою состоятельность и эффективность в ряде исследовательских областей. Мы не видим причин, по которым социальные науки не должны были бы брать на вооружение и адаптировать подход, предложенный Хагерстрандом. Вместе с тем не следует забывать и об очевидных ограничениях временной географии, обозначенных нами выше. Более того, «часовое время» нельзя рассматривать исключительно как неоспоримый конструктивный элемент топографических моделей, скорее, речь идет о социально обуслов-

ленном влиянии на характер пространственно-временных путей акторов в современных обществах. На первый взгляд это может показаться достаточно банальным, хотя на самом деле все обстоит далеко не так. Проблема состоит не только в различных способах временного отсчета, но и в расходящихся формах структуризации повседневной деятельности.

Обратимся к известному исследованию систем счисления времени в Кабилии, упоминаемому П. Бурдьё (Bourdieu). Здесь год начинается осенью и заканчивается летом, а день протекает с вечера до полудня. В рамках этой системы время есть извечное возвращение, которое в свою очередь становится элементом фундаментальной структуры повседневной деятельности. Ночь символизирует время смерти, отмеченное специфическими табу систематического характера, к которым относятся запрет на купание, соприкосновение с водой, использование зеркал, смазывание волос или прикосновение к пеплу [29]. Утро — это не просто «рассвет», но и победа в борьбе дня и ночи: существовать «утром», значит быть открытым свету и связанным с ним возможностями. Таким образом, «начало» дня считается временем выхода в свет, когда люди покидают свои дома и идут работать в поле. Ранний подъем есть доброе предзнаменование, пророческий знак покровительства, «вознесение славы ангелам». Это не просто смена времен, но ключевой момент событий и деяний. Несмотря на это, созидательный потенциал дня должен подкрепляться магией, в противном случае в дело вступает «нечистая сила», влияние которой возрастет после того, как солнце оказывается в зените. Ибо вслед за этим день идет на убыль, предупреждая неотвратимый и неминуемый возврат к упадку и разложению, свойственным ночи — «образцу любых форм «заката» [30].

Принимая во внимание все вышесказанное, попробуем детализировать основные понятия, рассматриваемые в настоящей главе, взяв в качестве примера школьное образование в том виде, в котором оно существует в современных обществах. Нет сомнений, что картографическое изображение пространственно-временных моделей поведения, коим следуют ученики, преподаватели и школьный персонал, является эффективным методом, используемым при исследовании школы. Вместе с тем в противовес строгим формам представления происходящего, предложенным

Хагерстрандом и его сотрудниками, мы выдвигаем идею «обратимости» повседневного рутинного поведения. Хагерстранд изображал пространственно-временные пути как «линейное» движение на протяжении всего дня. На наш взгляд, правильнее было бы признать, что подавляющее большинство обыденных пространственно-временных путей подразумевает «возвращение»; именно это позволяет нам говорить о «повторяемости» как характерной особенности повседневной социальной жизни. Вместо того, чтобы заимствовать форму, предложенную на рис. 14а, обратимся к рисунку 14б.

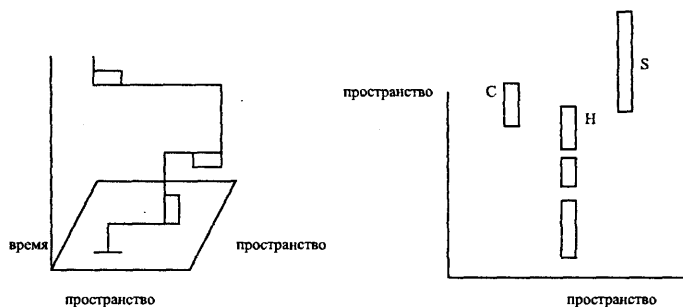


Рис. 14а

Рис. 14б

Рис. 13а относится к разряду тех, что пользовались особой благосклонностью Хагерстранда: здесь мы смотрим на пространство-время «со стороны», а стрелка времени составляет определенную временную последовательность (как правило, соответствующую рабочему дню). Не отвергая этот подход, мы дополняем его — концептуально, если не фигурально — с помощью рис. 14б, на котором наблюдаем происходящее «сверху», а не сбоку. Линии, помеченные стрелками, обозначают пути пространственно-временного движения. Длина линий соответствует количеству хронологически измеренного времени, затраченного в течение конкретного дня конкретным или типичным индивидом на перемещение между «станциями»; размер прямоугольников показывает, как долго человек оставался в той или иной локальности. Так, день школьника напоминает схему, изображенную на рис. 14б. Пребывание ребенка дома (Н) в

течение дня может быть поделено на три отдельных периода — сон с ночи до раннего утра, возвращение из школы (S) во второй половине дня и приход из кино (С) вечером. Некоторые элементы распорядка дня школьника, безусловно, сильно стандартизированы (поход в школу и возвращение домой), тогда как другие (посещение кинотеатра) не являются таковыми. Типовые виды деятельности могут быть представлены в виде профиля пространственно-временных путей, запечатленных в обратимом времени.

В соответствии с терминологией Хагерстранда школа представляет собой «станцию», на которой сходятся пути следования групп индивидов в течение дня. Хагерстранд абсолютно прав, утверждая, что условия, способствующие объединению людей в пределах одной локальности, не следует считать само собой разумеющимися — напротив, необходимо подвергнуть их тщательному анализу. Однако локальность, безусловно, есть нечто большее, чем просто место остановки. Во временной географии «станции» как таковые остаются черными ящиками, ибо основной упор делается на движение между ними. Специфика школы как типа социальной организации, занимающей локальность, обладающую определенными физическими свойствами, может быть понята с позиций трех показателей: распределение взаимодействий во времени и пространстве внутри нее, внутренняя регионализация и контекстуальность выделенных зон.

Современные школы являются воспитательными (дисциплинарными) организациями, и их бюрократические характеристики, несомненно, воздействуют и одновременно находятся под влиянием зон, из которых они состоят. Как и любые другие типы дисциплинарных организаций, школа функционирует в закрытых рамках, физические границы которых обособляют школьную жизнь от повседневных взаимодействий, происходящих вовне. Школа представляет собой «вместилище», порождающее дисциплинарную власть. Замкнутый образ школьной жизни делает возможной жесткую координацию последовательных взаимодействий, в которых участвуют обитатели школы. Периоды пребывания детей в школе изолированы в пространстве и времени от потенциально возможных социальных взаимодействий с внешним миром. Однако то же самое можно ска-

зать и о большинстве барьеров, существующих между различными классами. Школы поделены изнутри. Речь идет о некоторых зонах и промежутках времени, в которых возможно возникновение разного рода нефокусированных форм взаимодействия, — к таковым относятся, например, начало и конец занятий. В основном же, характерная для школы система распределения взаимодействий разительно отличается от той, что имеет место в различных областях социальной жизни, где нормативная регуляция деятельности представлена менее жестко. Архитектурной особенностью школ является в том числе и особая организация пространства, призванная оказывать дисциплинирующее воздействие и проявляющаяся в разделении аудиторий (классных комнат) и строго регламентированном расположении парт внутри них. Нет сомнений, что все это облегчает типовой процесс постановки и распределения задач.

Существенную роль в плане мобилизации пространства как согласованных пространственно-временных путей играет школьное расписание. Как правило, руководство школы не сталкивается с проблемами «вместимости», хорошо знакомыми административным работникам стационарных лечебных учреждений. Однако школы, как, впрочем, и все дисциплинарные организации, функционируют в условиях жесткой экономии времени. В определенном смысле происхождение школьной дисциплины связано с упорядочением времени и пространства, ставшим возможным благодаря всеобщему переходу к «часовому времени». И дело вовсе не в том, что повсеместное распространение часов способствовало точному делению дня: время превратилось в измеримое приложение административной власти.

Очевидно, что контекстуальные особенности аудиторий как основных «зон применения» дисциплинарной власти весьма разнообразны. Вместе с тем наиболее строгие формы организации аудиторного пространства предполагают, как правило, детальное определение позиций тела, движений и жестов. Пространственное расположение учителя и учеников, характерное для контекста классной комнаты, совершенно отлично от того, что встречается в большинстве других ситуаций взаимодействия лицом к лицу. Более того, возникновение последних свидетельствует о нарушении учительского контроля. Кажется бы незначительные, на пер-

вый взгляд, детали — такие как поза и положение тела, а также мобильность, — на которые обращал внимание Гофман, отнюдь не случайны.

Класс, как и школа, представляет собой «вместилище или резервуар власти». Однако он не просто производит «послушных и покорных индивидов». Нами было отмечено, что контексты соприсутствия можно рассматривать как установки, которые индивиды, наделенные властью, должны сознательно активизировать во имя придания этой власти веса и значимости. Дисциплина, поддерживаемая с помощью надзора, является эффективным средством порождения власти, требующим, тем не менее, постоянного одобрения со стороны тех, кто ей «подчиняется». Каждый учитель знает, что достижение подобной покладистости — задача не из легких, решение которой зависит от целого ряда обстоятельств. Дисциплинарный контекст классной комнаты является не просто «фоном» происходящего в школьном классе; он мобилизуется в рамках диалектики контроля. В данном случае мы имеем дело со взаимодействием лицом к лицу, требующим, как и все другие социальные взаимодействия, рефлексивного руководства и управления.

Рассмотрим в качестве примера фрагмент взаимодействия, описанный и проанализированный Поллардом (Pollard):

9 часов утра, звенит школьный звонок, половина учеников уже в классе, большинство из них читает учебники. В класс, улыбаясь, входит учитель: «Доброе утро. Хорошо, что вы уже достали книги». Учитель садится за стол, наводит порядок, начинает отмечать присутствующих. В это время в класс заходит большая группа детей. Вновь прибывшие разговаривают, обмениваются футбольными карточками, время от времени поглядывая на учителя.

Учитель: Прекрасно, начинаем переключку, поторопитесь занять свои места, футбольные маньяки... Я слышал, Манчестер Юнайтед снова проиграл. Болельщики команды: Да, но они все равно лучше Ливерпуля.

Учитель: (с сарказмом в голосе) Неужели? Должно быть, это из-за того, что они не едят шпинат. Итак, Мартин, Дорин, Элан, Марк (называет имена, а дети отвечают).

В класс застенчиво входит и направляется на свое место опоздавший ребенок. Другие ученики показывают на него и смеются.

Ученик: Эй, Дункан, куда направляешься?

Учитель: Дункан, подойди ко мне. Ты *снова* опоздал, опоздал на три минуты. Что произошло?

Дункан: Простите меня, сэр.

Учитель: Я спросил: «Что произошло?»

Дункан: Я проспал, сэр.

Учитель: Надеюсь, сейчас ты уже проснулся? (Другие дети смеются).

Дункан: Да, сэр.

Учитель: Да, лучше бы встал на три минуты в 4 утра и после этого не ложился.

Класс смеется, Дункан садится на свое место. Учитель завершает переключку.

Что происходит в данном случае? Мы, как и учитель, понимаем, что переключка учеников играет особую роль в плане упорядочения дневной деятельности. Она представляет собой сигнал, предупреждающий о начале взаимодействия, и одновременно является первым «залпом» ежедневного «сражения» учителя и учеников. Учитель использует переключку как первую возможность проверить настроение детей, и то же самое делают ученики. Поддержание директивного контроля со стороны учителя возможно лишь в том случае, если дети принимают определенный режим, регламентирующий их поведение в классе. Войдя утром в аудиторию, дети должны сесть на свои места, достать учебники и откликнуться, когда их вызывают. Анализируя поведение учителя, Поллард рассматривает шутки и поддразнивание как действия переднего плана, цель которых — создать рабочую обстановку и ориентировать учеников на совместную работу, основанную на принципах сотрудничества и поддержки. Однако эта стратегия довольно рискованна, о чем свидетельствует реакция на опоздание одного из детей. Еще один ученик посчитал себя вправе поддразнивать опоздавшего. Учитель сразу же усмотрел в этом прецедент, требующий его вмешательства и демонстрации вышестоящей власти. Добродушный упрек, высказанный Дункану в форме настойчивого призыва, показал себя успешной тактикой, вызвавшей смех детей. День пошел своим чередом. Если бы учитель публично проявил себя как поборник

строгой дисциплины и жестких мер, дети посчитали бы его реакцию слишком суровой. В конечном итоге все это привело бы к эскалации насилия, гораздо менее эффективного в плане поддержания школьного распорядка, нежели «достижение соглашения», неявно заключенного между учителем и учениками в условиях атмосферы сотрудничества.

Сама сущность классной комнаты, в которой большинство действий учителей и учеников носит обоюдно очевидный характер, подразумевает, что задние планы их деятельности имеют, как правило, четко обозначенные временные и пространственные границы. Для детей таковыми отчасти являются непродолжительные по времени промежутки между занятиями, независимо от того предполагают они физические перемещения из класса в класс, или нет. Хотя в большинстве случаев вся мощь дисциплинарного воздействия направлена главным образом на детей, учителя ощущают его зачастую куда как более сильно. Обычно преподавательский состав обладает неким «тылом», где педагоги могут уединиться — речь идет о специальных «учительских» комнатах, куда вход детям, как правило, запрещен. Нет сомнений, что учительская является местом расслабления и восстановления сил. Вместе с тем именно здесь бесконечно обсуждаются, снова и снова формулируются тактики преподавательской работы.

Для дисциплинарных организаций характерно, что жесткая система внутреннего надзора препятствует прямому управлению и контролю извне. Это прослеживается как в особенностях внутренней регионализации школы, так и в специфике ее — как локальности — положения среди других локальностей. Свойственный школам тотальный контроль за расположением и поведением индивидов возможен благодаря тому, что дисциплинарная власть концентрируется здесь внутри обособленных классных аудиторий. Однако именно это обстоятельство затрудняет прямое управление деятельностью педагогов. Конечно, существуют люди, в чьи обязанности входит следить за работой учителей, но полномочия такого рода «инспекторов» не могут быть реализованы тем же образом, каким педагоги контролируют поведение детей в закрепленных за ними классах. Следовательно, в школах функционирует резко противоположная «двунаправленная линия» власти. Контроль, который учи-

теля стремятся установить над своими учениками, носит прямой и непосредственный характер, предполагающий постоянное присутствие обеих сторон. Надзор за деятельностью педагогического состава является косвенным по сути своей и осуществляется иными методами. Можно предположить, что ранжированная линия власти возможна только в организациях, достаточно автономных, независимых от прямого внешнего контроля. Замкнутость, свойственная школе, и ее очевидная пространственная и временная обособленность от того, что происходит в близлежащих локальностях, также препятствуют контролю извне. Так, инспектора могут регулярно посещать школы с целью проверки их деятельности, а попечительские советы и родительские комитеты влиять на политику, содействующую формированию школьной жизни. Вместе с тем для дисциплинарной власти характерно, что происходящее в школе как своеобразном обособленном «вместилище власти» достаточно автономно и независимо от тех внешних видов деятельности и образований, дух которых она выражает.

Против «микро» и «макро»: социальная и системная интеграция

Предшествующие рассуждения приобретают особую значимость в контексте изучения взаимоотношений, существующих между социальной и системной интеграцией. Мы сознательно отказались от использования более привычных терминов «микро-» и «макросоциологические» исследования и сделали это по двум причинам. Прежде всего, эти понятия зачастую противопоставляются друг другу, что предполагает необходимость выбирать между ними, считая одно в некоторой степени более фундаментальным, чем другое. Так, например, за очевидным нежеланием Гоффмана изучать проблемы крупных социальных организаций и касаться вопросов истории, кроется представление о том, что подлинную сущность социальной жизни можно понять, обратившись к области микросоциологии. С другой стороны, сторонники макросоциологических подходов склонны рассматривать исследования повседневной социальной деятельности как явно недостаточные, ибо в этом случае за бортом остаются куда более значимые вопросы, выходя-

щие за рамки анализа. Подобные разногласия кажутся нам весьма странными. Мы полагаем, что речь вообще не должна идти о каком-либо превосходстве одного или другого понятия. Второй причиной, по которой деление на микро- и макро- порождает неудачные ассоциации даже в тех случаях, когда эти перспективы не конфликтуют друг с другом, является неуместное «разделение труда», возникшее между ними. Считается, что микросоциология изучает деятельность «свободного субъекта», которую вполне можно понять, обратившись к теоретическим построениям символического интеракционизма или этнометодологии; сферой интересов макросоциологии является анализ структуральных принуждений, устанавливающих пределы свободной деятельности (с. 211). Ранее мы говорили о том, что такое разделение труда вводит нас в лучшем случае в заблуждение.

Почему проблема взаимоотношений «микро-» и «макросоциологических» исследований волнует такое количество ученых мужей? По-видимому, основной причиной этого является только что упомянутое нами разделение сфер применения понятий. Усиленное философским дуализмом оно требует радикального пересмотра социальной теории, что зачастую недоступно или нежелательно для большинства авторов. Обратимся к одному из наиболее интересных, последних исследований по проблеме, предложенному Р. Коллинзом (Collins) [32]. Коллинз полагает, что раскол между микро- и макросоциологическими подходами, в том смысле, в каком эти понятия обычно понимаются и употребляются, углубился за последние десять лет или около того. В то время как в социальной теории господствовали функционализм и марксизм или их сочетание, считалось, что социальные отношения в ситуациях соприсутствия обусловлены главным образом «структурными» факторами глобального порядка. Однако микросоциология, и особенно этнометодология, привлекала к себе все больший и больший интерес, превращаясь в научную область, где допущения вышеупомянутых подходов подвергались радикальнейшему пересмотру и переработке. Коллинз пишет: «...новейшая, радикальная микросоциология концептуально и эмпирически полнее и совершеннее любых предшествующих методов... Мы полагаем, что логически последовательные попытки возродить макросоциологию, опираясь на практические в основе

своей микропринципы, являются решающим шагом на пути развития преуспевающей социологической науки» [33].

С точки зрения Коллинза, правильнее всего двигаться вперед посредством программы «микротрансляции» «структурных явлений». Результатом ее осуществления должно стать появление теорий с прочным эмпирическим фундаментом, выгодно отличающим их от существующих макро-социологических доктрин. Тех, кто исследует макросоциологические проблемы, призывают не отказываться от своих изысканий, а лишь признать, что проводимая ими работа носит теоретически незавершенный характер. Коллинз говорит о существовании трех «чистых макропеременных», к которым он относит: время, пространство и количество (число). Таким образом, понятие «централизация власти» может быть преобразовано в ряд микроситуаций — как конкретные акторы реализуют свою власть в описываемых условиях. Вместе с тем «чистые макропеременные», как количество ситуаций определенного рода, являются составными частями времени и пространства. «Следовательно, структурные переменные зачастую предстают перед нами в числовом выражении — в виде определенного количества людей, действующих в различных микроситуациях» [34]. В этом случае «социальная реальность» есть «микроопыт»; а макросоциологический уровень анализа формируется количественными временными и пространственными конгломератами этого опыта. «Структуральные» свойства социальных систем являются, по мнению Коллинза, «последствиями» поведения в микроситуациях, поскольку они не зависят от количества, времени и пространства.

Несмотря на то что концепция «структурных переменных» Коллинза отчасти сходна с идеями Блау (Blau), ее автор вполне обоснованно подвергает сомнению вариант «структурной социологии», предложенный Блау и его единомышленниками. Впрочем, в иных отношениях позиция Коллинза кажется нам явно недостаточной. Мы неоднократно подчеркивали тот факт, что рассматривая время и пространство как «переменные», мы повторяем ошибку, свойственную большинству направлений ортодоксальной социальной науки. Более того, почему считается, что понятие «структура» применимо исключительно к макросоциологическим явлениям? Мы полагаем, что деятельность в

микроконтекстах имеет строго определенные структуральные свойства как в узком, так и в широком смысле этого слова. На наш взгляд, это одно из основных утверждений, успешно доказанных результатами этнометодологических исследований. Кто сказал, что время как «переменная» приобретает значение только в макросоциологическом контексте? Временность является такой же неотъемлемой характеристикой небольшого эпизода взаимодействия, как и значительного по своей *протяженности* взаимодействия. И почему, в конечном счете, мы полагаем, что структуральные свойства слагаются лишь тремя переменными — временем, пространством и количеством? Причина, как нам кажется, заключается в том, что Коллинз по-прежнему считает, будто «структура» должна соотноситься с чем-то «внешним», находящимся за пределами деятельности социальных субъектов; в противном случае полностью утрачивается ее социально-научный смысл. Принимая во внимание тот факт, что Коллинз согласен с большинством критических замечаний, выдвигаемых теми, кого он называет «радикальными микросоциологами», против коллективных представлений и общих понятий, столь любимых сторонниками макросоциологического подхода, рассредоточенность во времени и пространстве является, по-видимому, единственным оставшимся феноменом.

Однако наибольшую путаницу вносит предположение, согласно которому «макропроцессы» представляют собой «результаты» взаимодействия в «микроситуациях». Коллинз утверждает, что «макроуровень» состоит исключительно из «конгломератов микроопытов». В этом случае можно согласиться с тем, что обобщения в социальных науках всегда предполагают — и, по меньшей мере, неявно упоминают — намеренные и целенаправленные действия индивидов. Но из этого отнюдь не следует, что «макроуровень» является всего лишь мистификацией. Здесь мы снова сталкиваемся с непонятными нам разночтениями. Социальные институты нельзя рассматривать как совокупности «микроситуаций», невозможно и описать их в терминах, имеющих отношение к этим ситуациям — если речь идет об обстоятельствах соприсутствия. С другой стороны, институционализированные модели поведения присутствуют даже в самых скоротечных и ограниченных «микроситуациях».

Продолжим рассуждения и продемонстрируем, почему разграничение «микро-» и «макро-» не является, на наш взгляд, особенно полезным. Что такое «микроситуация»? Ответить на этот вопрос можно в духе Коллинза: ситуация взаимодействия, ограниченная в пространстве и времени. Однако подобное определение явно недостаточно. И дело здесь не только в том, что взаимодействия имеют тенденцию «незаметно ускользать» во времени; если мы поинтересуемся, как они организуются участвующими в них субъектами, то увидим, что ни один эпизод взаимодействия — даже тот, что имеет очевидные временные и пространственные границы — не может быть понят сам по себе. Большинство аспектов взаимодействия укоренено во времени: смысл социальных взаимодействий становится очевидным только тогда, когда мы принимаем во внимание их рутинный, повторяющийся характер. Более того, пространственная дифференциация микро- и макро- теряет всякую определенность, как только мы начинаем исследовать ее. Ибо формирование и преобразование социальных взаимодействий неминуемо происходит в пространстве, куда более широко, нежели те, что связаны с непосредственными контекстами взаимодействия лицом к лицу. Траектории пространственного перемещения индивидов в течение дня прерывают одни контакты, формируя другие, которые затем вновь обрываются и так далее.

Обычно, говоря о микро- и макропроцессах, мы имеем в виду позиционирование тела в пространстве-времени, характер взаимодействия в ситуациях соприсутствия, а также связь, существующую между ними и «отсутствующими» воздействиями, важными с точки зрения снятия характеристик и объяснения социального поведения. Эти явления — представляющие собой сферу особого интереса теории структуриации — лучше рассматривать с позиций взаимоотношений, существующих между социальной и системной интеграцией. Некоторые вопросы, обсуждаемые в ходе дискуссий на тему микро- и макро-, представляют собой концептуальные проблемы, имеющие отношение к продолжительной полемике вокруг методологического индивидуализма. Мы обсудим это в следующей главе. Другие аспекты проблемы не относятся, однако, к разряду сугубо абстрактных размышлений о понятиях. Они могут быть решены по-

средством прямого анализа конкретных типов обществ. Поскольку общества различаются по способам институциональной артикуляции, постольку могут отличаться и формы пересечения присутствия и отсутствия, определяющие специфику их устройства. Здесь мы лишь кратко остановимся на этом вопросе, к которому еще вернемся в следующей главе.

Социальная интеграция определяется как взаимодействие в контекстах соприсутствия. Связи, существующие между социальной и системной интеграцией, можно проследить, исследовав модели регионализации, которые направляют и направляются пространственно-временными траекториями движения индивидов — членов общин или обществ — в процессе их повседневной деятельности. Эти траектории находятся под влиянием и одновременно воспроизводят фундаментальные институциональные характеристики социальных систем, в которых они существуют. Как правило, родоплеменные общества имеют четко сегментированную структуру, а сельская община олицетворяет собой главенствующую локальность, в пространстве-времени которой формируются и воспроизводятся социальные взаимодействия. В обществах такого типа доминируют отношения соприсутствия. Стоит упомянуть также и то, что для этих обществ характерно сращивание социальной и системной интеграции. Очевидно, однако, что подобный синтез или слияние никогда не бывает полным: фактически все общества, независимо от их величины или степени закрытости, существуют в более или менее тесном контакте с крупными «межсоциетальными системами».

Сегодня мы живем в обществе, где электронная связь считается само собой разумеющейся, в этой связи надо особо подчеркнуть очевидную особенность традиционных обществ (а, в сущности, и всех обществ столетней давности). Особенность эта состоит в том, что общение членов различных обществ, независимо от масштабов последних, происходит в условиях соприсутствия. Можно получить письмо от физически отсутствующего человека, однако, его необходимо забрать в одном месте и доставить в другое. В традиционном мире в длительные путешествия отправлялись особые категории людей — моряки, военные, купцы, маги и прочие искатели приключений. Кочевые общества стран-

ствовавали по безбрежным просторам земли. Миграции населения были общераспространенным явлением. Однако это ничего не меняло: ситуации соприсутствия оставались основными «несущими контекстами» взаимодействия.

Большая «эластичность» пространства-времени в так называемых классовых обществах стала возможной благодаря появлению городов. Развитие городов способствовало централизации ресурсов — главным образом административных — что в свою очередь послужило причиной значительного «растяжения» пространства-времени, не свойственного родоплеменным системам. Какой бы сложной и замысловатой ни казалась регионализация классовых обществ, она всегда организуется вокруг отношений — взаимной зависимости и антагонизма — между городом и сельской местностью.

Мы склонны использовать термин «город» в самом общем виде для обозначения городских поселений в традиционных обществах и тех, что возникают как следствие формирования и развития промышленного капитализма. Вместе с тем, неверно считать, что в наши дни мы имеем дело с тем же самым, и рассматривать современный урбанизм как более плотный и разрастающийся вариант того, что происходило ранее. Традиционные города во многих отношениях отличались от современных. Рикверт (Rykwert) обращает внимание на символическую форму, свойственную многим традиционным городам, расположенным в разных частях света:

[Сегодня нам] трудно представить ситуацию, в которой формальный порядок мироздания может быть сведен к графику в системе двух пересекающихся в одном пространстве координат. Тем не менее, именно это и происходило в античности: римлянин, идущий вдоль *cardo* (перемещавшийся с севера на юг), был уверен, что траектория его движения есть ось, вокруг которой вращается солнце, и знал, что если он проследует по *decumanus* (с востока на запад), то повторит путь солнца. Вся суть вселенной могла быть объяснена исходя из гражданских установлений индивида, — так что, находясь в ней, он был дома [35].

Отметим, что подобные города отсутствуют в пространстве и времени, проникнутых товарными отношениями [36]. Одной из наиболее характерных черт современного капита-

лизма, несомненно, является покупка и продажа времени, например рабочего времени. Установление четкого распорядка дня сродни стройному, организующему звучанию монастырских колоколов, однако только в сфере трудовых отношений регламент времени приобрел влияние, распространившееся по всему обществу в целом. Коммерциализация времени, обусловленная механизмами промышленного производства, нивелирует различия между городом и сельской местностью, характерные для классовых обществ. Развитие современной промышленности сопровождается растущей урбанизацией, процессом не связанным, однако, с каким-то определенным типом пространства. С другой стороны, в классовых обществах традиционный город является ключевой точкой дисциплинарной власти и, как таковой, зачастую отделяется от сельской местности — физически и символически — городскими стенами. Коммерциализация пространства, идущая рука об руку с процессами преобразования времени, порождает специфическую «искусственную среду», выражающую новые формы институциональной артикуляции. Новые формы институционального порядка изменяют условия социальной и системной интеграции, трансформируя, таким образом, характер взаимоотношений между приближенным и удаленным в пространстве и времени.

Критические замечания: Фуко об образовании времени и пространства

Многочисленные обращения Фуко к проблеме происхождения дисциплинарной власти служат доказательством его неизменного интереса к распределению времени и пространства. Фуко полагает, что дисциплинарная власть связана с воздействием на тело как механизм, поддающийся точной наладке. Формы управления, используемые дисциплинарными организациями, стремительное распространение которых начинается с восемнадцатого века, отличаются от массовой мобилизации рабочей силы, необходимой для реализации широкомасштабных проектов в условиях аграрных цивилизаций. Зачастую подобные проекты — строительство дорог, возведение храмов, сооружение памятников — требовали привлечения большого количества людей, координация деятельности которых осуществлялась в са-

мом общем виде. Новые формы регулирования поведения предусматривают возможность жесткого контроля передвижений, жестов, поступков и установок конкретных индивидов. В отличие от одной из своих исторических предшественниц — монастырской дисциплины — обновленные технологии власти устанавливают прямую связь между дисциплиной и общественной полезностью или практичностью. Контроль за телом является частью оригинальной «политической анатомии» и, как пишет Фуко, увеличивает его (тела) отдачу, одновременно снижая независимость ориентации.

Дисциплина поддерживается исключительно посредством манипуляций со временем и пространством. Обычно она предполагает определенную обособленность, поле деятельности, отличающееся полностью закрытым, замкнутым в себе характером. Фуко детально анализирует понятие «ограничение [свободы]», под которым понимает принудительный отрыв индивидов от внешнего социального окружения и их изоляцию в тюрьмах, клиниках для душевнобольных, казармах и т. п. Та или иная степень замкнутости свойственна любым дисциплинарным организациям. Факторы, ведущие к образованию закрытых зон, могут различаться, но конечный результат всегда одинаков; отчасти это объясняется сходством моделей и образцов поведения, которых придерживаются индивиды и власти, ответственные за координацию их действий. Обособленность представляет собой фундамент дисциплинарной власти, однако, сама по себе она не является достаточным основанием для формирования всеобъемлющей системы управления передвижениями и действиями индивида. Последняя создается посредством внутренней регионализации или «декомпозиции». В любой конкретный момент времени каждый индивид находится в «надлежащем ему (или ей) месте». Декомпозиция (разбиение) дисциплинарного пространства-времени имеет по меньшей мере два последствия. Во-первых, благодаря ей удается избежать образования больших групп, которые могут стать источником формирования оппозиции или произвола; во-вторых, она делает возможным непосредственное управление действиями индивидов, вставая преградой на пути постоянных изменений и неопределенности, свойственных произвольным социальным взаимодействиям. Согласно

Фуко, здесь возникает особое «аналитическое пространство», позволяющее наблюдать за деятельностью и оценивать качества находящихся в нем индивидов. Не исключено, что декомпозиция дисциплинарного пространства осуществлялась в соответствии с моделью монастырской обители; вместе с тем, зачастую за основу брались архитектурные формы, отвечавшие сугубо практическим целям. Во Франции образцом послужил военно-морской госпиталь в Рошфоре. Последний был открыт в рамках программы, направленной на борьбу с инфекционными заболеваниями, нередкими в порту, переполненном самыми разными людьми, промышленявшими войной или торговлей. Контроль за распространением болезней предполагал также надзор за мигрирующим населением — военные выслеживали дезертиров, а местные власти регулировали движение товаров, провианта и сырья. Все это вело к ужесточению контроля за пространством, изначально выразившемуся в преимущественной заботе о материальных ценностях, нежели в попытках организовать людские ресурсы. Позже практика маркировки и классификации товаров, регулирования и контроля за их распределением была применена в отношении пациентов. Был установлен порядок ведения и хранения выписок из историй болезней. Тщательно регулировалось и выверялось общее количество больных; были введены ограничения на передвижения пациентов, строго определялось время их посещения. Таким образом, появление «терапевтического пространства» было обусловлено развитием пространства «административного и политического» [37].

Декомпозиция пространства фабрик конца XVIII столетия происходила в совершенно иных условиях. Несмотря на то что основной целью этого процесса оставалось позиционирование индивидов в разграниченном, замкнутом пространстве, преимущественное внимание уделялось согласованному и гармоничному функционированию машин и механизмов. Так, пространственное расположение индивидов должно было соответствовать техническим потребностям производства. Однако специфика «организации производственного пространства» определялась в какой-то мере и дисциплинарной властью. В качестве примера Фуко приводит мануфактуру Оберкампа в Жюи. Мануфактура состо-

яла из нескольких цехов, объединенных друг с другом по типу производственной деятельности. Самое большое фабричное здание, сооруженное по проекту Туссена Барре, было высотой в три этажа, при этом длина его составляла 110 метров. На нижнем этаже занимались печатью по ткани: здесь были размещены 132 стола, установленных друг за другом в два ряда по всей длине помещения; за каждым столом располагались два работника. Супервизоры (люди, непосредственно контролирующие производственную деятельность работников) расхаживали взад-вперед по центральному проходу, имея возможность наблюдать как за производственным процессом в целом, так и за поведением каждого отдельного рабочего. Работники сравнивались по показателям скорости и производительности своего труда. Четкая систематизация деятельности работников позволяла описывать каждую трудовую операцию и соотносить ее с конкретными телодвижениями. Таким образом, учение Фредерика Тейлора (Taylor) является, на наш взгляд, не более чем поздней редакцией принципов дисциплинарной власти, усиление которой шло рука об руку с развитием крупной промышленности, имевшим место в конце XVIII столетия.

Фуко убежден, что особенности дисциплинарной власти определяются не столько тем, что организация занимает конкретный участок территории, сколько (и главным образом) фактом соответствующего обустройства пространства. Отличительными чертами последнего являются границы, ряды, колонны, выверенные и измеренные пространственные участки, обнесенные стенами. И это касается не какой-то конкретной части, а всего здания в целом. Примером может служить классная комната. В XVIII столетии во Франции и в ряде других стран классы делились на четко разграниченные ряды и были обособлены друг от друга системой сообщающихся коридоров. Пространственное деление дополняется разграничением учебных программ. Таким образом, индивиды перемещаются по сегментам пространства не только в течение дня, но и на протяжении всего процесса обучения.

«Организуя «кельи, «места» и «ранги», дисциплина создает комплексные пространства: одновременно архитектурные, функциональные и иерархические.

Пространства, которые обеспечивают фиксированные положения и перемещения. Они вырисовывают индивидуальные сегменты и устанавливают операционные связи. Они отводят места и определяют ценности. Они гарантируют повиновение индивидов, но также лучшую экономию времени и жестов»* [38].

Дисциплина зиждется на строгом количественном учете и распределении пространства и времени. Определенную роль в установлении четкого распорядка дня сыграли монастыри. Религиозные обряды служили образцами систематического контроля за использованием времени, и их влияние в том или ином виде ощущалось повсеместно. Прекрасным примером, иллюстрирующим различные аспекты дисциплинарной власти, является армия. Солдаты долго обучались науке хождения строем и выступления в походном порядке. Пионерами в деле координации и синхронизации военных маневров стали голландцы [39]. К концу XVI столетия голландская армия освоила прием, посредством которого войска обучались тактике согласованных военных маневров и упорядоченного ведения боя, сопровождавшегося непрерывным обстрелом противника. Это достигалось за счет слаженности и согласованности во времени различных движений тела. Позже аналогичный метод применялся для тренировки жестов и телодвижений, необходимых для того, чтобы зарядить, произвести выстрел и перезарядить оружие, а также для удовлетворения других потребностей военной организации. Благодаря этим событиям смысловое содержание понятия «дисциплина» существенно изменилось. Изначально термин использовался для обозначения процесса обучения: дисциплинированность считалась характерной чертой «обученного (дисциплинированного) человека». В вооруженных силах это понятие приобрело иное значение, сохранившееся и поныне — говоря о дисциплине, мы подразумеваем в большинстве случаев состояние упорядоченности вообще, а не процесс обучения или наставления как таковой [40].

Синхронизация действий есть нечто большее, чем их привязанность к измеренным временным интервалам. Воз-

* Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с франц. Наумова В.; Под ред. Борисовой И. М.: Ad Marginem, 1999. С. 216.

можно, мы сталкиваемся здесь с основным условием «координации тела и жеста (или действия)». Дисциплинарная власть не только предполагает установление контроля за характерными жестами, но и максимально активизируется там, где эти жесты имеют отношение к позиционированию тела в целом. Эффективное использование тела означает, что никакие ресурсы его не растрачиваются даром и не остаются неиспользованными; все внимание сосредоточивается на действии, которым занят индивид. Дисциплинированный индивид — это обученный индивид: в этом смысле мы сталкиваемся с традиционным значением понятия «дисциплина». Позиционирование тела является основным фактором, служащим связующим звеном между двумя последствиями временного характера. Одно из них — разложение действия на хронометрированную последовательность операций (движений), выполнение которых предполагает использование определенных частей тела. Так, голландский принц Маврициус (Морис) Оранский представил процесс использования мушкета в виде последовательности сорока трех (а пики — двадцати трех) самостоятельных движений, согласованных внутри структуры войскового подразделения [41]. Вместе с тем, детальной спецификации и интеграции с действием подлежат и отдельные части управляемого объекта. Существенную роль здесь играет четкое распределение и согласование во времени, поскольку подавляющее большинство конструируемых машин, механизмов и вооружения начинает функционировать по принципу последовательности, так что каждый этап их работы является предпосылкой и необходимым условием последующих операций. Дисциплинарная власть зависит не только от использования предопределенных ресурсов, но и от создания «принудительной связи с механизмом производства».

Синхронность прослеживается на всем протяжении трудовой деятельности. Фуко сравнивает два этапа развития мануфактурной школы Гобеленов. Мануфактура была учреждена в 1667 г. в качестве королевской; школа подмастерьев задумывалась как часть проекта. Управляющему королевскими службами вменялось в обязанность отбирать шесть-десять детей — будущих учеников школы; образовательный процесс был организован в соответствии с принципами цехового ученичества. Изначально ответственность за воспи-

танников, проходивших шестилетний курс ученичества, возлагалась на мастера. Прослужив еще четыре года и успешно сдав экзамен, подмастерья получали право открыть собственные мастерские. Здесь мы сталкиваемся с размытым процессом передачи знаний посредством взаимодействия между мастерами и их учениками. Временная организация жизни подмастерьев — с точки зрения стандартов, которых следовало придерживаться, — отличалась крайней степенью неопределенности. Спустя семьдесят лет после основания школы было решено изменить процесс обучения подмастерьев; прежде всего речь шла о корректировке уже сложившихся образовательных методик. В отличие от последних обновленный учебный процесс базировался на подробном и четком расписании времени. Дети занимались в школе по два часа в день. Школьные классы группировались в соответствии со способностями и предшествующим опытом учеников. Школьники регулярно выполняли урочные задания, качество которых оценивалось учителем; самые талантливые из них поощрялись. Переход из класса в класс осуществлялся на основании результатов испытаний, через которые проходил каждый ученик. Повседневное поведение подмастерьев записывалось в журнал, который вели учителя и их помощники; периодически этот журнал просматривался школьным инспектором.

Школа Гобеленов представляет собой один из примеров общей тенденции, господствовавшей в системе образования в восемнадцатом столетии, и, как полагает Фуко, отражает «новый подход к контролю за временем индивидов». Дисциплина, «анализирующая пространство, прекращающая одни и преобразующая другие виды деятельности» должна концентрироваться таким образом, чтобы это служило делу «суммирования и капитализации времени» [42]. Достичь этого можно, воспользовавшись следующими методами.

- (1) Распределение жизни в хронологическом порядке, позволяющем зафиксировать временные границы каждой ступени развития. Так, очевидно, что период обучения может быть отделен от собственно трудовой жизни в буквальном смысле этого слова. Сам учебный процесс подразделяется на несколько квалификационных уровней, и все обучаемые обязаны последовательно преодолеть их.

- (2) Обособленные стадии обучения и последующей «карьеры» — понятие, используемое нами в его современном значении — могут быть организованы в соответствии с общим планом. Образование должно освободиться от персонифицированной зависимости, закрепленной в отношениях между мастером и учеником. Учебный план следует формулировать в обезличенных и беспристрастных понятиях, расчлняя его где только возможно на элементарные операции, доступные пониманию любого обучаемого.
- (3) Каждый временной этап обучения должен завершаться испытанием: это не только гарантирует равноценность учебного процесса, но и позволяет определить сравнительные способности и потенциальные возможности учащихся. Разнообразные проверки и экзамены, встречающиеся на пути учеников, ранжируются таким образом, чтобы их успешное преодоление стало непременным условием дальнейшего карьерного роста.
- (4) Различные формы или уровни образования являются основанием для получения тех или иных ранжированных постов. В конце каждого этапа обучения некоторые индивиды приглашаются на работу определенного иерархического уровня, а остальные продолжают учиться, дабы достичь высших рангов. Каждый индивид соотносится с временным рядом, посредством чего определяется его или ее служебное и социальное положение.

«Распределение последовательных деятельностей по рядам — «сериям» — дает власти возможность выгодно использовать длительность: возможность детального контроля и точного вмешательства (в форме дифференциации, исправления, наказания, устранения) в любой момент времени; возможность характеризовать, а следовательно, использовать индивидов в соответствии с уровнем серии, которую они проходят; возможность накапливать время и деятельность, вновь открывать их суммированными и годными к использованию в конечном результате, представляющем собой предельную способность индивида. Рассредоточенное время собирается воедино, для того чтобы произвести выгоду, тем самым овладевая ускользящей длительностью. Власть непосредствен-

но связана со временем; она обеспечивает контроль над ним и гарантирует его использование»* [43].

Таким образом, в основе дисциплинарных приемов и методов лежит специфическое представление о времени как шкале с равными интервалами. Фуко полагает, что в процессе последовательного распределения времени есть нечто сродни наложению сегментированного пространства на деятельность индивидов: речь идет об «упражнении». Упражнение есть предустановленная, систематическая, дифференцированная физическая тренировка тела, конечным результатом которой становится «fitness» — видимая «пригодность» к конкретной цели использования — термин «fitness» относится не только к подготовленности тела, но и к его способности решать поставленные перед ним задачи. Теория и практика упражнений были порождены в недрах религии, но постепенно приобрели мирской характер, став лейтмотивом большинства дисциплинарных организаций. Упражнение требует постоянства и систематичности и воздействует на определенные части тела. Оно наглядно демонстрирует смысл контроля за телом относительно других тел, значимого с позиций дисциплины как таковой. Тело рассматривается как подвижный элемент более масштабной композиции. По существу, дисциплину отличают следующие основные характеристики. Она имеет «ячеистое» строение (с точки зрения распределения в пространстве); она «органична» (кодирование деятельности в соответствии с запрограммированным порядком); она «генетически» обусловлена (в отношении последовательности этапов); ее отличает «комбинаторный» характер (объединение индивидуальных действий как траекторий движения социального механизма). Фуко цитирует Губерта (Guibert):

Государство, изображенное нами, будет иметь единое, заслуживающее доверия, легко контролируемое правительство. Оно будет походить на те огромные механизмы, которые самым незатейливым образом добиваются поразительных результатов; сила этого государства будет порождаться его собственной си-

* Фуко М. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы / Пер. с франц. Наумова В.; Под ред. Борисовой И. М.: Ad Marginem, 1999. С. 233–234.

лой, а процветание — зависеть от его же процветания. Оно опровергнет широко распространенное предубеждение, заставляющее нас думать, что империи подчиняются неумолимому закону упадка и гибели [44].

Очевидно сходство, существующее между рассуждениями Фуко, размышляющего на тему дисциплинарной власти, и взглядами Макса Вебера, анализирующего современную бюрократию. Отметим при этом, что фокус их работ различен. Вебер изучает «сердце» бюрократии — государство и его административные органы. Фуко, напротив, редко обращается к непосредственному анализу государственных механизмов; государство исследуется им «симптоматически», посредством, казалось бы, незначительных типов организаций — госпиталей, психиатрических клиник и тюрем. Однако оба автора отмечают возникновение новых форм административной власти, порожденных концентрацией индивидуальных действий вследствие их детализации, конкретизации и координации. На первый взгляд, Вебер игнорирует вопросы превращения времени и пространства, а посему стоит обозначить, как эта проблема может быть отражена в его трудах. Предположительно, она скорее латентна, нежели очевидна. Обратимся к рассуждениям Вебера относительно сущности современного капиталистического предприятия. Что отличает «рациональный капитализм» от всех предшествующих форм? Прежде всего, его устойчивый и стабильный характер. Ранее существовавшие типы капиталистических предприятий располагались в пространстве и времени случайным — от случая к случаю — образом. Рациональный капитализм предполагает формирование упорядоченных рыночных отношений и их равномерное распространение в пространстве, что становится возможным благодаря появлению бюрократического государства, не только гарантирующего соблюдение прав собственности, но и обеспечивающего функционирование основных общественных институтов, в частности установленного порядка обмена бумажными деньгами.

Не менее важен и контроль за временем. Рациональное капиталистическое предприятие есть предприятие, способное работать в стабильном, упорядоченном режиме. С этих позиций легко понять внимание Вебера к двойной бухгалтерии как значимому условию развития современного капита-

лизма. Двойная бухгалтерия обеспечивает возможность непрерывного учета движения капиталов за длительные периоды времени. Бухгалтерский учет позволяет оценить и проверить рентабельность предприятия. Это предполагает оценку общей стоимости имущества предприятия на начальном этапе его существования и последующее ее сравнение с результатами, полученными на выходе. Рентабельность зависит, помимо всего прочего, от способности прогнозировать будущие события и подсчитывать их результаты. Двойная бухгалтерия представляет своего рода машину времени, поскольку одновременно отображает и допускает количественное представление элементов, опираясь на которые, можно судить о деятельности предприятия в «упорядоченном времени» [45].

Контроль за временем является неотъемлемым свойством бюрократии в целом. Двойная бухгалтерия — механизм, «стыкующий» прошлые и ожидаемые будущие события. Аналогичную роль играют бюрократические правила. Современные бюрократии, утверждает Вебер, не могут существовать без делопроизводства — упорядоченной системы обращения документов, увековечивающих прошлое и дающих рекомендации на будущее — или «архивных картотек». Последние являются не только документальным подтверждением бюрократических процедур; они иллюстрируют эти процедуры и делают возможной непрерывную и устойчивую деятельность — залог бюрократической дисциплины. Как правило, архивы организуются в специально отведенных для этой цели помещениях или службах («офисах») и придают бюрократической организации определенную самобытность. Под офисом понимается как физическое окружение, так и уровень административной иерархии. Хотя Вебер едва затрагивает этот вопрос, физическое распределение офисных пространств является отличительной чертой и особенностью бюрократических организаций. Пространственное разграничение офисов изолирует их друг от друга, обеспечивает ту или иную степень автономии находящихся в них индивидов, а также свидетельствует об определенном уровне иерархии.

Вебер подчеркивает необходимость отделения офиса от места проживания работника [46]. Одна из основных особенностей бюрократии состоит в том, что профессиональ-

ная деятельность служащих обособляется от их частной жизни. Объективные и беспристрастные догматы бюрократической дисциплины работают с большей отдачей в тех случаях, когда корпоративные финансовые средства и ресурсы не смешиваются с частной собственностью должностных лиц, когда личные или родственные связи не являются основой принятия решений и назначения на должности, когда вопросы частной жизни не переплетаются с рабочими проблемами. Вебер поясняет, что радикальное разделение дома и рабочего места наблюдается только в условиях современного Запада. Не стоит, однако, упускать из виду значимость процесса дифференциации локальностей с точки зрения определения сфер деятельности различных типов бюрократических организаций. Тот, кто подвергает сомнению влияние этих процессов на формирование и отражение социальных моделей и структур, может обратиться к примеру «Сити» и проанализировать ту позицию, которую этот деловой центр занимает в Великобритании. Его пространственная обособленность от «промышленных» центров наряду с максимальной концентрацией в единой зоне отражает основные институциональные характеристики общества, частью которого он является (см. с. 319–326).

Вернемся к Фуко. Учитывая цели нашего экскурса, мы не будем оценивать историческую правоту и ошибочность его взглядов или исследовать теоретические недостатки, свойственные представлениям, на которые он ссылается. Хотелось бы только дополнить его рассуждения относительно взаимосвязи между дисциплинарной властью и модальностями пространства и времени. Начнем с анализа идей Вебера, нашедших свое отражение в предыдущем параграфе. Фуко полагает, что типичным примером дисциплинарных организаций являются тюрьмы и психиатрические клиники — «тотальные институты» (по выражению Гофмана), «институты всепоглащающей аскезы» в определении Фуко, заимствованном у Бальтара (Baltard). «В тюрьме, — пишет Фуко, — нет ни щелей, ни открытых зон; пребывание в ней нельзя прервать за исключением тех случаев, когда срок заключения подошел к концу; ее воздействие на индивидов должно быть непрерывным: возрастающая дисциплина... практически абсолютная власть над заключенными; в тюрьме существуют собственные внутренние механизмы подав-

ления и наказания: деспотичная дисциплина» [47]. Фуко признает, что заводы, офисы, школы, бараки и прочие контексты окружения, в условиях которых активизируется надзор и приводится в действие дисциплинарная власть, в большинстве своем не являются таковыми, однако, не развивает эту идею дальше. Вместе с тем, данное наблюдение кажется нам весьма любопытным, ибо «институты всепоглощающей аскезы» представляют собой скорее исключение, нежели правило, в соответствии с которым функционируют основные институциональные сегменты современных обществ. То, что тюрьмы и психиатрические лечебницы широко используют возможности дисциплинарной власти, вовсе не означает, что эти организации отражают ее сущность более наглядно, чем системы, отличающиеся менее закрытым характером.

Поход на работу (или в школу) может поведать об институциональном характере современных обществ ничуть не меньше, чем карцерные организации. Пространственно-временное «разнесение» различных секторов социальной жизни может стать условием и необходимой предпосылкой широкомасштабного распространения дисциплинарной власти. Большинство детей проводят в школе лишь часть дня и посещают ее в определенное время года. Более того, анализ школьного дня демонстрирует, что наиболее жесткие проявления дисциплины характерны для определенных временных промежутков — «уроков». Основным способом систематического воспроизводства дисциплинарной власти является «помещение» людей в особые, физически локализованные контексты окружения. Однако Вебер, несомненно, прав, утверждая, что административная дисциплина наиболее эффективна в тех случаях, когда от нее отделены все прочие аспекты жизни индивидов. Ибо она предполагает надлежащее использование поведенческих критериев, не согласующихся с принципами жизнедеятельности в других сферах человеческого бытия. Все это обусловлено как факторами, упоминаемыми Вебером, так и «механическим» (уподобленным машине) характером дисциплины. В этом смысле Фуко сталкивается с определенными трудностями. Проблема заключается не только в том, что человеческие существа противятся восприятию себя в качестве бездушных автоматов; Фуко отчасти признает это, ведь тюрьма есть место борьбы

и противостояния. Скорее, речь идет о том, что «тела», на которые ссылается автор, не являются субъектами деятельности. Даже самые строгие дисциплинарные меры допускают, что индивиды, подчиняющиеся им, есть «способные и восприимчивые» деятели, а посему они «обучаются», тогда как механизмы просто конструируются. Однако за исключением крайних случаев полной утраты свобод, правоспособные субъекты деятельности подчиняются дисциплине только в определенные моменты времени — в обмен на вознаграждение в виде независимости от установленных ею порядков во всех прочих ситуациях.

В этом отношении куда полезнее обратиться к концепции «тотальных институтов», предложенной Гофманом. Гофман подчеркивает, что пребывание в местах лишения свободы и клиниках для умалишенных разительно отличается от перемещения между другими организационными контекстами, в которых индивиды проводят определенную часть дня. В силу своей полной закрытости «тотальные институты» устанавливают железный порядок и строго контролируют его соблюдение теми, кто помещен в них. «Приспособление» к подобным условиям обитания подразумевает и, как правило, является непосредственной причиной процесса деградации личности, в результате которого заключенные лишаются признаков самоидентичности, что сопровождается интенсивным снижением уровня автономии и независимости действий. Можно сказать, что «тотальные институты» отражают определенные аспекты надзора и дисциплины, встречающиеся в других контекстах современных обществ, и одновременно коренным образом отличаются от них. В большинстве случаев обитатели «тотальных институтов» переживают то, что Гофман именуется «гражданской смертью», под которой понимается потеря права голоса, утрата любых возможностей политического участия, права завещать деньги, выписывать чеки, расторгать брак или усыновлять детей. Кроме того, заключенные полностью лишены обособленных и самостоятельных сфер деятельности, организованных таким образом, что вознаграждения, отверженные в одной, могут быть получены в другой. Именно это хочет сказать Гофман, когда пишет:

Таким образом, между тотальными институтами и базовой для нашего общества системой вознаграждения за труд существует очевидная несовместимость. Точно так же тотальные институты несовместимы с другим ключевым элементом современного общества — семьей. Иногда семейная жизнь противопоставляется одиночеству, хотя, на наш взгляд, более уместным и показательным было бы сравнение с групповым образом жизни, ибо те, кто питается или спит на рабочем месте, с коллегами и товарищами по работе, едва ли смогут обеспечить себе полноценное домашнее существование [48].

Фуко убежден, что следственные процедуры, используемые в уголовном праве, психиатрии и медицине (особенно в карцерных организациях), являются примерами, иллюстрирующими сущность дисциплинарной власти как таковой. И снова «тотальные институты» отличаются от повседневных жизненных путей индивидов, существующих вне их. «Личностное пространство» («территория личности» — терминология Гофмана) нарушается здесь таким образом, который совершенно недопустим в отношении индивидов, находящихся во внешнем социальном окружении. Ниже перечислены четыре основные особенности «тотальных институтов»:

- (1) В своем стремлении узнать всю «поднаготную» заключенных тотальные институты нередко переходят границы дозволенного, пытаются получить информацию личного характера, оберегаемую большинством людей от посторонних глаз на законных, как полагается, основаниях. Иными словами, данные, характеризующие обитателей тотальных институтов и их прошлое поведение — зачастую дискредитирующие этих людей и охраняемые с помощью механизмов подавления или такта — собираются и хранятся в досье, доступных для служебного персонала.
- (2) Размываются границы между обособленностью и раскрытием («передним» и «задним» планами), существование которых обеспечивает чувство онтологической безопасности. Так, в ряде случаев заключенные вынуждены публично удовлетворять свои физиологические потребности, поддерживать личную гигиену, которая к

тому же подвергается жесткой регламентации со стороны посторонних людей.

- (3) Индивид вынужден поддерживать продолжительные по времени и принудительные по характеру отношения с другими людьми. Как и в случае с совершением туалета, вся жизнь заключенных организована так, что полностью исключает наличие задних планов, свободных от дисциплинарных ограничений извне. Вслед за Беттельхеймом, Гофман отмечает, что обитатели тотальных институтов похожи в своей зависимости на детей [49].
- (4) Временная последовательность событий определена на кратко- и долгосрочную перспективу, соблюдение ее подлежит строгому контролю. В отличие от рабочих заключенные лишены «свободного» или «собственного времени». Более того, во внешнем мире периодические проверки и испытания, продвижение по карьерной лестнице, как правило, соседствуют и компенсируются временными комплексами, устроенными в соответствии с иными принципами. Так, временное расположение семьи и воспитания детей отделено от расположений, относящихся к другим сферам бытия.

Диалектика контроля не утрачивает своей значимости и в карцерных организациях. Существуют контексты, в условиях которых независимость, свойственная субъектам деятельности — речь идет о возможности «поступать вопреки» — значительно уменьшается. Попытки заключенных контролировать собственное повседневное существование направлены главным образом на предотвращение деградации личности. Одна из форм подобного контроля — сопротивление, которое, вне всякого сомнения, является важным фактором, отчасти предопределяющим политику административного персонала в отношении мер, направленных на поддержание дисциплины. Возможны, однако, и другие типы реакций. К ним относится то, что Гофман называет «колонизацией» (создание приемлемой атмосферы в «междоузлиях» контролируемого времени и пространства) и «уходом от ситуации» (отказ вести себя в соответствии с нормами поведения правоспособного субъекта деятельности). Однако чаще всего и заключенные, и обитатели психиатрических клиник придерживаются тактики «хладнокров-

ного исполнения». Гофман описывает последнюю как «оппортунистическую комбинацию вторичного приспособления, смены взглядов, колонизации и преданности своей группе...» [50].

Социологические исследования доказали, что даже в самых строгих (с точки зрения дисциплины) карцерных организациях группы заключенных имеют определенную возможность «надзирать» и управлять повседневной деятельностью. Однако куда больший контроль доступен подчиненным в других ситуационных контекстах, например, на работе, и это объясняется различиями, существующими между ними и карцерными организациями. Так, руководство заинтересовано использовать деятельность подчиненных во имя достижения поставленных целей. Основной функцией тюрем или психиатрических клиник является «наказание (дисциплинирование) тел»; администрация этих заведений не озабочена проблемой стимулирования совместных усилий в области производственной деятельности. Иначе обстоят дела на рабочих местах и в школах. Менеджеры должны добиться от работников определенной производительности труда. Их работа заключается не только в пространственно-временной дифференциации и позиционировании тел, но и в координации усилий индивидов, деятельность которых должна быть организована таким образом, чтобы способствовать совместному достижению определенных результатов. Тела Фуко лишены лиц. В ситуации надзора, осуществляемого на рабочем месте, — по крайней мере, там, где он принимает форму непосредственного контроля, — особое место отводится «работе лица» и использованию стратегий контроля, которые дорабатываются субъектами деятельности прямо на месте. Пространственно-временное «объединение» групп индивидов в замкнутых локальностях, обеспечивающих возможность постоянного контроля в ситуациях соприсутствия, чрезвычайно важно для порождения дисциплинарной власти. Однако то, что индивиды работают сообща во имя получения определенного производственного результата, дает им основание для контроля за повседневной деятельностью на рабочем месте, способного ослабить эффективность управленческого надзора. Супервизоры и менеджеры прекрасно осведомлены об этом и зачастую используют свое знание в качестве

элемента дисциплинарной политики, которой они придерживаются [51]. Некоторые формы контроля, доступные работникам в условиях плотно интегрированного пространства (например, возможность нарушения или остановки всего производственного процесса), отсутствуют там, где рабочая сила дезагрегирована в пространстве и времени.

В заключение отметим, что проблема позиционирования и дисциплинирования тела является одной из основных тем, обсуждаемых в работах Фуко и Гофмана. Оба автора детально исследовали природу и сущность «сумасшествия». Общий интерес к карцерным организациям может стать причиной игнорирования различий между их взглядами на сумасшествие. Фактически же взгляды Гофмана подвергают сомнению представления Фуко о соотношении «безумия» и «здравомыслия». Фуко утверждает, будто то, что мы привыкли именовать «сумасшествием» — или «душевной болезнью» — появилось сравнительно недавно. Сумасшествие представляет собой подавляемую, сдерживаемую, темную сторону человеческого знания и страстей, которую Просвещение и современная мысль не могут охарактеризовать иначе как «безумие». В традиционных культурах — по меньшей мере, в средневековой Европе — безрассудное поведение (*folie*) предполагало скрытый здравый смысл, что-то подобное непосредственному обращению к Богу. Однако с середины XVII в. «безумие перестало быть одной из фигур эсхатологии — какой-то пограничной зоной между миром, человеком и смертью; рассеялась тьма, куда был устремлен взор, тьма, порождавшая формы невозможного»*. Не кажется ли вам, что эта точка зрения наделяет безумие чрезмерным величием, которое ему не свойственно, да и не было свойственно никогда? Провозглашая сумасшествие оборотной стороной здравомыслия, она стоит на позициях эпохи Просвещения, которые сама же стремится опровергнуть. Вполне возможно, что ключи к разгадке сущности безумия или — в современном варианте — «душевной болезни» следует искать не в нелепости заблуждений и представлений о других мирах, но в гораздо более приземленных признаках

* Фуко М. История безумия в классическую эпоху. СПб.: Университетская книга, 1997. С. 60.

телесного и жестикуляционного несоответствия. Истинная природа сумасшествия выражается в социальном бессилии, а не в таинственном доступе к неизведанному пространству абсурда.

Комментарии

1. См. Т. Hägerstrand, «Space, Time and human conditions», in A. Karlqvist, *Dynamic Allocation of Urban Space* (Farnborough: Saxon House, 1975); Derek Gregory, «Solid geometry: Notes on the recovery of spatial structure», in Carlstein *et al.*, *Timing and Spacing Time* (London: Arnold, 1978), and *Ideology, Science and Human Geography* (London: Hutchinson, 1978); T. Carlstein, *Time, Resources, Society and Ecology* (Lund: Department of Geography, 1980); Allan Pred, «The choreography of existence: comments on Hägerstrand's time-geography», *Economic Geography*, vol. 53, 1977; Don Parkes and Nigel Thrift, *Times, Spaces and Places* (Chichester: Wiley, 1980); Nigel Thrift, «On the determination of social action in space and time», *Society and Space*, vol. 1, 1982.
2. Т. Hägerstrand: «Space, Time and human conditions», для сравнения см. также Parkes and Thrift, *Times, Spaces and Places*, с. 247–248.
3. Allan Pred, «The impact of technological and institutional innovations of life content: some time-geographic observations», *Geographical Analysis*, vol. 10, 1978.
4. Т. Hägerstrand, *Innovation as a Spatial Process* (Chicago: Chicago University Press, 1967), с. 332. Для сравнения см. также Amos H. Hawley, *Human Ecology* (New York: Ronald Press, 1950), гл. 13–15; E. Gordon Ericksen, *The Territorial Experience* (Austin: University of Texas Press, 1980).
5. По Parkes and Thrift, *Times, Spaces and Places*, с. 245.
6. D.C. Janelle, «Spatial reorganization: a model and concept», *Annals of the Association of American Geographers*, vol. 58, 1969 и другие статьи этого автора.
7. P. Forer, in Carlstein *et al.*, *Timing Space and Spacing Time*.
8. R. Palm and A. Pred, «The status of American women: a time-geographic view», in D.A. Lanegran and R. Palm, *An Invitation to Geography* (New York: McGraw-Hill, 1978).
9. Т. Hägerstrand, «Survival and arena: on the life-history of individuals in relation to their geographical environment», in Carlstein *et al.*, *Timing Space and Spacing Time*, vol. 2, с. 123.

10. T. Carlstein, «Innovation, time-allocation and time-spacing packing», там же, стр. 159; Carlstein, *Time Resources, Society and Ecology*.
11. Для сравнения см. T. Carlstein, «*The sociology of structuration in time and space: a time-geographic assessment of Giddens' theory*», Swedish Geographical Yearbook (Lund: Lund University Press, 1981).
12. T. Hägerstrand, T., «What about people in regional science?», Papers of the *Regional Science Association*, vol. 24, 1970, с. 8.
13. *ССНМ*, гл. 5.
14. Там же, с. 161ff.; *CPST*, стр. 206–210.
15. M. Melbin, «The colonization of time», in time Carlstein *et al.*, *Timing Space and Spacing Time*, vol. 2, p. 100.
16. Eviatar Zerubavel, *Patterns of Time in Hospital Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1979), стр. 22; для сравнения см. также P.A. Clark, «A review of the theories of time and structure for organizational sociology», *University of Aston Management Centre Working Papers*, no. 248, 1982; E. Zerubavel, *Hidden Rhythms* (Chicago: University of Chicago Press, 1981). Кто-то может заметить, что в то время как «год», «месяц» и «день» связаны с естественными событиями, «неделя» такой связи не имеет; для сравнения см. F.H. Colson, *The Week* (Cambridge: Cambridge University Press, 1926).
17. P. Ariès, *Centuries of Childhood* (Harmondsworth: Penguin, 1973); Norbert Elias, *The Civilising Process* (Oxford: Blackwell, 1978).
18. Edward T. Hall, *The Hidden Dimension* (London: Bodley Head, 1966), с. 98.
19. Artaud, Antonin, *Le théâtre et la science* (Paris: Seuil, 1974), с. 98.
20. R.D. Laing, *Self and Others* (Harmondsworth: Penguin, 1971), с. 52.
21. *ССНМ*, с. 169.
22. Huw Benyon, *Working for Fond* (London: Allen Lane, 1973), с. 76.
23. Elias, vol. 1.
24. Erving Goffman, *The Presentation of Self in Everyday Life* (New York: Doubleday, 1959), с. 128.
25. Для сравнения см.: N. Elias and J. Scotson, *The Established and the Outsiders* (Leicester: University of Leicester Press, 1965).

26. Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), vol. 1, с. 341–344.
27. ССАС, гл. 9.
28. ССНМ, гл. 5 и др.
29. Pierre Bourdieu, *Outline of a Theory of Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 1977), с. 143–52.
30. Там же, с. 153.
31. Andrew Pollard, «Teacher interest and changing situations of survival threat in primary school classrooms», in Peter Woods, *Teacher Strategies* (London: Croom Helm, 1980).
32. Randall Collins, «Micro-translation as a theory-building strategy», in K. Knorr-Cetina and A.V. Cicourel, *Advances in Social Theory and Methodology* (London: Routledge, 1981). См. также он же: «On the micro-foundations of macro-sociology», *American Journal of Sociology*, vol. 86, 1981. С соответствующими рассуждениями Гофмана, представленными им в лекции, которую он, к сожалению, не оставил при жизни, — можно ознакомиться, обратившись к статье «The interaction order», *American Sociological Review*, vol. 48, 1973.
33. Там же, с. 82.
34. Там же, с. 99.
35. Joseph Rykwert, *The Idea of a Town* (London: Faber & Faber, 1976), с. 202.
36. ССНМ, гл. 5.
37. Foucault, Michel, *Discipline and Punish* (Harmondsworth: Penguin, 1979), с. 143–4.
38. Там же, с. 148.
39. Для сравнения см.: Maury D. Feld, *The Structure of Violence* (Beverly Hills: Sage, 1977), с. 7ff.
40. Там же, с. 7.
41. Jacques van Doorn, *The Soldier and Social Change* (Beverly Hills: Sage, 1975), с. 11.
42. Foucault, *Discipline and Punish*, с. 157.
43. Там же, с. 160.
44. Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), с. 86–94.
45. Там же, стр. 957.
46. Foucault, *Discipline and Punish*, стр. 235–236.
47. Erving Goffman, *Asylums* (Harmondsworth: Penguin, 1961), с. 22.

48. Там же, с. 33.
49. Там же, с. 64.
50. Для сравнения см.: Andrew L. Friedman, *Industry and Labour* (London: Macmillan, 1977).
51. Foucault, Michel, *Folie et d'raison* (Paris: Plon, 1961), с. 51. Озабоченность Фуко относительно исключения, изоляции и т. п. не сопровождается интересом к самим исключаемым, которые появляются у него как призрачные тени. Так, анализируя историю убийцы Pierre Riviere, автор фактически не прописывает его личность, едва проглядывающуюся из рассматриваемых свидетельских показаний, которая воспринимается им лишь в качестве «дискурсивного эпизода». Впечатляющим в этом плане является сравнение работы Фуко с описанием космологии фриульского мельника Доменико Сканделла по прозвищу Меноккио — еретика, жившего в шестнадцатом столетии, — предложенным итальянским историком Карло Гинзбургом (Ginzburg) в работе «Сыр и черви. Картина мира одного мельника, жившего в XVI веке». См. Foucault *et al.*, *Moi, Pierre Riviere...* (Paris, Plon: 1973); Carlo Ginzburg, *The Cheese and the Worms* (London: Routledge, 1980), с. XVII–XVIII и далее.

Структура, система, социальное воспроизводство

Дабы убедиться, что читатель не потерял общую нить повествования, остановимся и подведем итог всему вышесказанному. Теория структуризации претендует на «снятие» ряда классических дуализмов (противоположностей), которые пересматриваются здесь в виде дуальностей. Так, дуализм «индивид» — «общество» превращается в дуальность деятельности и структуры. До сих пор мы занимались развитием ряда понятий, дающих представление о том, что есть «индивид» как рефлексивный субъект деятельности, и связывали рефлексивность с позиционированием и соприсутствием. Вместе с тем анализ феномена регионализации показал, что наши интересы пересекаются с исследованием социальных систем, занимающих расширенные диапазоны пространства-времени. Поэтому следующим шагом нашего исследования должно стать детальное рассмотрение понятия общества, которое многие считают основной единицей социально-научного анализа. Сам термин требует тщательного изучения: мы намереваемся продемонстрировать, что в ряде случаев его вообще не стоит использовать.

Некоторые направления социальной теории напрямую связывают понятие общества с концепцией принуждения. Сторонники структурной социологии склонны рассматривать последние в качестве определяющих характеристик социальных явлений. Отрицая подобную точку зрения, мы попытаемся доказать, что структуральные свойства социальных систем как ограничивают, так и создают возможности для действия, и определим содержание понятия «струк-

туральное принуждение». Это, в свою очередь, предполагает соответствующее определение ряда понятий, связанных с представлениями о «структуре». Подобную концептуальную работу невозможно провести на уровне абстрактных понятий. Аналогично тому, как, обсуждая деятельность и личность, мы подкрепляли наш анализ рассуждениями о мотивации, мы обратимся к классификации и последующей интерпретации социетальных типов, дабы придать значимости нашим размышлениям о структуральных свойствах. Это снова вернет нас к вопросам «истории» и подведет к рассмотрению проблем анализа социальных изменений, предпринятому в следующей главе.

Разделы книги изложены в определенной последовательности, отчасти преодолимой за счет «обращения к тем или иным» родственным темам, но тем не менее имеющей собственное пространство представления. В свете дискуссии, развернутой нами в первой главе, мы полагаем, что то, что материалы, посвященные субъектам деятельности и контекстам соприсутствия, предваряют разделы, повествующие о крупных социальных системах, вовсе не означает, будто «отправным пунктом» нашей концепции является индивид, или что индивиды в каком-то смысле реальнее обществ. Мы придерживаемся иных точек зрения, и это становится очевидным из критических замечаний к настоящей главе.

Общества и социальные системы

Нетрудно убедиться, что в большинстве случаев термин «общество» употребляется в двух основных значениях (среди множества других, таких как «общество» в смысле «высшее общество»). Одно из них трактует общество как «социальное объединение» или взаимодействие; другое — как единицу, обладающую собственными границами, отделяющими ее от соседних или близлежащих обществ. Некая неопределенность и двусмысленность этого понятия не столь проблематична, как может показаться. Ибо социетальные общности отнюдь не всегда имеют четко обозначенные границы, хотя, как правило, и ассоциируются с определенными формами локальности. Тенденция, согласно которой общество как социальное целое представляет со-

бой легко поддающуюся интерпретации единицу исследования, находится под влиянием ряда пагубных социально-научных допущений. Одно из них — концептуальное соотнесение социальных и биологических систем, осмысление первых по аналогии с частями биологических организмов. В наши дни осталось не так много людей, кто, подобно Дюркгейму, Спенсеру и многим другим представителям социальной мысли XIX в., использует при описании социальных систем прямые аналогии с биологическими организмами. Однако скрытые параллели встречаются довольно часто даже в работах тех, кто говорит об обществах как об «открытых системах». Второе из упомянутых нами допущений — преувеличение в социальных науках «эндогенных» или «разворачиваемых моделей» [1]*. Согласно этим моделям, основные структурные характеристики общества, обеспечивающие стабильность и изменение одновременно, являются внутренними по отношению к нему. Совершенно очевидно, по какой причине эти модели соотносятся с первой точкой зрения: предполагается, что общества обладают качествами, аналогичными тем, которые делают возможным контроль за формированием и развитием организма. Наконец, не стоит забывать и об известной склонности наделять любые формы общественного устройства чертами, характерными для современных обществ как государств-наций. Последние отличаются четко обозначенными территориальными границами, не свойственными, однако, большинству других исторических типов обществ [2].

Противостоять этим допущениям можно, признав тот факт, что социетальные общности существуют только в контексте *интерсоциетальных систем*, рассредоточенных вдоль *пространственно-временных пределов*. Все общества представляют собой социальные системы и одновременно порождаются их пересечением. Разнородные социальные системы могут быть «внутренними» по отношению к обществам или располагаться на пересечении «внешних» и «внутренних» зон, благодаря чему образуется множество возможных способов соединения социетальных общностей и интерсоциетальных систем. Последние не являются однородными и, как правило, включают в себя формы отношений между обществами

* См. ссылки на с. 311–317.

различных типов. Иными словами, речь идет о системах доминирования, исследование которых возможно через обращение к отношениям автономии и зависимости, установившимся между ними. «Пространственно-временные пределы» относятся к взаимосвязям и различиям власти, обнаруживаемым между различными социетальными типами, образующими интерсоциетальные системы.

Таким образом, «общества» представляют собой социальные системы, «выделяющиеся» на фоне ряда других системных отношений, в которые они включены. Их особое положение обусловлено четко выраженными структуральными принципами, используемыми в процессе всеобъемлющей «кластеризации институтов» во времени и пространстве. Такого рода кластеризация или группировка является первой и наиболее существенной характеристикой общества, однако есть и другие [3]. К ним относятся:

- (1) связь между социальной системой и определенной (конкретной) локальностью или территорией. Локальности, занятые обществами, не обязательно представляют собой фиксированные в своем постоянстве, «стационарные» области. Кочевые общества странствуют по изменчивым пространственно-временным путям;
- (2) наличие нормативных элементов, определяющих законность пользования локальностью. Тональности и стили притязаний на соответствие законам и принципам существенно различаются и могут быть оспорены в той или иной степени;
- (3) ощущение членами общества особой идентичности, независимо от того, как оно выражается или проявляется. Подобные чувства обнаруживаются на уровне практического и дискурсивного сознания и не предполагают «единодушия во взглядах» («консенсуса ценностей»). Индивиды могут осознавать свою принадлежность к определенной общности, не будучи уверенными, что это правильно и справедливо.

Еще раз подчеркнем, что термин «социальная система» не следует употреблять лишь для обозначения четко ограниченных (и отделенных от других) совокупностей социальных отношений. Уровень «системности» весьма изменчив. «Социальная система» — излюбленное понятие функционалистов,

редко пренебрегающих органическими аналогиями, и сторонников «теории систем», имеющих в виду физические системы или разновидности биологических образований. В свете всего вышесказанного мы утверждаем, что одной из основных особенностей теории структуризации является ее стремление рассматривать процессы расширения и «замыкания» обществ во времени и пространстве как проблематичные.

Тенденция считать государства-нации «типичными» формами обществ, относительно которых могут быть оценены все остальные их разновидности, настолько сильна, что о ней стоит сказать особо. Три критерия, которые мы обсуждали выше, по-разному ведут себя в меняющихся социальных контекстах. Рассмотрим, к примеру, традиционный Китай сравнительно позднего периода — около 1700 г. Обсуждая эту эпоху, китаисты часто говорят о «китайском обществе». При этом речь идет о государственных институтах, мелкопоместном дворянстве, хозяйственно-экономических единицах, структуре семьи и других феноменах, объединяющихся в общей, достаточно специфической социальной системе, именуемой «Китай». Однако определяемый подобным образом «Китай» представляет собой лишь небольшой участок территории, который правительственный чиновник объявляет китайским государством. С точки зрения этого чиновника, на земле существует только одно общество, центром которого является «Китай» как столица культурной и политической жизни; вместе с тем оно расширяется, дабы «вобрать» в себя многочисленные варварские племена, живущие в непосредственной близости на внешних границах этого общества. Хотя последние действовали так, как будто являлись самостоятельными социальными группировками, официальная точка зрения рассматривала их как принадлежность Китая. В те времена китайцы считали, что в состав Китая входят Тибет, Бирма и Корея, так как последние определенным образом были связаны с центром. Западные историки и социальные аналитики подходили к его определению с более жестких и ограниченных позиций. Однако само признание факта существования в 1700-х гг. особого «китайского общества», обособленного от Тибета и прочих, предполагает присоединение нескольких миллионов этнически различных групп населения Южного Китая. Последние считали себя независимыми и имели собственные пра-

вительственные структуры. Вместе с тем, их права постоянно нарушались представителями китайского чиновничества, полагавшего что они тесно связаны с центральным государством.

По сравнению с масштабными по своей протяженности аграрными обществами современные западные государства представляют собой внутренне скоординированные административные единицы. Переместимся в глубь веков и рассмотрим в качестве примера Китай в том виде, в каком он пребывал в пятом веке. Зададимся вопросом, какие социальные связи могли существовать между китайским крестьянином из провинции Хонань и правящим классом Тоба (табгачи). С точки зрения представителей господствующего класса, крестьянин стоял на самой низкой ступени иерархической лестницы. Однако общественные связи его совершенно отличались от социального мира Тоба. В большинстве случаев общение не выходило за рамки нуклеарной или расширенной семьи: многие деревни состояли из родственных кланов. Поля располагались таким образом, что в течение рабочего дня члены кланов редко сталкивались с посторонними людьми. Обычно крестьянин посещал соседние деревни не чаще двух-трех раз в год, а ближайший город и того реже. На рыночной площади близлежащей деревни или города он сталкивался с представителями других классов, сословий и слоев общества — мастерами, ремесленниками, кустарями, торговцами, низшими государственными чиновниками, которым обязан был платить налоги. За всю свою жизнь крестьянин мог ни разу не встретиться с Тоба. Местные чиновники, посещающие деревню, могли осуществлять поставку зерна или ткани. Однако во всем остальном сельские жители стремились избежать контактов с высшей властью, даже тогда, когда они, казалось, были неотвратимы. Ибо эти контакты предвещали взаимодействия с судами, лишение свободы или принудительную службу в армии.

Границы, официально установленные правительством Тоба, могли не совпадать с размахом хозяйственной деятельности крестьянина, пребывающего в определенных областях провинции Хонань. В период правления династии Тоба многие сельские жители установили контакты с членами родственных кланов, проживающими по другую сто-

рону границы, в южных штатах. Тем не менее, крестьянин, лишенный подобных связей, склонен был считать индивидов, находящихся за пределами границы, представителями своего народа, нежели чужеземцами. Предположим теперь, что он встретился с кем-то из провинции Кансу, расположенной на северо-западе государства Тоба. Этот человек будет рассматриваться нашим крестьянином как абсолютный чужестранец даже в том случае, если они обрабатывали близлежащие поля. Ибо он будет говорить на другом языке (возможно, на монгольском или тибетском наречии), иначе одеваться и придерживаться незнакомых традиций и обычаев. Ни крестьянин, ни гость могут даже не осознать, что оба являются «гражданами» империи Тоба.

Иначе выглядело положение буддистских священников. Однако, за исключением незначительного меньшинства, непосредственно призванного совершать службы в официальных храмах мелкопоместного дворянства Тоба, и эти люди общались с правящим классом нечасто. Их жизнь протекала в локальности монастыря, при этом, однако, они имели развитую систему социальных взаимоотношений, простирающуюся от Центральной Азии до южных регионов Китая и Кореи. В монастырях бок о бок друг с другом жили люди различной этнической и языковой принадлежности, собравшиеся вместе благодаря общим духовным исканиям. На фоне других социальных групп священники и монахи выделялись своей образованностью и эрудицией. Безо всяких ограничений они путешествовали по стране и пересекали ее границы, не обращая внимания на тех, кому номинально «подчинялись». Несмотря на все это, они не воспринимались как нечто «внешнее» по отношению к китайскому обществу, как это было в случае с арабской общиной Кантона в эпоху властвования династии Танг. Правительство считало, что упомянутая община находится в его ведении, требовало уплаты налогов и даже учредило специальные службы, ответственные за поддержание взаимных связей. Однако все понимали, что община представляет собой особый тип общественного устройства, а посему не сравнима с другими сообществами, существующими на территории государства. Приведем заключительный пример:

В XIX в. в провинции Юнань установилась политическая власть бюрократии, которая контролировалась

Пекином и олицетворяла собой «китайское» правительство; на равнинах располагались деревни и города, населенные китайцами, взаимодействовавшими с представителями правительства и в известной мере разделявшими его взгляды. На склонах гор встречались другие племена, теоретически подчиненные Китаю, но, несмотря на это, жившие собственной (насколько это им позволялось) жизнью, имевшие особые ценности и институты и даже обладавшие оригинальной экономической системой. Взаимодействие с китайцами, проживающими в долинах, было минимальным и ограничивалось продажей дров и покупкой поваренной соли и текстиля. Наконец, высоко в горах жила третья группа племен, у которой имелись собственные институты, язык, ценности, религия. При желании мы можем игнорировать подобные обстоятельства, назвав этих людей «меньшинством». Однако чем более ранние периоды мы исследуем, тем чаще нам встречаются мнимые меньшинства, являющиеся в действительности самодостаточными обществами, иногда связанными друг с другом экономическими отношениями и периодическими взаимодействиями; отношения подобных обществ с властью напоминали, как правило, взаимосвязь побежденного и победителя в конце войны, при этом обе стороны старались минимизировать возможные контакты [4].

Рассуждая о единицах, превышающих по своим масштабам имперские государства, не следует впадать в этноцентризм. Так, сегодня мы склонны говорить о «Европе» как особой социополитической категории, однако, это является результатом прочтения истории наоборот. Историки, исследующие перспективы, выходящие за пределы отдельных наций или «континентов», отмечают, что если бы совокупность обществ, занимающих пространство Афро-Евразии, была поделена на две части, деление на Европу («Запад») и «Восток» утратило бы всякий смысл. Средиземноморский бассейн, например, представлял собой исторический союз, сложившийся задолго до образования Римской империи, и оставался таковым сотни лет спустя. Культурная разобщенность Индии увеличивалась по мере продвижения на восток и была значительнее, чем различия между государствами Среднего Востока и странами

Европы; еще более неоднородным был Китай. Как писал один историк: «Гималаи имели силу, большую, чем Хинду-Куш» [5]. Зачастую различия между основными «ареалами культуры» заметны не меньше, чем те, что существуют между соединениями, известными нам как «общества». Широкомасштабная регионализация не должна восприниматься только лишь как совокупность сложных отношений между «обществами». Подобная точка зрения имеет право на существование, если мы употребляем ее в контексте современного мира с его внутренне централизованными государствами-нациями, но совершенно не подходит для предшествующих эпох. Так, в определенных случаях вся афро-евразийская зона может рассматриваться как единое целое. Начиная с VI в. до н. э., «цивилизация» развивалась не только путем создания разбросанных в пространстве и отличных друг от друга центров; в некотором роде имел место процесс постоянной и непрерывной экспансии афро-евразийского региона как такового [6].

Структура и принуждение: Дюркгейм и другие

Со времен Дюркгейма большинство направлений структурной социологии исходило из представлений о том, что структуральные свойства общества ограничивают действие. В противоположность этому теория структуризации утверждает, что структура всегда как ограничивает, так и создает возможности для действия, и это происходит в силу объективных отношений между структурой и деятельностью (деятельностью и властью). Пусть так, скажет (а некоторые уже сказали [7]) критик, но не означает ли это, что мы приносим в жертву нечто, близкое структуральному «принуждению» в том смысле, в каком его понимал Дюркгейм? И не лукавим ли мы, говоря о структуре как феномене, ограничивающем и созидающем одновременно? Ибо теория структуризации определяет «структуру» как правила и ресурсы. Опираясь на это определение, легко понять роль структуры в происхождении деятельности; ограничивающая же ее функция не столь очевидна. Каким образом социальные явления остаются «внешними» по отношению к индивидуальной деятельности, и так ли это вообще? Может показаться,

что эта точка зрения должна быть поддержана, несмотря на явные изъяны и упущения в работах тех, кто призван ее защищать. Так, Карлштейн пишет:

...основным недостатком теории Гидденса является то, что *созидательные* аспекты структуры недостаточно уравновешиваются аспектами *ограничивающими*. Речь идет о чрезвычайно незначительном количестве принципов и источников ограничивающих обстоятельств; подчеркивая это, я имею в виду не только нравственные, этические, юридические и нормативные социальные ограничения, упоминаемые Дюркгеймом и Парсонсом, т. е. структуры легитимации. Я говорю о *фундаментальных ограничениях посредничества и ограниченности ресурсов*, укорененных в биотических, кумулятивных, материально-физических реалиях бытия. Нет сомнений, что структура должна устанавливать границы изменений и пределы случайного в социальных системах (социо-инвайронментальные системы). Конечно, остается пространство для вариаций и творчества индивидов. История снова и снова доказывает, что практическое применение идей и изобретений способно изменить общепринятую структуру во всех областях и сферах жизни. Вместе с тем, структура слепо доверяет прошлому и устанавливает жесткий контроль за тем, что производится и воспроизводится... [8].

Здесь мы должны возразить, что теория структуризации никоим образом не преуменьшает значимости ограничивающих аспектов структуры. Вместе с тем, «принуждение», в том виде, в котором оно присутствует в структурной социологии, имеет несколько значений (Дюркгейм — и это стоит отметить особо — колеблется между терминами «*contrainte*» (принуждение, стеснение, скованность) и «*coercition*» (принуждение)), а посему его нельзя считать единственно определяющим качеством «структуры».

В теории структуризации структура рассматривается как свойство социальных систем, «заключенное» в практиках, регулярно воспроизводимых в пространстве и времени. Социальные системы упорядочены по вертикали и горизонтали в рамках социетальных общностей, институты которых образуют «сочлененные ансамбли». Если этот факт игнорируется, представление о «структуре», заявленное в теории

структуризации, кажется более уникальным, чем оно есть на самом деле. Одно из обстоятельств, которое Дюркгейм связывает с ограничением (принуждением) — его же подразумевает в приведенной выше цитате Карлштейн — вытекает из того факта, что *протяженность* институтов предшествует и превосходит по своей длительности жизни отдельных индивидов — представителей конкретного общества. Это утверждение не только полностью соответствует положениям теории структуризации, но и очевидно следует из их формулировки — несмотря на то, что «социализация» индивида предполагает разворачивающийся во времени процесс, связующий «жизненные циклы» ребенка и родителей. В ранних работах Дюркгейм много писал о принудительных факторах социализации; позже он пришел к выводу, что процесс социализации сочетает в себе как принуждение, так и санкционирование. Это легко заметить на примере изучения первого (родного) языка. Родной язык не «выбирают», но овладение им требует определенного согласия и уступчивости. Поскольку язык организует мышление (и деятельность), в том смысле, что привносит в них ряд выработанных и обусловленных нормами свойств, процесс его освоения устанавливает определенные пределы познания и деятельности, одновременно расширяя познавательные и практические способности индивида.

Второй контекст, в котором Дюркгейм говорит о принуждении, также не представляет для теории структуризации логических трудностей. Однако здесь нам следует быть осторожными, дабы избежать проблем, порожденных самим анализом Дюркгейма. Последний обращает внимание на то, что социетальные общности не только предшествуют и «переживают» индивидов, воспроизводящих их в собственных действиях; они также расширяются в пространстве и времени, отдаляясь от конкретного, отдельно взятого субъекта деятельности. В этом смысле структуральные свойства социальных систем являются внешними по отношению к деятельности «индивида». В теории структуризации суть этого вопроса может быть изложена следующим образом. Человеческие общества или социальные системы не могут существовать вне деятельности индивидов. Однако субъекты деятельности не создают социальные системы: они воспроизводят или преобразуют их, перерабатывая то, что

последовательно и непрерывно воплощалось на *практике* [9]. Существенная роль здесь отводится масштабу пространственно-временной протяженности. Общая (хотя и не универсальная) тенденция такова: чем масштабнее пространственно-временная протяженность социальных систем (значительнее число социальных институтов, «укорененных» в пространстве и времени), тем больше их устойчивость к изменениям и разного рода манипуляциям со стороны субъектов индивидуальной деятельности. Подобная интерпретация принуждений также связывает их с потенциальными возможностями. Пространственно-временная протяженность блокирует одни возможности человеческого опыта, одновременно делая доступными другие.

Сам Дюркгейм формулирует проблему не слишком внятно, так как оперирует понятиями, которые многие авторы относят к разряду «производных свойств». Так, он пишет:

Твердость бронзы не заключена ни в меди, ни в олове, ни в свинце, послуживших ее образованию и являющихся мягкими и гибкими веществами; она в их смешении. Текучесть воды, ее пищевые и прочие свойства сосредоточены не в двух газах, из которых она состоит, но в сложной субстанции, образуемой их соединением. Применим этот принцип к социологии. Если указанный синтез *sui generis*, образующий всякое общество, порождает новые явления, отличные от тех, что имеют место в отдельных сознаниях (и в этом с нами согласны), то нужно также допустить, что эти специфические факты заключаются в том самом обществе, которое их создает, а не в его членах. В этом смысле, следовательно, они являются внешними по отношению к индивидуальным сознаниям, рассматриваемым как таковым, точно так же, как отличительные признаки жизни являются внешними по отношению к минеральным существам, составляющим живое существо [10]*.

Мы привели этот абзац полностью, поскольку он хорошо известен и зачастую цитируется как весьма убедительный. Действительно, социальные системы обладают структуральными свойствами, которые невозможно описать, ис-

* Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 13.

пользуя понятия, связанные с сознанием субъектов деятельности. Однако являясь признанными «правомочными деятелями», индивиды не существуют отдельно друг от друга, подобно меди, олову и свинцу. Они не объединяются *ex nihilo* (из ничего), дабы сформировать посредством своей интеграции нечто новое. Дюркгейм смешивает здесь гипотетическое представление об индивидах, находящихся в естественном состоянии («не обремененных» связями с другими людьми), и реально существующие процессы социального воспроизводства.

Кроме того, Дюркгейм обращается к понятию «принуждение», когда говорит о сфере, масштабах и пределах человеческой деятельности. В частности, он пишет:

Когда я действую как брат, супруг или гражданин, когда я выполняю заключенные мною обязательства, я исполняю обязанности, установленные вне меня и моих действий правом и обычаями. Даже когда они согласны с моими собственными чувствами и когда я признаю в душе их реальность, последняя остается все-таки объективной, так как я не сам создал их... [11]*

Суть состоит в том, что «социальные факты» обладают свойствами, которые противостоят каждому отдельно взятому индивиду как «объективные и беспристрастные» характеристики, ограничивающие его деятельность. Они не только существуют, но и определяются извне, являясь частью того, что другие делают или считают уместным и правильным делать.

Отчасти это действительно так, однако, очевидная двусмысленность понятия внешнего помешала Дюркгейму развить свои представления до конца. Связывая внешнее окружение и принуждение — что было особенно характерно для ранних работ автора, — он стремился укрепить естественно-историческую концепцию социальной науки. Иными словами, Дюркгейм хотел найти поддержку идее существования видимых аспектов социальной жизни, управляемых силами, сродными тем, что действуют в материальном мире. Конечно, «общество» нельзя назвать внешним по отноше-

* Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 29.

нию к индивидуальным деятелям в том же смысле, в каком таковой является окружающая их среда. Таким образом, параллель оказывается в лучшем случае неточной, и Дюркгейм признает это в своих поздних работах, подчеркивая одновременно тот факт, что «реальность» социального мира существенно отличается от «заданного характера» естественной природы.

Размышляя о природе и сущности социологической науки, Дюркгейм анализировал главным образом социальные принуждения. Вместе с тем, как справедливо отмечает Карлштейн — и мы уже подчеркивали это, рассматривая временную географию, интерпретатором которой он является, — основные ограничения деятельности связаны с причинными влияниями тела и материального мира. Мы говорили о том, что теория структуриации отводит последним весьма значимую роль. Ограничения физических возможностей и взаимодействия в пределах определенного пространства фактически «экранируют» (терминология автора) или ограничивают вероятные формы деятельности людей. Однако они же представляют собой и созидательное начало. Более того, стандартные формулировки временной географии страдают серьезными недостатками.

Вышеупомянутые аспекты ограничения/созидания не тождественны и не могут быть сведены к функциям власти в социальной жизни. Изъяном социологии Дюркгейма, несомненно, является отсутствие четко определенной концепции власти, дифференцированной в отношении общих ограничивающих свойств «социальных фактов». Рассмотрим еще один знаменитый отрывок из работы Дюркгейма. Ограничение, пишет он, является:

...характерным свойством этих [социальных] фактов, доказательством чего может служить то обстоятельство, что оно проявляется тотчас же, как только я пытаюсь сопротивляться. Если я пытаюсь нарушить нормы права, они реагируют против меня, препятствуя моему действию, если еще есть время; или уничтожая и восстанавливая его в нормальной форме, если оно совершено и может быть исправлено; или же, наконец, заставляя меня искупить его, если иначе его исправить нельзя... В других случаях принуждение менее сильно, но все-таки существует. Если я не подчи-

няюсь условиям света, если я одеваюсь, не принимая в расчет обычаев моей страны и моего класса, то смех, мною вызываемый, и то отдаление, в котором меня держат, производят, хотя и в более слабой степени, то же действие, что и наказание в собственном смысле этого слова [12]*.

В данном случае ограничение относится к структуризации социальных систем как форм асимметричной власти, связанных с рядом нормативных санкций, применяемых в отношении тех, чье поведение порицается или не одобряется другими. Из утверждения Дюркгейма видно, что ограничения и принуждения, порождаемые различными типами ресурсов, могут варьироваться от явного и неприкрытого физического принуждения до гораздо более утонченных способов достижения согласия. Но смешивать это значение ограничения с остальными совершенно бессмысленно. Более того — и мы уже подчеркивали это, — власть не есть просто ограничение или принуждение, она представляет собой источник способностей индивидов добиваться запланированных результатов.

Таким образом, каждое из ограничений представляет собой ту или иную форму возможностей. Они способствуют реализации определенных возможностей деятельности, одновременно ограничивая или отвергая другие. Подчеркнем этот момент особо, ибо он демонстрирует, что те, кто (подобно Дюркгейму и многим другим) стремится обнаружить отличительные особенности «социологии», обращаясь к структуральным ограничениям, обречены на неудачу. Явно или нет, но эти авторы склонны усматривать в структуральном принуждении источник причинно-следственных отношений, в какой-то мере равносильных действию обезличенных каузальных сил в природе. Сфера «свободной деятельности» индивидов ограничивается внешними факторами, устанавливающими жесткие пределы допустимого. Парадоксально, но факт — чем больше структуральные принуждения связаны с естественно-научной моделью, тем свободнее субъект деятельности в рамках определенной ограничением сферы индивидуальных действий. Иными сло-

* Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, назначение / Пер. с фр. А.Б. Гофмана. М.: Канон, 1995. С. 30.

вами, структуральные свойства социальных систем похожи на стены комнаты, которую индивид не может покинуть, перемещаясь внутри по собственному усмотрению. Теория структуризации заменяет эту точку зрения другой, согласно которой структура подразумевается самой «свободой деятельности», рассматриваемой различными направлениями «структурной социологии» в качестве остаточной и неразвитой категории.

Три значения понятия «принуждение»

Для начала обратимся к понятию принуждения в том смысле, который подразумевается, когда мы говорим о материальных ограничениях и ограничениях, связанных с санкциями, а затем перейдем к структуральным ограничениям. Что есть ограничение с позиций «вынуждающих» аспектов, порождаемых особенностями тела и его положением в материальном мире? Очевидно, речь здесь идет о пределах осуществимого, устанавливаемых для субъектов деятельности физическими возможностями человеческого тела и спецификой условий окружающей среды. Неделимое единство тела, конечность жизненного пути и трудности, обусловленные «пределами вместимости» в пространстве-времени, отмеченные Хагерстрандом, являются примерами подобных ограничений. Сенсорные и контактные возможности человека также относятся к их числу. Мы настолько привыкли считать эти качества созидательными, что необходимо предпринять какие-то шаги, дабы продемонстрировать их одновременную ограничивающую роль. Конечно, подобные ограничения нельзя назвать «заданными» раз и навсегда; изобретение электронных средств связи, к примеру, изменило ранее существовавшее отношение между непосредственным присутствием и сенсорными возможностями тела. Единственное среди вышеупомянутых категорий ограничение в этом смысле не порождается влиянием, которое деятельность или социальные связи одних акторов оказывают на деятельность и связи других. Физические возможности и ограничения взаимодействия жестко определяют вероятные жизненные сценарии индивидов.

Временная география, начинающая социальный анализ с установления физических ограничений, представляется

нам интересным и достаточно перспективным подходом, требующим, однако, некоторых оговорок. Одна из них заключается в том, что физические свойства и особенности тела, равно как и физической *среды*, в которой оно действует, ограничивают и дают возможности одновременно, а посему эти аспекты следует изучать вне отрыва друг от друга. Другая состоит в том, что определение физических ограничений не дает достаточных оснований для поддержки материалистического взгляда на социальную жизнь. Все человеческие существа сталкиваются с необходимостью справляться с ограничениями тела и присущими ему средствами передвижения и коммуникации. Однако из этого вовсе не следует, что способы овладения этими ограничениями влияют на социальную деятельность индивида больше, нежели другие типы ограничений.

Обращаясь к власти как источнику принуждения, еще раз подчеркнем, что она (власть) является средством достижения намеченного, ограничивая и созидая одновременно. Ограничивающие аспекты власти проявляются в виде разнообразных *санкций*, изменяющихся в диапазоне от прямого применения силы или насилия, или угрозы подобного применения, до мягкого и снисходительного выражения неодобрения. Санкции редко принимают форму открытого принуждения, когда те, кто подвергается им, полностью лишены возможности сопротивляться; даже если это и случается, то, как правило, длится недолго — примером может служить ситуация, при которой один человек приводится в беззащитное состояние физическими усилиями другого или других людей. Все остальные санкции, независимо от степени их строгости или масштабов распространения, предполагают определенное согласие со стороны подчиненных им людей — что является основанием более или менее универсальной области диалектики контроля. Это хорошо известно. Даже угроза смерти не несет никакой смысловой нагрузки, если индивид, которому угрожают подобным образом, не дорожит своей жизнью. Когда мы говорим, что у индивида «не было иного выхода, кроме как вести себя так, а не иначе», это означает в данной ситуации, что, «учитывая его (ее) желание остаться в живых, единственной альтернативой было поступить так, как поступил он (она)». Если исходящая от санкции угроза не предполагает смертельного

исхода, согласие достигается не столько за счет страха быть наказанным, сколько (и главным образом) посредством механизмов сознательности. Именно это имел в виду Дюркгейм, говоря о «моральных санкциях». В случае с санкциями мы сталкиваемся с очевидной асимметрией в отношении ограничение/созидание. Ограничение одного оборачивается возможностями для другого. Вместе с тем, критики теорий нулевой суммы власти продемонстрировали, что подобная асимметрия не раскрывает возможности понятия власти полностью.

Не следует забывать, что термины «согласие» или «уступчивость» достаточно неопределенны. При этом необходимо учитывать и тот факт, что в конкретной системе властных отношений «согласие» далеко не всегда мотивируется напрямую. Можно предположить, что согласиться с существующим положением дел — значит осознанно принять его и даже «добровольно» одобрить общую систему властных отношений, в которую оно включено. Воспринятое в этом ключе согласие охватывает лишь незначительное количество относительно пограничных случаев, в которых поведение одного или нескольких акторов согласуется с тем, что ожидают от них окружающие, или соответствует их собственным интересам. Как правило, санкции достаточно «очевидны» только там, где имеют место (или, по крайней мере, предполагаются) определенные проступки и нарушения. Зачастую властные отношения глубоко и основательно укоренены в манерах поведения, непреложных для тех, кто им следует главным образом в рутинных ситуациях, где действия индивидов мотивированы лишь отчасти.

<i>Материальные ограничения</i>	<i>(Негативные) санкции</i>	<i>Структуральные принуждения</i>
Ограничения, опосредованные спецификой материального мира и физическими качествами тела	Ограничения, обусловленные применением игровых санкций одними субъектами в отношении других	Принуждения, вытекающие из контекста деятельности, т.е. из «заданного» характера структуральных свойств в отношении находящихся в определенных условиях акторов

Что можно сказать в этом случае о структуральном принуждении? Исключив ограничения, вытекающие из факта существования санкций, мы обнаруживаем, что все другие моменты, затронутые Дюркгеймом, могут быть сведены к одно-

му. Сказать, что общество априорно по отношению к жизни каждого из его членов в любой установленный момент времени, значит только определить источник ограничений, ибо сам факт предшествования так или иначе ограничивает возможности индивидов. То же самое происходит, когда мы говорим, что индивиды размещаются в контекстах социальных отношений той или иной протяженности, если обнаруживается, как это ограничивает их возможности. В каждом случае ограничение возникает вследствие «объективного» наличия структурных особенностей, которые индивид не в силах изменить. Как и в ситуации с ограничивающими свойствами санкций, речь идет об *ограничениях альтернатив, доступных субъекту или субъектам деятельности в данных условиях или обстоятельствах.*

Рассмотрим предложенный Дюркгеймом пример, касающийся исполнения договорных или контрактных обязательств, а точнее, обязательств, возникающих при заключении трудового договора. Нет сомнений, что договор содержит строго определенные правовые санкции, попробуем, однако, «обойти» их на концептуальном уровне. Договорные отношения, весьма распространенные в современной промышленности, ставят перед индивидом ряд условий, ограничивающих доступные ему варианты действий. Маркс говорит, что работники «вынуждены продавать себя» — или, что более точно, свою рабочую силу — работодателям. Слово «вынуждены», употребленное здесь, указывает на ограничение, обусловленное институциональным укладом современного капиталистического предприятия, с которым сталкивается работник. Перед работником, лишенным собственности, открыта одна дорога — продать свою рабочую силу капиталисту. Иначе говоря, если работником движет желание выжить, у него есть только одна реальная «альтернатива», под которой могут пониматься как единичная, так и множественные возможности. Это означает, что у работника может быть выбор из нескольких вакансий, существующих в данный момент на рынке труда. Маркс утверждает, однако, что в действительности все эти альтернативы представляют собой возможности одного типа. С точки зрения вознаграждения, предлагаемого работнику, а также других деталей, характеризующих отношения между ним и работодателем, весь наемный труд фактически одинаков, что

становится все более очевидным в процессе дальнейшего развития капитализма.

Все структуральные свойства социальных систем «объективны» по отношению к индивидуальным субъектам деятельности. Насколько они ограничивают возможности этих индивидов зависит от контекста, природы и особенностей любой установленной последовательности действий или взаимодействий. Другими словами, число вероятных альтернатив, доступных субъекту деятельности, может быть больше, чем в случае с трудовым контрактом. Еще раз подчеркнем тот факт, что все структуральные свойства социальных систем как ограничивают, так и создают возможности для деятельности. Условия заключаемого на капиталистическом предприятии трудового контракта гораздо более благоприятны для работодателей, нежели для работников наемного труда. Поскольку работники не имеют собственности, они зависят от ресурсов, которыми их обеспечивают работодатели. Обе стороны добывают средства к существованию посредством отношений, установившихся между капиталом и наемным трудом, какими бы асимметричными они ни были.

Наше исследование никоим образом не лишает законной силы утверждения специалистов-обществоведов или историков, рассуждающих о «социальных силах» безотносительно соображений, мотивов и намерений субъектов деятельности. Институциональный анализ позволяет установить упорядоченные связи «объективного» (или «обезличенного») характера. Рассмотрим в качестве примера отношение между технологическими изменениями и моделями управления в коммерческих компаниях. Предположим, что растущий интерес к технологии, ориентированной на применение микрочипов, связан с частичным исчезновением наиболее жестких форм иерархической власти. Действующие здесь «социальные силы» не тождественны тем, что имеют место в природе. Причинно-следственные обобщения в социальных науках предполагают символическое «смещение» преднамеренных и непреднамеренных последствий человеческих действий на основе рационализации поведения, «осуществляемой» на уровне дискурсивного или практического сознания. Технологические изменения не являются чем-то независимым от целей, во имя реализации которых субъекты деятельности применяют те или иные технологии типичных способов новаторства и т. п. Странно, что

многие социологи — приверженцы структурной социологии, вполне способные признать то, что технология не меняется сама по себе (да и как это возможно?), по-видимому, не понимают, что то же можно сказать и о социальных силах, связывающих технологические изменения с таким явлением как управленческие иерархии. Так или иначе, вследствие ли сознательного планирования или в известной степени непреднамеренно, акторы корректируют свое поведение и поведение окружающих таким образом, чтобы изменить формы властных отношений — предполагая, что связь действительно носит причинно-следственный характер.

Почему некоторые социальные силы считаются «непреодолимыми»? Потому что, сталкиваясь с ними, акторы имеют ограниченный диапазон возможностей и вынуждены поступать рационально, т. е. эффективно сочетать мотивы с конечным результатом деятельности. Иначе говоря, акторы имеют «достаточные основания», оправдывающие то, что они делают, основания, которые сторонник структурной социологии вероятнее всего отнесет к разряду скрытых, нежели явных характеристик этих акторов. Поскольку такого рода основания предполагают выбор из весьма ограниченного числа возможных альтернатив, может показаться, что поведение индивидов находится под влиянием некой неумолимой силы, подобной силе физической. Существует множество социальных сил, которым субъекты деятельности «не способны сопротивляться» и которые они не могут преодолеть. Словосочетание «не могут» означает в данном случае единственную возможную для них альтернативу — согласиться с тенденциями развития событий, учитывая мотивы или цели, лежащие в основании их действий.

Предшествующие рассуждения позволяют сделать вывод о том, что в социальных науках отсутствует некий характерный, особый тип «структурного объяснения»; все разъяснения предполагают, по меньшей мере, неявную ссылку на целеустремленное, логически продуманное и обоснованное поведение субъектов деятельности и пересечение с ограничивающими и созидающими свойствами социальных и материальных контекстов этого поведения. Ко всему вышесказанному следует добавить два замечания: первое касается исторически изменчивого характера ограничений, второе — феномена рейфикации или конкретизации.

Принуждение и рейфикация*

Характер ограничений, как и созидающие качества, порожденные контекстуальностями человеческой деятельности, непостоянны и изменчивы. Изменениям подвержены как материальные и институциональные условия деятельности, так и осведомленность индивидов относительно этих условий. Осознание этого факта является одним из главных достижений марксистской мысли, в тех случаях, когда она не впадает в объективизм. Если это все-таки происходит, марксизм превращается в своего рода вариант структурной социологии, невосприимчивый к многочисленным значениям понятия «ограничение» в контексте социального анализа. Что является причиной подобной нечувствительности? Ответ, думается нам, очевиден. Обычно она ассоциируется с теми образцами социальной мысли, в которых полагается, что основной задачей общественных наук является открытие законов социальной деятельности, сходных по своему статусу и положению с естественно-научными законами. Поиск источников и первопричин «структуральных принуждений» в известной степени сходен с определением законодательных рамок, устанавливающих границы свободного действия. Многие убеждены, что именно в этом и состоит основная задача «социологии» как особой дисциплины в совокупности других общественных наук. С нашей точки зрения, она порождает своеобразную форму овеществленного дискурса, далекого от реальных качеств субъектов деятельности.

В литературе по вопросам социальной теории существует множество разнообразных определений понятия «рейфикация». Среди них выделяют, как правило, три наиболее характерных или «типичных» значения. Первое относится к разряду анимистических, где социальные отношения связываются с персонифицированными свойствами и особенностями. Примером может служить знаменитое исследова-

* Reification (от *reify* — материализовать, превращать в нечто конкретное) — «интерпретация общего абстрактного понятия... как чего-то «реального», в особенности если оно рассматривается как произведенное на свет нелегитимно или обманным путем» (*Collins Dictionary of Sociology*. Glasgow: HarperCollins Publishers, 1995. P.551). — *Пер.*

ние Маркса, посвященное «товарному фетишизму», в котором он сравнивает товарные отношения и «туманные области религиозного мира». В религии «продукты человеческого мозга представляются самостоятельными существами, одаренными собственной жизнью, стоящими в определенных отношениях с людьми и друг с другом», в «товарном мире» аналогичное происходит с «продуктами человеческих рук»* [13]. Другое общераспространенное значение понятия «рейфикация» относится к обстоятельствам, при которых социальные явления наделяются в действительности нехарактерными для них свойствами вещей или предметов. И вновь корни такого рода домыслов обнаруживаются в работах Маркса: «В меновой стоимости общественное отношение лиц превращено в общественное отношение вещей...»** [14]. Кроме того, в ряде случаев понятие рейфикации используется для обозначения специфических качеств социальных теорий, рассматривающих концепции так, будто они сами и являются описываемыми объектами, т. е. наделяющих эти концепции теми или иными материальными свойствами.

Остановившись на втором значении, отметим, однако, что оно не приемлемо в своем изначальном виде, ибо подразумевает, что качество «овеществленного» существования не требует дальнейших разъяснений, и не поясняет, что рейфикация есть понятие дискурсивное. Не следует считать, что это понятие относится исключительно к ряду «объективно заданных» свойств социальных систем, коль скоро речь идет о конкретных, находящихся в определенных условиях субъектах деятельности. Скорее, оно принадлежит к тем формам дискурса, согласно которым эти свойства «объективны» подобно явлениям природы. Иными словами, материалистический дискурс обращается к «фактичности» социальных явлений, которые противостоят индивидуальным субъектам деятельности таким образом, что их возникновение и воспроизводство посредством человеческой деятельности игнорируются [15]. Сле-

* Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 82.

** Маркс К. Критика политической экономии (черновой набросок 1857–1858) // Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Т. 4 6, ч. I. М.: Изд-во Политической литературы, 1968. С. 100.

довательно, в этом смысле овеществление не стоит понимать как «тождественность вещам»; пожалуй, речь идет о последствиях такого рода рассуждений, независимо от того, принадлежат ли они тем, кто называет себя специалистами в области общественных наук, или рядовым членам общества. «Материалистическая парадигма» есть разновидность или тип дискурса, где свойствам социальных систем приписываются устойчивость и постоянство, характерные для законов природы.

Понятие структуральных принципов

Из всего вышесказанного можно сделать следующие выводы. Структурное ограничение невозможно определить исходя из неумолимых причинно-следственных форм, которые имеют в виду структурные социологи, подчеркивая связь, существующую между «структурой» и «ограничением». Структурные ограничения не действуют независимо от мотивов и соображений субъектов деятельности, лежащих в основе того, что они делают. Их нельзя уподобить последствиям землетрясения, стирающего с лица земли города и лишаящего жизни их население, никоим образом не способное изменить ход событий. Единственным подвижным объектом системы социальных отношений являются индивидуальные субъекты деятельности, намеренно или нет использующие ресурсы, дабы дела шли своим чередом. Структуральные свойства социальных систем не действуют — или «воздействуют» — подобно силам природы, вынуждая индивидов вести себя определенным образом.

Вместе с тем, существует множество понятий и представлений, упоминание которых в контексте обсуждения «структуры» в социальном анализе кажется нам вполне уместным. Рассмотрим их в следующем порядке. Во-первых, что представляет собой «структуральный принцип»? Во-вторых, какие уровни абстракции могут быть выделены при изучении структуральных свойств социальных систем? В-третьих, как различные социальные системы соединяются в рамках социетальных общностей?

Приступая к рассмотрению структуральных принципов, мы переходим от обсуждения проблем номинальных к ве-

щам, гораздо более реальным. Для начала вспомним основные положения теории структуризации, изложенные в первой главе. В контексте нашей теории «проблема порядка» предполагает ответ на вопрос, каким образом социальные системы «связывают» пространство и время, объединяя и интегрируя присутствие и отсутствие. Это в свою очередь тесно взаимосвязано с проблематикой пространственно-временного дистанцирования: «расширения» или «распространения» социальных систем в пространстве и времени. Таким образом, структуральные принципы можно определить как принципы организации, благодаря которым на основе механизмов социетальной интеграции возникают последовательные и согласующиеся друг с другом формы пространственно-временного дистанцирования. Опираясь на результаты ряда сравнительных исторических исследований [16], мы предлагаем следующую трехмерную классификацию типов обществ:

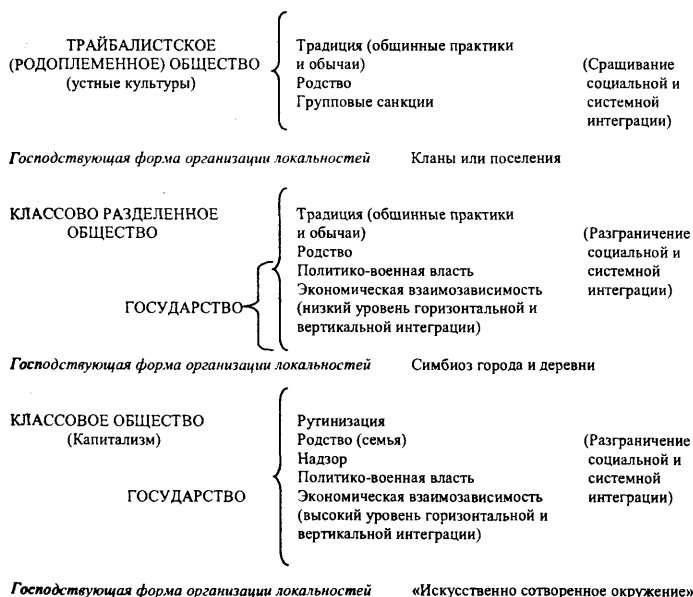


Рис. 15

Эта схема детально проанализирована нами в работе «Современная критика исторического материализма», а посему мы рассмотрим ее здесь в самых общих чертах [17].

В трайбалистских обществах или в условиях устных культур доминирующий структуральный принцип реализуется по оси, связывающей традиции и родство, погруженные в пространство и время. В обществах этого типа средства социальной и системной интеграции тождественны друг другу в своей непреодолимой зависимости от взаимодействия в ситуациях, предполагающих соприсутствие «лицом к лицу». Нет сомнений, что в рамках этой — достаточно общей — категории можно выделить множество разнообразных подвидов обществ. Оговоримся, что наша классификация не претендует на роль некоей эволюционной схемы. Устные культуры нельзя рассматривать как общества, где системная интеграция «пока что не» отделена от интеграции социальной. Леви-Стросс полагает и наглядно демонстрирует, что трайбалистские общества — в которых человечество провело определенную часть своей жизни — значительно отличаются от «цивилизаций» других типов. Изобретение письма, связанное с образованием государств и формированием классов, изменяет характер времени как пережитого опыта и делает возможным расширение пространственно-временных дистанций.

Доминирующий структуральный принцип классово разделенного общества — внутри которого также выделяются различные подтипы — следует искать в отношениях, связывающих городские зоны с сельским пригородом. Город есть нечто большее, чем просто *среда обитания*. Он представляет собой «контейнер для хранения» административных ресурсов, вокруг которого формируются и развиваются аграрные поселения. Установление различий между городом и сельской местностью является средством «разведения» социальной и системной интеграции, несмотря на то, что они не всегда совпадают, ибо отношения симбиоза городских и пригородных зон принимают самые разнообразные формы [18]. В классово разделенных обществах традиционные порядки и родственные связи, включая отождествление себя со своим родом, по-прежнему играют весьма важную роль. Государство не способно постичь и охватить все локализованные социальные практики, а посему жесткая военная власть выступает в качестве одного из основных принципов, опираясь на которые, государственные чиновники «держат в узде» удаленные области, отличающиеся слабо развитой системой прямого административного

регулирования. Вместе с тем для обществ этого типа характерно разграничение четырех институциональных сфер, упомянутых нами выше. Институты государственного устройства и занятые в них чиновники отделяются от процессов экономической деятельности; разрабатываются официальные своды законов и вводятся штрафы за их нарушение; кроме того, благодаря письменным текстам возникают способы символической координации.

Современный капитализм — не просто тип «цивилизации», равный среди прочих себе подобных, точно так же не является он и этапом эволюционного пути, возникшим «из недр» классово разделенных обществ. Будучи исторически первым и воистину всемирным типом социетальной организации, капитализм есть результат непоследовательности (или «прерывности») в развитии Запада. В отличие от других крупных «цивилизаций» формирование и развитие западного общества сопровождалось всевозможными неувязками и расхождениями, отмечавшимися на протяжении двух тысячелетий; Европа оставалась «государственной системой», и ни одно государство не сумело занять в ней господствующую позицию, освободившуюся после распада Римской империи. Однако начиная с восемнадцатого века, политические и промышленные революции привели к тому, что в рамках общей тенденции развития стали наблюдаться определенные «неоднородности», вносимые другими типами обществ. Отличительной структурной характеристикой современных капиталистических классовых обществ является не только разделение, но и взаимосвязь государственных и экономических институтов. Огромная экономическая власть, порождаемая использованием аллокативных ресурсов во благо технического прогресса и развития, сочетается с глобальным расширением административной «сферы» государства. Надзор — сбор информации, касающейся управления подчиненными людьми, а также непосредственный контроль за их деятельностью, осуществляемый властями, чиновниками и управляющими всех «мастей», — становится ключевым механизмом, способствующим разграничению социальной и системной интеграции. Не исчезая полностью, традиционные порядки «истощаются» под воздействием кодифицированных административных практик, пронизывающих повседневную жизнь. Локальности, обеспечиваю-

щие условия для взаимодействия лицом к лицу, претерпевают значительные изменения. Прежние отношения, связывающие город и сельскую местность, модифицируются вследствие процессов развития искусственного или «сотворенного окружения».

Классификация межсоциетальных систем может быть осуществлена — по крайней мере, в общем виде — на основе предложенных выше типов обществ. В этом случае она будет выглядеть следующим образом:

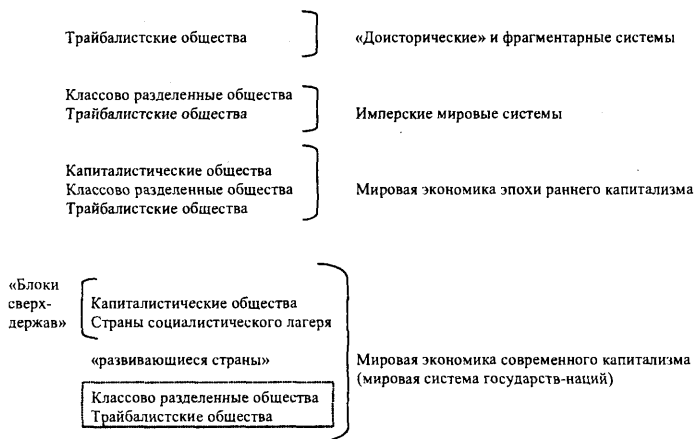


Рис. 16

Необходимо отметить, что данная классификация не симметрична в плане исторической хронологии. Наименьшая (в визуальном смысле этого слова) из категорий — системы трайбалистских обществ, — безусловно, является самой крупной с точки зрения протяженности во времени. Как правило, межсоциетальные системы, включающие трайбалистские общества, относятся к разряду фрагментарных, т. е. ограниченных в пространстве и времени структур. Они доминировали на протяжении большей части истории человечества, однако, не образовывали «мировые системы» в том смысле, который имеет в виду Валлерштайн [19]. Иными словами, «цивилизации» создают центры власти, влияние которых распространяется на большие территориальные пространства, и способствуют быстрым социальным изменениям. С другой стороны, имперские мировые системы воз-

никали и развивались в сложном взаимодействии с многообразными формами трайбалистских обществ, зачастую становясь жертвами нападений или преследований со стороны последних. Эпоха раннего капитализма представляла собой временное, с исторической точки зрения, явление, просуществовавшее не более двухсот (или около того) лет. Несмотря на это, именно здесь мы чаще всего сталкиваемся с наибольшим разнообразием типов обществ, сосуществовавших друг с другом в определенных отношениях. Впоследствии возрастающее влияние западных капиталистических государств, единственным оппонентом которых являлась промышленная и военная мощь стран социалистического лагеря [20], неумолимо разрушало или ослабляло трайбалистские и классово разделенные общества, исчезнувшие, возможно, навсегда. В наши дни, впервые за всю историю существования человечества, отсутствие в пространстве не препятствует гармоничному функционированию системы. Стоит ли упоминать, что развитие мировой системы государств-наций не сопровождается ростом единодушия и сплоченности? Ибо те же события и достижения, благодаря которым появился современный тип общества, возникло и интегрировалось в новую мировую систему государство-нация, вызвали к жизни силы, ставящие — в наш ядерный век — под сомнение саму возможность выживания человечества как такового [21].

Структуры, структуральные свойства

Ранее мы говорили о том, что понятие структуры может употребляться в узком и широком значении. Как совокупность правил и ресурсов, структура участвует в воспроизводстве социальных систем и является основным понятием теории структуризации. В более общем виде структура есть нечто, относящееся к институционализированным характеристикам (структуральным свойствам) обществ. И в том, и в другом случае «структура» представляет собой родовую категорию, встречающуюся в каждом из ниже перечисленных структурных понятий:

- (1) *структуральные принципы*: принципы организации социетальных общностей;
- (2) *структуры*: совокупности правил и ресурсов, используемые в процессе институциональной артикуляции со-

циальных систем;

- (3) *структуральные свойства*: институционализированные характеристики социальных систем, растянутые в пространстве и времени.

Определение структуральных принципов и их положения в межсоциетальных системах представляется нам наиболее сложным уровнем институционального анализа. Другими словами, анализ структуральных принципов относится к способам дифференциации и артикуляции общественных институтов в «глубочайших» диапазонах пространства-времени. Исследование структурных множеств или *структур* предполагает обособление отдельных «кластеров» отношений превращения/ посредничества, вытекающих из наименования структуральных принципов. Структурные множества образуются благодаря взаимной обратимости правил и ресурсов, используемых в процессе социального воспроизводства. Аналитически структуры могут выделяться в рамках каждого из трех измерений структуриации — сигнификации, легитимации и господства — или между ними. В одной из своих работ мы приводим пример [22], на котором хотелось бы остановиться особо. Речь идет о частной собственности, к которой, анализируя современный капитализм, обращается Маркс.

Рассмотрим элементы следующего структурного множества:

частная собственность : деньги : капитал : трудовой договор : прибыль

Обозначенные выше структурные соотношения указывают на одно из наиболее значимых превращений, способствующих возникновению и развитию капитализма, и содействуют общей структуриации системы. В эпоху феодализма (здесь — один из типов классово разделенного общества) частная собственность на средства производства основывалась главным образом на факте владения землей; при этом отчуждение права собственности окружалось многочисленными условиями и оговорками. Отношения превращения ограничивались маргинальными секторами экономики. В условиях капитализма частная собственность на средства производства приобрела иную *форму* (земля превратилась в

один из многих типов ресурсов, используемых в производственном процессе), а разнообразные товары получили возможность свободного обращения и отчуждения. Маркс доказывает, что существенную роль здесь играет универсализация формы товара, предпосылкой которой стало развитие полновесной денежной экономики. Деньги, пишет он, есть «образ всех других товаров, отделившийся от них, или продукт их всеобщего отчуждения» [23]*. Если, с одной стороны, деньги (Д) представляют собой проданный товар (Т), то, с другой стороны, они — товары, которые можно купить. Превращение Д—Т является куплей, при этом Т—Д есть одновременно и продажа: «последний метаморфоз данного товара есть в то же время первый метаморфоз какого-либо другого товара», или, как пишет в своей работе «*Maximes générales*» Франсуа Кенэ, «продавать значит покупать». Раздвоение товара на товар и деньги не ведет к исчезновению материальных различий между товарами: благодаря ему, говорит Маркс, возникает *modus vivendi*, является «форма их совместного сосуществования» [24].

Превращение Т—Д—Т — простейшая форма товарного обращения — есть исходный пункт капитала. Исторически капитал противостоит феодальной земельной собственности сначала в форме денег, как денежное имущество, как купеческий и ростовщический капитал. Деньги как деньги и деньги как капитал изначально отличаются друг от друга лишь неодинаковой формой обращения (непосредственная форма товарного обращения есть Т—Д—Т — превращение товара в деньги и обратное превращение денег в товар, продажа ради купли — *Пер.*). Но наряду с этой формой мы находим другую, специфически отличную от нее, форму Д—Т—Д — превращение денег в товар и обратное превращение товара в деньги, куплю ради продажи. Деньги, описывающие в своем движении последний цикл, превращаются в капитал. Подобно простому товарному обращению, обращение Д—Т—Д проходит две взаимосвязанные фазы: первая представляет собой превращение денег в товар; вторая — обратное превращение товара в деньги. Единство этих фаз, утверждает Маркс, «составляет совокупное движение», в котором товар поку-

* Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 120.

пается ради продажи. Может показаться, что одна денежная стоимость просто обменивается на другую, приблизительно такую же — в зависимости от успешности сделки. Но там, где деньги превращаются в капитал, они описывают «своеобразный и оригинальный путь», совершенно отличный от простого товарного обращения, когда, например, крестьянин продает зерно и на вырученные деньги покупает себе одежду. За формальными различиями превращений $D-T-D$ и $T-D-T$ обнаруживается различие по существу.

Различие это состоит в том, что в обращении $T-D-T$ деньги превращаются в товар, который служит потребительной стоимостью. В противоположной форме $D-T-D$ покупатель затрачивает деньги лишь для того, чтобы получить их в качестве продавца; таким образом, деньги не тратятся, а «авансируются» — в этом и заключается секрет превращения денег в капитал. В форме $T-D-T$ одни и те же деньги дважды меняют свое место: продавец получает их от покупателя и уплачивает другому продавцу (прим. перев.). Обратно протекает процесс в форме $D-T-D$: не одни и те же деньги, а один и тот же товар два раза меняет здесь свое место — покупатель получает его из рук продавца и снова передает в руки другого покупателя (прим. перев.). Одна денежная сумма отличается от другой только по величине. Превращение денег в капитал зависит от обновления операции, возможного в условиях процесса $D-T-D$. Последний обязан своим содержанием не качественному различию между своими крайними пунктами, а лишь их количественной разнице. Поэтому полная форма рассматриваемого обращения выражается как $D-T-D'$, где $D' = D + D\Delta$ (первоначально авансированная сумма плюс некоторое приращение). Товарное обращение утрачивает прямую связь с особыми потребительными стоимостями. Капитал оценивается не последними, а меновыми стоимостями.

Купить, чтобы продать дороже ($D-T-D'$), представляет форму, свойственную как купеческому, так и промышленному капиталу. Таким образом, $D-T-D'$ есть действительно «всеобщая формула капитала», как он непосредственно проявляется в сфере обращения. Следующее структурное соотношение является следствием развития промышленного или мануфактурного капитала, который, подобно превращенной сущности частной собственности, предполагает осуще-

ствление серьезных социальных изменений. Речь идет о возможности превращения капитала в труд и наоборот, необходимым условием чего является лишение работников (владельцев рабочей силы) возможности продавать товары, в которых овеществлен их труд, вынуждающее их предлагать на рынке свою рабочую силу, дабы заработать средства к существованию. Рабочая сила есть товар, сама потребительная стоимость которого обладает оригинальным свойством быть источником стоимости. Трудовой договор, заключаемый с владельцем капитала, ведет к превращению денег в эквивалент рабочей силы. «Это отношение не является ни созданным самой природой, ни таким общественным отношением, которое было бы свойственно всем историческим периодам. Оно, очевидно, само есть результат предшествующего исторического развития, продукт многих экономических переворотов, продукт гибели целого ряда более старых формаций общественного производства» [25]*. Вычленение этой связи помогает определить одну из основных структурных характеристик новой институциональной формы, порожденной капитализмом: рабочая сила есть товар, не приведенный во «всеобщей формуле капитала».

Капиталистический трудовой договор предполагает, что работодатель и работник «встречаются на рынке» и вступают между собой в отношения как юридически равноправные, «формально свободные» лица. Подобное положение вещей — основной принцип классовых отношений в условиях капитализма. Один является покупателем рабочей силы, другой — ее продавцом. «Собственник» рабочей силы продает ее лишь на определенное время, соответственно, работодатель также «приобретает» ее не навсегда. Рабство, превращающее свободного человека в раба, отрицает возможность рассмотрения рабочей силы в качестве товара. Стоимость рабочей силы, как и всякого другого товара, определяется рабочим временем, необходимым для производства, а, следовательно, и воспроизводства (поддержания жизни) этого специфического предмета торговли. Превращение найма рабочей силы в прибыль зависит от производства прибавочной стоимости. «Необходимое рабочее вре-

* Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 180.

мя» есть часть суток, затрачиваемая работником на производство стоимости своей рабочей силы, т. е. приобретение жизненных средств, необходимых для ее сохранения или постоянного воспроизводства; прибавочный труд является источником прибыли.

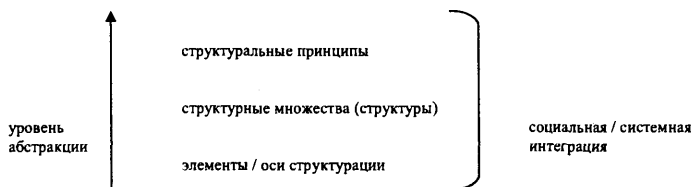


Рис. 17

Между тремя уровнями абстракции, выделенными в диаграмме, отсутствует какая-либо очевидная точка пересечения. Ранее мы говорили о том, что детальное определение структурных множеств является крайне важным с точки зрения разработки и совершенствования общих структуральных принципов, однако, одна задача неизбежно трансформируется в другую. Аналогичная ситуация наблюдается и на низшем уровне абстракции — речь идет о выделении элементов или осей структуриации. Определение последних сохраняет специфику институционального анализа, но подводит исследователя к необходимости непосредственного изучения отношений соприсутствия. Дабы не утратить связь с ходом повествования, обратимся к рассуждениям Маркса, анализирующего особую черту капиталистического производства — разделение труда. Хотя цель нашего обращения к ним носит преимущественно иллюстративный характер, мы во многом согласны с положениями, выдвигаемыми автором [26].

Маркс стремится показать, что разделение труда обусловлено самой сущностью мануфактурного производства и, как таковое, тесно связано со структурными соотношениями, описанными в предыдущих разделах данной главы. Разделение труда соединяет основные структурные характеристики капитализма с особенностями непосредственной организации промышленного предприятия. Промышленное производство — характерная черта капитализма, неоспоримо превзошедшая торговлю — связано с двояким способом

появления мануфактур. В первом случае в одной мастерской под командой одного и того же капиталиста объединяются рабочие разнородных самостоятельных ремесел, через руки которых последовательно должен пройти продукт вплоть до того, пока он не будет окончательно готов. Однако подобная кооперация постепенно приводит к тому, что работники теряют привычку и способность заниматься своим старым ремеслом в полном объеме: производство разделяется на различные «особые» операции, «каждая из которых откristаллизовывается в исключительную функцию одного рабочего и совокупность которых выполняется союзом таких частичных рабочих» [27]*. Но мануфактура возникает и противоположным путем. Многие ремесленники, выполняющие одну и ту же однородную работу, объединяются одним капиталистом в общей мастерской. Однако «внешние обстоятельства», говорит Маркс, ведут к изменениям, аналогичным тем, что имеют место в первом случае. Труд поэтому разделяется; вместо того чтобы поручать одному и тому же ремесленнику последовательное выполнение различных операций, операции эти отделяются одна от другой, изолируются, располагаются в пространстве одна рядом с другой, причем каждая из них поручается отдельным ремесленникам, которые кооперируются между собой. Но, каков бы ни был исходный пункт мануфактуры, ее конечная форма всегда одна и та же: «производственный механизм, органами которого становятся люди» [28]**.

Поэлементное разделение труда имеет решающее значение для организации капиталистического предприятия. Во-первых, оно увеличивает возможности прямого надзора за работниками и укрепляет трудовую дисциплину. Во-вторых, символизирует и способствует установлению связи между трудом как рабочей силой и технологией машинного производства. Ибо «частичный рабочий» производит определенное количество повторяющихся операций, которое можно координировать с ходом механизированных производственных процессов. Разделение труда внутри мануфактуры нельзя рассматривать просто как элемент или продол-

* Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 349.

** Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 350.

жение «общественного разделения труда»; путем обратного воздействия они развивают и расширяют друг друга. «Разделение труда внутри общества» опосредствуется куплей и продажей продуктов различных отраслей производства; связь же между частичными работами внутри мануфактуры опосредствуется продажей различных рабочих сил одному и тому же капиталисту, который употребляет их как комбинированную рабочую силу.

Мануфактурное разделение труда предполагает безусловную власть капиталиста над людьми, которые образуют простые звенья принадлежащего ему совокупного механизма; общественное разделение труда противопоставляет друг другу независимых товаропроизводителей, не признающих никакого иного авторитета, кроме конкуренции... Весьма характерно, что вдохновенные апологеты фабричной системы не находят против всеобщей организации общественного труда возражения более сильного, чем указание, что такая организация превратила бы все общества в фабрику [29]*.

Избранный нами подход к разделению труда позволяет определить ось структуризации, связывающую отдельную производственную мануфактуру с общими аспектами социальной общности, и указывает на различия с «общественным разделением труда». Конечно, эти отношения могут быть прописаны более детально. В рамках институционального анализа это предполагает детализацию отношений превращения / посредничества, возникающих вследствие «кластеризации» (группировки) институционализированных практик в пространстве и времени. Но коль скоро мы уходим с позиций институционального анализа, все обозначенные выше структурные отношения, к какому бы уровню они ни относились, должны рассматриваться нами как условия системного воспроизводства. Они помогают понять основные особенности *циклов воспроизводства*, связанных с «расширением» институтов в пространстве и времени. Очевидно, что исследование кругооборота воспроизводства не равносильно единственно определению источников социаль-

* *Маркс К.* Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 368–369.

ной стабильности. В действительности они используются для обозначения некоторых основных форм изменений, имеющих место при переходе от одного типа социетальной общности к другому. Вопрос, что «является предпосылкой» возникновения определенных условий системного воспроизводства, формулируется как контрфактуальный, не будучи завуалированной версией функционализма.

Графически кругооборот воспроизводства можно представить следующим образом (см. рис. 18):

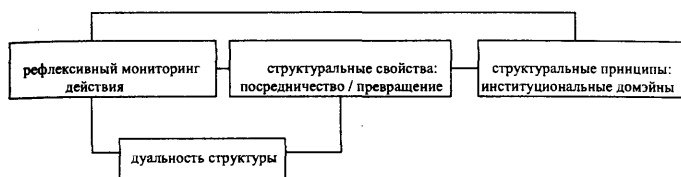


Рис. 18

Обращение к дуальности структуры означает уход от виртуальных пространства-времени институционального анализа и вхождение в «историю». Возвращаясь к постулатам теории структуриации, отметим, что все структуральные свойства социальных систем являются «посредниками» и результатами обусловленных действий находящихся в определенных обстоятельствах акторов. Рефлексивный мониторинг действий в ситуациях соприсутствия — характерная особенность социальной интеграции, однако, и условия, и исходы взаимодействия, происходящего в тех или иных обстоятельствах, распространяются далеко за их пределы. Механизмы подобного «распространения» различны, однако, в современных обществах наблюдается тенденция к вовлечению в них самого рефлексивного мониторинга. Иными словами, понимание условий системного воспроизводства становится элементом этих условий как таковых.

Обратившись к вышеупомянутому структурному множеству, мы сможем проиллюстрировать наши выводы на конкретном примере. Два противоположных, но дополняющих друг друга превращения — $T \rightarrow D$ и $D \rightarrow T$ — реализуются посредством деятельности покупателей и продавцов, функционирующих в различных условиях. Согласно Марксу, метаморфоз товара $T \rightarrow D \rightarrow T$ предполагает участие трех

«действующих лиц». Сначала товаровладельцу противостоит владелец денег. Как только товар превратился в деньги, они становятся «его мимолевой эквивалентной формой». Деньги, «конечный пункт первого превращения товара», представляют собой в то же время исходный пункт третьего превращения — покупки другого товара [30]. Однако то, как говорит об этом Маркс, является, на наш взгляд, неудовлетворительным. Ибо структурные взаимоотношения нельзя считать изоморфными действиям индивидов, олицетворяющих их. Следуя этим тенденциям в рассуждениях Маркса, Альтюссер делает выводы, подтверждающие точку зрения, согласно которой субъекты деятельности есть не более чем «опора», поддерживающая те или иные способы производства. Нетрудно понять, что подобный анализ уводит нас в дебри функционализма. Если отношения, существующие между установленными структуральными свойствами, обладают собственной «внутренней динамикой» и рассматриваются как функциональные необходимости, а не непрерывно воспроизводимые условия, то деятельность индивидов, находящихся в тех или иных исторических обстоятельствах, выглядит излишней и чрезмерной. Всеобщие условия системного воспроизводства никоим образом не «гарантируются» структурными отношениями, от которых они (номинально) зависят. Происхождение их не объясняет и анализ такого рода соотношений в виртуальном пространстве-времени. Таким образом, первостепенную значимость приобретает изменение концептуальных подходов при переходе от этого направления анализа к изучению условий системного воспроизводства.

Под кругооборотом воспроизводства мы понимаем достаточно четко обозначенные «профили» (модели) повторяющихся процессов, независимо от того, подвержено ли подобное повторение (возврат к первопричине) рефлексивному мониторингу со стороны занимающих определенные социальные позиции субъектов деятельности или нет. Говоря об «обороте капитала», Маркс, казалось бы, имеет в виду то же самое; вместе с тем, мы употребляем этот термин для обозначения реальных условий социального воспроизводства, тогда как он зачастую использует его применительно к структурным множествам. Кругооборот воспроизводства полезно исследовать с точки зрения регионализации локальностей. Можно

представить их в виде поддающихся визуальному наблюдению электронных схем — уместным здесь будет обращение к методу временной географии. Маркс поясняет, что циклы воспроизводства, связанные с превращением $D-T-D'$, зависят от процессов глобальных изменений не только в пределах конкретных обществ, но и на международном уровне. Концентрация населения в развивающихся городских зонах (внутреннее пространство которых подверглось серьезной реорганизации) является одним из таких процессов. Другие касаются рабочих мест. Не менее важными представляются нам механизация транспортных средств, равно как и начавшееся с конца XVIII в. широкомасштабное развитие средств связи и электронных коммуникаций, появившихся благодаря изобретению азбуки Морзе.

Противоречие

Многие полагают, что понятие противоречия относится к логике и, как таковое, не должно использоваться в социальном анализе. Отчасти подобная точка зрения оправдана тем, что вышеупомянутый термин нередко употребляется в виде, абсолютно не соответствующем представлениям о противоречии, существующим в логике. Мы считаем, однако, что обдуманное использование делает это понятие необходимым и обязательным элементом социальной теории. Понятие противоречия может использоваться в двух значениях — «экзистенциальное противоречие» и «структурное противоречие». Каждое из них сохраняет связь с той смысловой нагрузкой, которую этот термин несет в логике, не являясь, однако, прямым продолжением данной традиции словоупотребления.

Под экзистенциальным противоречием мы понимаем базовую проблему сосуществования человека и природы или материального мира. Кто-то скажет, что антагонизм противоположностей есть следствие специфики человеческого бытия, ибо жизнь, основы которой были заложены природой, далека, а в каком-то смысле даже противоположна ей. Человеческие существа появляются из «небытия» неорганической природы и вновь исчезают в ней. Может показаться, что предмет нашего обсуждения относится к сфере религиозного и, как таковой, должен изучаться богословами, а не

социологами. Мы же убеждены, что речь идет о вопросах большой аналитической значимости, которые, однако, не будут обсуждаться нами в рамках данной работы.

Структурное противоречие относится к основополагающим особенностям человеческих обществ. Мы полагаем, что структуральные принципы действуют противоречиво. Иными словами, взаимодействуя друг с другом, они вступают в обоюдные противоречия [31]. В этом смысле «противоречие» может быть разделено на две части. Первичные противоречия участвуют в создании социетальных общностей; вторичные зависят или приводятся в действие первичными. Наши рассуждения нельзя назвать абстрактными, поскольку обнаруженные различия соотносятся с исследованием описанных выше типов общественного устройства. Понятие структурного противоречия относится к специфической характеристике государства. За исключением трайбалистских обществ, государство считается центром (и источником) первичного структурного противоречия.

Из трех типов обществ, выделенных нами, трайбалистские общества существуют в наиболее тесной взаимосвязи с природой. Утверждая подобное, мы не имеем в виду только технологическое развитие этих обществ. Здесь люди живут «вплотную» друг к другу, взаимодействуя лицом к лицу и учитывая в своей повседневной деятельности специфику и периодичность природных явлений; вместе с тем, познавая, они объединяют естественный мир природы и собственные действия. С точки зрения цивилизаций — особенно современных западных их разновидностей, к этому стоит относиться единственно негативно, как к неспособности подняться на более высокую ступень развития. Леви-Стросс пишет об этом так: «Обычно охотно соглашались с тем, что сферой антропологии... являются нецивилизованные, бесписьменные, неиндустриальные или доиндустриальные общества». Тем не менее, в некоторых отношениях «современные» общества гораздо более негативны. Сегодня наши взаимоотношения с другими людьми лишь отчасти исходят из «глобального опыта», основываются на «конкретном «восприятии» одного субъекта другим» [32]*. Мифологическое «мировоззрение» и порождаемые им пред-

* Леви-Стросс К. Структурная антропология / Пер. с фр. Вяч. Вс. Иванова. М.: ЭКСМО-Пресс, 2001. С. 382–383.

ставления служат для установления отношений гомологии между природными и социальными условиями или, точнее, для определения закона эквивалентности между значимыми контрастами, расположенными на многих планах: «географическом, метеорологическом, зоологическом, ботаническом, техническом, экономическом, социальном, ритуальном, религиозном и философском» [33]*.

Мифы познавательно опосредствуют экзистенциальное противоречие. Иными словами, затрагиваемые в них проблемы кровосмешения, сексуальности, жизни и смерти очевидны и понятны тем, кто их рассказывает, и тем, кто их слушает. Если трайбалистские общества являют собой пример «холодных» культур — культур, не захваченных потоком изменений, которым подвержены их институты, — это вовсе не означает, что они плохо — как утверждали бы эволюционные теории — «адаптированы» к природе. Напротив, это объясняется тем, что институты взаимодействуют с природой самым тесным и непосредственным образом. Экзистенциальное противоречие выражается здесь посредством ключевой роли родства и традиций. Родственные отношения являются основной структурой, вокруг которой возникает сообщество индивидов, упоминаемое Леви-Строссом. Кроме того, они есть средство производства, а точнее воспроизводства жизни. С другой стороны, благодаря традициям, обратимое время повседневной жизни наполняется нравственным содержанием; погружаясь в него, конечность индивидуального бытия соединяется с вечностью морали. Нет необходимости изображать эти социальные условия в виде идиллии Руссо; суть состоит в том, что — пасторальная или нет — жизнь «с окровавленными клыками и когтями» или существование в эпоху устных культур напрямую отражает близость человечества и природы.

ТРАЙБАЛИСТСКОЕ ОБЩЕСТВО
(устные культуры)

Господство экзистенциального противоречия
Отсутствие государства

КЛАССОВО РАЗДЕЛЕННОЕ
ОБЩЕСТВО

Структурное противоречие / экзистенциальное
противоречие

Форма государственного устройства: связь между
городом и сельской местностью

КЛАССОВОЕ ОБЩЕСТВО
(капитализм)

Господство структурного противоречия
Форма государственного устройства:
государство-нация

* *Леви-Стросс К.* Неприрученная мысль // Первобытное мышление / Пер. с фр., вступ. ст., примеч. Островского А. М.: Терра — Кн. клуб: Республика, 1999. С. 185.

Трайбалистские культуры отличаются сегментированным характером. Иначе говоря, они состоят из многочисленных центров непосредственного соприсутствия, в которых между различными «сообществами», как правило, отсутствуют четко обозначенные границы. Децентрализованный характер этих систем исключает возможность возникновения структурных противоречий. Экзистенциальное противоречие намечает контуры естественного мира. Структурные противоречия свидетельствуют о развитии государственности, связанной прежде всего с появлением городов. Мы вовсе не хотим сказать, что государство возникает «на основе» города в буквальном смысле этого слова, вырастает из него. Скорее, города представляют собой вместилища авторитативных ресурсов, которые, устанавливая определенные отношения с сельской местностью, порождают структурные элементы государственного устройства. Возникновение структурного противоречия не ведет к полному исчезновению противоречия экзистенциального, однако ослабляет его. Город — *среда*, чуждая природной, а посему порождает установки и символические системы, отличные от тех, что связаны с событиями и явлениями природы. Стены города символически и физически отделяют городскую *среду* от внешнего мира. Однако традиционные города могли существовать только благодаря отношениям с сельскохозяйственными пригородами. Их внутренняя планировка и архитектура сохраняли тесные связи с естественной средой и ориентировались на традиционно принятые символы. Ранее мы говорили о том, что и расположение зданий, и пространственная организация районов (зон) традиционных городов зачастую учитывали священные космологические особенности.

Мы отнюдь не собираемся обсуждать здесь государство или источники происхождения государственной власти [34]. Достаточно сказать, что, с нашей точки зрения, «раннее государство» представляет собой довольно противоречивое образование. Государство, отражающее отношения, установившиеся между городом и сельской средой, является новой разновидностью структурального принципа, противоположной старой, хотя и зависящей от нее. Отношение симбиоза / антагонизма, существующее между городскими и сельскими зонами, есть специфическая форма структур-

ного противоречия. Благодаря городам как своеобразным вместилищам власти, в «истории» появляется потенциальная перспектива динамизма нового типа. Иначе говоря, они порывают с «аисторическим» характером холодных культур. Как правило, в классово разделенных обществах нет явных границ между «экономикой» и «государственным устройством», а претензии правительственных структур на олицетворение общества в целом минимальны. Государственная власть не утрачивает своей связи с экзистенциальным противоречием и выражается преимущественно в религиозной форме. Государство может освободиться от влияния традиций, меняясь под воздействием механизмов консолидированной власти. Тем не менее, оно вынуждено уступать и соглашаться с ними в другом, ибо традиционные верования и установленные порядки сохраняют свои позиции за пределами основных центров сосредоточения государственных институтов. Поскольку сила и могущество государства зависят от надзора, он концентрируется главным образом вокруг месторасположения органов государственной власти: дворцов, храмов и административных зданий.

Стимулируя вторичные противоречия, государственные общества изменяют границы и темп «истории». Государства вызывают к жизни или, по меньшей мере, значительно углубляют социальные отношения, охватывающие большие диапазоны пространства-времени. Иными словами, порождая и консолидируя централизованную власть, «включаясь во» внутреннюю социальную деятельность, государства способствуют развитию других связей и взаимозависимостей, пересекающих социальные и территориальные области, на которые распространяется их влияние. В подобных условиях структурное противоречие относится к власти государства над конкретной территорией, противоположной, но все же зависящей от процессов, протекающих в сфере этих полномочий и подразумевающих иные механизмы. Сюда относятся внешние отношения с другими государствами, а также пересекающиеся торговые предприятия, религиозные группы, интеллектуальные сообщества и т. п.

Вторичные противоречия, связанные с формированием современных национальных государств, развитие которых сопровождалось процессом становления промышленного капитализма как формы экономического предприниматель-

ства, существенно отличаются от тех, что были свойственны предшествующим эпохам. В одной из наших работ [35] мы писали, что взаимоотношения капитализма и национального государства не просто случайны. Чрезвычайно упреждающая проблема, можно сказать, что национальные государства представляют собой новые вместилища власти, пришедшие на смену городам. Трансформация отношений, существующих между городом и сельской местностью, вследствие появления «спроектированной среды» — одним из примеров которой является «искусственная среда» современных городов — есть неотъемлемая часть формирования национальных государств. Превращенный характер пространства и времени важен с точки зрения политической структуры общества и дифференцированной «экономики». Процесс превращения отделяет структурное противоречие от противоречия экзистенциального и приводит к тому, что первое начинает преобладать над вторым. Иначе говоря, это означает, что социальная организация людей утрачивает всякую соразмерность с природой, которая становится отныне средством расширения производства. Подавление экзистенциальных проблем и вопросов не может быть завершено полностью. Ибо они образуют основу структурных противоречий, порожденных развитием капитализма, и являются частью того, что придает им их собственный взрывной потенциал [36].

Первичное противоречие капиталистического (национального) государства состоит в том, что, будучи порожденной «общественной» сферой государства, «частная» сфера «гражданского общества» отделена от нее и даже находится с ней в состоянии противоречия. Было бы ошибкой считать, что гражданское общество — это все, что находится за пределами государства, если речь идет об институтах, предваряющих, а не являющихся частью сферы государственной власти. Источники происхождения современного государства есть точка отсчета сферы гражданского общества; мы убеждены в этом, хотя и оставляем свое заявление без каких-либо доказательств. Гражданское общество являет собой область, внутри которой происходит накопление капитала, осуществляемое благодаря механизмам цены, прибыли и инвестирования в рынок труда и товарный рынок. Поэтому мы утверждаем, что проти-

воречие между гражданским обществом и государством подобно — по крайней мере, отчасти — классической формулировке основного противоречия капитализма между «общественным характером производства» и «частнокапиталистической формой присвоения продуктов труда». Как «социализирующий» центр, представляющий власть общества в целом, капиталистическое государство зависит от механизмов производства и воспроизводства, им же и порожденных, но отделенных и антагонистичных ему.

Второе противоречие нового мирового порядка, начало которому было положено с приходом современного капитализма, заключается в напряженности, существующей между процессами интернационализации капитала (и капиталистических механизмов в целом) и внутренней консолидации национальных государств. Вероятно потому, что последние развиваются в различных направлениях, большинство социально-научных теорий считает связи между капитализмом и национальным государством не более чем исторической случайностью. По сути, господствующая тенденция социально-научной мысли рассматривала национальные государства как немногим более, чем эпифеномены, или препятствия на пути естественной склонности капиталистического производства размывать политические и культурные различия. Корни подобных убеждений уходят в социальные концепции XIX в. — классическую политическую экономию и марксизм, являющийся ее основным оппонентом. Несмотря на кардинальные расхождения по другим вопросам, оба направления заявляют, что истинной причиной формирования политических структур являются экономические взаимоотношения, изменение которых есть движущая сила и главный источник преобразования современного мира. Подобная точка зрения упускает из виду тот факт, что необходимым условием обособления «экономики», как сферы непрерывных и быстрых изменений, является власть современного государства. В современном мире общество — это чаще всего нация-государство, связанное с другими нациями-государствами в единую мировую систему.

Попробуем проанализировать соотношение между противоречием и конфликтом — двумя понятиями, зачастую используемыми в едином ключе:

Конфликт	Борьба между акторами или общностями, выражающаяся в виде определенных социальных практик
(Структуральное) противоречие	Разобщение или дизъюнкция структуральных принципов организации социальной системы

Говоря о конфликте, мы подразумеваем реальную борьбу между действующими людьми или группами, независимо от того, каковы истоки этой борьбы, ее способы и средства, мобилизуемые каждой из сторон. В отличие от конфликта понятие противоречия относится к некоторой структуре. Оба эти понятия весьма близки между собой, так как противоречие выражает «уязвимое место», слабое звено в конструкции социальных систем. Вместе с тем, противоречие указывает на разделение интересов между различными группами и категориями людей, в том числе и между классами. Противоречия выражают отличные друг от друга образы жизни и распределения жизненных шансов в отношении возможных миров, которые реально существующий мир обнаруживает как имманентные. Однако противоречие может существовать, не вызывая конфликта, что объясняется непостоянством условий, при которых акторы не только осознают собственные интересы, но и способны, и мотивированы действовать в соответствии с ними. Можно сказать, например, что деление общества на классы предполагает наличие противоположных (равно как и общих) интересов. Однако условия, приводящие к возникновению классовых конфликтов, не вытекают непосредственно из этого наблюдения. Так, в аграрных государствах или классово разделенных обществах конфликт между господствующими и подчиненными классами встречается достаточно редко, что объясняется, главным образом, практическим отсутствием контактов между ними, а, следовательно, и условий — контекстов, необходимых для его возникновения и протекания [37].

Опираясь на все вышесказанное, мы утверждаем, что преобладание экзистенциальных противоречий характерно для обществ, погруженных в традиционно санкционированное, обратимое время — обществ «без истории». Появление структурных противоречий (источники которых мы не намерены обсуждать в настоящей работе) подогрело про-

цессы социальных изменений. Однако только развитие современного капитализма «довело» эти процессы «до стадии кипения». По сравнению с современным миром, с его паразитическими темпами далеко идущих социальных преобразований, традиционные империи и другие типы государств отличаются, скорее, отсутствием изменений, чем наоборот. То, что Маркс считал характерной особенностью «азиатского способа производства», презрительно говоря о социальной и экономической стагнации, является в действительности отличительной чертой всех крупных аграрных обществ. Как отметил один из наблюдателей, различные формы обществ, существовавшие в мировой истории два — три века тому назад, отличаются «непреодолимым недостатком крупных социальных и экономических изменений» [38].

Сотворение истории

В зависимости от формы отношений, участвующих в процессе воспроизводства общностей (коллективов), мы будем различать два основных типа этих общностей — *ассоциации* и *организации*, отделяя их от *социальных движений*. В ассоциациях, как и во всех социальных системах, социальное воспроизводство осуществляется в процессе и посредством упорядоченного поведения осведомленных субъектов деятельности. Среда взаимодействия, в которой происходят рутинные (соответствующие установленному порядку) социальные взаимодействия, рефлексивно контролируется участвующими в них акторами в процессе воспроизводства взаимосвязанных ролевых отношений. Однако несмотря на то, что подобный мониторинг является условием воспроизводства последних, он не принимает форму активных попыток контроля, управления или изменения обстоятельств воспроизводства. Между традиционными формами легитимности и преобладанием ассоциаций существует самая тесная и непосредственная связь. Традиция есть нечто большее, чем особая форма переживания темпоральности; она олицетворяет собой этическую власть того, «что происходило раньше», над непрерывной целостностью повседневной жизни. Ошибочно полагать, что традиция абсолютно невосприимчива к изменениям или модификациям поведения даже в самых наихолоднейших из культур. Весь-

ма удачной является, на наш взгляд, характеристика традиций, предложенная Э. Шилзом (Shils). Традиция, пишет он, сродни «движению дождевых капель по оконному стеклу... Колеблющийся ручеек воды, скатывающийся под одним углом, сталкивается с другим ручейком, двигающимся под иным углом. На какой-то короткий момент времени они объединяются в единую струю, разделяющуюся затем на два ручейка, каждый из которых может разделяться вновь и вновь, если стекло достаточно большое, а дождь — сильный» [39]. Однако из метафоры совершенно непонятно, какой именно аспект традиций обосновывает и подкрепляет рутину в «традиционных обществах». Поэтому Леви-Стросс абсолютно прав, указывая на то, что традиция *есть* агент обратимого времени, связывающий *длительность* повседневной жизни с *большой длительностью* институтов.

Различия между ассоциациями, с одной стороны, и организациями и социальными движениями, с другой, совпадают с отличиями способов воспроизводства, выделенных нами в первой главе. Организации и социальные движения представляют собой общности, в которых рефлексивное упорядочение условий воспроизводства системы играет важную роль в непрерывности повседневных практик. Как правило, организации и социальные движения обнаруживаются в сегментах классово разделенных обществ и в некоторой степени символизируют их отделение от обществ трайбалистских. Ибо рефлексивное саморегулирование — как отличительная черта коллективов — зависит от упорядочения информации, управляемой таким образом, чтобы воздействовать на условия социального воспроизводства. В свою очередь, контроль и управление информацией зависят от способов ее *накопления и сохранения*, отличных от тех, что доступны благодаря памяти индивидов, мифам, сказкам или практическому сознанию «живых традиций». Изобретение письменности — основного способа упорядочения и хранения информации в классово разделенных обществах — знаменует собой радикально новый этап истории человечества. Это верно не только потому, что формы хранения и поиска информации, порожденные письменностью, делают возможным расширение пространственно-временной протяженности, но и потому, что трансформируется сама сущность понятия «традиция», меняются представле-

ния людей о том, что значит существовать «в» истории. Классово разделенные общества неизменно поддерживали и хранили свои традиции — устои социальной жизни, особо почитаемые за пределами относительно ограниченной урбанизированной зоны. В трудах философов докитайской цивилизации взаимоотношения прошлого и настоящего рассматривались как изменчивые: не только «настоящее» проникает вглубь «прошлого» и наоборот, но и история оказывается скорее «плоской», нежели прямолинейной. Иначе говоря, она протекает горизонтально времени, а не «обратно» ему. Считалось, что жизнь управляется принципом *ли* — традиционными, передаваемыми из поколения в поколение ритуалами и церемониями. Философ Сюнь-цзы (Hsun Tzu) писал: «Прошлое и настоящее тождественны друг другу. Сущности, одинаковые по своему характеру, хотя и удаленные друг от друга во времени, продолжают сохранять свою идентичность» [40]. Тем не менее, появление письменности привело к тому, что традиция начинает рассматриваться как «традиция» — особый, среди прочих, образ действий. «Традиция», осознаваемая в качестве таковой, перестает быть освященной веками основой обычаев, превращаясь в дискурсивный феномен, подвергаемый сомнениям.

Коль скоро речь зашла об «истории», нам стоит упомянуть здесь высказывание Маркса о том, что человеческие существа сами «творят свою историю». Полемика между Сартром и Леви-Строссом демонстрирует, что вопрос о том, что именно здесь «творится», не является простой причиной. Все люди существуют в истории в том смысле, что их жизни развертываются во времени, однако, это характерно для всех живых существ, дошедших до наших дней. Являясь рефлексивно установленной практикой, человеческое общество отлично от сообществ животных, что само по себе вряд ли отвечает на вопрос, что есть «история», или в чем состоит специфика человеческой истории. Неудивительно, что ответы на эти вопросы должны находиться с позиций истории, ибо понятие это используется в двух значениях: появление событий, происходящих в истекающем времени, и «регистрация» или разъяснение этих событий. Тот факт, что сегодня мы склонны игнорировать два значения, указывает на некоторые основные характеристики современной эпохи и снова обращает наше внимание на то, какая исклю-

чительная сложность лежит в основе невинного, казалось бы, утверждения, согласно которому люди сами «творят собственную историю». Ибо объяснение его предполагает философский подход ко времени. И здесь мы снова возвращаемся к проблемам, затронутым нами в первых главах работы, посвященных теории структуризации.

Анализируя «первобытное мышление», Леви-Стросс весьма проникательно очерчивает круг относящихся к делу вопросов. В работе «Тотемизм» он пишет об аналогиях, существующих между представлениями Бергсона (Bergson) о *длительности* и идеями, «общими для всех сиу (от осэдж на юге до дакота на севере), согласно которым вещи и существа суть застывшие формы созидательной непрерывности» [41]*. Попытку Бергсона сформулировать философию времени, подобно наиболее влиятельным и значимым концепциям Хайдеггера, можно рассматривать как стремление уйти от «линейных» или «унитарных» представлений о времени, выраженных в мировоззрении современной западной культуры. Бергсон понимает *длительность* как смешение постоянного и дискретного, как упорядоченную последовательность различий и расхождений, порождающих «реальность». Подобным образом в космологии сиу, как рассказывается об этом в одной песне:

Каждая вещь, пребывая в движении, в тот или иной момент, здесь и там делает остановки. Птица, которая летит, останавливается в каком-то месте, чтобы сделать себе гнездо, в другом — чтобы отдохнуть. Идущий человек останавливается, когда пожелает. Таким же образом и бог совершал остановки. Солнце, столь блистающее и чудесное, — это место, где он остановился. Луна, звезды, ветры — и там он был. Деревья, животные — все это пункты его остановок... [42]**

В этом взгляде на «историю» как изложение событий время ассоциируется не с социальным изменением, но с повторением, не со способностью людей преобразовывать мир

* Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня // Первобытное мышление / Пер. с фр., вступ. ст., примеч. Островского А. М.: Терра — Кн. клуб: Республика, 1999. С. 103.

** Леви-Стросс К. Тотемизм сегодня // Первобытное мышление / Пер. с фр., вступ. ст., примеч. Островского А. М.: Терра — Кн. клуб: Республика, 1999. С. 103.

и преображаться самим, а с их вовлеченностью в природу и вселенную.

Возникновение представлений о том, что в выражении «люди сами творят свою историю», последняя означает связь, существующую между линейной концепцией времени и пониманием того, что, познавая прошлое, субъекты деятельности получают возможность изменять свое будущее, связано с именем Дж. Вико (Vico). Фактически работы Вико можно рассматривать как «наведение мостов» между старыми и новыми, производными представлениями о времени и непрерывности. Так, в знаменитом отрывке — на который ссылается Томпсон (Thompson) [43] — Вико заявляет:

Ведь все же сами люди создали этот Мир Наций, хотя и не вполне осознавая последствия собственной деятельности, но этот Мир, несомненно, вышел из некоего Ума, часто отличного, а иной раз совершенно противоположного, и всегда — превосходящего частные цели самих людей, тех людей, которые ставили себе эти цели... И то, что делает все это, оказывается Умом, так как люди, поступая так, поступали разумно; это не Рок, так как у людей был выбор; это и не случай, так как всегда, когда люди поступают именно так, возникают те же самые вещи [44]*.

Томпсон, несомненно, прав, усматривая здесь, как и многие другие, предвосхищение идей Маркса. Однако считать Вико прямым предшественником Маркса, значит пренебрегать особенностями его рассуждений как специфических представлений о времени и «опыте». По воле случая Томпсон опускает то, что именует «попыткой Вико приписать процессу циклическую понятность», фокусируясь на «великолепном изображении процесса» и полагая, что «устойчивая историческая мысль должна начинаться именно отсюда» [45]. Однако «циклическая концепция» составляет основу представлений Вико, и только сравнительно недавно отправной точкой «исторической мысли» стало рассмотрение «истории как процесса».

Современные организации и социальные движения функционируют в социальном мире, где отрицание богов и раз-

* Вико Дж. Основания новой науки об общей природе наций / Пер. и комментарии А.А. Губера. Л.: Художественная литература, 1940. С. 470–471.

мывание традиций создают условия, в которых рефлексивное саморегулирование рассматривается как история — и как социология. Для современной эпохи, возникшей благодаря развитию капитализма и господствующей на Западе в течение нескольких столетий, характерно преобладание *историчности* — осознания «поступательного движения» общества, формируемого этим самым осознанием, «сопереживаем мировой истории», о котором писал О. Шпенглер (Spengler). Упорядочение, поиск, анализ и вспоминание информации, стимулирующие и символизирующие историчность, становятся возможными благодаря развитию печати и всеобщей грамотности, а также изобретению электронных средств массовой информации, расширяющих пространственно-временную протяженность путем «отчуждения» коммуникаций в ситуациях соприсутствия. Любой написанный текст удаляется от своего автора; печать есть, прежде всего, количественное увеличение этой удаленности. Электронные средства массовой информации отделяют присутствие во времени от присутствия в пространстве, что имеет решающее значение для формирования современных форм коллективов.

Организации и социальные движения являются, по выражению А. Турена (Touraine), «центрами принятия решений» [46], использующими определенные типичные формы авторитативных и аллокативных ресурсов в рамках дискурсивно мобилизованных информационных потоков. Анализ социальных движений представлен в общественных науках достаточно слабо, особенно по сравнению с многочисленными работами, посвященными исследованиям «теории организаций». На наш взгляд, это не соответствует эпохе революций и конфликтов соперничающих доктрин радикальных социальных изменений, когда мы вынуждены признать, что Турен и другие были абсолютно правы, заявляя, что в наши дни понятия организации и социального движения имеют одинаковую важность и значимость. На концептуальном уровне социальные движения отличаются от естественных движений населения, миграции и т. п., поскольку предполагают высокий уровень рефлексивного саморегулирования. Определяя социальные движения, можно с уверенностью сказать, что они представляют собой «коллективные попытки установить новый порядок жизни» [47]. В отличие от

организаций социальные движения, как правило, не ограничиваются стационарными рамками заданного места действия, а позиционирование внутри них не отличается четкостью, связанной с представлениями о «ролях».

Обратившись к предложенному Н. Коном (Cohn) описанию движений миллениариев, распространенных в средневековой Европе, можно определить некоторые отличительные черты современных социальных движений. Конт считает, что возникновение миллениаризма связано с представлениями о спасении, которое должно быть:

- а) коллективным, ибо распространяется на верующих как особую группу;
- б) земным, ибо совершается на этой, а не какой-либо другой земле — установление «царства божьего» на земле;
- в) близким и неминуемым, ибо наступает быстро и неожиданно;
- г) всеобщим, ибо полностью преобразует жизнь на Земле таким образом, что новый порядок не просто улучшает настоящее, но и совершенствует сам себя;
- е) совершающимся силами, осознанно причисляемыми к разряду сверхъестественных [48].

Работа Кона упоминается так часто, что необходимо предостеречь от чрезмерных обобщений, принимаемых на ее основе. Не всем средневековым социальным движениям свойственны упомянутые выше характеристики, кроме того, миллениаризм не исчезает с окончанием средних веков. Однако мы убеждены, что новейшие социальные движения отличаются от миллениаризма по всем пунктам, за исключением второго и, нередко, третьего [49]. Как правило, современные социальные движения привязаны исключительно к настоящему миру и неизменно оппозиционны по характеру. Они находятся в тех же «полях действий», что и противостоящие им организации и ассоциации.

Вопреки ожиданиям и предсказаниям Маркса, рабочее движение не решает «загадку истории». Вместе с тем, в некотором смысле оно является прототипом современных социальных движений. Рассуждая о цикле капиталистического воспроизводства, мы говорили о том, что «рабочая сила» выступает здесь в качестве товара, «превращаемого» в другие товары. Однако рабочая сила не похожа на все остальные

товары. Начало рабочему движению было положено в виде «оборонительного контроля», посредством которого работники стремились получить определенную власть над обстоятельствами, при которых им было отказано в праве участвовать в принятии решений по затрагивающим их проблемам. Поскольку рабочие движения вдохновлялись идеями социализма, а точнее марксизма, они напрямую включали историчность в сферу собственной деятельности. Рабочие движения вдохновлялись практически теми же представлениями, что и капиталистические организации, которым они противостояли. Независимо от своей реформистской или революционной направленности, эти движения были ориентированы на «вращивание», хотя и в эгалитарном духе, тех же производительных сил, которые их оппоненты пытались развить посредством накопления капитала. Но именно здесь рабочее движение перестает являть собой пример современных социальных движений в целом. С точки зрения Маркса, действовать в общих интересах вопреки частным интересам, выраженным посредством классового разделения, значит нести бремя общего переустройства социетальной общности. Ограниченность этих представлений становится все более очевидной не только потому, что в развитых странах Запада пролетариату так и не удалось совершить революции [50], не только благодаря тенденции сводить все частные интересы к интересам классовым, но и вследствие обнаружения исторических корней самой историчности. Наша эпоха относится к разряду тех, что подвергают сомнению завершенность и успехи просвещения, направляемого наукой и технологическими инновациями, тех, где историчность утрачивает свое былое неоспоримое превосходство.

Аналогичным образом, капиталистическое предприятие есть типичная форма современных организаций и одновременно один из основных источников инноваций, порождающих условия, в которых они возникают. С точки зрения Маркса, капитализм представляет собой способ производства, при котором рефлексивное саморегулирование, осуществляемое внутри предприятия — феномен, очевидный благодаря Веберу, продемонстрировавшему значимость для капиталистической компании двойной бухгалтерии — не подкрепляется рефлексивным контролем над экономической жизнью в целом. Однако, и это снова как никто другой

прояснил Вебер, рефлексивное саморегулирование охватывает многие области социальной жизни. В этом заключается одна из наиболее основательных проблем, стоящих перед нами сегодня. Является ли увеличение многообразия различных форм организаций — в которых рефлексивно отслеживаются условия воспроизводства — средством освобождения от предустановленных видов эксплуататорского господства? Нет сомнений, что в контексте предвкушения революционного низвержения капитализма социализмом Маркс верил, что это именно так. Однако критики и противники Маркса от Вебера до Фуко сделали достаточно много для того, чтобы этот основной догмат марксизма принимался с некоторой предосторожностью, если не с откровенным и неприкрытым скептицизмом.

Критические замечания: «Структурная социология» и методологический индивидуализм

Блау: версия структурной социологии

Очевидно, что между акцентом на «структурный подход», в том виде, в каком он используется теми, кто пишет вне традиций структурализма, и объективизмом в общественных науках существуют тесные связи. В трудах тех, кто считает себя сторонниками этого подхода, постоянно прослеживается ряд основополагающих идей, среди которых можно выделить, в частности, представления Дюркгейма о том, что «общества есть нечто большее, чем сумма составляющих их индивидов» и что структуральные свойства представляют собой качества социальных систем, требующие рассмотрения исключительно с позиций их ограничивающего влияния на субъектов деятельности (концепция, ранее подвергавшаяся нашей критике). «Структурные подходы» склонны также подчеркивать продолжительность во времени и протяженность в пространстве. Структуры «надиндивидуальны» в том смысле, что переживают индивидуальных субъектов деятельности и выходят за пределы их сферы деятельности [51]. Подобные взгляды частично пересекаются с нашими предшествующими рассуждениями.

Однако зачастую здесь возникают также проблемы эпистемологического характера. Ибо иногда утверждают или полагают, что исследование структурных характеристик и свойств социальной деятельности есть демонстрация причинно-следственных воздействий на человеческое поведение, сходных с теми, что наблюдаются в природе.

Так, Уоллес (Wallace) говорит о существовании «серьезных различий» между «социально-структуралистской» и «социально-деятельностной (социально-активистской) теорией» и пишет об этом следующим образом: «социально-структуралистская теория рассматривает преднамеренность и целенаправленность, а также другие субъективные ориентационные факторы как, по меньшей мере, вторичные и по большей части (!) незначимые в плане объяснения социальных явлений...» [52]. Упорство и настойчивость, с которыми высказывается эта точка зрения, вовсе не являются необычными. Вот что говорит по этому поводу Мэйхью (Mayhew), определяющий истинные интересы социологии как «структурные». Структуры связаны с системами взаимоотношений, которые можно и нужно изучать вне каких-либо ссылок на качества и характеристики индивидов: «в структурной социологии единицей анализа», пишет он, «является всегда социальная система, а не индивид» [53]. Здесь, как и в большинстве случаев, «структурный подход» связан с подтверждением достаточно наивных форм бихевиоризма. Мэйхью утверждает, что «структуралисты не используют в процессе анализа субъективистские концепции, сродни намерению или целям» [54].

Блау развивает эти идеи в ряде своих последних публикаций, и его точка зрения представляет значимый сегмент социологических воззрений [55]. Как и большинство англосаксонских социологов, Блау весьма далек от концепции структурализма Леви-Стросса или родственных ей точек зрения. Вместе с тем он обособляется и от функционализма, предлагая рассматривать структуру «в отрыве от ее широких культурных и функциональных смысловых подтекстов, позволяющем понять ее глубинные свойства» [56]. Признавая тот факт, что различные авторы трактовали понятие «структура» по-разному, Блау отмечает, что в своем изначальном значении оно используется так или иначе для обозначения социальных позиций и отношений между ними.

Он заявляет, что структурная социальная наука занимается параметрами, определяющими положение индивидов в обществе, а не акторами как таковыми. «Структурный параметр» есть любой критерий классификации совокупностей индивидов, существенный с точки зрения социальных позиций, которые они могут занимать. Блау поясняет это следующим образом:

Мы говорим о возрастном составе населения, родственных отношениях племени, управленческой системе организации, властной структуре общности и классовой структуре общества. Все это — не типы социальной структуры, но аналитические элементы ее, определяющие социальные позиции в одной из статусных плоскостей. Разные позиции, возникающие в пределах одного параметра, неизбежно «оккупируются» непохожими друг на друга людьми — мужчинами или женщинами, старыми или молодыми, богатыми или бедными; — но не так обстоят дела с позициями, появляющимися в результате «синтеза» нескольких параметров, ибо один и тот же индивид занимает одновременно различные статусы в пределах различных параметров... Социальные структуры отражаются в разнообразных формах дифференциации, которые следует отличать друг от друга на аналитическом уровне [57].

По мнению Блау, характерный интерес социологии состоит в изучении структурных параметров.

Структурные параметры могут быть двух типов. «Номинальные параметры» действуют по горизонтали и распределяют население в зависимости от пола, расы или вероисповедания; «ранговые параметры» относятся к разряду иерархических, классифицирующих индивидов по ранговому принципу (т. е. определяющих, какой из социальных объектов занимает более высокое, а какой более низкое положение в социальной структуре), и включают, например, образование, доход и благосостояние. Одна из основных задач структурного анализа — изучить отношения, существующие между этими параметрами, связанными с кластерами (группами) взаимодействий. Формирование последних становится проблематичным в том случае, когда показатели параметра значительно отличаются друг от

друга. Таким образом, параметры могут использоваться для объяснения форм и уровней социальной дифференциации и интеграции. Блау выступает здесь с позиций «структурных детерминистов», «убежденных в том, что структуры объективных социальных позиций, занимаемых людьми, влияют на социальную жизнь гораздо больше, нежели культурные ценности и нормы» [58]. Его цель — объяснить различия, наблюдающиеся в структурных характеристиках обществ, а не исследовать факторы, определяющие установки, убеждения и мотивы индивидов. С точки зрения Блау, структурный анализ (в том виде, как понимает его он) может осуществляться без исследования общих характеристик обществ.

Однако Блау делает заявления, касающиеся этих характеристик. Так, он отмечает, что в небольших устных культурах родственные отношения представляют собой основную, координирующую структурную ось дифференциации и интеграции. Напротив, индустриальные общества отличаются «мультиформной гетерогенностью» или неоднородностью — сложным пересечением множества структурных параметров, порождающим различные формы ассоциаций, связей и кластеров взаимодействия. В наше время, добавляет он, в западных обществах наблюдаются процессы структурной консолидации — по сути дела, мы сталкиваемся здесь с версией надвигающейся угрозы «одномерного» социального порядка, предложенной Блау [59].

Опираясь на эти концепции, Блау пытается сформулировать так называемую дедуктивную теорию социальной структуры. Теория начинается с утверждений, включающих наипростейшие аналитические единицы (например, размер совокупностей или групп), на основании которых делаются более сложные обобщения. Некоторые из допущений, говорит Блау, принимаются исходя из «сугубо психологических принципов», и приводит в качестве примера вывод, согласно которому люди предпочитают общаться с себе подобными. Однако анализируемые структуральные свойства не выводятся напрямую из такого рода психологических теорем. Дедуктивная теория Блау представляет собой сложную систему, состоящую из нескольких дюжин обобщений, касающихся «структурных воздействий» — от поражающих своей банальностью («люди взаимодейству-

ют не только с членами своей группы, но и с индивидами, входящими в другие группы») через умеренно интересные, хотя и отчасти спорные («децентрализация власти в ассоциациях усиливает роль неформальных связей между административными уровнями») до дерзких, но, вероятно, в корне ошибочных («высокие темпы мобильности способствуют структурным изменениям»). «Теория», считает Блау, «является социологической в том смысле, что объясняет модели социальных отношений с позиций свойств социальной структуры, а не с точки зрения предположений, выводятся они из психологических принципов или нет. Сущность используемых логических формулировок придает объяснениям структурный характер» [60].

В некотором роде взгляды Блау уникальны, однако, по большей части они олицетворяют типичные устремления «структурной социологии». Он убежден и настойчиво выражает широко распространенное мнение, что социология может и должна быть четко отграничена от других, смежных с нею дисциплин, от психологии, в частности. Принудительно решается, что самобытность социологии определяется ее особым интересом не только к социальной структуре, но и к способам, посредством которых ограничивающие свойства структуры проявляются в отношении поведения индивидов. С точки зрения Блау, ни формулировка структурного анализа, ни структурное объяснение не нуждаются в упоминании «ценностей или норм». В этом смысле представления Блау, по-видимому, отличаются от взглядов Дюркгейма, во всем остальном, однако, они напоминают современный вариант его доктрины. Обсуждение недостатков, свойственных позиции Блау, позволяет нам вспомнить основные положения изложенной выше теории структурации и помогает заострить внимание на некоторых аспектах «структуры» и «структуральных свойств», как понимаем эти термины мы.

Представления Блау отличаются рядом интересных и поучительных особенностей. Он избегает функционализма и остерегается отождествлять структурный анализ с неким неясным влиянием, которое общество «как целое» оказывает на своих индивидуальных членов. Блау признает, что общества неоднородны — иными словами, он убежден, что одной из задач структурного исследования является демон-

страция конкретных уровней интеграции, обнаруживаемых внутри и между социальными группами. Тем не менее в глаза бросаются очевидные ограничения подобного понимания «структурной социологии».

Подход Блау путает требование различать влияние структуральных свойств и истолкование поведения с позиций психологии, с одной стороны, с утверждением, согласно которому структурные параметры могут быть определены независимо от «ценностей», «норм» или «культурных традиций», с другой. Предполагается, что предложенная им программа обнаружения «независимого влияния существующей в обществе структуры социальных позиций на социальные отношения» выполняется «независимо от культурных ценностей и психологических мотивов» [61]. Однако обращение к психологическим обобщениям не равнозначно формулировке с позиций культурных ценностей или значений. Последняя связана с типично герменевтической задачей «генерирования» социальных описаний, паразитирующих на общих представлениях о субъектах деятельности, способствовавших их появлению. Типичным заблуждением сторонников структурной социологии является тенденция смешивать два различных значения, в которых «объективная» сущность структуральных свойств может противопоставляться «субъективности». Структурные параметры, как определяет их Блау, «не субъективны» в том смысле, что не могут быть описаны в терминах индивидуальных утверждений. Однако они *не могут* быть «не субъективны», ибо не определяются вне контекста «культурных традиций», где этот термин относится к субъектам деятельности. Так, Блау относит категории родства к разряду «структурных». Однако они со всей очевидностью зависят от понятий и различий, используемых и устанавливаемых акторами. Сам термин «позиция», составляющий основу представлений Блау о структуре, безусловно, ссылается на концепции субъектов деятельности. Социальные позиции, как и все остальные аспекты «структурных параметров», существуют только благодаря тому, что акторы варьируют свое поведение, основанное на приписывании другим индивидам определенных отличительных свойств и качеств.

Представление о том, что исследование структурных параметров есть особая миссия социологической науки,

могло бы быть правдоподобным, имей место некоторые явные причинно-следственные особенности, связанные с ними и сводящие «социологическое объяснение» к «объяснению структурному». Однако предполагаемые причинные связи достаточно неопределенны — хотя допускается, что в каком-то смысле они функционируют вне пределов мотивов и соображений, которыми субъекты деятельности объясняют собственные поступки. Так, Блау заявляет, что расширение организации ведет к усилению внутренней дифференциации и, следовательно, к увеличению штата управленческого персонала, занятого в ней. Он полагает, что это отношение может быть постигнуто «без исследования мотивов индивидов, работающих в организации» [62]. Однако в том виде, в каком оно представлено Блау, это соотношение ошибочно. Утверждение можно было бы оправдать, если бы сделанные на его основе выводы позволяли теоретику предположить наличие определенных, типичных мотивов, поддающихся разъяснению в случае необходимости. Но Блау имеет в виду совершенно другое. Он заявляет, что на самом деле определение мотивов (и причин или намерений) *неуместно* и не связано с факторами, включенными в обобщение. Однако это совсем не так. Напротив, это совершенно необходимо с точки зрения его причинно-следственного пояснения. Увеличение штата управленцев является реакцией акторов на осознаваемые ими новые проблемы и трудности, возникшие в результате расширения организации [63].

В действительности «структурные» обобщения, предложенные Блау, могут оказаться при ближайшем рассмотрении *формулой, используемой акторами для получения обозначенных результатов*. Если мы не знаем ничего о том, что думают о своих поступках сами субъекты деятельности — ибо этот тип информации обособляется от анализа структурных воздействий, — мы не можем оценить вероятность того, что все происходит именно так, а не иначе. Те, кто управляет организациями, имеют о них собственные представления и могут быть весьма компетентны, прекрасно ориентируясь в теоретической литературе по проблеме. Рассмотрим предположение, согласно которому децентрализация власти в организациях усиливает неформальные связи между управленческими уровнями. Как и в случае с

утверждением относительно размеров и внутренней дифференциации, оно может допускать наличие преднамеренных последствий, появление которых обосновано с точки зрения субъектов деятельности, или, наоборот, результат может быть непреднамеренным. Для того чтобы объяснить происходящее, наблюдателю важно знать ситуацию в каждом конкретном случае. По крайней мере, некоторые из субъектов деятельности могут действовать в свете обобщения, предложенного Блау. Вполне может быть, что политика децентрализации проводится специально во имя укрепления определенного рода неформальных связей между различными уровнями управления.

Все вышесказанное указывает на то, что «структурный подход» к социальным наукам невозможно отделить от исследования механизмов социального воспроизводства. Конечно, нет никаких сомнений в том, что общество не является порождением индивидуальных акторов, а структуральные свойства социальных систем выдерживают испытание временем и выходят за пределы жизни отдельных индивидов. Однако структура, структуральные свойства или «структурные параметры» существуют только благодаря целостности и непрерывности социального воспроизводства во времени и пространстве. Непрерывность же эта проявляется, в свою очередь, и через рефлексивно контролируемые действия (с диапазоном преднамеренных и непреднамеренных последствий) находящихся в определенных условиях акторов. Повторим еще раз: *речь идет не об особой категории «структурного пояснения»*, а об интерпретации способов, посредством которых различные виды ограничений влияют на человеческую деятельность. И здесь в понятии «влияние» нет ничего таинственного. Возьмем для примера утверждение о том, что высокие темпы мобильности активизируют структурные изменения. Вероятно, можно предположить, что высокие темпы мобильности, равно как и вызываемые ими изменения, носят непредумышленный характер, хотя может быть и так, что увеличение мобильности является, например, следствием специально проводимой политики в области образования, а посему происходящее есть часть рефлексивно контролируемого процесса. Допустим, однако, что в данном случае мобильность носит непреднамеренный характер, что речь идет о восходящей про-

фессиональной мобильности женщин, а порождаемым ею «структурным изменением» является более высокий (или более низкий) показатель количества разводов. Мы можем исследовать существующие здесь причинно-следственные связи, но только в том случае, если получим информацию о мотивах и соображениях участвующих в этом процессе индивидов — жен, мужей и т. п. Можно предположить, что женщины, сделавшие успешную карьеру, проводят дома меньше времени, чем в других обстоятельствах, что (неумышленно) ведет к обострению супружеских отношений; что они рассматривают брак как нечто, уступающее по степени важности успеху на работе; что их мужья возмущены их успехом и т. п.; или, что для различных индивидов возможны разные комбинации этих вариантов.

Альтернатива?

Методологический индивидуализм

Долгое время кровным врагом концепций особой «структурной версии» социологии остается методологический индивидуализм. Камнем преткновения является здесь методологическое противостояние по проблеме дуализма субъекта и социального объекта, характерное для онтологии социальных наук. Хотя Макс Вебер зачастую признается «приверженцем структурного анализа в социологии», он достаточно четко и недвусмысленно высказывает собственные предпочтения. В письме, написанном незадолго до смерти, Вебер отмечает: «если я и стал социологом, ... то, главным образом, для того чтобы изгнать дух коллективных представлений, все еще витающий среди нас. Иными словами, социология может исходить только из действий одного или нескольких самостоятельных индивидов, а потому должна жестко придерживаться индивидуалистических методов» [64]. В работе «Хозяйство и общество» Вебер пишет, что человеческое действие «существует исключительно как поведение одного или более *индивидов*» [65]. Бурная и затянувшаяся полемика вокруг заявлений Вебера и других «методологических индивидуалистов» не затемняет очевидную разницу во взглядах и позициях, существующую между ними и сторонниками «структурного подхода к социологии». Детали могут показаться сложными, однако основная идея

достаточно проста. Приверженцы методологического индивидуализма согласны с точкой зрения, изложенной нами выше: попытки представить «структурное объяснение» тщетны и даже опасны.

Остановимся на одной из наиболее влиятельных оценок проблем, спровоцированных различными версиями методологического индивидуализма. Лукес обсуждает и пытается «обезвредить» каждое из основных, по его мнению, положений методологического индивидуализма [66]. Теоретические системы, оправдывающие и защищающие методологический индивидуализм, содержат один или более из ниже перечисленных тезисов.

- (1) «Банальный социальный атомизм», утверждающий самоочевидность того факта, что социальные явления могут быть объяснены исключительно посредством анализа поведения индивидов. Так, Хайек пишет: «Нет другого пути к пониманию социальных феноменов, кроме как через наше понимание индивидуальных действий, обращенных на других людей и исходящих из их ожидаемого поведения» [67]* (формулировка, близкая веберовскому определению понятия «социальное действие»).
- (2) Представление о том, что все утверждения, касающиеся социальных явлений, — подобные описанию структурных параметров, предложенному Блау, — могут быть без какого-либо ущерба для содержания сведены к описанию качеств индивидов. Эта точка зрения отрицает, что обсуждение «структуры», представленное Блау, имеет какой-либо смысл; он просто собирает в единое целое качества индивидов.
- (3) Утверждение, согласно которому реально существуют только индивиды. Так, некоторые авторы полагают, что любые концепции, описывающие свойства общностей или социальных систем (и здесь можно еще раз сослаться на «структурные параметры»), представляют собой абстрактные модели — умозрительные сооружения теоретиков, — в то время как понятие «индивид» — нет.
- (4) Голословное утверждение, согласно которому в социальных науках нет и не может быть законов, за исклю-

* Хайек Ф.А. Индивидуализм и экономический порядок. М.: Изограф, 2000. С. 27.

чением тех случаев, когда речь идет о законах психологических диспозиций личностей [68].

Все эти элементы обнаруживаются в часто цитируемом утверждении, в котором Уоткинс (Watkins) говорит о так называемом «принципе методологического индивидуализма»:

Согласно этому принципу, исходными и основными слагающими социального мира являются отдельные индивиды, действующие более или менее соответственно в свете собственных диспозиций и понимания ситуации. Каждая сложная социальная ситуация, общественное образование или событие являются результатами особого «сочетания» индивидов, их желаний и намерений, положений, мнений, материальных ресурсов и окружающей среды. Одни крупномасштабные социальные явления (скажем, инфляцию) можно частично объяснить другими крупномасштабными явлениями (например, полной занятостью); однако окончательные выводы могут быть сделаны лишь на основании представлений о диспозициях, убеждениях, ресурсах и взаимоотношениях отдельных индивидов. (Последние могут оставаться анонимными, и им приписываются лишь типичные диспозиции и т. п.) [69]

Батарей доводов, предложенная Лукесом с целью «разоружения» методологического индивидуализма, наступают по двум фронтам. При ближайшем рассмотрении ни одно из утверждений, упомянутых в четырех категориях, не выглядит хоть сколько-нибудь убедительным. Поскольку первое банально (то есть заведомо правильно), оно вообще не имеет никакого значения. То, что «общество состоит из людей», есть «аналитически — в силу смыслового значения — верное», «банальное суждение о мире» [70]. Очевидна и ошибочность заявлений, приведенных во втором, третьем и четвертом пунктах. Тот факт, что описание или анализ родственных отношений, таких, например, как «родственные браки», невозможны без обращения к познавательным способностям субъектов деятельности, вовсе не означает, что эти отношения могут быть представлены единственно посредством и через утверждения этих субъектов. Если пункт (3) подразумевает, что непосредственному наблюдению поддаются только индивиды, то это убеждение

ошибочно — хотя в любом случае у нас нет никаких оснований поддерживать свойственное бихевиоризму утверждение, согласно которому реально только то, что может быть подвергнуто объективному наблюдению. У нас может не быть возможности наблюдать элементы, которые, говоря о структурных параметрах, имел в виду Блау, однако, мы, безусловно, можем наблюдать социальные явления — такие, как формирование и осуществление социальных взаимодействий — в ситуациях соприсутствия. Что же касается пункта под номером (4), то ранее мы уже писали о том, что общественные науки не страдают от недостатка разного рода обобщений, хотя последние и не имеют логической формы, характерной для универсальных законов естественных наук.

Вместе с тем, Лукес признает, что приводимые им аргументы не «обезоруживают» методологический индивидуализм полностью. Они даже не подрывают азов его устойчивости, связанной с объяснительной базой. Наиболее ценная идея, обнаруживаемая в высказываниях Уоткинса и, возможно, Хайека, заключается в заявлении, согласно которому «окончательные» выводы о социальных явлениях должны основываться на представлениях о «диспозициях, убеждениях, ресурсах и взаимоотношениях отдельных индивидов». Именно здесь, полагает Лукес, скрыта потенциальная взрывоопасность ложных положений методологического индивидуализма: остается лишь искусно «удалить предохранитель». Что представляют собой «диспозиции» и т. п. индивидов? И что есть «объяснение»? Отвечая на второй вопрос, Лукес достаточно легко доказывает, что многие поборники методологического индивидуализма имеют в виду чрезмерно узкую и ограниченную концепцию объяснения (то же самое можно сказать о Блау и большинстве других приверженцев структурной социологии). Объяснить — значит ответить на вопрос «почему», что зачастую предполагает превращение (путем точного описания) конкретного социального явления в нечто простое и понятное [71]. В данном случае объяснение действует на основе или исходит из неизбежно герменевтической сущности общественных наук. Важно подчеркнуть, что «объяснение» присутствует в контексте любой социальной деятельности — будь то вопросы неискушенных акторов или исследования экспертов-социологов. И все же мы обратимся к более уз-

кому значению понятия «объяснение», связанному с формулировкой не только общих правил, но причинно-следственных обобщений — обобщений, которые не просто провозглашают, что между двумя категориями или классами социальных явлений существует некое абстрактное отношение, но и устанавливают имеющиеся причинно-следственные связи.

Как эти причинно-следственные связи соотносятся с индивидами? Согласно Лукесу, некоторые версии методологического индивидуализма ссылаются в своих объяснениях на психологические особенности организма или органически предустановленные потребности как качества индивидов. Однако подобные объяснения оказываются совершенно неправдоподобными. Никто не смог представить никаких оснований, сводящих социальные явления к органическим свойствам. Поэтому эти формы методологического индивидуализма являются в лучшем случае заявлениями гипотетического толка; они не связаны с данными исследований, которыми оперируют обществоведы. В других вариантах методологического индивидуализма свойства, приписываемые индивидам и используемые в объяснениях, не исключают возможности структурного анализа, или на них распространяются опровержения, представленные по пункту (3), и эти свойства так или иначе содержат социальные (структурные) характеристики. Все это нейтрализует методологический индивидуализм. Те, кто защищают и поддерживают редукционизм, обращаясь к физиологическим свойствам организма, не способны придать своим утверждениям значимости с точки зрения реальной практики общественных наук, другие же не могут назвать качества индивидов, которые не были бы безнадежно «заражены» социальным.

На этом Лукес и ставит точку. Мы же, не будучи уверены, что это правильно, формулируем проблему иначе. Однако прежде чем приступить к обсуждению вопросов, оставленных Лукесом без внимания, будет полезно обратиться к ряду аналогичных проблем, порожденных полемикой между Томпсоном и Андерсоном (Anderson) относительно особенностей марксизма [72]. Долгое время Томпсон сомневался в истинности структурных представлений, хотя и не отвергал их полностью, и последовательно подчеркивал

значимость исследования структуры, характерного своеобразия и многообразия человеческой деятельности. Так, описывая представления, лежащие в основе проведенного им анализа развития классового общества в Англии XVIII–XIX вв., он отмечает, что «класс определяется людьми и их образом жизни — тем, как они проживают собственную историю, — в конечном счете, это и есть его единственное определение» [73]. В ходе продолжительных дебатов, оспаривающих взгляды Альтюссера и его последователей — что побудило Андерсона написать ответ длиной в книгу, — Томпсон детально поясняет смысл его позиции. Мы не намерены обсуждать дискуссию в целом, а остановимся лишь на некоторых ее аспектах, наиболее существенных для наших целей.

Томпсон совершенно прав [74], критикуя Альтюссера за неадекватную оценку человеческой деятельности и детерминистическую концепцию структуры. Люди рассматриваются не как осведомленные и способные познавать субъекты деятельности, но исключительно как «опора», средство поддержки того или иного способа производства. Описывая подобное «уничтожение неискушенных акторов» (терминология наша), Томпсон явно утрирует. Альтюссер и большинство других приверженцев структурализма или функционализма «исходят из одной и той же «латентной антропологии», неявных представлений о «Человеке», согласно которым все мужчины и женщины (кроме них самих) *убийственно глупы* и ничтожны» [75]. Социальную жизнь, или человеческую историю, заявляет Томпсон, следует рассматривать как «неуправляемую человеческую практику». Иными словами, люди ведут себя целеустремленно и осознанно, но не могут предвидеть или управлять результатами собственной деятельности. Для того чтобы понять, как это происходит, обратимся к термину, который, пишет Томпсон, упускается из виду Альтюссером: речь идет о том, что Томпсон называет «человеческим опытом» [76]. Опыт есть связь между «структурой» и «процессом», подлинный материал социального или исторического анализа. Томпсон подчеркивает тот факт, что подобная точка зрения не ведет к методологическому индивидуализму. В действительности он обнаруживает определенное сходство между методологическим индивидуализмом и марксизмом в изложении Аль-

тюдссера. Ибо Альтюссер убежден, что «структуры» существуют только в теории, а не в действительности; следовательно, его позиция имеет сходство с номинализмом, присущим методологическим индивидуалистам. Однако в конечном счете не так-то легко определить, насколько отличаются от методологического индивидуализма воззрения самого Томпсона. Некоторые отрывки его работы, где автор описывает собственные теоретические установки и убеждения, напоминают концепции, сродни описанным выше представлениям Уоткинса. Так, возвращаясь к понятию класса, он настойчиво утверждает: «Когда мы говорим о *классе*, то представляем себе не жестко отграниченную совокупность людей, имеющих общие интересы, социальный опыт, традиции и систему ценностей, *предрасположенных вести себя* как класс и определять собственную классовую позицию по отношению к другим группам людей, проявляющуюся в их действиях и представлениях» [77].

Во взглядах Томпсона не мало привлекательного, однако Андерсон легко обнаруживает в них ряд недостатков и упущений. Когда Томпсон пишет о «людях» и превосходстве «опыта», как следует понимать эти — на вид очевидные — термины? Выделяя их, Томпсон намеревается подчеркнуть значимость человеческой деятельности в процессе сотворения истории. Однако несмотря на изобилие исторических примеров, предлагаемых им с целью критики позиции Альтюссера, понятие «деятельность» так и остается необъясненным. Хорошо известно, что «опыт» — и мы знаем это из попыток В. Дильтея объяснить содержание термина *Erlebnis* (переживание) — понятие двусмысленное и неопределенное. Так, например, одно из значений этого слова напрямую связано с эмпиризмом, где опыт представляется как пассивная регистрация событий, происходящих в мире, нечто, весьма далекое от активного содержания термина, подчеркиваемого Томпсоном. Более того, Томпсон, как никто, эффективно демонстрирует отношение между действием и структурой. Это очевидно даже из его основной работы «*Становление рабочего класса в Англии*». Книга начинается со знаменитого высказывания: «Рабочий класс не возник подобно солнцу, встающему в определенное время суток. Он присутствовал при собственном рождении», и его формирование «обязано не только деятельности, но и со-

зданию соответствующих условий» [78]. Вместе с тем, несмотря на одобрение, справедливо заслуженное этой работой, Андерсон указывает на то, что она, вообще говоря, не разрешает поставленные вопросы.

Ибо если перед нами стояла задача обосновать требование совместного определения деятельности и необходимости, нам пришлось бы, по меньшей мере, провести объединенное исследование процессов объективного увеличения и изменения рабочей силы, вызванных промышленной революцией, и субъективного зарождения классовой культуры в ответ на это... (Но) появление в Англии промышленного капитализма является скорее сенсационным фоном книги, нежели непосредственным объектом анализа... Процесс накопления капитала в период между 1790 и 1830 гг., отличающийся неравномерностью распространения во времени и пространстве, неизбежно оставил свой след и предопределил состав и характер зарождающегося английского пролетариата. Вместе с тем, все это не нашло отражения в авторской концепции его формирования [79].

Полемика между Томпсоном и Андерсоном не подводит никаких итогов, однако, ее стоит поставить в один ряд с более абстрактными теоретическими дебатами вокруг методологического индивидуализма. Последние почти полностью исчерпали себя, однако, живость дискуссии Томпсона и Андерсона наглядно демонстрирует, что проблема не утратила своей актуальности. По крайней мере в одном, весьма важном смысле. Любое научное исследование в области социальных наук или истории затрагивает проблему соотношения действия и структуры, явно или неявно отслеживает совпадение или разобщение преднамеренных и непреднамеренных последствий человеческой деятельности и то, как они влияют на судьбы людей. Никакое манипулирование абстрактными понятиями не способно заменить непосредственное исследование подобных проблем в условиях реального взаимодействия. Ибо превращение влияний бесконечно и нет никаких оснований полагать, что структура «определяет» действие или наоборот. Характер ограничений, которым подвергаются люди, цели, на достижение которых они направляют имеющиеся у них возможности, а

также обнаруживающиеся у них познавательные способности, заметно меняются по ходу истории.

Четкость концептуальных позиций может дать ответ на вопрос, как лучше подойти к этим проблемам. Аргументация Томпсона близка рассуждениям Уоткинса и других в том, что оба автора полагаются и опираются в своих доводах на интуитивную, не имеющую под собой теоретической основы концепцию «индивида» или субъекта деятельности. Недоверчивое отношение к стремлениям «структурной социологии», представленной в форме, предложенной Блау или разработанной Альтюссером, вполне обоснованно. Методологический индивидуализм не безопасен, как предполагает Лукес, в отношении целей «структурных социологов». Методологические индивидуалисты заблуждаются постольку, поскольку заявляют, что социальные категории могут быть сведены к описаниям, сделанным с позиций индивидуальных утверждений. Однако они правы, предполагая, что «структурная социология» пренебрегает или, по меньшей мере, радикально недооценивает способность людей познавать; кроме того, они совершенно справедливо настаивают на том, что «социальные силы» есть не более и не менее, чем соединения преднамеренных или непреднамеренных последствий человеческих действий, предпринятых в определенных контекстах.

«Структурная социология» и методологический индивидуализм не являются альтернативами, такими, что, отрицая одну, мы принимаем другую. В некоторых отношениях, пишет Лукес, полемика между ними достаточно бессодержательна. Суть состоит в том, чтобы избавившись от одних терминов, конкретизировать или детально разработать другие, развив их до такого уровня, которого не удавалось достичь ранее. Содержание понятия «индивид» нельзя считать самоочевидным. Проблема состоит не в сравнении утверждений, а в определении, что же представляют собой субъекты деятельности — нечто подобное мы пытались проделать в отношении основных понятий теории структуры. Это предполагает отказ от уравнивания структуры с ограничением. Отношения, существующие между «разблокированием» (предоставлением возможности) и ограничением, могут быть сравнительно легко представлены на логическом уровне, отправной точкой которого является понятие

дуальности структуры. История не является «неуправляемой человеческой практикой». Это ограниченные во времени человеческие практики и установленные порядки, формирующие и формируемые структуральными свойствами, в рамках которых заключены и объединены различные формы власти — не слишком изящно, но достаточно точно выраженное определение.

Следующий вопрос, возникающий в рамках дебатов по поводу методологического индивидуализма, звучит следующим образом: являются ли акторами коллективные общности? Что означает, когда мы говорим, например: «Правительство решило проводить политику X?» или «Перед лицом угрозы восстания правительство приняло быстрые и решительные меры?» Здесь необходимо выделить различные разграничения. В предыдущей главе мы упоминали о том, что описания деятельности не следует путать с обозначением деятельности как таковой. Ни описание деятельности, ни оценки взаимодействия невозможно представить исключительно в терминах индивидуальных утверждений. Но только индивиды, существа, обладающие телесным, материальным бытием, являются субъектами деятельности. Если коллективы или группы не есть субъекты деятельности, то почему мы иногда говорим о них так, будто они являются таковыми, как в приведенных выше примерах? Мы склонны делать это, когда сталкиваемся с очевидным рефлексивным мониторингом условий социального воспроизводства, ассоциирующимся главным образом с организациями, хотя и не только с ними. «Правительство решило проводить политику X» — краткое описание решений, принятых индивидами на консультативной основе, политика, обусловленная и тесно связанная с нормами. Решения, принимаемые правительствами или другими организациями, могут не быть результатом, устраивающим всех, или наиболее благоприятным, с точки зрения любого из тех, кто участвовал в их принятии, исходом дела. В этих условиях стоит подчеркнуть, что участники «принимают решение» (индивидуально) «выбрать» (сообща) определенный образ действий. Иными словами, члены правительства могут согласиться следовать достигнутым договоренностям, которые противоречат их взглядам, или против которых они голосовали, но которые, вме-

сте с тем, нашли поддержку большинства. Важно понять, что высказывания типа «Правительство решило...» или «Правительство поступило...» есть краткие формулировки, ибо в некоторых ситуациях может иметь значение, какие индивиды явились основными инициаторами или исполнителями любых принятых (или не принятых) решений и последовавшей за ними политики.

Комментарии

1. CPST, с. 222–225.
2. CCHM, гл. 8.
3. Там же, с. 45–46. Идеи, представленные нами в настоящей работе, незначительно отличаются от более ранних взглядов на проблему. Другие нюансы, на которые мы ссылаемся здесь, подробно изложены на с. 157–164 и 166–169.
4. В предшествующих параграфах мы вплотную следуем расуждениям Эберхарда. См.: Wolfram Eberhard, *Conquerors and Rulers* (Leiden: Brill, 1965), с. 9 и далее.
5. Marshall G.S. Hodgson, «The interrelations of societies in history», *Comparative Studies in Society and History*, vol. 5, 1962–1963, с. 233.
6. H.A. Gailey, *A History of Africa, 1800 to the Present*, 2 vols. (New York: Houghton-Mifflin, 1970–1972), 2 vols.; René Grousset, *The Empire of the Steppes* (New Brunswick: Rutgers University Press, 1970).
7. T. Carlstein, «The sociology of structuration in time and space: a time-geographic assessment of Giddens's theory», *Swedish Geographical Yearbook* (Lund: Lund University Press, 1981); Derek Layder, *Structure, Interaction and Social Theory* (London: Routledge, 1981); J.B. Thompson, *Critical Hermeneutics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981); Margaret S. Archer, «Morphogenesis versus structuration: on combining structure and action», *British Journal of Sociology*, vol. 33, 1982.
8. Carlstein, «The sociology of structuration in time and space», с. 52–53. См. также John Thompson, *Critical Hermeneutics* (Cambridge: Cambridge University Press, 1981), с. 143–144.
9. Roy Bhaskar, *The Possibility of Naturalism* (Brighton: Harvester, 1979), с. 42.

10. Emile Durkheim, *The Rules of Sociological Method* (London: Macmillan, 1982), с. 39–40.
11. Там же, с. 50 и 52.
12. Там же, с. 2–3.
13. Karl Marx, *Capital* (London: Lawrence & Wishart, 1970), стр. 72. Интересный и поучительный анализ этого вопроса изложен в Gillian Rose, *The Melancholy Science* (London: Macmillan, 1978), глава 3.
14. Karl Marx, *Grundrisse* (Harmondsworth: Penguin, 1976), с. 157.
15. См. *СРСТ*, гл. 5.
16. Было подготовлено для написания *ССНМ*, однако, не вошло в окончательный вариант работы.
17. Данная классификация оставляет возможность включения других типов общественного устройства — например, социалистических государств в противоположность капиталистическим, равно как и других форм социетальной организации, которые, возможно, появятся в будущем.
18. Эта точка зрения отражена в *ССНМ*, с. 164. Утверждение, согласно которому «город являет собой ключевой момент механизмов системной интеграции», сформулировано, на наш взгляд, не совсем корректно. Более того, мы не считаем, что отношения город — провинция являются унитарными или единообразными; рассматриваемые сквозь призму и в контексте совокупности различных обществ они предстают перед нами как комплексные и гетерогенные.
19. Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System* (New York: Academic Press, 1974); для сравнения см. Шпенглера: «Разве не смешно противопоставлять какое-то «Новое время», охватывающее несколько столетий и притом локализованное почти исключительно в Западной Европе, «Древнему миру, который охватывает столько же тысячелетий и к которому сверх того присчитывают еще в виде прибавления всю массу догреческих культур, не пытаясь глубже расчленить их на отдельные части?» [Цит. по: Шпенглер О. Закат Европы. Минск: Харвест, М.: АСТ, 2000. Ср. 26]. Oswald Spengler, *The Decline of the West* (London: Allen & Unwin, 1961), с. 38.
20. Для сравнения см. ссылку 2.

21. Для сравнения см. наше эссе «The nation-state and violence».
22. CPST, с. 104–105.
23. Марх, *Capital*, с. 110.
24. Там же, с. 110 и 103.
25. Там же, с. 168.
26. Ранние варианты некоторых из этих идей содержатся в CSAS, глава 6.
27. Марх, *Capital*, vol. 1, с. 337.
28. Там же, с. 338.
29. Там же, с. 356.
30. Марх, *Capital*, vol. 1, с. 111.
31. CPST, с. 141ff.
32. Claude Lévi-Strauss, *Structural Anthropology* (London: Allen Lane, 1968), с. 365–366.
33. Claude Lévi-Strauss, *The Savage Mind* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1966), с. 93.
34. Этот вопрос является основной темой работы «Between Capitalism and Socialism».
35. ССНМ, гл. 7, 8 и 9. Мы также оставляем без внимания важный вопрос (детально рассмотренный в ССНМ) взаимоотношений, существующих между капитализмом, государством и делением общества на классы.
36. Подробнее см. *Between Capitalism and Socialism*.
37. См.: John H. Kautsky, *The Politics of Aristocratic Empires* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1982): «Если класс рассматривается нами как группирование на основе противостояния другому классу, тогда аристократия и крестьянство вообще не являются классами» (с. 75).
38. Там же, стр. 5–6. См. также Henri J.M. Claessen and Peter Skalnik, *The Early State* (The Hague: Mouton, 1978).
39. Edward Shils, *Tradition* (London: Faber & Faber, 1981), с. 280.
40. Arthur Waley, *Three ways of Thought in Ancient China* (London: Allen & Unwin, 1939), с. 38. Подробнее см.: J.G. A. Pocock, «The origins of the study of the past», *Comparative Studies in Society and History*, vol. 4, 1961–1962.
41. Claude Lévi-Strauss, *Totemism* (London: Merlin, 1964), с. 98.
42. Там же. Леви-Стросс пишет: «Язык Дакота не располагает специальным термином для обозначения времени,

- однако, может передать содержание этого понятия посредством ряда способов отображения состояния протяженности. В действительности дакота считают, что время создает протяженность, в которой отсутствует какая-либо система мер: оно представляет собой бесконечное и ничем не ограниченное «свободное благо» (с. 99). Интересные наблюдения на этот счет представлены в: Birgit Schinholzer, *Die Auflosung des Geschichtsbegriffs in Strukturalismus*, диссертация на соискание докторской степени (Hamburg, 1973).
43. E.P. Thompson, *The Poverty of Theory* (London: Merlin, 1978), с. 86 и 291.
 44. G. Vico, *The New Science* (Ithaca: Cornell University Press, 1968), с. 382, § 1108.
 45. Thompson, *The Poverty of Theory*, с. 86.
 46. Alain Touraine, *The Self Production of Society* (Chicago: University of Chicago Press, 1977), с. 238.
 47. Herbert Blumer, «Collective behaviour», in Alfred M. Lee, *Principles of Sociology* (New York: Barnes & Noble, 1951), с. 199.
 48. Norman Cohn, «Medieval millenarianism: its bearing upon the comparative study of millenarian movements», in Silvia L. Trapp, *Millenial Dreams in Action* (The Hague: Mouton, 1962), с. 31.
 49. Для сравнения см.: J.A. Banks, *The Sociology of Social Movements* (London: Macmillan, 1972), стр. 20–21 и далее.
 50. André Gorz, *Farewell to the Working Class* (London: Pluto, 1982).
 51. Для сравнения см. Raymond Boudon, *The Uses of Structuralism* (London: Heinemann, 1971). Будон рассматривает несколько отличных друг от друга вариантов использования этого понятия. Абсолютно противоположные взгляды представлены в: Peter M. Blau, *Approaches to the Study of Social Structure* (London: Collier-Macmillan, 1975).
 52. Walter L. Wallace, «Structure and action in the theories of Coleman and Parsons», in Blau, *Approaches to the Study of Social Structure*, с. 121.
 53. Bruce H. Mayhew, «Structuralism versus individualism», Parts I and 2, *Social Forces*, vol. 59, 1980, с. 349.
 54. Там же, с. 348.
 55. Peter M. Blau, *Inequality and Heterogeneity* (New York: Free Press, 1977); «Structural effects», *American Sociological*

review, vol. 25, 1960; «Parameters of social structure», in Blau, *Approaches to the Study of Social Structure*; «A macrosociological theory of social structure», *American Journal of Sociology*, vol. 83, 1977.

56. *Inequality and Heterogeneity*, с. IX.
57. «Parameters of social structure», с. 221.
58. *Inequality and Heterogeneity*, с. X.
59. «Parameters of social structure», стр. 252–3. «Угрозу создает характерное для современного общества главенствующее положение влиятельных организаций, таких как Пентагон, Белый дом и гигантские промышленные конгломераты. Тенденция развивается в направлении усиления концентрации экономических и людских ресурсов и власти, получаемой благодаря этим ресурсам крупными организациями и их высшим руководством, что ведет к возрастающей консолидации основных ресурсов и форм власти...»
60. *Inequality and Heterogeneity*, с. 246.
61. «A macrosociological theory of social structure», с. 28.
62. Peter M. Blau, «A formal theory of differentiation in organizations», *American Sociology Review*, vol. 35, 1970, с. 203.
63. Эти рассуждения приведены в Stephen P. Turner, «Blau's theory of differentiation: is it explanatory?», *Sociological Quarterly*, vol. 18, 1977. Некоторые из этих вопросов поднимаются Блау в статье «Comments on the prospects for a nomothetic theory of social structure», *Journal for the Theory of Social Behaviour*, vol. 13, 1983. См. также выдающуюся работу Maughew, опубликованную в том же издании, «Causality, historical particularism and other errors in sociological discourse». Вклад Блау продолжает демонстрировать недостатки, обозначенные нами. (1) Элементы герменевтики, присутствующие в формулировке концепций социального анализа подавляются в пользу той точки зрения, что «целью социологии является изучение влияния «социального окружения» на «поддающиеся наблюдению тенденции в поведении людей» (с. 268). (2) Упоминания и ссылки на мотивы, основания и намерения субъектов социального действия упорно приравниваются к «психологии» и относятся к области, лежащей вне сферы интересов «социологии». (3) Версия несостоятельной естественнонаучной философии, в которой «объяснение» неизбежно связано с «номотетически-дедуктивным тео-

ретизированием» (с. 265), принимается безоговорочно. (4) Не рассматривается возможность того, что даже если рассматриваемая в подобном ключе естественнонаучная философия и является приемлемой, характер «законов», имеющих место в социальной науке, может существенно отличаться от законов природы. (5) В целом вся концепция строится на хорошо известном, но ошибочном утверждении, согласно которому социальная наука (в отличие от естественной) находится на начальной стадии своего развития. Блау соглашается, что «в социологии нет детерминистских законов», «по крайней мере до сих пор» они неизвестны (с. 266). Однако он убежден в том, что рано или поздно такие законы будут обнаружены — мы не можем сбрасывать со счетов эту возможность, поскольку «номотетическая теория социальной структуры, несомненно, находится до сих пор в зачаточном состоянии» (с. 269).

64. Цитируется по: Wolfgang Mommsen, «Max Weber's political sociology and his philosophy of world history», *International Social Science Journal*, vol. 17, 1965, с. 25. Конечно, вопрос о том, насколько Вебер руководствовался в своих трудах этим принципом, остается спорным.
65. Max Weber, *Economy and Society* (Berkeley: University of California Press, 1978), vol. 1, с. 13.
66. Steven Lukes, «Methodological individualism reconsidered», in *Essays in Social Theory* (London: Macmillan, 1977).
67. F.A. Hayek, *Individualism and Economic Order* (Chicago: University of Chicago Press, 1949), с. 6.
68. Лукес также определяет содержание понятия методологического индивидуализма, доктрины «социального индивидуализма», которая «(весьма неявно) утверждает, что общество имеет своей конечной целью благо индивидов». Lukes, «Methodological individualism reconsidered», с. 181–182.
69. J.W.N. Watkins, «Historical explanation in the social sciences», in P. Gardiner, *Theories of History* (Glencoe: Free Press, 1959).
70. Lukes, «Methodological individualism reconsidered», с. 178.
71. Для сравнения см. *NRSM*, гл. 4.
72. E.P. Thompson, *The Poverty of Theory* (London: Merlin, 1978); Perry Anderson, *Arguments within English Marxism* (London: Verso, 1980).

73. Е.Р. Thompson, *The Making of the English Working Class* (Harmondsworth: Penguin, 1968), с. 40.
74. *СПСТ*, гл. 1 и далее.
75. Thompson, *The Poverty of Theory*, с. 148.
76. Там же, с. 30.
77. Там же, с. 295. Оригинал на итальянском языке.
78. Thompson, *The Making of the English Working Class*, с. 9.
79. Anderson, *Arguments within English Marxism*, с. 32–34.

Изменение, эволюция и власть

В этой главе мы намерены проанализировать *противоречия*, свойственные целому ряду теорий социальных изменений, в частности, тем из них, что относятся к разряду эволюционных, и привести доводы в пользу *воссоздания* представлений о власти как о неотъемлемом элементе устройства социальной жизни. Деконструкция теорий социальных изменений означает отрицание того факта, что некоторые из наиболее заветных и честолюбивых замыслов социальной теории — и «исторического материализма» в том числе — могут быть реализованы. Речь идет не о сравнительно слабых и неубедительных заявлениях о том, что эти теории бездоказательны и не имеют под собой никаких оснований. Суть разногласий гораздо серьезней: мы полагаем, что они заблуждаются относительно возможных причин социальных сдвигов. Деконструкция теорий социальных изменений может осуществляться по трем направлениям анализа, расположенным в убывающем — по степени обобщения — порядке:

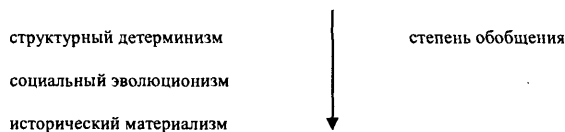


Рис. 19

В большинстве своем социальные науки — как академическая социология, так и марксизм — исходят из предположения о возможности построения теоретических моделей

структурных причинно-следственных связей, объясняющих детерминированность социального действия в целом [1]*. Большинство версий структурного детерминизма строится на основе тезиса о том, что общественные науки способны обнаружить универсальные законы, определяющие последствия структурных ограничений. Конкретный случай или тип поведения рассматриваются в качестве примера общей закономерности, граничные условия действия которой установлены. «Детерминированность» тождественна здесь особой форме детерминизма. Полемика вокруг модели «подведения под общее» (так называемой номологической модели) дает детальные представления о проблеме; не углубляясь в предмет, скажем лишь, что подобная точка зрения несовместима, на наш взгляд, с описанным выше характером обобщений в социальных науках (см. также с. 343–347) [2]. Отрицать существование общего основания структурной детерминации, значит занимать позицию, соответствующую большинству положений нашей работы [3].

Некоторые теоретические модели, используемые для осмысления общих механизмов социальных изменений, исходят из вышеизложенных представлений. Так, например, делаются выводы о существовании универсальных законов, управляющих процессами социальных изменений, вокруг которых должны разрабатываться соответствующие теории. Вместе с тем, история знает немало попыток объяснить изменения, где отсутствие законов компенсируется определением ряда ограниченных принципов детерминации изменений, используемых в своего рода универсальной манере. Наиболее известными среди них, безусловно, являются эволюционные концепции.

Понятие «эволюционизма» не поддается простому определению, что обусловлено существованием множества различных позиций и точек зрения на предмет, а также ростом и спадом популярности эволюционных концепций в социальных науках. Вторая половина XIX в. явилась кульминацией эволюционизма в социальной теории, что в значительной мере объяснялось достижениями и открытиями Ч. Дарвина в области биологии [4]. Впоследствии эволюционные представления стали выходить из моды, что было особенно заметно в антропологии, находившейся под влияни-

* См. комментарии на с. 276–283.

ем тех или иных интерпретаций «культурного релятивизма». Вместе с тем они сумели сохранить своих сторонников и среди антропологов, а в археологии эволюционизм по-прежнему занимал лидирующие позиции. В англосаксонском мире подъем функционализма, представителями которого в антропологии были Малиновский (Malinowski) и Радклифф-Браун (Radcliffe-Brown), а в социологии — Мертон и Парсонс, стал причиной забвения эволюционной теории, последующее возрождение которой связывается, тем не менее, с именем Парсонса [5].

Эволюционизм и социальная теория

Большинство эволюционных концепций представляет собой примитивные примеры «эндогенных» или «разворачиваемых» моделей изменений, критикуемых нами ранее. В действительности эти разновидности эволюционной теории зачастую тесно связаны с функционализмом — замечательным примером чему являются работы О. Конта, а посему граница между функционализмом и эволюционизмом, обозначенная Малиновским и др., должна рассматриваться скорее как частный случай, нежели естественное положение дел. Связь между ними становится очевидной благодаря соотношению с органическим миром. Растение или организм заключает в себе траекторию развития, «развертку» скрытых возможностей. Изменение понимается здесь как нечто, управляемое механизмами этой развертки, а общества рассматриваются как четко ограниченные союзы. Внешние условия служат для усиления или сдерживания процессов развития, фактически являясь фоном, на котором функционируют механизмы изменений. Некоторые эволюционные модели приписывают изменениям постепенный, последовательный характер, свойственный им по сути. Так, Дюркгейм утверждал, что политические революции представляют собой возбуждения на поверхности социальной жизни, не способные стать причиной серьезных общественных изменений, ибо эволюция основных институтов общества происходит — неизменно и неизбежно — в медленном темпе [6]. Вместе с тем эти концепции отнюдь не чужды теориям, утверждающим, что эволюция осуществляется посредством процессов революционных изменений. К тако-

вым относятся воззрения К. Маркса. В «Предисловии» к работе «К критике политической экономии» Маркс пишет, что основным «двигателем» социальных изменений в обществе является развитие производительных сил. На известной ступени своего развития материальные производительные силы общества приходят в противоречие с существующими производственными отношениями, внутри которых они до сих пор развивались: из форм развития производительных сил эти отношения превращаются в их оковы, тогда наступает эпоха социальной революции; затем весь процесс повторяется сначала [7]. Источник изменений следует искать в свойствах и характеристиках классовых обществ, содержащих «семена собственных преобразований».

Что стоит за термином «эволюция»? Само слово происходит от латинского *evolutio* — «развертывание». Изначально термин использовался для обозначения процесса развития манускриптов, написанных на пергаменте. Современное звучание он приобрел только в конце XVII в.; именно в это время понятие эволюции стало употребляться для описания процессов систематических, регулярных изменений, осуществляемых в несколько отличных друг от друга этапов. Огюст Конт (Comte) был одним из первых выдающихся обществоведов, прибегнувших к расширенному толкованию понятия эволюции, и его формулировки не слишком отличаются от тех, что были предложены позже (включая принадлежащие Т. Парсонсу. Конт писал о сменах социальных типов, их дифференциации и синтезе, поддерживающих «целостный и непрерывный порядок». «Никакой реальный порядок не может организоваться и тем более существовать длительное время, если он не подкрепляется достижением; никакое значительное достижение не сможет появиться на свет, если оно не имеет своей конечной целью очевидное укрепление порядка» [8].

Ниже приведены современные определения социальной или культурной эволюции, отобранные нами наугад.

Независимо от того, используем мы прилагательное «биологический» или нет, термин «эволюция» прочно ассоциируется с миром живых существ... Фундаментальные понятия органической эволюции или

изменчивости, отбора, адаптации, дифференциации и интеграции, приведенные в соответствие с социальными и культурными явлениями, являются ключевым моментом наших изысканий (Т. Парсонс) [9].

Эволюция представляет интерес с точки зрения определения периодически повторяющихся форм, процессов и функций... Культурная эволюция может рассматриваться как особый тип исторической реконструкции или как специфический методологический подход (Стюард (Steward) Джулиан Х.) [10].

Эволюция (естественная и социальная) представляет собой самоподдерживающийся, самопреобразующийся и самопревосходящий процесс, направленный во времени, а посему необратимый, который влечет за собой всевозможные оригинальные новшества, многообразие, усложнение организационных форм, развитие знаний и приводит к тому, что интеллектуальная деятельность становится все более осознанной (Хаксли (Huxley) Дж.) [11].

Эволюцию можно определить как организованную во времени последовательность вырастающих одна из другой форм: культура переходит с одной ступени развития на другую. В этом процессе время является таким же неотъемлемым и существенным фактором, как и изменение формы. Процесс эволюции необратим и неповторим... Он подобен историческому или диффузионному процессу, так как оба они преходящи, а посему необратимы и неповторимы. Вместе с тем они отличаются друг от друга тем, что первый номотетичен, а второй идеографичен... Эволюционный процесс неизменно происходит в каком-либо месте и в некотором временном континууме, однако, конкретные время и место не имеют значения. Главным остается организованная во времени последовательность форм (Уайт (White) Лесли Э.) [12].

И в биологической, и в культурной сферах эволюция осуществляется одновременно в двух направлениях. С одной стороны, посредством механизмов адаптивной трансформации она порождает многообразие: новые формы отличаются от старых. С другой стороны, эволюция является источником прогресса: высшие формы возникают из низших и превосходят их. Первое из этих направлений есть эволюция специ-

фическая, второе — общая... исследование этих аспектов эволюции требует различных подходов. Изучение специфической эволюции, связанное с анализом линий происхождения, предполагает обращение к филогенетической классификации. Если речь заходит об общей эволюции, акцент перемещается на особенности прогресса как такового, а формы систематизируются по стадиям или уровням развития безотносительно филогенеза (Салинз (Sahlins) М.) [13].

Между приведенными высказываниями существуют очевидные различия. Так, то, что Салинз именуется «специфической эволюцией», является, по мнению Стюарда, отвергающего концепцию «общей эволюции», единственно возможным значением этого понятия. Вместе с тем, определения имеют некие общие — установленные или предполагаемые — черты, которые могут быть использованы для определения того, какую теорию или подход следует отнести к разряду «эволюционных». Мы считаем доказанным тот факт, что «эволюция» есть нечто большее, чем случайный термин (к которому не может быть никаких претензий), синонимичный понятиям «развитие» и «изменение». В общественных науках понятие «эволюционная теория» приобретает особое звучание благодаря наличию следующих характерных особенностей, которые, однако, нельзя отнести к разряду чрезмерно жестких и непоколебимых.

Во-первых, должна существовать по меньшей мере предполагаемая концептуальная связь с биологической эволюцией. Из приведенных нами определений ясно, что этот критерий склонны выделять не все, но многие из тех, кто считает себя сторонниками эволюционных концепций. Это утверждение имеет смысл даже в том случае, если понятие «эволюция» зародилось в недрах социальной, а не биологической науки, ибо именно последнее четкое определение и продемонстрировало значение эволюционных изменений, не прибегая к телеологическим идеям и представлениям. Использование термина «эволюция» в общественных науках неуместно в условиях отсутствия каких-либо связей с понятийным словарем, принятым в биологии. Речь не идет о необходимости или желательности полного концептуального соответствия. В последнее время эволюционизм — и, несомненно, дарвинизм — подвергаются жестким нападкам

и критике со стороны естественных наук; вполне вероятно, что он может быть окончательно дискредитирован ими, сохраняя определенное влияние в социологии.

Во-вторых, социальный эволюционизм должен означать нечто большее, чем последовательность изменений относительно конкретно установленных критериев, а именно — механизм изменений. Этот момент представляется нам настолько важным, что его следует обсудить в деталях. Некоторые сторонники эволюционизма полагают, что отстоять представления об эволюции в социальной теории можно, продемонстрировав движение вперед относительно определенных социальных вех, имевшее место на протяжении всей истории существования человеческого общества от древнейших времен до наших дней. Так, Уайт предложил индекс эволюции, в основу которого было положено производство энергии. Общества, или «культурные системы» (терминология Уайта), различаются по своим способностям к переработке энергии: некоторые из них более эффективны в этом отношении, чем другие. Следовательно, различные культурные системы могут быть ранжированы по шкале сравнительных коэффициентов, полученных путем соотнесения количества преобразованной и использованной энергии с числом людей, входящих в эти системы [14]. Со времен Конта и Спенсера сторонники эволюционных теорий ссылались на возрастание сложности, дифференциации и т. п. Конечно, понятие эволюции *может* использоваться для обозначения такого, абстрагированного от пространства и времени, движения вперед. Позволительно утверждать, например, что малые устные культуры и современные индустриальные общества находятся на разных полюсах континуума потребления и распределения энергии (или пространственно-временной протяженности). Нетрудно доказать, что одни уровни технического развития или формы социальной организации преобладают другие. В этом значении понятие эволюции достаточно определено. Однако подобное словоупотребление никоим образом не раскрывает нам суть социальных изменений и не соответствует критерию относительной близости с эволюцией биологической.

В-третьих, необходимо определить последовательность стадий социального развития, в которой механизм изменений связывался бы с вытеснением или замещением одних ти-

пов или подходов к социальной организации другими. Эти стадии могут быть систематизированы в форме специфической или общей эволюции, или их сочетания. Нет оснований полагать, что движение вверх по ступеням эволюции равносильно прогрессу, оцениваемому с позиций нравственных критериев, за исключением тех случаев, когда это подтверждается со всей очевидностью. Особо подчеркнем тот факт, что эволюционные теории склонны объединять понятия «продвижение» и «прогресс», и это объясняется тенденциями к этноцентризму, возможно не свойственными эволюционизму как таковому, но трудно избегаемыми на практике.

В-четвертых, определение механизмов социальных изменений подразумевает, что их анализ охватывает весь спектр истории человечества, где они занимают господствующую позицию. Главенствующая роль здесь отводится «адаптации» (под которой в большинстве случаев понимают приспособление к материальному миру), которая фигурирует практически во всех эволюционных теориях, хотя бы и отличных во всех других отношениях.

Не все представления о социальных изменениях, основывающиеся на понятии адаптации, относятся к разряду эволюционных, поскольку они могут не соответствовать предыдущим критериям. Вместе с тем понятие адаптации настолько прочно и органично вписалось в эволюционные теории, что без него последние лишаются своей убедительности [15]. Следовательно, если при объяснении социальных изменений концепция адаптации оказывается бесполезной (о чем мы намерены заявить далее), эволюционизм утрачивает большую часть своей привлекательности. Кроме того, критикуя эволюционные теории, мы упомянем и то, что они «втискивают» историю человечества в рамки несоответствующей ей модели, а также имеют тенденцию ассоциироваться (хотя и не всегда) с рядом не вполне уместных выводов и умозаключений.

Адаптация

В контексте социального понятие адаптации может (1) быть бессодержательным, т. е. использоваться в таком широком и неопределенном значении, что больше сбивает с толку, нежели вносит ясность; (2) использоваться в оши-

бочных и логически несостоятельных объяснительных схемах, сродни тем, что характерны для функционализма; (3) встречаться в очевидно ложных представлениях о динамических тенденциях человеческих обществ.

Обратимся к первому пункту: в своем изначальном и наиболее точном смысле понятие адаптации может использоваться в биологии, откуда оно происходит [16] и где обычно употребляется для обозначения изменений, происходящих с совокупностью наследственных факторов организмов в результате их взаимодействия с окружающей средой и естественного отбора качеств, необходимых для выживания. Однозначная трактовка адаптации в науках общественных возможна при условии, что она рассматривается в качестве общего понятия, описывающего весь диапазон процессов, посредством которых люди реагируют и преобразуют свойства своего материального и физического окружения. Так, Р. Рапппорт (Rappaport) определяет адаптацию как «процесс, посредством которого организмы или группы организмов поддерживают состояние гомеостаза внутри и между собой перед лицом краткосрочных колебаний и долговременных изменений в составе или структуре окружающей их действительности, прибегая к ответным изменениям собственного состояния, состава или структуры» [17]. Вместе с тем, для эволюционных теорий свойственно расширять это понятие настолько, что термин «адаптация» становится безнадежно аморфным и расплывчатым. Так, Хардинг (Harding) определяет адаптацию как «обеспечение и поддержание контроля над окружающей средой», что в принципе не вызывает никаких возражений. Затем, однако, он заявляет, что в эволюционной теории адаптация не только затрагивает отношения, существующие между обществами и природой, но и касается «взаимного приспособления первых».

Адаптация к природным условиям формирует технологию культуры и, как производное, ее социальные и идеологические компоненты. Вместе с тем адаптация к другим культурам может формировать общество и идеологию, которые в свою очередь влияют на технологию, определяя будущие направления ее развития. Итоговым результатом процесса адаптации является производство организованного культурного целого — объединенные технологии, общества и идеоло-

гии, — которое выдерживает двоякое избирательное влияние природы, с одной стороны, и воздействие внешних культур, с другой [18].

В данном случае понятие адаптации настолько размыто, что потенциально включает в себя все возможные источники преобразования и влияния на социальную организацию!

Подобное положение дел типично для эволюционных концепций в социальных науках (для сравнения см., например, определение понятия, предложенное Парсонсом). Причины этого достаточно просты. Там, где «адаптация» определяется с той или иной степенью точности — как в формулировке Раппапорта, — а то, что адаптируется, имеет четкие границы, понятие, рассматриваемое как общий механизм социальных изменений, является очевидно неадекватным. Если окружение представляет собой «естественную среду», «адаптация» к которой есть ответ на различные изменения, происходящие в ней, приводящий к модификации существующих органических или социальных характеристик, то понятие адаптации слишком ограничено для того, чтобы претендовать на роль подобного механизма. Придать ему убедительности можно, расширив его содержание — охватив термином «окружение» другие общества (т. е. создав «социальное окружение»), и/или причисляя к «адаптации» все более или менее значимые социальные процессы, содействующие поддержанию стабильности в обществе. Однако сделав это, мы получаем понятие столь неопределенное, что использование его для объяснения чего-либо кажется нам бесполезным.

Бессодержательность, сквозящая в этих формулировках, приводит к тому, что понятие адаптации широко используется в разного рода ложных «объяснительных схемах». Вряд ли имеет смысл утверждать, что общества или типы обществ, выжившие в установленный период времени, потому что они выжили, должны были выжить. Однако именно этим и занимается большинство объяснительных схем, апеллирующих к понятию «адаптация». Зачастую предполагается, что выживание социальной единицы можно объяснить с позиций ее превосходящих адаптивных возможностей. Но что стоит за последними? Если судить об этом, прибегая к вышесказанному, — все элементы, которые следует задействовать во имя того, чтобы данная еди-

ница выдержала испытание временем в то время, как другая нет. Вместе с тем, если «адаптация» понимается нами в более узком значении, предложенные трактовки также имеют недостатки, олицетворяя собой варианты функционализма [19]. Красноречивым примером является хорошо известная цитата из работы Гордона В. Чайлда (Childe), который:

...начинает с того очевидного факта, что человек не может жить без еды. Поэтому общество не может существовать, если его члены не обеспечены достаточным количеством продовольствия, необходимого для их выживания и воспроизводства себе подобных. Если какое-либо общество утвердило бы порядки или институты, появление которых привело к прекращению снабжения продовольствием (если, например, крестьяне в Египте принуждались бы к круглогодичным работам по строительству пирамид) или оставке воспроизводства (что могло бы быть следствием глобального и фанатичного следования обету безбрачия), оно вскоре прекратило бы свое существование. Отсюда следует, что решающая роль в процессе определения мнений, верований и идеалов должна отводиться снабжению продовольствием. В этом случае методы обеспечения и поддержания жизни осуществляют аналогичный, но более конкретный контроль. Таким образом, способ, которым люди обеспечивают себе средства к существованию, «определяет» в конечном счете их убеждения и создаваемые ими институты [20].

Однако то, что очевидно для Чайлда, отнюдь не следует из его предположений. Определение функциональных потребностей общества или социальной единицы не позволяет сделать выводы относительно фактического влияния этих потребностей на формирование институтов, посредством которых они удовлетворяются.

В свете последнего из трех обозначенных нами вариантов, адаптация приобретает объяснительную силу в случае обнаружения динамики, достоверно интерпретирующей многообразие и последовательную преемственность основных исторически сложившихся типов человеческих обществ. Здесь эволюционные теории демонстрируют собственную эмпирическую несостоятельность. Подтверждением эво-

люционной теории могло бы стать наличие у людей своего рода общего мотивационного стимула, побуждающего их «адаптироваться» к условиям внешнего окружения все более и более эффективно. Однако такой стимул отсутствует [21]. В качестве альтернативы можно предположить, что в человеческих обществах существует нечто, сродни естественному отбору. Именно это утверждали многие сторонники эволюционных подходов, работавшие в XIX в. Спенсер предпочитал понятию «естественный отбор» собственный термин — «переживание наиболее приспособленных», что, впрочем, одно и то же. Под «переживанием» он понимал скорее военное превосходство над другими обществами, нежели последствия приспособления к специфическим условиям окружающей среды. «Образование более обширных обществ посредством соединения меньших на время войны и разрушение или поглощение несоединенных меньших обществ соединенными большими есть, несомненно, процесс, посредством которого разновидности людей, более приспособленные к социальной жизни, устраняют менее приспособленные разновидности» [22]*. Несмотря на то, что сегодня эта и подобные ей точки зрения окончательно дискредитировали себя даже в глаза сторонников эволюционизма, они имеют под собой эмпирическую основу. Никто не станет отрицать влияние войны на процесс социального изменения. Вместе с тем военная мощь не обладает достаточной объяснительной ценностью, необходимой для превращения «адаптации» в жизнеспособный механизм эволюции. Если же мы начнем добавлять сюда иные факторы, то снова столкнемся с ситуацией, при которой понятие «адаптация» означает все и ничего одновременно.

Эволюция и история

История человечества не имеет эволюционной «формы», и любые попытки «втиснуть» ее в эти рамки могут привести к серьезным проблемам. Мы остановимся на трех причинах, по которым история человеческих обществ не походит на эволюционную модель биологических видов, и четырех опасностях, подстерегающих нас при обращении к

* Спенсер Г. Основания социологии. Т. 2. СПб., 1898.

эволюционизму в общественных науках. Большинство из них неоднократно упоминалось критиками эволюционизма, начиная с XIX в., однако, мы полагаем, что их стоит перечислить еще раз. Эволюционная «форма» — ствол с ветками или вьющаяся виноградная лоза, в которых истечение хронологического времени и развитие видов составляют единое целое — неуместна для анализа человеческого общества.

Люди творят свою историю, осознавая это, то есть будучи существами, способными к рефлексии, они скорее определяют время, нежели просто «проживают» его. Замечание достаточно банально, но, как правило, оно фигурирует в рассуждениях сторонников эволюционизма только при решении вопроса, существует ли некий отличительный разрыв между человекообразными и *человеком разумным*. Другими словами, они рассматривают его как своего рода добавление к имеющимся эволюционным процессам — еще один фактор, усложняющий естественный отбор. Суть проблемы, однако, состоит в том, что рефлексивный характер социальной жизни людей ниспровергает объяснение социальных изменений с позиций простой и независимой совокупности причинно-следственных механизмов. Осознание того, что происходит «в» истории, становится не только неотъемлемой частью этой «истории», но и средством ее преобразования.

В биологии эволюционная теория определяется постулатами независимости происхождения видов и их неизменности за исключением случаев мутации. Эти условия не могут быть соблюдены в истории человечества. «Общества» не обладают той степенью «закрытости», которая свойственна биологическим видам. Биологи легко могут ответить на вопрос: что развивается? В сфере социальных наук отсутствует доступная и очевидная «единица эволюции» [23]. Мы уже поднимали этот вопрос, однако повторимся здесь еще раз. Обычно сторонники эволюционизма говорят об эволюции «обществ» или «культурных систем», полагая, что более развитые из них есть не что иное, как видоизмененные и адаптировавшиеся варианты менее развитых. Однако элементы строения «общества» или «культуры» меняются пропорционально изменениям, происходящим с теми характерными чертами и особенностями, на кото-

рых сосредоточиваются представителями эволюционизма. Споры между эволюционистами и «диффузионистами» лишь замаскировали эту проблему, поскольку и те, и другие были склонны рассматривать общества или культуры как обособленные сущности, отличающиеся друг от друга различными оценками источников и первопричин изменений, затрагивающих их.

Используя терминологию Э. Геллнера, отметим, что история человечества не есть «изложение мирового развития». Геллнер пишет, что на протяжении двух столетий жителям Запада было трудно

...размышлять о человечестве безотносительно образа... глобального и всеобъемлющего восходящего развития... По-видимому, это является естественным следствием исторической модели развития Запада, принимаемой в большинстве случаев за историю человечества. История Запада отличается определенной преемственностью и стабильным продвижением по восходящей линии (или, по крайней мере, имеет такие тенденции), а посему становится своего рода точкой отсчета. Возникнув в долинах рек Ближнего Востока, история цивилизации представляется нам целостной и направленной вверх, а ее развитие — лишь изредка прерываемым периодами отсутствия видимого прогресса или даже регресса: казалось, история постепенно охватила средиземноморское, а затем переместилась на атлантическое побережье, дела шли все лучше и лучше. Восточные империи, греки, римляне, христианство, средневековье, Ренессанс, Реформация, индустриализация и борьба за социальную справедливость... хорошо знакомое развитие событий с разночтениями, свойственными более поздним деталям, акцентам и прогнозам. Все это так привычно и до сих пор составляет основу наших представлений об истории... Картина, до боли напоминающая биологический эволюционизм, и победа дарвинизма окончательно решила дело. Две совершенно независимые дисциплины — история и биология — являлись, по-видимому, разными частями одной и той же непрерывной кривой [24].

Путешествие вокруг света, которое Ч. Дарвин совершил на корабле «Бигль», символизировало маршруты, при-

ведшие европейцев к столкновению с различными экзотическими культурами, классифицированными и распределенными по категориям, выделенным в рамках общей системы, главенствующее положение в которой, естественно, отводилось Западу. Нет никаких оснований считать, что современные эволюционные модели свободны от этноцентризма. Можете ли вы назвать хотя бы одну западную модель, утверждающую, что высшую ступень иерархии занимает традиционное индийское общество? Или древний Китай? Или, коли на то пошло, современные Индия или Китай? [25]

Однако у нас нет необходимости задаваться подобными вопросами, очевидно дискредитирующими эволюционные теории, дабы продемонстрировать, что история не является «изложением мирового развития». Куда более корректно описывать историю человека разумного следующим образом. Никто не знает, когда *Homo sapiens* появился впервые, вместе с тем, достоверно известно, что значительный период своей жизни он провел в небольших обществах охотников и собирателей. Большая часть этой эпохи характеризовалась отсутствием явных социальных или технологических изменений: вот почему правильнее было бы говорить о «состоянии устойчивой стабильности». В определенный момент времени, по причинам, вызывающим бурную полемику, сначала в Месопотамии, а затем и в других местах возникли классово разделенные «культуры». Однако сравнительно короткий период истории, прошедший с тех пор, нельзя назвать эпохой продолжающегося расцвета культуры; скорее, он соответствует определению Тойнби (Toynbee), который говорил о подъеме и упадке цивилизаций и их конфликтных отношениях с трайбалистскими вождествами. Эта модель завершается переходом к глобальному превосходству Запада — явлению, придающему «истории» иное звучание, отличное от существовавших ранее, вошедшее в небольшой период двух-трех столетий. Современное общество становится понятнее, если мы рассматриваем его как общество, положившее конец и безвозвратно разрушившее традиционный мир, а не как дальнейшее развитие условий, существовавших в классово разделенных обществах. Современный мир появился вследствие разрыва с тем, что происходило до него, и не олицетворяет собой идеалы преемственности. Основная задача социологии заключается в том, что-

бы понять и объяснить суть этого разрыва — специфику мира, возникшего в результате развития промышленного капитализма, корни которого следует искать в западном полушарии.

Завершая этот раздел, перечислим основные опасности, которые влекут за собой эволюционные концепции; опасности, лучший способ борьбы с которыми — радикальное освобождение от них. К ним относятся:

- (1) однолинейная ограниченность;
- (2) гомологическая ограниченность;
- (3) нормативная иллюзия; и
- (4) временное искажение.

Первая опасность — однолинейная ограниченность — подразумевает склонность сторонников эволюционизма сводить общую эволюцию к эволюции специфической. Так, в Европе капитализму предшествует феодализм, который является социальным ядром его развития. Следовательно, в каком-то смысле феодализм есть неминуемый предшественник капитализма. Можно ли утверждать, что феодализм представляет собой основной «этап» эволюции капитализма? [26] Конечно, нет, хотя ряд версий марксизма и других направлений социально-научной мысли заявляют обратное.

Под гомологической ограниченностью мы понимаем склонность некоторых авторов предполагать наличие гомологии между этапами социальной эволюции и развитием индивидуальной личности. На наш взгляд, это стоит обсудить более обстоятельно: хотя такого рода предположения не являются прямым следствием постулатов обсуждаемого нами эволюционизма, они, тем не менее, часто ассоциируются с его положениями. Грубо говоря, предполагается, что небольшие устные культуры характеризуются формами познания, аффективности или поведения, обнаруживаемыми в обществах более высокого порядка на ранних стадиях развития индивида. Так, допускается, что уровень сложности социетальной организации отражается уровнем развития личности. С этой точкой зрения соотносятся представления о том, что возрастание сложности общества предполагает усиление степени подавления аффекта. *Locus classicus* этой позиции — работа З. Фрейда «Недовольство культурой», где автор исполь-

зует термин «культура» для обозначения «всей суммы достижений и учреждений, отличающих нашу жизнь от жизни наших животных предков и служащих двум целям: защите людей от природы и урегулированию отношений между людьми» [27]. Очевидный упор на возрастающий контроль над материальным миром сближает представления Фрейда о «культуре» — понятии, достойном большего, — с идеями исторического материализма. В этом свете тот факт, что некоторые марксисты заимствовали у Фрейда определенные элементы его концепции социального развития, выглядит не так удивительно, как может показаться на первый взгляд.

В своей попытке применить фрейдовскую трактовку «культуры» к критике капиталистического способа производства Г. Маркузе (Marcuse) принимает основы теории Фрейда. «Человекообразное животное» становится «человеком» только посредством фундаментальной трансформации его природы, оказывающей воздействие не только на цели институтов, но также на их ценности. Превращение это представляет собой движение от первобытного варварства к культуре. Маркузе определяет перемену в направляющей системе ценностей следующим образом:

От:	К:
немедленное удовольствие	задержанное удовольствие
удовольствие	сдерживание удовольствия
радость (игра)	тяжелый труд (работа)
рецептивность	производительность
отсутствию репрессии	безопасность [28]*.

Маркузе отличается от Фрейда лишь тем, что предполагает, будто «борьба с природой» — основа физического выживания людей — может быть облегчена с помощью производительных сил, порожденных капиталистическим экономическим строем, но свободных от внутренних человеческих проявлений.

Займствование идей Фрейда наблюдается и в работах Н. Элиаса, который, правда, отказывается от идей радикального общественного переустройства и основывает свои

* Маркузе Г. Эрос и цивилизация / Перевод и предисловие А. Юдина. К.: ИСА, 1995.

теории на представлениях о том, что возрастающая сложность социальной жизни неизбежно влечет за собой усиление психологического подавления:

... с древнейших периодов западной истории и вплоть до настоящего времени под давлением сильной конкуренции происходил рост дифференциации общественных функций. Чем сильнее они дифференцировались, тем большим становилось их число, а тем самым и число людей, в зависимости от которых оказывался каждый индивид... В результате, для того чтобы каждое отдельное действие могло выполнить свою общественную функцию, поведение все большего числа людей должно было во все большей мере соотноситься с поведением всех прочих, а сеть действий должна была подчиняться все более точным и строгим правилам организации. Индивид принуждается ко все более дифференцированному, равномерному и стабильному регулированию своего поведения... Сеть действий становится столь сложной и разветвленной, а напряжение, требуемое для «правильного» в ней поведения, — столь значительными, что индивиду требуется укрепление не только сознательного самоконтроля, но и аппарата того самоконтроля, который работает автоматически и слепо [29]*.

Элиас не выделяет специфические особенности современного западного общества, однако, они в значительной степени соответствуют общим положениям эволюционизма. В «менее развитых обществах» индивидам не свойственен высокий уровень самоконтроля, они склонны к спонтанному и непринужденному проявлению эмоций и собственных чувств и т. п. В этих обществах люди ведут себя подобно детям — непосредственно и непостоянно.

Если эта точка зрения неверна — а мы думаем, что это именно так? — можно сделать множество выводов относительно сущности современного капитализма и его освободительного потенциала [30]. Но в чем именно состоит ошибка, и как можно ее исправить? Отчасти нам стоит обратиться к открытиям, сделанным в рамках современной антропологии,

* Элиас Н. О процессе цивилизации. Социогенетические и психогенетические исследования. Т. 2. Изменения в обществе. Проект теории цивилизации. М.; СПб.: Университетская книга, 2001. С. 240.

которые отвергают представления о том, что «первобытные общества» примитивны в чем-либо кроме существующих в них технологий. Своего рода основанием является здесь изучение языка. Известно, что между степенью сложности последнего и уровнем материальной «развитости» различных обществ отсутствует видимая взаимозависимость. Сам по себе факт этот указывает на малую вероятность существования родовых различий психической организации индивидов, живущих в условиях устных культур, с одной стороны, и «цивилизаций», с другой. Нам следует быть крайне осторожными даже тогда, когда мы предполагаем, что цивилизации более сложны, чем устные культуры. Цивилизации — но, главным образом, та специфическая форма всеобъемлющего и всепоглощающего порядка, возникшая вследствие доминирующего влияния Запада, наблюдавшегося на протяжении двух последних веков — предполагают большую пространственно-временную протяженность, чем та, что свойственна устным культурам. Они охватывают более протяженные промежутки времени (вероятно) и участки пространства (несомненно). Вместе с тем некоторые особенности социальной деятельности, обнаруживаемые в устных культурах, такие, например, как связанные с институтами родства, чрезвычайно сложны. Конечно, можно обратиться ко взглядам Фрейда и тех, кто разделяет его точку зрения, помещающую во главу угла подавление аффекта или его относительную нехватку в устных культурах. Однако имеющиеся свидетельства не подтверждают предположение, согласно которому культуры этого типа универсально ассоциируются с непосредственностью эмоциональных проявлений. Некоторые устные культуры (как это попытались продемонстрировать наряду с представителями других направлений и эго-психологи) характеризуются весьма строгими моральными и этическими запретами, регулирующими повседневное поведение людей, а также суровыми наказаниями, используемыми в процессе воспитания детей [31].

Под склонностью эволюционных теорий к нормативной иллюзии, третьей упомянутой нами опасности, мы подразумеваем тенденцию отождествлять высшую власть — экономическую, политическую или военную — с моральным превосходством на эволюционной лестнице. Очевидно, что эта тенденция тесно соотносится с этноцентрическими

представлениями об эволюционизме, однако мы имеем дело с разными вещами. В этом контексте понятие адаптации снова кажется нам весьма опасным. Оно имеет этически нейтральное звучание, как будто превосходящие «способности к адаптации» обеспечивают — в силу самого факта своего существования — превосходство в отношении обладания нормативно возвышающими социальными качествами. Вместе с тем, будучи применен к человеческим обществам, термин этот зачастую становится синонимом абсолютной власти. Хотя поговорка, согласно которой власть не дает прав, стара как мир, она часто забывается сторонниками эволюционных теорий, что является следствием их приверженности эволюционизму [32].

Наконец, под временным искажением — четвертой опасностью — мы будем понимать склонность эволюционистов предполагать, что «история» может быть изложена исключительно в виде процесса социальных изменений, а течение времени тождественно изменению — т. е. смешение понятий «история» и «историчность».

Является ли исторический материализм формой эволюционизма? С определенными оговорками, да, в том случае, если мы понимаем этот термин в известном смысле. Рассмотрим понятие «исторический материализм» в его родовом значении как идеи, содержание которой выражено фразой «люди сами творят свою историю»: социальная жизнь человечества формируется и преобразуется *практикой* — в процессе практической деятельности, осуществляемой в ходе повседневной жизни. Именно это мы и пытались доказать, формулируя фундаментальные принципы теории структуризации. Однако гораздо более употребительным, особенно среди тех, кто считает себя марксистами, является узкая трактовка понятия, многочисленные свидетельства в пользу которой мы находим в работах Маркса. Речь идет об «историческом материализме», базирующемся на схеме социального развития, кратко изложенной Марксом и Энгельсом на первых страницах «Немецкой идеологии» и в «Манифесте Коммунистической партии» и блистательно описанной в «Предисловии» к работе «К критике политической экономии».

Взгляды, представленные в этих источниках, соответствуют всем основным критериям, посредством которых мы

определяли эволюционизм, и влекут за собой некоторые из его вредоносных выводов. Иногда кажется, будто Маркс стремился изложить в своих работах историю Западной Европы. Очевидно, однако, что он был далек от написания трактата об одном уголке мира. Предложенная им схема развития, включающая родоплеменное общество, древний мир, феодализм, капитализм и Азиатский способ производства, представляет собой эволюционную систему, заглавную роль в которой играет адаптация как развитие производительных сил. Почему азиатский тип обществ является «застойным» по сравнению с западным? Потому, что он не предусматривает возможности развития производительных сил сверх определенного критического момента. Несмотря на преклонение Маркса перед идеями Дарвина, ошибочно ставить его учение в один ряд с другими версиями эволюционизма XIX в. Чрезмерная озабоченность Маркса нарастающим овладением природой и господством над ней людей символизирует вариант понятия адаптации, не слишком отличающийся от прочих, многочисленных интерпретаций его. Однако у Маркса мы сталкиваемся с превращенной гегелевской диалектикой, принявшей особую эволюционную форму, не имеющую аналогов в более ортодоксальных теориях эволюции.

Эволюционизм Маркса представляет собой изложение «истории развития мира» и демонстрирует наличие недостатков однолинейной ограниченности и временного искажения. Однако противостоять ему следует главным образом, с позиций той роли, которую он отводит механизмам адаптации. Версия исторического материализма, предложенная Чайлдом, может показаться отчасти грубой и незрелой, но она обладает несомненным достоинством, позволяющим ей «озвучивать» предположения, выдвигаемые, как правило, в завуалированной форме. Тот факт, что люди вынуждены бороться за собственное выживание в материальном мире, в котором они существуют, не говорит нам ровным счетом ничего о том, играет ли эта борьба доминирующую роль в процессе социальной трансформации.

Нам представляется невозможным устранить недостатки эволюционной теории вообще и исторического материализма в частности [33]. Вот почему мы настаиваем на необходимости их деконструкции. Иными словами, мы не мо-

жем заменить их сходной теорией. Объяснение социальных изменений невозможно свести к обнаружению единственного, полновластного их механизма; нет ключей, которые могли бы раскрыть тайны социального развития человечества, сведя их к единой формуле, или объяснить переходы от одного социетального типа к другому, прибегнув к такому же способу.

Анализ социальных изменений

Предшествующие рассуждения вовсе не означают, что мы не вправе делать общие выводы, касающиеся социальных изменений, и не предполагают, что нам следует отказаться от каких бы то ни было обобщенных понятий, опираясь на которые, можно было бы проанализировать эти изменения. В этом отношении особо значимыми являются, на наш взгляд, пять концепций, три из которых упоминались нами в предыдущей главе — структуральные принципы, пространственно-временные пределы и интерсоциетальные системы. К ним мы добавим понятия *эпизодических характеристик* (или, более коротко, эпизодов) и *мирового времени* [34].

Структуральные принципы	Анализ форм институциональной артикуляции
Эпизодические характеристики	Очерчивание сопоставимых форм институциональных изменений
Интерсоциетальные системы	Описание отношений, существующих между социетальными общностями
Пространственно-временные пределы	Указание связей, существующих между обществами различных структурных типов
Мировое время	Изучение положения дел в свете рефлексивно контролируемой «истории»

Вся социальная жизнь складывается из особых случаев или отдельных эпизодов, а посему мы используем понятие эпизода — как и большинство понятий теории структуризации — для описания всего диапазона социальной деятельности людей. Определяя отдельные моменты социальной жизни в качестве эпизодов, мы рассматриваем их как сумму действий или событий, имеющих явно различимые начало и конец и происходящих в установленной последовательности. Под крупномасштабными эпизодами мы понимаем очевидные последовательности изменений, затрагивающих ос-

новые институты социетальных общностей или ведущих к смене их типов. Возьмем в качестве примера возникновение аграрных государств. Рассматривать образование государства в качестве эпизода, значит осуществлять аналитическое вмешательство в «историю», то есть отождествлять некоторые элементы со своего рода метками, символизирующими начало серии изменений, и проследивать последовательность этих изменений как процесс институциональных преобразований. Формирование государств должно изучаться с позиций включенности ранее существовавшего общества в широкие интерсоциетальные отношения (что не означает, однако, пренебрежение эндогенными формами изменений), изучаемые в контексте структуральных принципов соответствующих социетальных общностей. Так, накопление прибавочного продукта в находящихся по соседству сельских общинах, расположенных в потенциально плодородных зонах, может послужить моделью, ведущей к возникновению государства, объединяющего эти общины под началом единой административной системы. Однако эта модель является одной из многих. Во многих случаях наиболее важным фактором является координирование военной власти, используемой во имя принудительного поддержания рудиментарного государственного аппарата. Аграрные государства появляются и существуют вдоль пространственно-временных пределов в трудных отношениях симбиоза и конфликта — а также частичного доминирования — с окружающими их трайбалистскими обществами, равно как и с другими государствами, претендующими на господство в данной области. Настаивать на необходимости исследовать социальные изменения в пространстве «мирового времени», значит подчеркивать влияние различных форм интерсоциетальных систем на переход от эпизода к эпизоду. Если социальная жизнь носит случайный и непредвиденный характер, то все социальные изменения есть особые стечения обстоятельств. Другими словами, они зависят от совпадения условий и событий, различных по своему характеру, обусловленному спецификой контекста, неизменно предполагающего рефлексивный мониторинг, осуществляемый субъектами деятельности, включенными в среду, в которой они «творят собственную историю».

Формы социальных изменений могут быть классифицированы в терминах ниже приведенных параметров, сгруп-

пированных для оценки сущности специфических форм эпизодов. В процессе анализа источников происхождения эпизодов или серий эпизодов, исследуемых в сравнительной форме, могут использоваться различные типы рассуждений. Свойственные современному миру, расширение пространственно-временной протяженности социальных систем, переплетение различных моделей регионализации, включенной в процессы неравномерного развития, преобладание противоречий как структуральных свойств обществ [35], широкая распространенность историчности как мобилизующей силы социальной организации и преобразований — эти и множество других факторов составляют фон, на котором оцениваются конкретные источники эпизода.



Рис. 20

Характеризуя тип социальных изменений, связанных с тем или иным эпизодом, мы определяем степень их интенсивности / экстенсивности, то есть смотрим, насколько глубоко эти изменения нарушают или изменяют существующий институциональный порядок, а также каков их масштаб. С нашей точки зрения, детально прописанной в других источниках [36], существуют «критические пороги» изменений, типичные для смены социетальных типов. Множество сравнительно быстрых изменений способно породить долговременный толчок (или движущую силу развития), возможность которого обуславливается предварительными преобразованиями основных институтов общества. «Движущая сила» относится к скорости изменений специфических форм характеристик эпизодов, а «траектория», как было отмечено ранее, описывает направление изменений.

Дабы проиллюстрировать вновь представленные понятия, остановимся кратко на проблеме возникновения аграрных государств. Можно ли рассматривать примеры появле-

ния и развития этих государств в качестве эпизодов одного и того же типа? Даже такой очевидно безопасный вопрос оказывается гораздо более сложным, чем это предполагается большинством сравнительно простых теорий, выдвигаемых относительно этих государств, где источниками их происхождения являются, например, войны, ирригационные системы, быстрое накопление прибавочного продукта и т. п. Мы уже говорили о том, что определение эпизодических характеристик предполагает ответ на ряд концептуальных вопросов: какая социальная форма является «отправным пунктом» предполагаемой последовательности событий; какова типичная траектория развития, и где находится «конечная точка».

Прежде всего отметим, что термин «государство» является, на наш взгляд, весьма неопределенным. Он может относиться как к всеобщей форме «государственного общества», так и к различным правительственным учреждениям, функционирующим внутри общества. Дабы упростить нашу задачу, будем считать, что в данном случае термин «государство» используется для обозначения второй из указанных альтернатив. В этом случае исходной проблемой определения характеристик становится решение об основных различиях, обнаруживаемых путем сопоставления условий, в которых те или иные государственные институты функционируют, и где их нет. Ответить на этот вопрос можно, хотя и не вполне однозначно. Вслед за Нейделом (Nadel) мы полагаем, что возникновению государства способствует наличие следующих условий: (а) централизованные органы государственного управления, связанные с (б) притязаниями на законность контроля и управления территорией, и (в) господствующая элита или класс, которые отличаются определенными формами и способами обучения, пополнения и специфическими статусными характеристиками [37]. Эта и подобные ей формулировки принимаются многими известными специалистами, например, в классическом исследовании Фортеца (Fortes) и Эванс-Причарда (Evans-Pritchard) [38]. Какова оборотная сторона медали, что представляет собой социальная ситуация, из которой возникают и развиваются государства? Ответ кажется самоочевидным — общества, не располагающие государственными институтами, описанными выше. Однако на самом деле все не так просто,

а если и очевидно, то только в том случае, если мы легкомысленно используем эндогенную модель. Ибо, как правило, государственные институты не развиваются на базе уже созданного, более или менее неизменного «общества». Напротив, зачастую развитие государств приводит к объединению одних, ранее не связанных между собой, социальных сущностей и одновременному разрушению других.

Нам следует помнить этот момент, когда мы говорим о различиях, существующих между государствами и вождествами. Последние обычно предшествуют первым (и сохраняются в тех случаях, когда государства разрушаются или сильно ослабевают), однако нельзя утверждать, что государства возникают в результате «экспансии» или «внутренней дифференциации» вождеств. Различия между государствами и вождествами определяются отнюдь не так просто, как это предполагается в антропологической литературе. Как правило, основой подобных различий выступает централизация. В противоположность государствам в вождествах существует ряд равносильных должностных лиц, подконтрольных вождю; эти должности обладают более или менее одинаковой властью и статусом. Это отличие, несомненно, помогает упорядочить имеющийся эмпирический материал. Тем не менее, линия водораздела может располагаться по-разному. Рассмотрим, например, ситуацию, сложившуюся на острове Таити [39]. Здесь существовали три внутренних группы, стратифицированных по своему статусу и политическим обязательствам. Вожди, контролируемые верховным вождем, выбирались из высших слоев этих групп в различных частях острова. Правомерно ли называть эти группы «государствами»? Клэссенс (Claessen) говорит «да» [40], однако автор, посвятивший большую часть своей жизни изучению древнего таитянского общества, Оливер (Oliver), считает, что это не так [41].

Различия во взглядах являются не столько эмпирическими, сколько концептуальными. Этот факт очень важен, поскольку он симптоматичен для трудностей, с которыми мы сталкиваемся в процессе классификации социальных объектов. Мы полагаем, что критерии государственности, предложенные Клэссенсом, весьма неопределенны. Очевидно, что критерии классификации и утверждения относительно определенных механизмов институциональной артику-

ляции зависят друг от друга. Невозможно предложить теоретически нейтральную классификацию, а затем интерпретировать ее с позиций теории. Так, на основании исследования двадцати одного «раннего государства» Клэссенс утверждает, что между этими государствами и урбанизмом отсутствует какая-либо специфическая связь. Однако на самом деле практически все примеры, использованные во имя доказательств этого умозаключения, относятся к предложенной автором категории «неразвитых государств», больше соответствующих понятию вождества [42].

Что понимается под траекторией изменений? Исторически сложилось так, что на этот вопрос отвечают не только в рамках эндогенной структуры, но и относительно неявных исходных условий и предпосылок эволюции. Иными словами, он формулируется односторонним образом, как имеющий дело исключительно с развитием государств, появление которых считается финальной стадией всего процесса. Но почему эпизоды, связанные с возникновением аграрных государств, должны рассматриваться единственно и преимущественно в этом ключе? Возникновение государства в одном конкретно взятом регионе зачастую совпадает и, возможно, является причиной распада или ослабления соседних государств. Распад государств встречается не менее часто, чем их начальное образование, а посему сосредоточение на одном процессе в ущерб другому представляется нам нерациональным — особенно в свете взаимосвязи, существующей между ними. Поэтому мы склоняемся к следующему определению. Постигая процессы институциональных изменений, затрагивающие аграрные государства, мы пытаемся анализировать условия, способствующие пересечению вождеств и государств.

Отсюда понятно, почему наша позиция расходится с привычным акцентом на «источники происхождения» государства. Неудивительно также, что большой объем литературы, посвященной «истокам» государственности, не свидетельствует в пользу разного рода попыток всепоглощающего обобщения. Последние относятся к различным категориям в соответствии с приоритетными каузальными силами [43]. Наиболее влиятельными являются, вероятно, те, что придают особое значение демографическим факторам, войне и росту производительных сил. Существенное

влияние на теории, базирующиеся на третьей из вышеупомянутых категорий, оказали взгляды Чайлда; в археологии его труды явились источником марксистского влияния, возможно, более значимым, чем работы самих Маркса и Энгельса. Теории этого типа относятся к разряду эволюционных и предполагают, что «источники» происхождения государства связаны со стремительными технологическими изменениями или накоплением прибавочного продукта. Там, где эти убеждения не равнозначны ошибочным «трактовам» в духе функционализма, они противоречат эмпирическим данным. Существует несколько случаев, практически отвечающих всей совокупности требований: накопление прибавочного продукта предшествует возникновению государства, а появившийся правящий класс «способствует» его формированию. Но это, скорее, исключение из правил [44]. Гораздо чаще формирование государственности сопровождается снижением производительности и благосостояния, хотя иногда товары могут приобретаться путем разграбления близлежащих территорий.

«Теория войны» характеризуется большим количеством приверженцев и последователей. И это не случайно, ибо единственным, более или менее постоянным аспектом жизнедеятельности аграрных (и индустриальных) государств является участие в войнах. Трактовка эволюционизма, предложенная Спенсером, отводит военным действиям решающую роль в период, предшествующий развитию индустриальной эпохи. Нет сомнений, что в большинстве случаев война оказывает самое непосредственное влияние на процессы формирования и распада государств, которые, как мы уже говорили, представляют собой две стороны одной медали. Но одно дело говорить, что государства участвуют в военных действиях, а другое утверждать, что последние играют господствующую или определяющую роль как источники происхождения этих государств, или способствуют формированию (закату) всех аграрных государств. Первое утверждение не вызывает возражений. Второе, в лучшем случае, правомерно лишь отчасти. Третье — просто ложно. Демографические теории едва ли выглядят лучше. Обычно они утверждают, что рост населения, вызванный повышением уровня рождаемости у народов, доступное жизненное пространство которых отличается относительной ограниченно-

стью, оказывает воздействие, ведущее к централизации и дифференциации власти [45]. Конечно, государственные общества больше, а зачастую гораздо больше, чем общества трайбалистские. В ряде случаев демографические теории ассоциируются с представлениями о том, что «неолитическая революция» стимулирует прирост населения, ведущий к образованию государства. Однако это не работает ни на общем, ни на более конкретном уровнях. Начало неолита удалено от момента возникновения какого-либо из известных нам государственных обществ. Иными словами, государства, возникшие в физически ограниченных зонах, не всегда появляются вследствие увеличения населения. Есть некоторые примеры, в общем и целом подтверждающие эту теорию, однако существует и множество тех, что ей противоречат. Так, исследуя процессы формирования государств в Мексиканской долине и в Месопотамии, Л. Дюмон (Dumont) приходит к выводу о том, что рост населения не может объяснить появление государств, несмотря на то, что эти процессы взаимосвязаны [46]. В другом исследовании продемонстрировано, что в период, предшествующий возникновению государства, может отмечаться уменьшение численности населения [47].

Ряд концепций формирования государства придает особое значение тем отношениям между обществами, которые не связаны с военными действиями. Так, Карл Полани (Polanyi) изучал влияние торговли между удаленными друг от друга территориями на возникновение и последующее развитие государств [48]. Насколько нам известно, никто не рассматривал это предположение в качестве обобщенной теории формирования государственности; а если бы кто-то и попытался сделать это, то мы столкнулись бы с проблемой, куда более серьезной, чем упомянутая выше. По меньшей мере эта точка зрения привлекает внимание к значимости интерсоциетальных систем в процессах образования и разрушения государств. Вместе с тем, ни упоминание войны, ни упоминание торговли не противостоят аналитической проблеме сущности интерсоциетальных систем. В предыдущей главе мы уже говорили о том, что эти системы не следует воспринимать исключительно как совокупность отношений, связывающих четко разграниченные социетальные общности. Исследование подобных систем пред-

полагает одновременно отказ от убеждения, согласно которому на вопрос, что представляет собой «общество», существует готовый и простой ответ. Обратимся еще раз к примерам, обсуждаемым Эберхардом. Многочисленные общества, расположенные в одной географической зоне, могут сосуществовать в относительно тесной физической близости, не устанавливая при этом прямых контактов друг с другом, хотя и подчиняясь — номинально или фактически — политическому правлению, осуществляемому центром [49]. И наоборот, в таких зонах могут существовать прочно связанные группировки, удаленные друг от друга в пространстве-времени, — один из феноменов, упоминаемых нами в контексте «пространственно-временных пределов». Так, как и в традиционном Китае, в Индии эпохи династии Моголов основная масса индийских фермеров практически не имела контактов с моголами. Их языки, обычаи и религия в корне отличались друг от друга. Крупные торговцы представляли лишь периферийную часть «общества моголов», но большинство их контактов и связей с группами рассредоточивались на большие расстояния, охватывающие субконтинент и весь Ближний Восток. То же самое можно сказать и о служителях культа, являвшихся членами обществ, рассредоточенных по всему субконтиненту и даже выходящих за его пределы.

Не следует удивляться, что, обнаруживая те или иные народные сказания по всему Ближнему Востоку, в некоторых регионах Южной Азии и на побережье Фукиен в Китае, мы не находим их на Филиппинах или острове Хайнань. Племена Миао, проживающие в Куйчжоу, веками сохраняли свои собственные обычаи, традиции, верования и предания, несмотря на близкое соседство с китайскими поселениями, расположенными на расстоянии нескольких миль от места их обитания, в которых были распространены совсем иные традиции, верования и сказания. Миао и китайцы, проживающие в этих местах, как правило, не взаимодействовали друг с другом, исключение составляли лишь случаи экономической эксплуатации и военной агрессии. Однако традиции, разделяемые Миао из Куйчжоу, могли соответствовать обычаям Миао, проживающим во Вьетнаме, что объяснялось — и это можно доказать — наличием контактов, под-

держиваемых на больших расстояниях и в течение длительных периодов времени [50].

Таким образом, можно сделать вывод, что теории «происхождения» государства страдают от недостатков, возникающих вследствие описания эпизодов в эндогенной и/или эволюционной форме и провала попыток исследовать социальную структуру и изменения в контексте интерсоциальных систем. Сюда же стоит добавить игнорирование влияния «мирового времени». Соединив все вышесказанное воедино, мы обнаруживаем, что теория, на которую возлагается задача обнаружения «истоков государственности», оказывается химерой. Говоря о влиянии «мирового времени», мы не имеем в виду организацию событий или происшествий в виде календаря мировой истории. Речь идет о двух идеях, подразумеваемых (хотя и не вполне различаемых) Эберхардом в этом выражении. Каждая из них касается факторов, ограничивающих обобщения, которые могут быть сделаны относительно типов эпизодов. Первая относится к конъюнктуре или стечению обстоятельств, вторая — к влиянию на социальные изменения человеческой способности познавать. Под «конъюнктурой» мы понимаем взаимодействие влияний, относящихся к эпизоду в конкретном месте и времени — в нашем случае, к образованию или распаду государства. Конъюнктура или стечение обстоятельств, в условиях которых происходит один процесс развития, могут отличаться от тех, в которых осуществляется другой, даже если «последствия» этих процессов — например, формирование сходных моделей государственного аппарата — одинаковы. Для того чтобы понять, почему это происходит, необходимо обратиться к рефлексивности людей, которую упускают из виду многие теории формирования государств. Конъюнктурные условия можно было бы рассматривать как сопоставимые с «границными условиями» законов, если бы они не вмешивались в ход рассуждений, а следовательно, и в поведение субъектов деятельности, осознающих факт их существования.

Заимствовав понемногу из каждой упомянутой нами теории, Клэссен и Скальник (Skalnik) составили перечень элементов, существенных с точки зрения объяснения образования государств. Однако, отмечают они, эти элементы обнаруживаются не всегда, а их значимость может изменяться от случая к случаю:

- (1) увеличение численности или стесненность населения;
- (2) война, завоевания или их угроза;
- (3) технологический прогресс или перепроизводство;
- (4) идеология и легитимация;
- (5) влияние уже существующих государств [51].

Несмотря на то, что элементы представлены так, будто они являются «факторами» равноценного логического статуса, в действительности элемент под номером (5) отличается от всех остальных. Учет его предполагает рассмотрение всей совокупности ранее упомянутых вопросов, связанных с интерсоциетальными системами, пространственно-временными пределами и «мировым временем», которые, на наш взгляд, просто абсурдно сводить к единому «фактору», дополняющему другие, названные нами.

Мы можем приступить к решению некоторых из имеющихся проблем, обратившись к представленному Фридом (Fried) и принятому на вооружение различию между «первичными» («примитивными») и «вторичными» государствами [52]. К первичным или примитивным государствам относятся те, которые возникают в областях, где прежде не было никаких государственных образований; вторичные же появляются там, где до них уже существовали или могут быть обнаружены поблизости другие государства. Различия между ними составляют по меньшей мере одну из осей «мирового времени» и приводят в действие систему интерсоциетальных отношений. Мы полагаем, что наши предыдущие рассуждения не оставляют сомнений в том, насколько трудна задача эмпирического определения примитивных государств. Невозможно определить их как государства, образовавшиеся в географически изолированной среде. Для того чтобы государство могло быть отнесено к разряду вторичных, достаточно влияния факта «осведомленности» относительно форм политической организации. Так, в ряде случаев Египет Старого Царства считается примитивным государством, возникшим в географически изолированной *среде* (хотя археологические свидетельства в пользу этого факта явно недостаточны). Но это говорит лишь о том, что ранее здесь не существовало никаких известных нам государственных форм. Нельзя сбрасывать со счетов и влияние, оказываемое ранее возникшими государствами Месопотамии [53].

Вывод, который мы хотели бы сделать, заключается в том, что категории первичных и вторичных государств остаются в высокой степени диспропорциональными. Достаточно сложно привести примеры первичных государств, и при естественном ходе событий мы никогда не сможем быть уверенными, что случаи, являющиеся, на наш взгляд, подходящими «кандидатами» для включения в эту категорию, не представляют собой нечто большее. Ибо вполне может оказаться, что следы, оставленные влиянием предшествующих государств, просто затерялись. Из этого следует, что, хотя ничто не мешает нам рассуждать о путях формирования первичных государств, мы можем заблуждаться, рассматривая то, что знаем о них, как основу теоретизирования по поводу процессов образования государственных структур в целом. Гораздо более продуктивно, на наш взгляд, брать в качестве прототипа «вторичные государства» — государства, возникшие в мире или его регионах, где уже существуют государства или политические образования, отличающиеся высоким уровнем централизации.

В мире сложившихся государств нетрудно объяснить наличие представлений о государстве и моделях государственного устройства, которых придерживаются честолюбивые лидеры и их последователи. Всем нам хорошо известно, что в последнее время правители Японии совершенно осознанно — хотя и вследствие значительного внешнего давления со стороны Запада — приняли на вооружение модель промышленного развития, основанную на предшествующем европейском и американском опыте. Несмотря на то, что этот пример несколько необычен, поскольку инициированные изменения отличались внезапностью и непредвиденностью и влекли за собой далеко идущие последствия, тот факт, что люди, живущие в одних условиях, стремятся превзойти или перенять опыт тех, кто живет в других, дабы компенсировать их власть или влияние, вряд ли можно считать спецификой наших дней. Иными словами, действия, совершаемые во имя формирования государства, не могут не осознаваться теми, кто играет в этих процессах решающую роль. Для того чтобы объяснить механизмы возникновения и угасания государств, достаточно просто понять, что их создатели почти всегда осведомлены относительно основных аспектов характера и фундамента власти централи-

зованных политических образований. Не следует воображать, будто индивиды или группы всегда имели в виду общеорганизационные планы глобальных социальных изменений, к осуществлению которых они затем и приступали. Это явление относится главным образом к разряду современных.

Как в таком случае выглядит преобразованная теория государствообразования? Прежде всего нам следует помнить о том, что функционирование обобщенных «социальных сил» предполагает очевидную мотивацию со стороны тех, на кого они воздействуют. Так, если мы берем в качестве примера «рост населения» как обстоятельство, способствовавшее формированию государства, то подразумеваем наличие определенных мотивирующих факторов, вызывающих различного рода ответные реакции на этот рост (и включенных в процесс его осуществления). Во-вторых, влияние «мирового времени» предполагает потенциально возможные различия в воздействиях на процесс формирования государства; то, что подходит в одних случаях, не соответствует реалиям других. Это вовсе не означает, что обобщения относительно процесса образования государств как специфического социального эпизода не имеют никакой ценности. Однако, скорее всего, они применимы к гораздо более ограниченному диапазону исторических контекстов и периодов, нежели это предполагается авторами большинства известных теорий.



Рис. 21

В качестве иллюстрации воспользуемся принадлежащей Р. Карнейро (Carneiro) интерпретацией зарождения первых традиционных государств, или цивилизаций (см. рис. 20). Карнейро согласен с утверждением, что войны сыграли основную роль в формировании традиционных государств. Однако он отмечает, что среди обществ, находящихся на определенном уровне развития, война становится более или менее обычным явлением и сама по себе не может объяснить возникновение государств. Согласно точке зрения Карнейро, война может привести к образованию государства в том случае, если народ или племя владеет ограниченным физическим пространством сельскохозяйственных угодий, как, например, это было в долинах Нила, Тигра — Евфрата и Инда, в Мексиканской долине или в горных прибрежных долинах в Перу. В таких условиях война приводит к огромной нагрузке на скудные ресурсы там, где миграция затруднена вследствие физической замкнутости территории. В результате традиционный жизненный уклад не выдерживает напряжения, и это стимулирует определенные группы к захвату власти над своими соплеменниками и установлению централизованного контроля над производством. Увеличение численности населения становится чрезвычайно важным фактором, стимулирующим конфликты, возникающие по поводу ресурсов, и содействующим централизации административной власти [54]. Таким образом, вся территория объединяется под единым правлением, которое концентрирует в своих руках все административные средства и образует основу будущего государства. Однажды возникнув, государство может расширять собственные границы, завоевывая и покоряя соседние народы. Именно здесь (хотя Карнейро и не говорит об этом) на первый план выходят определенные мотивы — и, полагаем мы, вероятное влияние стратегий, моделей или размытых воздействий ранее существовавших политических форм. Отсюда можно сделать вывод, что вопреки нагрузке на ресурсы и укоренившиеся манеры поведения люди не изменяют последние во имя обретения и обновления социальных связей. Неравномерное распределение ресурсов не является прямым следствием перенаселенности. Тенденции усиления централизованной власти и контроля не возникают волей-неволей, в силу сложившихся обстоятельств. Они предполагают, что

акторы, вовлеченные в деятельность, направленную на укрепление этого контроля, рефлексивно осознают «социальные нужды», хотя и не всегда подразумевают последствия, возникающие в действительности.

Анализ, предложенный Карнейро, рассматривается в качестве теории «происхождения государства», что вполне соответствует духу антропологической и археологической литературы. Обычно этот оборот употребляется в отношении примитивных государств, хотя это и не вполне очевидно из слов автора. По причинам, упомянутым ранее, мы считаем необходимым отказаться от разграничения категорий первичных и вторичных государств. Модель, аналогичная той, которую Карнейро связывает с «возникновением» государства, может лежать в основе процессов политического распада или дробления. Теория Роберта Карнейро интересна и изыскана, но из этого не следует, что для того чтобы получить право на существование, она должна соответствовать всем известным случаям возникновения государств, даже если бы установление различий между первичными и вторичными государствами не представляло никаких сложностей. Сам автор признает наличие примеров, не соответствующих положениям его теории. Позже он пытается модифицировать ее таким образом, чтобы придать ей универсальный характер, полагая, что отсутствие последнего и является причиной заблуждений. Не все государства возникают в физически замкнутых географических зонах. Дабы учесть это, Карнейро предлагает понятие «концентрация ресурсов». Когда натуральные или естественные ресурсы концентрируются преимущественно в какой-либо одной установленной области, люди начинают перемещаться в нее, стимулируя возникновение ситуации демографического давления. Как только плотность населения достигает критических значений, в дело вступают механизмы государствообразования. Однако модифицированная подобным образом теория утрачивает свою достоверность, а посему, заключаем мы, помогает объяснить не все, а лишь определенные типы случаев возникновения государств. Конечно, очень важно попытаться определить пределы ее валидности. Вместе с тем, тот факт, что она охватывает лишь ограниченное число примеров, не позволяет нам лишать ее законной силы.

Изменения и власть

Любой, кто задумывается над выражением «люди сами творят свою историю», особенно в более широком контексте работ К. Маркса, неизбежно сталкивается с необходимостью обращения к проблемам конфликта и власти. Ибо Маркс полагает, что созидание истории осуществляется не только путем взаимодействия с естественным миром, но и посредством борьбы, которую одни люди ведут против других в условиях господства. Деконструкция исторического материализма означает отказ от целого ряда основных характеристик, используя которые, Маркс организует свою концепцию. Парадоксальным на этом фоне является тот факт, что в случае с властью и ее отношением к конфликту необходимо обратное, т. е. попытка реконструкции. Попробуем понять, почему это так.

Несколько поверхностное, хотя отнюдь не маловажное, возражение, выдвигаемое против представлений Маркса о конфликте и господстве, может заключаться в том, что они чрезмерно преувеличивают значимость классовой борьбы и классовых отношений в истории. Какой бы ни была «история», ее нельзя трактовать исключительно как «историю классовой борьбы», а господство не сводится к доминированию одних классов над другими — даже в «последней инстанции». Гораздо большую проблему представляет, однако, понятие власти, предполагаемое, но редко выражаемое напрямую, в трудах Маркса. Маркс связывает власть (и государство как ее воплощение) с расколом и расхождением интересов, преследуемых представителями разных классов. Таким образом, власть идет рука об руку с конфликтом и представляет собой специфическую характеристику классовых обществ. Несмотря на то, что Маркс провел огромную исследовательскую работу и заклеил господство как неотъемлемую черту классово разделенных и капиталистических обществ, социализм продемонстрировал наличие властных отношений, выходящих за пределы всяческого понимания. Дюркгейм отмечает [55], что в этом отношении марксизм и большей частью социализм имеют много общего со своим оппонентом — утилитарным либерализмом XIX в. Каждый стремится «убеждать от конфликта» и, по существу, связывает с ним власть. Поскольку у Маркса власть обосновывается и подкрепляется

классовым конфликтом, она не представляет особой угрозой для ожидаемого общества будущего: деление общества на классы будет преодолено как неотъемлемая часть основания этого общества. Для либералов же, отрицающих возможность революционной реорганизации общества, угроза власти остается актуальной. Власть символизирует конфликт и потенциальное угнетение; поэтому государство должно быть организовано таким образом, чтобы минимизировать возможности власти, укрощая и обуздывая ее посредством демократической децентрализации [56].

Исходной посылкой реконструированной теории власти выступает предположение, что подобные убеждения несостоятельны. Власть не обязательно связана с конфликтом, понимаемым как несоответствие интересов или активная борьба, и угнетением. Шквал резкой критики, спровоцированной анализом власти, предложенным Т. Парсонсом [57], не позволяет нам игнорировать фундаментальные коррективы, представленные в литературе благодаря его участию. Власть есть возможность и способность добиваться результатов, независимо от того связаны они или нет с сугубо частными интересами. Как таковая власть не является препятствием на пути к свободе и раскрепощению, но есть их условие — хотя, конечно, глупо было бы пренебрегать ее ограничивающими свойствами. Существование власти предполагает наличие властных структур или структур господства, посредством которых власть, «плавно втекающая» в процессы социального воспроизводства (и остающаяся «незамеченной»), функционирует и оказывает свое воздействие. Таким образом, эскалацию насилия или ее угрозу нельзя считать типичными примерами использования власти. Кровь и ярость, пыл сражений, открытая конфронтация противников — не являются неизбежными историческими состояниями, в которых проявляются или устанавливаются наиболее серьезные и далеко идущие следствия власти.

Упомянув все вышесказанное, необходимо, однако, разделить теорию структуризации от двух вариантов направлений, предложенных Парсонсом и Фуко. Ассоциируя власть с так называемыми «коллективными целями», Парсонс отчасти жертвует осознанием того факта, что понятие власти не имеет подлинной связи с понятием интереса. Если власть логически не связана с реализацией частных интересов, не

связана она и с претворением в жизнь коллективных интересов или «целей». По существу, чрезмерный интерес Парсонса к проблеме нормативного консенсуса как основы интеграции обществ приводит его к серьезной недооценке значимости полемики вокруг норм и многообразия обстоятельств, в которых сила и принуждение, а также боязнь их, непосредственно участвуют в процессе санкционирования деятельности [58]. С другой стороны, пытаясь реабилитировать понятие власти, Фуко добивается этого, лишь уступая заблуждениям Ницше, согласно которым власть будто бы предшествует истине. Руководствуясь разными причинами, и Фуко, и Парсонс не соотносят власть с положительной оценкой деятельности и способности познавать, вовлеченных в процесс «созидания истории».

Продолжая наши рассуждения, обсудим некоторые аспекты власти, взяв за концептуальную основу теорию структуризации. Прежде всего обратимся к проблеме порождения власти. Мы должны серьезно отнестись к заявлению Парсонса о том, что власть не является статической величиной, но расширяется относительно различных форм свойства системы; хотя, на наш взгляд, идеи, предложенные им здесь в качестве выводов, и не стоит принимать во внимание.

Мы считаем, что понятие пространственно-временной протяженности напрямую связано с теорией власти. Анализируя эту связь, мы можем уточнить некоторые основные принципы господства как расширяющегося свойства социальных систем. В первой главе мы писали о том, что власть порождается в и посредством воспроизводства властных структур. В основе последних лежат ресурсы двух типов — аллокативные и авторитативные. Координация социальных систем во времени и пространстве с необходимостью предполагает определенные комбинации этих двух типов ресурсов, классификация которых выглядит следующим образом:

<i>Аллокативные ресурсы</i>	<i>Авторитативные ресурсы</i>
1. Материальные свойства окружающей среды (сырье, материальные источники питания)	1. Организация социального пространства-времени (пространственно-временной порядок путей и зон)
2. Средства материального производства / воспроизводства (орудия производства, технология)	2. Производство / воспроизводство тела (организация и отношения людей внутри сообществ)
3. Произведенные товары (артефакты, созданные посредством взаимодействия пунктов 1 и 2)	3. Организация жизненных шансов (определение шансов на саморазвитие и самовыражение)

Ресурсы эти подвержены изменениям и обуславливают нарастающий характер власти в различных типах обществ. Эволюционные теории всегда были склонны считать приоритетными аллокативные ресурсы, т. е. различного рода материальные ресурсы, используемые в процессе «адаптации» к окружающей среде. Однако наши предшествующие рассуждения показали, что и авторитативные ресурсы имеют во всех отношениях «инфраструктурный» характер. Мы вовсе не отрицаем влияние ближайшей естественной среды обитания — воздействие ключевых технологических изобретений или материальных источников энергии, получаемой и используемой во благо людей — на модели социальной жизни. Но об этом было сказано так много, что, на наш взгляд, весьма важно подчеркнуть здесь не меньшую значимость авторитативных ресурсов. Ибо, как и приверженцы марксизма, мы все еще находимся в плену викторианской эпохи, рассматривая в качестве основной движущей силы человеческой истории преобразование материального мира.

Очевидно, что накопление аллокативных ресурсов тесно связано с пространственно-временной протяженностью, непрерывностью обществ в пространстве-времени и соответственно с порождением власти. Охотники и собиратели практически не имеют возможностей хранить пищу и другие материальные предметы и круглый год используют во имя обеспечения собственных потребностей дарованную им кладовую природы. Они напрямую зависят от щедрости природы — что вовсе не ведет, однако, к обнищанию и истощению. Более того, обрядовые, культовые и религиозные действия кажутся в большинстве случаев гораздо более важными, чем относительно ограниченные материальные потребности повседневной жизни. В сельскохозяйственных обществах применяются, по меньшей мере, некоторые разновидности производственных технологий, а природные кладовые расширяются и пополняются таким образом, который способствует «растяжению» социальных отношений в пространстве и времени. Возделывание сельскохозяйственных культур приобретает сезонный характер, продукция начинает складироваться там, где это технически возможно, появляется возможность держать поля под паром, дабы сохранить на долгий срок производственные мощности общества, и т. п. В классово разделенных обществах возможно

дальнейшее повышение производительности сельского хозяйства *на душу населения*, хотя сравнение с небольшими крестьянскими общинами говорит о том, что эта тенденция отнюдь не универсальна. Ирригационные системы и другие технические нововведения, как правило, не столько повышают среднюю производительность, сколько упорядочивают и согласуют производство. В крупных аграрных государствах сохранение и накопление продуктов питания и других скоропортящихся товаров приобретает статус жизненной необходимости и становится делом первостепенной важности. В условиях современного капитализма купля-продажа произведенных продуктов питания представляет собой столь же неотъемлемую и фундаментальную основу социального существования, как и обмен всем спектром других товаров: не будет преувеличением сказать, что экспансия капитализма, превратившегося в новую систему мировой экономики, не была бы возможной без появления многочисленных технологий сохранения и накопления скоропортящихся продуктов и еды, в частности [59]. Но затем и капитализм порождает и попадает в зависимость от различных технических инноваций, связанных с массивным использованием естественных ресурсов и в корне отличных от предшествующих.

Будучи описанной подобным образом, история человечества выглядит (а зачастую и представляется) как последовательность расширения и укрупнения «производительных сил». Пополнение материальных ресурсов *составляет* основу увеличения власти, но аллокативные ресурсы не могут развиваться вне соответствующего преобразования авторитативных ресурсов, при этом последние не менее важны с точки зрения обеспечения «рычагов» социальных изменений, чем первые. Организация социального пространства-времени относится к моделям регионализации внутри (и вовне) обществ, посредством которых упорядочиваются пространственно-временные пути повседневной жизни. Сообщества охотников и собирателей, равно как и сравнительно небольшое количество более крупных кочевых культур, являются единственными обществами, чья пространственно-временная организация предполагает систематические перемещения всей группы в пространстве-времени. Слово «единственные» здесь неуместно. Ибо до недавнего време-

ни общества охотников и собирателей являли собой наиболее типичную форму социальной организации людей, которую когда-либо знала наша планета. Пространственная устойчивость и постоянство — связывание локальностей с определенными «искусственно созданными средами», особенно в форме городов — знаменуют собой новый виток в человеческой истории.

Вторую категорию авторитативных ресурсов — производство / воспроизводство тела — не следует уподоблять категории под номером 2 в классификации аллокативных ресурсов. Конечно, средства материального воспроизводства необходимы в процессе воспроизводства человеческого организма; большую часть человеческой истории различные материальные ограничения сдерживали общий прирост населения. Однако *регулирование* количества людей в обществе и их воспроизводства во времени представляет собой авторитативный ресурс из разряда фундаментальных. Как таковая, власть не зависит исключительно от численности населения, собранного вместе в рамках административной системы. Однако размеры последней вносят значительный вклад в процесс порождения власти. Уместно вспомнить в этом контексте различные ограничивающие и побуждающие свойства тела, рассмотренные нами в третьей главе — фактически, они являются основанием для анализа административных ресурсов. Вместе с тем мы не можем не присоединить сюда категорию жизненных шансов, отнюдь не всецело зависящую от материальной производительности общества. Характер и масштаб власти, порожденной авторитативными ресурсами, зависят не только от расположения тел, передвигающихся по пространственно-временным путям, но и от жизненных возможностей субъектов деятельности. «Жизненные шансы» или «жизненные ожидания» означают в первую очередь возможности простого выживания людей в различных формах и зонах общества. Вместе с тем понятие жизненных шансов подразумевает также весь спектр способностей и возможностей, которые имел в виду Вебер, вводя в обращение этот термин. Возьмем только один пример: массовая грамотность. Грамотное население может мобилизоваться или быть мобилизовано в пространстве-времени посредством способов, совершенно отличных от тех, что соответствуют реалиям устных культур.

Мы уже говорили о значимости накопления аллокативных ресурсов как средства расширения господства — лейтмотиве трудов в области эволюционной теории. Гораздо менее известным, но весьма важным с точки зрения порождения власти, является аккумулятивное авторитативных ресурсов. «Аккумулятивное» или накопление есть средство «связывания» пространства-времени, включающего осознанное управление намеренным будущим и вспоминание ушедшего прошлого, осуществляемые на уровне действия. В устных культурах практически единственным хранилищем накопленной информации является человеческая память. Однако, и мы уже говорили об этом, память (или вспоминание) следует понимать не только как психологические свойства индивидуальных субъектов деятельности, но и как неотъемлемую характеристику рекурсивности процессов институционального воспроизводства. В данном контексте аккумулятивное подразумевает формы пространственно-временного контроля, равно как и феноменальный опыт «прожитого времени», а «вместителем», в котором хранятся авторитативные ресурсы, является само общество.

Накопление авторитативных и аллокативных ресурсов можно рассматривать как процесс сохранения и управления информацией или знаниями, посредством которых социальные отношения увековечиваются в пространстве и во времени. Накопление предполагает *средства* представления информации, методы *поиска* или вспоминания информации и, как и в случае со всеми авторитативными ресурсами, способы ее распространения. Метки на дереве, списки, книги, архивы, фильмы, магнитофонные записи — все это средства хранения информации, отличающиеся друг от друга своей емкостью и детальностью. Восстановление информации, содержащейся в них, зависит от способностей человеческой памяти активизировать предыдущие знания и опыт, а также от наличия навыков интерпретации, которыми владеет, как правило, лишь меньшая часть конкретно взятого населения. Распространение хранимой информации находится под влиянием технологии ее производства. Так, например, существование механизированных печатающих устройств обуславливает доступные виды информации и определяет тех, кто может ими воспользоваться. Более того,

характер носителя информации — и это постоянно подчеркивал ныне забытый пророк М. Маклюэн — непосредственно влияет на возникшие благодаря ему общественные отношения [60].

Хранилища аллокативных и авторитативных ресурсов порождают основные типы обозначенных нами в предыдущей главе структуральных принципов устройства обществ. Хранение информации является, с нашей точки зрения, фундаментальным явлением, допускающим возможность протяженности пространства-времени, и нитью, связующей различные типы аллокативных и авторитативных ресурсов в воспроизводимых структурах господства. Город, возникновение которого совпадает с появлением новых форм хранения информации, и прежде всего письма, есть вместилище или «горнило власти», обуславливающее формирование классово разделенных обществ. Сошлемся еще раз на когда-то упомянутое нами [61] высказывание Л. Мэмфорда (Mumford), весьма точно подводящее итог нашим рассуждениям:

...самое начало городской жизни, момент, когда город с очевидностью приобрел свои специфические черты, сопровождался внезапным укреплением власти во всех сферах жизни и увеличением ее значимости в отношениях между людьми. До сих пор разнообразное множество институтов существовало отдельно друг от друга, периодически сталкиваясь в местах общественных встреч: охотничий лагерь, святиня, ритуальная пещера эпохи палеолита, земледельческое поселение неолита — все это объединилось и образовало масштабное место встречи — город... Исходная форма этого вместилища просуществовала около шести тысяч лет; только несколько веков назад она начала распадаться [62].

Процессы распада начались под влиянием современного капитализма, развивавшегося в социетальных контекстах, способствующих формированию и формируемых новым типом вместилища власти — национальным государством. Процесс исчезновения городских стен сопровождается укреплением высоко развитого типа административной системы, функционирующей в рамках собственных, четко определенных территориальных границ.

Критические замечания:

Парсонс об эволюции

Несмотря на то, что последние десятилетия ознаменовались выступлениями влиятельных сторонников эволюционизма, таких как Лесли Уайт, не будет ошибкой заявить, что их труды не оказали существенного влияния на теоретические изыскания, проводимые в рамках общественных наук. Небезынтересен поэтому тот факт, что в своих поздних работах Талкотт Парсонс, один из ведущих представителей социологической мысли, предпринял попытку вдохнуть в эволюционную теорию новую жизнь. Поскольку оценка эволюционизма, предложенная Парсонсом, получила немалую поддержку и, несомненно, заслуживает особого внимания, мы рассмотрим ее подробнее.

Парсонс предлагает считать социальную эволюцию расширением биологической, хотя фактические механизмы той и другой различны. Нет оснований полагать, что между биологической и социальной эволюциями внезапно возникает непредвиденный разрыв. С точки зрения Парсонса, «водораздел между биологическим и социальным» символизирует один из этапов длительного процесса развития. Оба типа эволюции могут быть поняты в терминах так называемых «эволюционных универсалий», т. е. типов развития «достаточно важных для дальнейшей эволюции», которые обнаруживаются по крайней мере в нескольких случаях в независимых друг от друга условиях [63]. Примером эволюционной универсалии в мире природы является зрение. Способность видеть позволяет неизмеримо увеличить спектр реакций, скоординированных с изменениями окружающей среды, и поэтому имеет огромную адаптационную ценность. Зрение не просто появилось в какой-то одной, изолированной части животного царства, а развилось независимо у нескольких видов: моллюсков, насекомых и позвоночных. Органы зрения этих групп отличаются друг от друга своим анатомическим строением и не могут считаться принадлежностью единого эволюционного процесса, вместе с тем, на высших стадиях биологической эволюции зрение становится необходимой характеристикой всех животных.

Биологические предпосылки социальной эволюции людей определяются эволюционными универсалиями рук и мозга. Обладание независимыми в своих движениях — и отстоящим большим — пальцами, а также руками с подвижными суставами, разнообразит манипулирование предметами. Высокий, по сравнению с другими видами, уровень развития человеческого мозга позволяет овладевать различными видами деятельности и способностью к познанию, недоступными низшим животным, и прежде всего способностью научиться языку и использовать его. Эти особенности повышают адаптивные способности людей и дают им преимущества перед другими видами. Парсонс утверждает, что понятие адаптации есть неотъемлемый элемент биологической и социальной эволюций. Адаптацию, пишет он, не следует понимать исключительно как пассивное приспособление данного вида или типа социальной системы к условиям окружающей среды, ибо она включает более активные факторы выживания. Адаптация «живой системы» предполагает «активное стремление к овладению или способность изменить окружение таким образом, дабы оно могло удовлетворить потребности этой системы, а также возможность выжить, вопреки его устойчивым характеристикам» [64]. Зачастую это означает способность совладать с целым рядом проблем, возникающих в окружающей среде, в особенности с обстоятельствами, провоцирующими неопределенность. Подводя итог, можно сказать, что эволюционная универсалия есть любая органическая или социальная черта, усиливающая перспективные адаптивные способности живой системы и повышающая их до такого уровня, который становится предпосылкой более высокой ступени развития. Между биологическими и социальными эволюционными универсалиями существует лишь одно значительное различие: первые не подвержены размыванию, в то время как вторые склонны к этому. Так, условия, породившие адаптивное преимущество, могут отличаться от тех, что способствуют его дальнейшему усвоению другими социальными группами.

Люди живут в обществах и создают культуры. Парсонс полагает, что символические аспекты культуры, описанные им, жизненно важны с точки зрения процессов адаптации. «Символ» заменяет ген и становится основным организую-

щим компонентом социальной эволюции. Несмотря на то, что символические свойства социальных систем обусловлены рядом общих генетически предопределенных способностей организма, каждое поколение научается им заново. В отличие от генетических программ «культурные ориентации» не способны к самореализации. Коммуникация есть основа культуры, а язык — базис коммуникации. Таким образом, язык представляет собой первую и важнейшую эволюционную универсалию; нам не известны человеческие общества, не обладающие языком. Согласно Парсонсу, символические системы играют непосредственную роль в социальной организации вообще и участвуют в процессах социальных изменений, поскольку занимают в человеческих обществах верхнюю ступень кибернетической иерархии. В концептуальной «схеме действия», предложенной Парсонсом, они превосходят социальную систему, личность и организм. Физическая среда обуславливает или ограничивает образы действий, принятые в обществах, однако, именно культурная система непосредственно регулирует и структурирует их [65].

В своих ранних формах культура в определенной мере синонимична религии. Религия, утверждает Парсонс, является одной из четырех эволюционных универсалий, обнаруживаемых «даже в простейших системах действия». Три другие — коммуникация посредством языка, родственные отношения и технология, «наличие которых создает минимум, служащий отличительным признаком человеческого общества как такового» [66]. Они относятся к общим свойствам действия и соответственно ко всеобщему процессу биологической эволюции. Эволюцию в направлении от наиболее примитивных типов систем действия можно представить как процесс постепенной дифференциации, связанный с функциональной специализацией. Дифференциация может вести — хотя и не обязательно — к увеличению адаптивной способности каждой специфической, вновь отдифференцировавшейся функции; мы можем назвать этот процесс аспектом «адаптивного усиления». Общие направления процесса дифференциации могут быть обозначены в этих терминах. Если считать природу социальных систем кибернетической, то эти направления должны пониматься как *функциональные*. Увеличивающаяся сложность систем,

если она обусловлена не только сегментацией, включает развитие подсистем, специализирующихся на более специфических функциях в действии системы как целого и на интегративных механизмах, которые увязывают функционально дифференцированные подсистемы [67]*. Эти подсистемы — поддержание образца, интеграция, политическое устройство и экономика — составляют основу анализа, проведенного Парсонсом.

Ранние типы общества — первобытное общество — демонстрируют весьма низкий уровень дифференциации всех четырех подсистем. Для них характерна особая система «конструктивного символизма», обеспечивающая группе определенную культурную идентичность, отличающую ее от других. Символизм этот напрямую связан с отношениями родства — например, посредством мифа о существовании богов-родоначальников, основавших сообщество. Миф объединяет группу и одновременно обеспечивает концептуальную основу противостояния трудностям и угрозам, исходящим от мира природы. Одной из отличительных особенностей первобытных обществ является то, что конструктивный символизм пронизывает практически все сферы жизни — религиозную, нравственную и техническую, — делая их частью сплоченного социального целого. В качестве примера культуры, находящейся на низшей стадии социальной эволюции, Парсонс (как и Дюркгейм) рассматривает племена австралийских аборигенов. Эти общества структурированы исключительно на основе родственных отношений, которые в свою очередь выражают религиозные взгляды, а также связаны с отношениями обмена и хозяйственной деятельностью во внешней среде. Экономические аспекты последних относятся к разряду «простейших» и заключаются в охоте, сборе ягод, корней и различных съедобных насекомых. Большую часть времени племена живут кочевой жизнью, странствуя по обширным пространствам земли, и хотя отличающая их система конструктивного символизма соотносится с постоянной территорией, между общинами отсутствуют четко определенные территориаль-

* Парсонс Т. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения / Пер. с англ. Поляковой Н.А. // Современная западная теоретическая социология. Вып. II. Т. Парсонс (1902–1979). М., 1994. С. 142.

ные границы. Приоритетная значимость родственных отношений сопровождается здесь отсутствием вертикальных различий между родственными кланами: ни одно объединение их не отличается явными преимуществами во власти и благосостоянии или религиозным превосходством. Как правило, функциональная разница определяется возрастом и полом, во всем остальном племена австралийских аборигенов состоят из равноправных сегментов — групп, связанных родственными узами.

Следующая ступень эволюции — уровень «развитого первобытного общества», переход к которому ознаменован нарушением отношений равноправия между родственными группами. Это происходит, когда одной группе удается завладеть ресурсами, позволяющими ей контролировать и управлять процессом заключения браков; затем эти ресурсы могут быть использованы для накопления материальных благ и формирования прочих основ власти. На смену эгалитарным отношениям, характерным для обществ более простых типов, приходит тенденция к вертикальной дифференциации и стратификации обществ. В экономической сфере изменения идут рука об руку с процессами создания постоянных поселений и возникновения особой производственной системы, основанной на скотоводстве и земледелии и приходящей на смену кочевому образу жизни охотников и собирателей. Пока что речь не идет о дифференцированной «экономике», однако, усовершенствованная система материального производства и возросший уровень производительности труда порождают экономические рычаги, способствующие укреплению имущественных прав и стабилизации контроля над территориями. Вместе с тем, вполне возможно, что стратификация есть первая и основная эволюционная универсалия на пути перехода от более к менее примитивным обществам. Стратификация возникает главным образом посредством возвышения одного клана и занятия им привилегированного социального положения; затем старейшина этого рода получает, как правило, титул правителя. Развитые первобытные общества гораздо менее однородны, чем их предшественники; в них существует множество противоречий — этнических и религиозных, а также деление на классы. Классическими примерами обществ этого типа являются африканские государства, такие, как

Зулу. Парсонс полагает, что в Зулу и других подобных ему племенах первостепенное значение в деле формирования и укрепления общественного строя и социального порядка имела военная власть. Однако, пишет он, куда более важную роль играло, вероятно, возникновение развитой религиозной культуры, узаконивающей положение и статус вождя и стимулирующей социальную сплоченность.

Вместе с тем, согласно Парсонсу, развитые примитивные общества стоят на первой ступени эволюционной лестницы; поднимаясь по которой, мы обнаруживаем то, что он называет «промежуточными» обществами. Последние состоят из двух подтипов — «архаических» и «развитых промежуточных» обществ, — связанных с возникновением письменности. Для архаических обществ характерно то, что Парсонс называет «ремеслом письменности»; здесь письмо используется главным образом для специальных целей — ведения административных учетных записей и кодификации магических и религиозных заповедей. Грамотность является достоянием небольших групп священнослужителей и не институционализована как часть общего образования господствующего класса или классов. Примером архаического общества служит Древний Египет. Общества этого типа отличаются «космологическим» религиозным порядком, обобщающим и систематизирующим конструктивный символизм в большей степени, чем это было в первобытных обществах. Политическое руководство приобретает форму государственных администраций и выступает в некоторой степени обособленно от религиозных служб. Архаические общества отличаются от первобытных большей адаптивностью, ибо предполагают функциональную ответственность в религиозной и политической сферах. Эти тенденции получают дальнейшее развитие в «продвинутом» типе промежуточных обществ — «исторических империях», подобных Риму или Китаю, связанных с «мировыми религиями», о которых писал Макс Вебер. Общества этого типа характеризуются масштабными культурными новациями, явившимися следствием «философских прорывов», приведших к разделению божественного и мирского; монархи перестали быть богами.

Появление исторических империй приводит к возникновению новой эволюционной универсалии — специализи-

рованной культурной легитимации политической сферы, являющейся средством укрепления государственной власти и предполагающей появление особой категории политических лидеров, функционирующих наряду с правителем.

Независимо от конкретных культурных вариаций политические деятели должны обладать в перспективе не только достаточной властью, охватывающей чрезвычайно обширную сферу, но и законным правом на нее... Сочетание различных культурных образцов легитимации с социально дифференцированными видами деятельности есть основной аспект эволюционной универсалии политической легитимности [68].

Вторая эволюционная универсалия связана с появлением бюрократической организации. Соглашаясь с Вебером в том, что бюрократия есть необходимое условие эффективной широкомасштабной мобилизации власти, Парсонс утверждает, что развитые промежуточные общества отличаются экспансией процессов административной координации правительства, вооруженных сил и других дифференцировавшихся институциональных секторов. Третья универсалия, возникшая благодаря историческим империям — денежный обмен и рыночный комплекс. Последний, полагает Парсонс, представляет собой систему власти, освободившуюся от ряда «дилемм» политической власти. В основе своей политическая власть опирается на систему штрафных санкций, налагаемых административными органами; деньги обладают некоторыми свойствами политической власти, однако являются более генерализированным ресурсом, коим обладают и «потребители», и «поставщики», ресурсом, избавляющим людей от необходимости быть лояльными по отношению к определенным политическим группам, а также от аскриптивных родственных связей. Однако три перечисленных нами эволюционных универсалии с необходимостью предполагают четвертую — «высоко генерализированный универсалистский нормативный порядок» [69], воплощенный в правовой системе. Последняя универсалия приводит нас к истокам современности, ибо некоторые исторические империи, обладающие достаточно развитыми бюрократическими организациями и рынками, не имели при этом столь же мощной системы обобщенных безличных норм.

Становление и развитие современного Запада, занимающего высшую ступень в эволюционной схеме Парсонса, связано с Древним Израилем и классической Грецией — двумя обществами, оказавшимися «зародышевым источником» для процессов развития, приобретших чрезвычайное значение много лет спустя после того, как сами эти общества прекратили свое существование. (Ниже приводится весьма красноречивое высказывание Парсонса: «Безусловно, буддизм представляет собой наиболее выдающуюся — из всех упомянутых нами — культурную систему, влияние которой распространилось далеко *за пределы* общества, ее породившего. Но то, что он не являлся проводником современности и имел небольшую значимость для западного общества, удерживает нас от подробного рассмотрения его» [70].) Почему определенные культурные особенности этих обществ получили столь широкое распространение? И что благоприятствовало культурным новациям, произведенным ими? Отвечая на второй вопрос, Парсонс утверждает, что в действительности подобные культурные новшества способны породить лишь небольшие общества, отличающиеся умеренным уровнем политической независимости. Это абсолютно невозможно в крупных империях, занимающих значительные территориальные пространства, на которых сталкивается в конкурентной борьбе множество различных интересов. Ответ на первый вопрос заключается в последующей утрате этими обществами своей независимости, вследствие чего их культурные новации проникают и воспринимаются основными слоями более крупных социальных образований. Иудейская и греческая культуры были заимствованы в большей степени «образованными классами», нежели представителями господствующих политических групп, и превратились впоследствии в «основные социетальные установки», ставшие фундаментом укоренившихся на Западе традиций. Современный тип общества возник в «едином эволюционном пространстве», имя которому — Запад [71].

Парсонс убежден, что возникновение западного общества ведет к дальнейшему, по сравнению с промежуточными обществами, усилению адаптивной способности. Продолжающееся развитие рыночных механизмов, универсализация правовых норм и возникновение системы массовой демократии, наделяющей население гражданскими права-

ми, — все это характерные черты Запада, приводящие к невиданной доселе дифференциации. Вместе взятые они способствуют укреплению «территориальной целостности» обществ, отделенных друг от друга четкими границами. Процесс становления системы обобщенных безличных норм может быть прослежен на примере артикуляции континентального римского и общего английского права. Второе наиболее значимо с точки зрения содействия свободе заключения договоров и защите частной собственности. Оно, говорит Парсонс, есть «существеннейший, унифицированный признак современного общества»; английское законодательство явилось «основной предпосылкой первой индустриальной революции» [72]. Кроме того, оно представляет собой условие развития массовой демократии, которая, в свою очередь, обуславливает эффективное использование власти в обществах, отличающихся высокой степенью дифференциации. Общества, не ставшие на путь демократии, включая «коммунистические тоталитарные режимы», менее адаптивны, чем те, которые выбрали демократическую стезю развития. Какое общество занимает сегодня высшую ступень эволюционной схемы? Конечно, Соединенные Штаты Америки! Утешительный, хотя и не особо оригинальный вывод американского социолога, проанализировавшего весь процесс эволюции человечества [73].

Подобные заявления относятся к разряду тех, что создают социологии плохую репутацию — по меньшей мере, в глазах всего остального мира. Можно было бы поддаться искушению пренебречь ими, сославшись на оговорку, сделанную Парсонсом в заключении его работы по исследованию эволюции, суть которой состоит в том, что читателю не следует слишком вдаваться в детали повествования, ибо главное — «общие представления об эволюционных универсалиях и их основе — обобщенной адаптивной способности» [74]. В целом мы склонны прислушаться к этой рекомендации, отметив, однако, что восхваление Парсонсом США вполне соответствует предложенному им варианту эволюционной теории.

Теория Т. Парсонса отвечает всем критериям, упомянутым нами в качестве отличительных черт эволюционизма. Эволюция, поясняет Парсонс, есть нечто большее, чем просто «история», при этом, полагает он, социальная и биоло-

гическая эволюции связаны не только концептуально, но и по существу. Еще раз появляется здесь и знакомое нам понятие адаптации. Парсонс определяет наиболее интересное ему направление развития (дифференциация институтов) и предлагает объяснение механизмов изменений, зависящих от «кибернетического» влияния ценностей и символов. Кроме того, он обнаруживает несколько второстепенных недостатков эволюционной теории и несколько не осторожничает, будучи достаточно осмотрительным, дабы избежать основных проблем, с которыми так часто сталкиваются эволюционные теории.

Парсонс придает большое значение представлениям о том, что социальная эволюция есть расширение эволюции биологической. Теперь мы видим, что в некотором смысле этот тезис не вызывает возражений. По-видимому, физические характеристики тела (большой и сложноустроенный с точки зрения неврологии мозг, вертикальное прямохождение и т. п.) все-таки являются предпосылкой развития человеческого общества. Ранние этапы становления социальных объединений людей и культуры напоминали, вероятно, борьбу за выживание, приведшую к благоприятному для *Homo sapiens* исходу процесса эволюции. Но что из этого следует, опустимы эстетическую привлекательность теории, объясняющей биологическое и социальное развитие посредством обращения к единому набору понятий? Ответ прост: ничего. Биологическая эволюция связана с изменениями в наследственности и генетических характеристиках последующих поколений, прекрасно объясняемыми наличием небольшого числа относительно простых механизмов. Социальная эволюция затрагивает отношения между человеческими обществами и окружающим их материальным миром, а также отношения, существующие между этими обществами как таковыми. Понятие «эволюция» не соответствует этим феноменам надлежащим образом; кроме того, установленную последовательность изменений невозможно объяснить с «эволюционных» позиций, не продемонстрировав действие аналогичных механизмов. Теория Парсонса достаточно типична для доктрин эволюционного направления в своей убежденности, будто последнее обеспечивается тем (непреложным) фактом, что биологическая эволюция взаимосвязана с ранними этапами развития чело-

веческой культуры. Однако что можно доказать, обращаясь за подтверждением к свидетельствам, рассматриваемым как источник самих себя?

Концепция адаптации, предложенная Т. Парсонсом, столь же неопределенна и всеобъемлюща, как и другие, представленные в литературе, а посему ее вряд ли можно назвать нетипичной. Адаптация, пишет он, связана отчасти с «выживанием», отчасти с взаимодействием с окружающим материальным миром, но никоим образом не сводится к ним. В более широком смысле она ассоциируется с уменьшением неопределенности — эту идею, также как и представление о кибернетическом влиянии символов и ценностей, Парсонс заимствует в теории систем. Но поскольку автор не дает дефиниций «неопределенности», утверждение это или столь размыто концептуально, что становится фактически бесполезным, или, приобретая некоторое смысловое содержание, оказывается в лучшем случае неправдоподобным. Обратимся к двум значениям, которые может подразумевать Парсонс: уменьшение неопределенности в отношении превратностей природы и уменьшение неопределенности в отношении будущих событий. Ни то, ни другое не способно даже четко соотноситься с типами обществ, упомянутыми Парсонсом в его эволюционной схеме, не говоря уже о том, чтобы способствовать их дифференциальному «выживанию». Усиление контроля над материальным окружением, вызванное совершенствованием технологий или манипулированием авторитативными ресурсами, вовсе не тождественно снижению неопределенности результатов. Так, технологически «продвинутый» фермер может быть более уязвим перед лицом изменений погоды, чем охотник и собиратель. Что же касается уменьшения неточностей в прогнозировании будущего, то кто возьмет на себя смелость утверждать, что мир, в котором мы живем сегодня, с его невероятными, но все же флуктуирующими темпами технологических и экономических изменений, политической неопределенностью и наличием ядерного оружия менее устойчив, чем эпоха палеолита?

Более того, направляющий механизм эволюции, связываемый Парсонсом с усиливающейся адаптивной способностью предложенных им эволюционных универсалий, — кибернетический контроль как следствие конструктивного

символизма, — несомненно, абсолютно неубедителен. Парсонс обосновывает свой подход, сознательно противопоставляя его историческому материализму и другим теориям, которые, по его мнению, сходны с ним в том, что утверждают, будто технология или экономическая организация в целом есть движущие силы социальных изменений. Однако этот подход не более убедителен, чем те теории, которым он противопоставляется. Доказательство по аналогии снова испытывает трудности с подтверждением. В механически управляемых системах кибернетический контроль с низким уровнем энергии способен приводить в движение системы с более высоким уровнем энергии. Парсонс сравнивает это с геном и контролируемым им синтезом протеина, а также с иными аспектами клеточного метаболизма, будто последние придают некую весомость его утверждениям относительно влияния «конструктивного символизма», управляющего процессами социальных изменений. Предполагаемая им концептуальная параллель несет двойную нагрузку. С одной стороны, она выступает источником тезиса о регулирующих возможностях символов и ценностей, с другой, сам Парсонс пишет о ней так, будто она способствует, одновременно его обоснованию.

Предположим, что идея адаптивной способности плюс «кибернетического» влияния конструктивного символизма на самом деле обеспечивает общую объяснительную схему социальной эволюции, примерно аналогичную той, посредством которой биологи трактуют естественную эволюцию. Проблема определения того, что есть «выживание» применительно к человеческому обществу, — вопрос, который следует связать с прояснением сути самого «общества», — требует гораздо больше внимания, чем ей уделяет Парсонс. В процессе биологической эволюции выживание и вымирание есть две очевидные, исключаящие друг друга альтернативы, связанные с условиями, определяющими дифференциальное воспроизводство. Популяция, не способная победить в борьбе за необходимые ей ресурсы окружающей среды, не может передать по наследству свои гены, а посему вымирает. Однако в социальном мире эти обстоятельства не имеют истинных аналогов. Если адаптивная способность определяется настолько широко, что включает в себя мобилизацию для ведения военных действий, социальные

объединения, очевидно, будут подвержены частым неудачам в «адаптации» в связи с поражением или уничтожением другими сообществами. Однако, как правило, общества не прекращают свое существование подобным образом. Более того, будучи, скорее, колонизированными или подчиненными, нежели истребленными другими группами, ранее существовавшие формы социальной организации зачастую продолжают функционировать практически в том же виде в условиях измененного социального контекста. Ответ на вопрос, сумели ли они «выжить» или нет, во многом зависит от того, как мы определяем «общество» или соответствующую единицу анализа в эволюционном исследовании. Парсонс считает этот вопрос решенным, ибо ответ на него является неотъемлемой частью предложенной им классификации обществ. То, что «первобытные общества» лишены четко обозначенных границ, является показателем их низкого положения на эволюционной лестнице [75]. Альтернативная точка зрения состоит, однако, в том, что определить, что можно считать состоявшимся «обществом», гораздо труднее, чем это предполагает Парсонс, — по крайней мере, до тех пор, пока мы не обращаемся к эпохе современных национальных государств.

Теория Парсонса иллюстрирует практически все пагубные тенденции, свойственные, на наш взгляд, эволюционным концепциям. Она, несомненно, являет собой пример «изложения мирового развития»; она страдает вследствие однолинейной ограниченности и фактически преднамеренно впадает в то, что мы именуем нормативной иллюзией. То, что Парсонс предлагает нам собственный вариант «истории мирового развития», становится очевидным из описания «первобытных обществ». Автор как бы случайно упоминает о том, что племена австралийских аборигенов относятся к разряду «наиболее примитивных из известных нам обществ» [76], не вдаваясь при этом в дальнейшие рассуждения. Парсонс полагает, что они находятся на самой низшей ступени социальной эволюции, ибо проявляют невысокий уровень дифференциации и отличаются слабо развитой экономикой, структурируя свою жизнь исключительно на основе родственных отношений. А как же сложность системы родства, богатство австралийской культуры, породившей разнообразные ритуалы и специфическое искусство?

Все это остается в тени, поскольку Парсонс прибегает к типично эволюционистской элизии между «примитивностью» определенных аспектов социальной жизни, например технологии, и «примитивностью» общества в целом. Что же можно сказать в этом случае об огромном разнообразии небольших устных культур, выживающих во времени и пространстве, которое справедливо подмечается «культурными релятивистами»? [77]. Если бы Парсонс занимался исключительно формулированием концепции общей эволюции (иначе говоря, если бы он не был эволюционистом, в том смысле, как понимаем этот термин мы), отсутствие ссылок на подобное разнообразие и тот факт, что эти общества господствовали на протяжении большей части истории человечества, можно было бы оправдать. Однако он, несомненно, интересуется эволюцией социальной, пытаясь определить направление изменений, посредством которых «первобытные общества» трансформировались в «развитые первобытные общества», а те — в системы «промежуточного» типа.

Однолинейная ограниченность становится очевидной, как только мы обращаемся к оценке Парсонсом влияния обществ, оказавшихся «зародышевым источником» процессов развития; здесь мы сталкиваемся с заметным изменением формы повествования. Анализируя предшествующие эволюционные типы, Парсонс обращается к бескрайним просторам истории, переходя же к развитию Запада, он неизбежно сужает рамки своего исследования. На наш взгляд, нет никаких оснований полагать, что культурное наследие Израиля и Греции непременно имеет большую адаптивную ценность, нежели влияния других источников. Тот факт, что оно материализовалось в рамках европейской культуры, не говорит равным счетом ничего о его эволюционной ценности, определенной Парсонсом ранее. В данном случае Парсонс трактует «эволюционную необходимость» (согласно которой один тип социетальной организации должен обладать свойствами, обуславливающими появление другого, «более развитого» типа) как «историческую необходимость» (то обстоятельство, что после того как определенные элементы стали частью европейского общества, события «должны» развиваться именно так, а не иначе).

Наконец, нормативная иллюзия. Убежденность Парсонса в том, что венцом полумиллионной истории челове-

ства является социальная и политическая система США, выглядела бы более чем нелепо, не соответствуя она столь очевидно его версии «истории мирового развития». Более или менее правдоподобный вид она приобретает благодаря своей связи с темой усиливающейся адаптивной способности, ассоциирующейся с процессом эволюции. Если бы даже Парсонс стал настаивать на том, что его концепция носит исключительно аналитический характер и не имеет никакого оценочного подтекста, очевидно, что это не так. Если мы определяем «демократию» особым образом, как некий эквивалент «либеральной демократии, представленной политическим строем США», и если «демократия» превращается в эволюционную универсалию, свойственную обществам, занимающим высшую ступень эволюции, то к какому другому заключению, кроме выводов, полученных Парсонсом, возможно прийти? Однако оно столь же бессодержательно, как и большинство доктрин эволюционизма.

Комментарии

1. Временами «детерминация» получает другое название, что является следствием объективизма, стремящегося объяснить поведение посредством преимущественного обращения к структурному принуждению. Райт (Wright), например, предпринимает попытку определить «последовательность особых взаимоотношений детерминации», базирующихся на «дифференцированной схеме структурной причинной связи или обусловленности, сравнимой с марксистской теорией». Райт различает несколько форм детерминации, однако, мы упомянем здесь только две из них, для того чтобы передать смысл его рассуждений, — «структурное ограничение» и «отбор». Первая относится к способам, посредством которых структуральные свойства обществ устанавливают пределы возможного в рамках данных обществ. Так, Райт утверждает, что «экономическая структура» феодального общества ограничивает форму государства, имеющую место в условиях феодализма. Наряду с тем, что представительная демократия со всеобщим избирательным правом была при феодализме «структурно невозможна», довольно обширное множество государственных форм сравнимы с феодальными порядками. «Отбор» имеет отношение к «тем социальным механизмам, которые конкретизируют ряд последствий или

в экстремальной ситуации (?) особых последствий в рамках структурно ограниченной сферы возможностей». Райт связывает «отбор» с детерминацией «специфических исторических обстоятельств». В условиях феодализма экономика и государство соотносились друг с другом таким образом, что порождали имевшие место формы деления на классы, и эти формы классового конфликта выражались в конкретных столкновениях различных групп.

Понятие «детерминация» сформулировано в данном случае неоднозначно. Когда Райт говорит о детерминации «особых (специфических) последствий» или «исторических обстоятельств» он, очевидно, опирается на в высшей степени обобщенное представление о ней. Понимаемая подобным образом, точка зрения Райта представляет собой развитую разновидность структурного детерминизма — версии «структурной социологии», в которой человеческое поведение рассматривается как результат или следствие социальных причин. Вместе с тем, ряд замечаний, сделанных Райтом, говорит о том, что он вовсе не стремится принимать эту точку зрения. Как демонстрирует нам первая предложенная им категория, структурные черты социальных систем устанавливают границы, в рамках которых может иметь место неопределенное множество последствий. В данном контексте «детерминация» означает «принудительное ограничение» и не отличается от ряда значений, которые, с нашей точки зрения, включает в себе этот термин. Повторим еще раз: «структура» не может быть определена посредством «принуждения», а вынуждающие аспекты структуральных свойств не могут рассматриваться в качестве родовой формы «структурной причинности». Поскольку эти моменты уже рассматривались нами, нет нужды обсуждать их далее. См. Erik Olin Wright, *Class, Crisis and the State* (London: New Left Books, 1978), стр. 15–18.

2. Для сравнения см. *CPST*, с. 230–233.
3. *NRSM*, гл. 2.
4. Нисбет указывает, однако, что социальный и биологический эволюционизм также развивались отдельно и что «одним из наиболее существенных недоразумений, характерным для большинства современных работ по истории социальной мысли, является представление о том, что социальный эволюционизм XIX в. есть простая адаптация идей биологического эволюционизма, предложенных главным образом Ч. Дарвином, к исследованию социальных

- институтов». Robert A. Nisbet, *Social Change and History* (London: Oxford, 1969), гл. 5.
5. Talcott Parsons, «Evolutionary universals in society», in A.R. Desai, *Essays on Modernisation of Underdeveloped Societies* (Bombay: Thacker, 1971); он же, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966).
 6. Для сравнения см.: «Durkheim's political sociology», in *SSPT*.
 7. Karl Marx, «Preface» to *A Contribution to the Critique of Political Economy*, in Karl Marx and Friedrich Engels, *Selected Writings* (London: Lawrence and Wishart, 1968).
 8. Auguste Comte, *Physique Sociale* (Paris: Herman, 1975), с. 16.
 9. *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, с. 2.
 10. Julian H. Steward, *Theory of Culture Change* (Urbana: University of Illinois Press, 1955), с. 248.
 11. Julian Huxley, «Evolution, cultural and biological», in William C. Thomas, *Current Anthropology* (Chicago: University of Chicago Press, 1956), с. 3.
 12. Leslie A. White, *The Evolution of Culture* (New York: McGraw-Hill 1959), с. 29–30.
 13. Marshall D. Sahlins and Elman R. Service, *Evolution and Culture* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1960), с. 12–13. Другие определения см. среди прочих в: V. Gordon Childe, *The Progress of Archeology* (London: Watts, 1944); Theodosius Dobzhansky, *Mankind Evolving* (New Haven: Yale University Press, 1962); Sol Tax, *The Evolution of Man* (Chicago: University of Chicago Press, 1960); Robert A. Manners, *Process and Pattern in Culture* (Chicago: Aldine, 1964); Betty J. Meggers, *Evolution and Anthropology: A Centennial Appraisal* (Washington: Anthropological Society, 1959); L. Stebbins, *The Basis of Progressive Evolution* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1969); Leslie A. White, «Diffusion vs evolution: an anti-evolutionist fallacy», *American Anthropologist*, vol. 44, 1945; Alexander Alland, *Evolution and Human Behaviour* (Garden City: Natural History Press, 1967); Eliot D. Chapple, *Culture and Biological Man* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970); George W. Stocking, *Race, Culture and Evolution* (New York: Free Press, 1968).
 14. Leslie A. White, «Evolutionary stages, progress, and the evaluation of cultures», *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 3, 1947; он же, *The Evolution of Culture*, гл. 2.

15. Соответствующие рассуждения представлены в: John W. Bennett, *The Ecological Transition* (New York: Pergamon Press, 1976); Alexander Alland, *Adaptation in Cultural Evolution* (New York: Columbia University Press, 1970); М.-Н. Appley, *Adaptation-Level Theory: A Symposium* (New York: Academic Press, 1971); J. Cohen, *Man in Adaptation* (Chicago: Aldine, 1968); Arthur S. Boughey, *Man and the Environment* (New York: Macmillan, 1971); René Dubos, *Man Adapting* (New Haven: Yale University Press, 1965); Ronald Munson, *Man and Nature* (New York: Felta, 1971); George A. Theodorson, *Studies in Human Ecology* (New York: Row, Peterson, 1961); Andrew P. Vayda, *Environment and Cultural Behaviour* (New York: Natural History Press, 1969); Niles Eldredge and Ian Tattersall, *The Myths of Human Evolution* (New York: Columbia University Press, 1981).
16. Однако некоторые биологи могут оспорить подобное утверждение. Так, Ehrlich и др. пишут: «Поскольку термин «адаптация» употребляется в литературе по вопросам биологии крайне свободно, возможно, было бы разумно полностью исключить его из обращения». Paul R. Ehrlich *et al.*, *The Process of Evolution* (New York: McGraw-Hill, 1974), с. 337.
17. Roy A. Rappaport, «Ritual, sanctity and cybernetics», *American Anthropologist*, vol. 73, 1971, с. 60. Критические замечания см. в: Anne Whyte, «Systems as perceived», in J. Friedman and M.J. Rowlands, *The Evolution of Social Systems* (Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 1978).
18. Thomas G. Harding, «Adaptation and stability», in Sahlins and Service, *Evolution and Culture*, с. 45 и 48.
19. Для сравнения см.: Niklas Luhmann, «Funktion und Kausalität», in *Soziologische Aufklärung*, Köln — Opladen, 1970, vol. 1.
20. V. Gordon Childe, «Prehistory and Marxism», *Antiquity*, vol. 53, 1979, с. 93–94. (Эта статья была написана в 1940 г., однако, вышла в свет только после смерти автора.)
21. ССНМ, глава 3. Мы не представляем, каким образом можно отстоять следующее утверждение Ленски (Lenski): «Как вид человеческое общество представляет собой «обособленную» популяцию, члены которой разделяют информационное пространство, а посему связаны общим эволюционным путем». Gerhard Lenski, *Human Societies* (New York: McGraw-Hill, 1970), с. 60. Критические замечания см. Pamela J. Utz, «Evolution revisited», *Comparative Studies in Society and History*, vol. 15, 1973.

22. Herbert Spencer, *The Principles of Sociology* (New York: Appleton, 1899), vol. 2, c. 110.
23. Для сравнения см.: Colin Renfrew, «Space, time and polity», in J. Friedman and M.J. Rowlands, *The Evolution of Social Systems*.
24. Ernest Gellner, *Thought and Change* (London: Weidenfeld & Nicolson, 1964), c. 12–13.
25. V.S. Naipaul, *India, a Wounded Civilization* (Harmondsworth: Penguin, 1976).
26. Sahlins, «Evolution: specific and general», in Sahlins and Service, *Evolution and Culture*, c. 30–31.
27. Freud, *Civilisation and its Discontents* (London: Hogarth, 1969), c. 26.
28. Herbert Marcuse, *Eros and Civilization* (New York: Vintage, 1955), c. 12.
29. Norbert Elias, *The Civilising Process*, vol. I, *The History of Manners* (Oxford: Blackwell, 1978), vol. 2, c. 232–233.
30. Некоторые из этих тем рассматриваются нами в *Between Capitalism and Socialism*, vol. 2, ССНМ.
31. См. примеры, рассматриваемые в А. Kardiner, *The Individual and His Society* (New York: Columbia University Press, 1939).
32. Возможно, стоит еще раз подчеркнуть, что это представляет для эволюционизма опасность, а не является его логическим следствием. Хабермас — единственный автор, который тщательно и как всегда в высшей степени пронизательно обсуждал этот и многие другие моменты, касающиеся эволюционизма. См. Jürgen Habermas, *Communication and the Evolution of Society* (Boston: Beacon, 1979), гл. 3 и 4; а также «Geschichte und Evolution», in *Zur Rekonstruktion des historischen Materialismus* (Frankfurt: Suhrkamp, 1976).
33. Современная, философски изощренная интерпретация исторического материализма, предложенная Коэном (Cohen): G.A. Cohen, *Karl Marx's Theory of History, a Defence* (Oxford: Clarendon Press, 1978).
34. Второе из этих понятий было заимствовано нами у Эберхарда. См.: Wolfram Eberhard, *Conquerors and Rulers* (Leiden: Brill, 1965).
35. ССНМ, гл. 10.
36. CSAS; CPST, c. 228ff.

37. S.F. Nadel, *A Black Byzantium* (London: Oxford University Press, 1942).
38. M. Fortes and E.E. Evans-Pritchard, *African Political Systems* (London: Oxford University Press, 1940).
39. Douglas L. Oliver, *Ancient Tahitian Society* (Honolulu: University of Hawaii Press, 1974).
40. Henri J.M. Claessen, «The early state in Tahiti», in Henri J.M. Claessen and Peter Skalnik, *The Early State* (The Hague: Mouton, 1978).
41. Oliver, *Ancient Tahitian Society*.
42. Henri J.M. Claessen; «The early state: a structural approach», in Claessen and Skalnik, *The Early State*.
43. См. Ronald Cohen, «State origins: a reappraisal», in Claessen and Skalnik, *The Early State*; Robert A. «A theory of the origin of the state», *Science*, no. 169, 1970; Morton H. Fried, *The Evolution of Political Society* (New York: Random House, 1967); W. Koppers, «L'origine de l'Etat», *6th International Congress of Anthropological and Ethnological Studies*, Paris, 1963, vol. 2; Lawrence Krader, *Formation of the State* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1968); G. Lenski, *Power and Privilege* (New York: McGraw-Hill, 1966); Robert Lowie, *The Origin of the State* (New York: Harcourt, Brace, 1927); Elman R. Service, *Origins of the State and Civilization* (New York: Norton, 1975).
44. Для сравнение см. Service *Origins of the State and Civilization*.
45. Carneiro, «A theory of the origin of the state».
46. Louis Dumont, «Population growth and cultural change», *Southwestern Journal of Anthropology*, vol. 21, 1965; Service *Origins of the State and Civilization*.
47. Henry T. Wright and Gregory Johnson, «Population, exchange and early state formation in southwestern Iran», *American Anthropologist*, vol. 77, 1975.
48. Karl Polanyi, *Trade and Markets in Early Empires* (Glencoe: Free Press, 1957).
49. Eberhard, *Conquerors and Rulers*, с. 9ff.
50. Там же, с. 10.
51. Henri J.M. Claessen and Pater Skalnik, «Limits, beginning and end of the early state», in Claessen and Skalnik, *The Early State*, с. 625.
52. Fried, *The Evolution of Political Society*.
53. Сравните суждения: John A. Wilson, *The Culture of Ancient Egypt* (Chicago: University of Chicago Press, 1951); Allyn L.

- Kelley, «The evidence for Mesopotamian influence in pre-dynastic Egypt», *Newsletter of the Society for the Study of Egyptian Antiquities*, vol. 4, no. 3, 1974.
54. Carneiro, «A theory of the origin of the state».
55. Emile Durkheim, *Socialism* (New York: Collier-Macmillan, 1962).
56. Для сравнения см.: Bertrand Badie and Pierre Birnbaum, *Sociologie de l'Etat* (Paris: Grasset, 1979), с. 189ff.
57. Включая наши собственные комментарии в разделе «Власть» в работах Талкотта Парсонса» в *SSPT*.
58. Для сравнения см. также Н. Луманн (Luhmann), *Trust and Power* (Chichester: Wiley, 1979), с. 127. Луманн утверждает, что «тесная взаимосвязь влиятельного (могущественного) с опасным на самом деле характерна для архаических обществ и способов мышления...». Подобная убежденность представляется нам — людям, живущим в ядерный век — чрезмерно оптимистичной.
59. Для сравнения см.: Boris Frankel, *Beyond the State* (London: Macmillan, 1983). Это одна из книг, подчеркивающих значимость массового производства и сохранения продовольствия для развития капитализма.
60. Marshall McLuhan, *The Gutenberg Galaxy* (London: Routledge, 1962).
61. *CCHM*, с. 96.
62. Lewis Mumford, «University city», in Carl H. Kraeling and Robert M. Adams, *City Invisible* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), с. 7.
63. Talcott Parsons, «Evolutionary universals in society», *American Sociological Review*, vol. 29, 1964, с. 339.
64. Там же, с. 340.
65. T. Parsons, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1966), с. 9–10.
66. T. Parsons, «Evolutionary universals in society», с. 342.
67. T. Parsons, *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, с. 24. См. также «The problem of structural change», in Victor Lidz Parsons, *Readings on Premodern Societies* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1972), стр. 52ff.
68. «Evolutionary universals in society», с. 346.
69. Там же, с. 351.
70. *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, с. 95.

71. Talcott Parsons, *The System of Modern Societies* (Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1971), с. 1.
72. «Evolutionary universals in society», с. 353.
73. *The System of Modern Societies*, гл. 6.
74. «Evolutionary universals in society», с. 357.
75. Поверхностный характер этой точки зрения становится очевидным из следующей цитаты: «...ясно, что ни одно общество не способно будет достичь того, что мы именуем «продвинутый примитивный» уровень социетальной эволюции, не развивая относительно явной ограниченности. Таким образом, недостаток ограниченности является, по-видимому, характерным показателем примитивности общества». *Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives*, с. 37–38.
76. Там же, с. 36.
77. Мы вовсе не подразумеваем, что единственный выбор, возможный в отношении нормативного смысла социальной теории, находится в области между культурным релятивизмом, с одной стороны, и эволюционизмом, с другой.

Теория структуризации, эмпирическое исследование и социальная критика

Повторение базовых понятий

Было бы нелишне остановиться и резюмировать некоторые основные идеи, нашедшие отражение в предыдущих главах. Мы перечислим их в виде ряда пунктов; будучи суммированы, они отражают те аспекты теории структуризации, которые связываются в большинстве случаев с проблемами эмпирических исследований в социальных науках.

384

Э. Гидденс «Устроение общества»

- (1) Все люди являются разумными и осведомленными субъектами деятельности. Иными словами, социальные акторы располагают обширным набором знаний относительно условий и последствий того, что они делают в своей повседневной жизни. Имеющиеся у них представления нельзя считать целиком пропозициональными, не являются они и случайными по отношению к их деятельности. Осведомленность и способность к познанию, как неотъемлемая часть практического сознания, отличаются исключительной сложностью — сложностью, зачастую остающейся за рамками исследований, проводимых представителями ортодоксальных социологических подходов, особенно тех, что связаны с объективизмом. Как правило, акторы способны также обоснованно описать собственные поступки и объяснить причины, по которым они ведут себя так, а не иначе. Однако боль-

шей частью эти способности согласуются и зависят от потока повседневного поведения. Рационализация последнего обращается в попытки дискурсивного объяснения причин собственных действий только в том случае, если индивидам задают вопрос, почему они ведут себя тем или иным образом. Обычно подобные вопросы возникают лишь тогда, когда действия людей приводят в замешательство, — не подчиняются принятым обычаям и традициям или отклоняются от привычных норм поведения конкретной личности.

- (2) Пределами осведомленности акторов служат бессознательное, с одной стороны, и непознанные условия / непреднамеренные последствия действий, с другой. Отсюда, одной из первостепенных задач социальной науки становится изучение пределов осведомленности, исследование значимости непреднамеренных последствий для воспроизводства системы и раскрытие идеологических подтекстов этих пределов.
- (3) Исследование повседневной жизни является важной составляющей частью анализа воспроизводства институционализированных практик. Повседневная жизнь переплетается с повторяющимся характером обратимого времени — с траекториями движения в пространстве-времени, связанными с ограничивающими (вынуждающими) и побуждающими свойствами тела. Вместе с тем, повседневную жизнь нельзя рассматривать как своего рода «фундамент», на основе которого строится вся совокупность связей и взаимоотношений социальной жизни. Скорее, эти обширные связи должны осмысливаться посредством интерпретации социальной и системной интеграции.
- (4) Рутинные психологические механизмы которой минимизируют источники подсознательной тревожности, является доминирующей формой повседневной социальной активности. Большинство повседневных практик не мотивированы непосредственно. Рутинные (повседневные и повторяющиеся) практики олицетворяют дуальность структуры в отношении непрерывности социальной жизни. Выполняя рутинные действия, субъекты деятельности обеспечивают и поддерживают чувство онтологической безопасности.

- (5) Изучение контекста или обстоятельств взаимодействия — неотъемлемая часть исследования процессов социального воспроизводства. Понятие «контекст» подразумевает: (а) пространственно-временные границы (как правило, обозначенные символическими или физическими маркерами), разделяющие эпизоды или участки взаимодействия; (б) соприсутствие акторов, благодаря которому мы имеем возможность наблюдать многообразие выражений лица, жестов и телодвижений, лингвистических и иных средств коммуникации; (в) осведомленность и рефлексивное использование этих феноменов во имя воздействия или контроля за ходом взаимодействия.
- (6) Социальные идентичности и связанные с ними отношения позиция — практика являются «маркерами» в виртуальном пространстве-времени структуры. Они ассоциируются с нормативными правами, обязанностями и санкциями, которые формируют роли, функционирующие в пределах тех или иных коллективов. Использование стандартизованных маркеров, особенно естественных признаков пола и возраста, характерно для всех обществ, вопреки наличию значительных кросс-культурных различий.
- (7) В контексте социального анализа невозможно однозначно определить понятие «ограничение». Ограничения, связанные со структуральными свойствами социальных систем, — лишь один из нескольких типов, характерных для социальной жизни людей.
- (8) Наибольшую значимость среди структуральных свойств социальных систем имеют структуральные принципы, поскольку именно они определяют типы обществ. Одно из основных положений структурной теории гласит, что степень закрытости социетальных общностей — и социальных систем в целом — весьма изменчива. Социетальные общности, равно как и другие более или менее содержательные формы социальных систем, характеризуются различными уровнями «системности». Важно остерегаться утверждения, согласно которому определить понятие общества не составляет большого труда — подобные представления уходят корнями в эпоху господства национальных государств с четко обозначен-

ными границами, как правило, соответствующими сфере управленческой компетенции централизованного правительства. Даже в национальных государствах существует множество социальных форм, выходящих за рамки социетальных границ.

- (9) В социальных науках исследование власти не является задачей второго порядка. Власть невозможно «добавить» после того, как будут сформулированы фундаментальные концепции социальной науки. Понятие власти относится к разряду базисных понятий социологии. Однако это вовсе не означает, что оно более значимо, чем любое другое, как это предполагается в версиях социологии, находящихся под влиянием представлений Ницше. Власть — одно из нескольких основополагающих понятий социальной науки, группирующихся вокруг отношений между деятельностью и структурой. Власть — средство, обеспечивающее выполнение тех или иных действий, наличие которого подразумевается спецификой человеческой деятельности. Ошибочно считать, что власть сеет распри по сути своей, несомненным, однако, остается тот факт, что некоторые из числа наиболее ожесточенных конфликтов, происходящих в социальной жизни, относятся к разряду «борьбы за власть». Последняя может рассматриваться как попытки перераспределить ресурсы, определяющие модальности контроля в социальных системах. Под «контролем» мы понимаем возможность некоторых акторов, групп или типов акторов влиять на обстоятельства и условия деятельности других. В борьбе за власть всегда присутствует диалектика контроля, хотя польза, которую извлекают из доступных им ресурсов субъекты деятельности, находящиеся в подчиненном положении, зависит от специфики социальных контекстов.
- (10) Социальные аналитики не сумели определить механизм социальной организации или социального воспроизводства, который не смогли бы познать и использовать в своей деятельности неискушенные акторы. Во многих случаях «открытия» социологов являются таковыми лишь для тех, кто находится вне контекста деятельности изучаемых акторов. Поскольку акторы совершают поступки исходя из неких соображений, они, как пра-

вило, приходят в замешательство, когда эксперты-социологи сообщают им, что их действия обусловлены извне. Таким образом, «непрофессиональные» возражения, выдвигаемые против этих «открытий», могут иметь под собой вполне прочную основу. Конкретизация отнюдь не является исключительной характеристикой непрофессионального мышления.

Эти положения содержат ряд принципов, определяющих генеральное направление социальных исследований.

Во-первых, во всех социальных исследованиях неизбежно присутствует культурный, этнографический или «антропологический» аспекты. Здесь мы сталкиваемся с проявлением того, что именуется нами двойной герменевтикой, свойственной социальной науке. Область, изучаемая социологом, — феномены, наделенные неким смысловым содержанием. Условием «вхождения» в эту область является наличие представлений о том, что акторы уже знают и что они должны узнать, дабы «ориентироваться» в потоке повседневной социальной жизни [1]*. Понятия, предлагаемые социологами, относятся к разряду концепций «второго порядка», поскольку подразумевают, что акторы, поведение которых они описывают, обладают определенными когнитивными способностями. Однако специфика социологии состоит в том, что, будучи предопределены в рамках социальной жизни, они могут превратиться в понятия «первого порядка». Что «герменевтического» в двойной герменевтике? Уместность этого термина объясняется двойным процессом преобразования или истолкования. Социологические описания опосредствуют систему координат, соотносясь с которой, акторы упорядочивают и задают направление собственному поведению. Однако подобные описания — суть объяснительные категории, которые также нуждаются в переводе «на» и «с» языка значений, используемых в социологических теориях. С этим связаны различные соображения, касающиеся социального анализа.

(1) Литературный стиль не чужд аккуратности, свойственной социальным описаниям. Это стоит учитывать в зависимости от того, в какой мере конкретный раздел со-

* См. комментарии на с. 492–496.

циального исследования может быть отнесен к разряду этнографических — то есть выполнен с целью представления данной культурной *среды* другим, незнакомым с нею индивидам.

- (2) Знакомя людей, живущих в иных социальных контекстах, со смысловыми структурами, принятыми в изучаемых условиях, специалист в области общественных наук выполняет функцию коммуникатора. Таким образом, социальные науки используют те же источники описания (совместное знание), что и писатели-романисты или те, кто описывает социальную жизнь в вымышленном, фантастическом ключе. Гофману удается комбинировать беллетристические примеры с описаниями, заимствованными в социальных исследованиях, ибо зачастую он стремится скорее «продемонстрировать» неявно выраженные, подразумеваемые формы совместного знания, посредством которых упорядочивается практическая деятельность, нежели описать фактические распределения этой деятельности.
- (3) «Плотное (или многослойное) описание» используется в исследованиях одних типов (особенно тех, которые можно назвать этнографическими) и не используется в других. Как правило, оно излишне там, где изучаемые виды деятельности обладают обобщенными характеристиками, известными тем, кто имеет доступ к результатам «открытий», и где основой исследовательского интереса является институциональный анализ, в условиях которого акторы рассматриваются как «элементы» крупных сообществ или как «типичные» — в определенном, обусловленном спецификой и целями исследования смысле — их представители.

Во-вторых, в процессе социального исследования важно помнить о сложных навыках и умениях, используемых акторами во имя гармонизации условий их повседневной деятельности. В институциональном анализе эти навыки могут выноситься за скобки, что является, однако, всего лишь методологическим приемом. Те, кто убежден, что институциональный анализ олицетворяет социологию *в целом*, заблуждаются, принимая методологическую процедуру за онтологическую действительность. Авторы, придерживаю-

щиеся этой точки зрения, склонны подчеркивать, что зачастую ход социальной жизни может быть вполне предсказуем. Вместе с тем во многом подобная предсказуемость является «делом рук» социальных акторов; она не возникает вопреки соображениям, лежащим в основе их поведения. Даже если изучение непреднамеренных последствий и непознанных условий деятельности есть основная часть социального исследования, мы должны, тем не менее, подчеркнуть, что эти последствия и условия подвергаются неизбежной и обязательной интерпретации в рамках потока намеренного поведения. Сюда же следует причислить и отношение между рефлексивно отслеживаемыми и непреднамеренными сторонами воспроизводства социальных систем, а также «лонгитюдный» аспект непреднамеренных последствий случайных (непредвиденных) действий в тех или иных исторически значимых условиях.

В-третьих, социолог не должен забывать и о пространственно-временном устройстве социальной жизни. В какой-то мере речь здесь идет о призыве к сближению дисциплин. Как правило, ученые-обществоведы признают историков специалистами в области времени, а географов — знатоками пространства, утверждая и отстаивая собственную дисциплинарную идентичность, которая, если и не ориентирована исключительно на структурные ограничения, то направляет свои концептуальные усилия на «общество». В свою очередь историки и географы достаточно охотно принимают подобное «разделение полномочий». Очевидно, специалисты-практики ощущают чувство неуверенности, будучи не способны обозначить четкие концептуальные границы, отделяющие сферу их интересов от интересов иных дисциплин. Так, «история» может считаться наукой о последовательностях событий, изложенных в хронологическом порядке или — что более неопределенно — наукой о «прошлом». Самобытность географии, по словам многих представителей этой науки, заключается в исследовании пространственных форм. Однако мы уже говорили о том, что, если пространственно-временные отношения не могут быть «вырваны» из контекста социального анализа таким образом, который не угрожал бы всему предприятию в целом, барьеры, разделяющие научные дисциплины активно препятствуют разрешению проблем социальной теории, значи-

мых для всей совокупности общественных наук. Анализ пространственно-временной координации социальной деятельности предполагает исследование контекстуальных особенностей локальностей, в которых акторы перемещаются в течение повседневной жизни, а также регионализации локальностей, растянутых во времени и пространстве. Мы часто подчеркивали тот факт, что подобный анализ является неотъемлемой частью объяснения пространственно-временной протяженности, а потому и исследования гетерогенного, сложного характера крупных социетальных общностей и интерсоциетальных систем в целом.

Эмпирические выводы, следующие из вышеупомянутых замечаний, требуют рассмотрения ряда конкретных исследований. Дабы сохранить преемственность с предыдущими примерами, обратимся к иллюстрациям из области образования и государства. Поскольку современное государство постоянно пытается отслеживать процесс институционального воспроизводства, воздействуя на характер систем образования, эти «области» исследования тесно взаимосвязаны. Первый пример — знаменитое исследование конформизма и неповиновения в школе для выходцев из рабочего класса в центральных графствах Англии. Являясь преимущественно этнографическим по характеру, оно отличается, в том числе и по стране проведения, от второго опросного исследования, посвященного мобильности в сфере образования в Италии. Третий и четвертый примеры опираются на эмпирические материалы, связанные с деятельностью и неотъемлемыми чертами современных государств. Один из них описывает не столько конкретный исследовательский проект, сколько воззрения автора, стремящегося соединить эмпирический материал с теоретическим истолкованием противоречивого характера «капиталистических государств». Другой ссылается на исследование — попытку проанализировать источники водораздела между «Сити» и «промышленностью», ставшего на более чем двухсотлетний период примечательной чертой английского общества.

Каждый из примеров будет использован нами для иллюстрации определенных и отчасти обособленных концептуальных проблем. Намереваясь начать с того, что является, по нашему мнению, показательным отчетом о научно-исследовательской работе, мы выделим несколько основных

эмпирических акцентов, связанных с базисными принципами теории структуризации. Далее нам предстоит ответить на три вопроса. Как эмпирически проанализировать структурное ограничение? Как наполнить эмпирическим содержанием понятие структурного противоречия? А также, какой тип исследования соответствует специфике изучения *большой длительности* институциональных изменений?

Прежде чем перейти к сути обсуждаемой проблемы, сделаем две немаловажные оговорки. Устанавливая связи между теорией структуризации и эмпирическими исследованиями, мы не будем касаться оценки достоинств и недостатков, свойственных различным видам исследовательских методов или техник. Иными словами, мы не стремимся проанализировать, превосходит ли этнографическое исследование, скажем, метод опросов, или нет. Вместе с тем, мы предложим несколько замечаний, затрагивающих отношения между так называемыми «количественными» и «качественными» исследованиями. Более того, нам хотелось бы направить наше обсуждение в такое русло, которое, как правило, редко ассоциируется с проблемами эмпирики — обсудить, каким образом социальное исследование соотносится с социальной критикой. В заключительных разделах этой главы мы попытаемся показать, почему теория структуризации выглядит, по сути, незавершенной, не будучи взаимосвязанной с концепцией социальной науки как критической теории.

На первый взгляд может показаться, что последние из названных нами аспектов лежат в совершенно иной, нежели обсуждение эмпирических исследований, плоскости. Однако в действительности существующая между ними связь носит самый непосредственный характер. Ибо некорректно принимать во внимание только то, каким образом эмпирические исследования могут освещаться понятиями, рассмотренными в предыдущих разделах книги. Любая исследовательская работа направлена на достижение явных или предполагаемых целей поиска объяснений и имеет потенциальные практические последствия как для тех, чья деятельность исследуется, так и для других индивидов. Объяснение характера этих целей и последствий — дело непростое и требует решения ряда проблем, возникающих тогда, когда мы отказываемся от модели, построен-

ной в соответствии с логической формой естественных наук. Исследуя эти проблемы, мы будем стараться ограничить — насколько это возможно — любые попытки вторжения в область эпистемологии. Наша цель — проанализировать, что стоит за основополагающим заявлением всех социальных исследований, согласно которому исследователь передает новое, ранее недоступное (в том или ином смысле) знание членам социальной общности или общества.

Анализ стратегического поведения

Согласно теории структуризации, в социологическом исследовании возможны методологические группировки двух типов. В контексте институционального анализа структуральные свойства рассматриваются как постоянно воспроизводимые признаки социальных систем. В ходе анализа стратегического поведения фокусом исследования становятся способы, руководствуясь которыми, акторы используют структуральные свойства в процессе установления социальных отношений. Несовпадение акцентов приводит к тому, что между этими видами анализа не существует четкой границы, и в конечном счете каждый из них должен ставить во главу угла дуальность структуры. Анализ стратегического поведения подразумевает примат дискурсивного и практического сознания, а также стратегий контроля и управления внутри определенных контекстуальных границ. Предполагается, что институционализированные свойства среды взаимодействия являются методологически «заданными или предустановленными». Здесь следует быть осторожным, ибо, считая структуральные свойства методологически «предустановленными», мы не отрицаем, что они порождаются и воспроизводятся посредством человеческой деятельности. Речь идет о сосредоточении анализа на контекстуально обусловленных видах деятельности определенных групп акторов. Мы полагаем, что анализ стратегического поведения должен исходить из следующих основополагающих принципов: необходимости избегать упрощенных трактовок присущей субъектам деятельности способности познавать; научно обоснованного подхода к мотивации; интерпретации диалектики контроля.



Рис. 22

Обратимся к исследованию проблем культурного воспроизводства, результаты которого описаны в работе Пола Уиллиса (Willis) [2]. Уиллис исследовал группу детей — выходцев из рабочего класса, обучавшихся в одной из школ беднейшего района Бирмингема. Несмотря на то, что изучаемая группа была довольно небольшой, анализ, проделанный Уиллисом, отличается содержательностью, а полученные выводы выходят за рамки исследуемого контекста. Мы попытаемся показать, что исследование Уиллиса согласуется с основными эмпирическими выводами теории структуры. Что делает его таковым? В немалой степени то, что автор рассматривает конкретную группу школьников как акторов, располагающих обширным набором дискурсивных и интуитивных знаний о школьной среде, частью которой они являются; а также демонстрирует, как установки мальчиков на непокорность системе школьного управления приводят к непредумышленным последствиям, определяющим их дальнейшую судьбу. Оканчивая школу, молодые люди берутся за выполнение неквалифицированной, низкооплачиваемой работы, содействуя, таким образом, воспроизводству основных характеристик промышленного труда в условиях капитализма. Иными словами, по мнению автора, ограничение функционирует благодаря активному участию субъектов деятельности, а не является некоей силой, воздействию которой они пассивно подчиняются.

Для начала обратимся к дискурсивному и практическому сознанию, как их понимает в своем исследовании Уиллис. Уиллис заявляет, что «парни» могут детально изложить свои взгляды на систему властных отношений в школе, равно как и рассказать, почему они реагируют на нее так, а не иначе. Однако подобные дискурсивные возможности реализуются не только в виде пропозициональных утверждений; «дискурс» должен интерпретироваться таким образом, чтобы включать в себя формы выражения, зачастую не представляющие интереса для социологического исследования — такие, как юмор, сарказм и ирония. Когда один из «парней» говорит об учителях: «Они старше нас и занимают более важное положение, чем мы...» [3], он высказывает пропозициональную установку, напоминающую ответы на задаваемые исследователями вопросы интервью. Вместе с тем, Уиллис демонстрирует, что юмор, дружеское подшучивание, агрессивный сарказм — элементы дискурсивного запаса, используемого «парнями» в процессе обмена — являются фундаментальными особенностями сознательного «воздействия» на школьную систему, осуществляемого ими. Ироничная культура «парней» обнаруживает понимание основ учительской власти и одновременно ставит ее под сомнение, ниспровергая язык, посредством которого она обычно выражается. Уиллис отмечает, что «издевательства», «насмешки», «взвинченное состояние» сложно записать на пленку и тем более отразить в печатных изданиях исследовательских отчетов. Но именно эти, равно как и другие дискурсивные формы, редко проникающие на страницы научных отчетов, говорят о способах, прибегнув к которым, можно совладать с гнетущим социальным окружением, не меньше, чем прямые комментарии или ответы. По словам автора:

Пространство, отвоеванное неформальной группой у школы и установленных в ней правил, используется для формирования и развития особых культурных навыков «развлечения и высмеивания других». «Насмешки» — архиважный, многоаспектный инструмент «противо-школьной культуры»* ...способ-

* Цит. по: Гидденс Э. Социология. М.: Эдиториал УРСС, 1999. С. 406.

ность быть веселым и ироничным является определяющим признаком принадлежности к группировке «парней»: «Мы можем посмеяться над ними, они не могут посмеяться над нами». Вместе с тем, эта способность используется и в ряде других случаев: дабы побороть скуку и страх, преодолеть трудности и лишения, являясь, по сути, выходом из любого положения. Во многих отношениях «насмешки» считаются преимущественным орудием неформальных группировок, аналогично тому, как давление и директива есть инструменты формальных образований... «язвительный смех или неудержимый хохот» являются элементами вызывающего, непочтительно-го, хищнического поведения. Подобно армии захватчиков невидимого, условного пространства, «парни» болтаются по окрестностям в поисках возможностей позабавиться, разрушить и спровоцировать беспорядки [4].

Может показаться, что на уровне дискурсивного и практического сознания дети-конформисты — те, кто так или иначе признает власть учителей и заботится о своей успеваемости, а не оказывает постоянное сопротивление, — знают о социальной системе школы гораздо больше «парней». Однако в действительности, считает Уиллис, их осведомленность о сложностях школьного окружения менее глубока, чем у «парней», так как последние активно сражаются с системой управления школой и имеют представление о том, что лежит в основе притязаний учителей на власть, а также в чем заключаются их слабости как людей, наделенных дисциплинарной властью, и чисто человеческая уязвимость. Сопротивление выражается в форме постоянного конфликта, невыполнения того, что учителя ожидают и требуют от учеников, поддерживаемых в основном на минимальном уровне. На занятии, например, дети должны сидеть тихо, быть вежливыми и выполнять свои задания. «Парни» же ведут себя как непоседы, и лишь строгий взгляд учителя может временно остановить любого из них; они могут украдкой переговариваться друг с другом или открыто высказывать свое мнение, граничащее с неповиновением, но такое, которое можно было бы в случае чего объяснить; они постоянно заняты не тем, чем нужно, однако имеют наготове объяснения, якобы оправдыва-

ющие их. Не будучи знакомы с трудами Гарфинкеля, они изобретают «эксперименты на доверие»: «Давайте пошлем его в Ковентри, когда он придет», «Давайте смеяться над всеми его словами», «Давайте сделаем вид, что мы ничего не понимаем, и будем все время переспрашивать, что он имеет в виду» [5].

Какова мотивы оппозиционных поступков «парней»? В какой-то мере ответ на этот вопрос зависит от фактов, которые Уиллис не намеревался исследовать напрямую. Очевидно, однако, что, принимая «парней» за опытных, осведомленных и сознательных субъектов деятельности, мы оцениваем их мотивацию иначе, чем «официальная» точка зрения, согласно которой они являются «неотесанными шутами» или «варварами», неспособными понять, насколько важна предоставляемая школой возможность получить образование — приводятся как примеры «неудачной социализации». Мотивы, побуждающие их совершать те или иные действия и лежащие в основе причин, по которым они ведут себя определенным образом, нельзя рассматривать как результат неадекватного понимания школьной системы или ее отношений с другими аспектами социального *окружения*, на фоне которых протекает жизнь этих людей. Скорее, то, что они поступают так, а не иначе, объясняется фактом обладания обширной информацией о школе и других контекстах их существования. Подобные знания могут содержаться и проявляться главным образом в их практической деятельности или в высоко контекстуализированном дискурсе, хотя, по мнению Уиллиса, позиция «парней» отличается гораздо большей артикулированностью, чем та, которую ей приписывают. Вместе с тем их познания относительно условий собственной жизни не безграничны. Конечно, «парни» осознают, что их шансы на получение достойной работы весьма ничтожны, и это обуславливает собственные им установки на непокорность и ниспровержение устоев школьной жизни. Однако имеющиеся у них представления об аспектах внешнего социального окружения, воздействующих на среду их деятельности, носят ограниченный и неопределенный характер. Вполне вероятно, что ими движет, пусть и не вполне осознанное, стремление вести себя таким образом, чтобы хоть как-то разнообразить и привнести некое подобие смысла в серый ряд однообраз-

ных жизненных перспектив, так, как они в общем и целом воспринимаются «парнями». Мы не сможем определить, что стоит за действиями «парней» и каковы их мотивы, до тех пор, пока не поймем, что они действительно осознали, хотя и не полностью, в контекстуально ограниченной форме, специфику своего положения в обществе [6].

Уилис прекрасно описывает диалектику контроля, имеющую место в условиях школьной среды. И «парни», и их учителя являются экспертами в области теории и практики власти, однако их представления о ее необходимости и формальных целях диаметрально противоположны. Учителя признают, что имеющиеся в их распоряжении санкции приобретут силу лишь в том случае, если им удастся заручиться поддержкой учеников-конформистов, а также понимают, что механизм власти не может использоваться эффективно, если карательные санкции применяются слишком часто. Заместитель директора школы проявляет себя как последовательный сторонник теории власти Парсонса, заявляя, что успех в руководстве школой зависит главным образом от существования своеобразного внутреннего консенсуса, которого нельзя достичь принудительно. Карательные санкции должны использоваться лишь в крайнем случае, ибо скорее свидетельствуют о неэффективности системы управления, нежели являются ее основой: «Вы не можете постоянно поддерживать состояние напряженного ожидания. Как футбольные арбитры в наши дни, я хочу сказать, что они не имеют успеха, поскольку вынуждены слишком быстро переходить к крайним мерам... сначала выбрасывается желтая карточка, а когда это сделано, они должны либо удалить игрока с поля, либо игнорировать все, что он делает во время игры» [7]. Учителя понимают это, и «парни» это знают, используя свои знания во имя собственной выгоды. Нарушая механизмы дисциплинарной власти, они отстаивают собственную независимость. Более того, тот факт, что школа есть место, где они проводят лишь часть своего дня и несколько месяцев в году, существенен для устанавливаемой ими «контркультуры». Ибо за пределами школы, вдали от пристального взгляда учителей они могут свободно заниматься тем, что запрещено в школьном окружении.

Непреднамеренные последствия: критика функционализма

Работа Уиллиса — не только выдающееся этнографическое исследование неформальной группы, сложившейся внутри школы, но и попытка продемонстрировать, как действия «парней», происходящие в достаточно ограниченном контексте, участвуют в воспроизводстве более крупных институциональных форм. По сравнению с большинством других социально-научных работ, исследование это достаточно необычно, ибо автор подчеркивает, что «социальные силы» действуют через мотивы и соображения субъектов деятельности, а изучая процессы социального воспроизводства, не апеллирует к концепциям, возникшим в рамках функционализма. В самом общем виде интерпретация связи, существующей между школьной «контркультурой» и всеобъемлющими институциональными моделями, предложенная Уиллисом, выглядит следующим образом. Оппозиционный настрой, характеризующий поведение «парней» в школе, является причиной их стремления бросить ее и устроиться на работу. «Парням» хочется финансовой независимости, которую может дать им работа; вместе с тем, у них нет каких-то особых, четко выраженных ожиданий относительно любых других видов вознаграждения, которые та способна им предложить. Агрессивная, иронично-язвительная культура отношения к школьной *среде* во многом напоминает культуру, формирующуюся в производственных условиях, в цехах или мастерских, куда они, как правило, попадают. Поэтому «парни» достаточно быстро адаптируются на рабочих местах и с легкостью переносят необходимость выполнять скучную, монотонно повторяющуюся работу в условиях, оцениваемых ими как неблагоприятные. Непреднамеренным и нелепым последствием «предвзятого отношения» «парней» к ограниченным жизненным возможностям, доступным им, становится сохранение и воспроизводство условий, способствующих ограничению этих возможностей. Ибо покидая школу, не получив необходимых навыков, и вступая в мир малоквалифицированного физического труда, занимаясь работой, не имеющей перспектив карьерного роста и в сущности не удовлетворяющей их, «парни» неизбежно остаются там до конца своей трудовой

жизни. «Осознав всю пагубность своих прежних убеждений, парень — выходец из рабочего класса — почувствует, вероятно, что время безнадежно упущено. По-видимому, торжество культуры продолжалось как раз столько, чтобы освободить его посредством закрытых фабричных дверей» [8] — или, что в наши дни встречается гораздо чаще, привести к жизни в условиях хронической безработицы или частичной занятости.

Все вышесказанное может быть изложено в функционалистском ключе и «объяснено» посредством обращения к функциональным терминам. Так, можно предположить, что промышленный капитализм «нуждается» в том, чтобы большие массы людей работали в сфере низкооплачиваемого физического труда или формировали резервную армию безработных. В этом случае факт их существования «рассматривается» как реакция капиталистической системы на такого рода потребности, являющаяся, возможно, результатом действия неких неустановленных «социальных сил», вызванных к жизни этими потребностями. Здесь можно противопоставить две точки зрения:

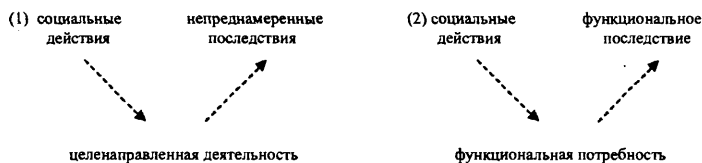


Рис. 23

В первом случае — точка зрения, предложенная Уиллисом — установленная последовательность социальных действий (оппозиционное поведение «парней») интерпретируется как целенаправленная деятельность. Иными словами, считается, что эти действия осуществляются преднамеренно, из определенных соображений и в условиях ограниченной осведомленности. Определение этих границ позволяет понять, каким образом целенаправленные действия субъектов деятельности приводят к возникновению непреднамеренных последствий. Объяснение предполагает приписывание конкретным индивидам рациональности и наличия определенных мотивов. У акторов есть причины, по которым они совершают те или иные поступки, ведущие к неким, не пред-

полагаемым ими последствиям. Во втором случае предпринимается попытка акцентировать преднамеренность поведения субъектов деятельности. Предполагается, что поведение носит преднамеренный характер, то есть, по Мертону, выполняет явные функции. Однако, с позиций функционализма, этот факт не представляет особого научного интереса, ибо внимание концентрируется на рациональности, свойственной социальной системе в целом, а не отдельным индивидам. Объяснительная ценность приписывается определению функциональных потребностей системы: здесь в дело вступают последствия, отчасти удовлетворяющие эти потребности. Функциональная интерпретация танца дождя племени хопи, предложенная Мертоном, полностью соответствует этой схеме. Целесообразность участия в церемонии вызывает большие сомнения: будучи «призван» вызывать дождь церемониальный танец хопи, не делает этого. На первый взгляд участие в церемонии является иррациональным поступком. Однако мы можем определить функциональную потребность, удовлетворяемую посредством этой церемонии, порождающей позитивное функциональное последствие. Небольшие общества нуждаются в единой, сплачивающей их системе ценностей; участие в церемониальном танце дождя укрепляет эту систему, регулярно собирая членов сообщества в условиях, благоприятных для публичного подтверждения приверженности групповым целям.

Ранее мы рассуждали о том, почему точку зрения под номером (2) нельзя использовать для объяснения рассматриваемых нами действий. Однако недавно Дж. Коэн (Cohen) предложил оригинальный способ, позволяющий нивелировать ее отрицательные качества [9]. Сделать это можно, постулируя так называемые «законы последствий». Схема (2) не является объяснением, поскольку в ней не устанавливается механизм, связующий определение функциональной потребности и последствия, которые предполагается достичь для всей социальной системы, куда включены требующие разъяснения действия. Формулируя «законы последствий», мы устанавливаем общие правила, согласно которым любой социальный элемент, функциональный по отношению к другому, считается реально существующим. Отнесение конкретного примера социальной деятельности к закону последствий может рассматриваться как «незавер-

шенное» функционалистское объяснение. Но «незавершенные» функционалистские объяснения — вовсе не объяснения; кроме того, они обладают опасным побочным свойством предполагать более высокую, чем есть в действительности, степень сплоченности конкретных социальных систем. Заявить, что схема (2) является «незавершенной», значит расписаться в незнании причинных связей, соединяющих рассматриваемый социальный элемент или действия с их функциональными последствиями. Каковы будут эти связи, случись нам обнаружить их? Совершенно такими же, как в схеме (1) — установление и описание преднамеренного действия (или типов преднамеренных действий), обладающих непредумышленными последствиями (или типами последствий). Иными словами, схема (2) жизнеспособна, лишь будучи преобразована в схему (1). Но в последней нам нет никакой нужды использовать термин «функция», подразумевающий некие телеологические свойства, коими, как предполагается, обладают социальные системы: считается, что социальные элементы или действия существуют постольку, поскольку удовлетворяют функциональные потребности. Но если тот факт, что они приводят к функциональным последствиям, не объясняет причину их существования — это возможно только благодаря интерпретации преднамеренной деятельности и непреднамеренных результатов — действия могут быть отделены от этих результатов даже легче, чем это предполагают «законы последствий». Поведение «парней» приводит к последствиям, функциональным с точки зрения воспроизводства системы капиталистического наемного труда, как результату их «предвзятого отношения» к условиям собственной жизни. Однако именно это «предвзятое отношение», считает Уиллис, может быть укоренено в сознании индивидов столь глубоко, что будет скорее разрушать социальную систему, нежели вести к ее сплочению.

Труды авторов, стоящих на позициях функционализма, представляют несомненный интерес для социально-научной теории, ибо привлекают внимание к проблеме несоответствия между тем, что акторы намереваются сделать, и полученными результатами. Однако имеющиеся вопросы можно определить и попытаться решить более однозначно, полностью отказавшись от функционалистской терминологи-

гии. Как правило, функционалистский язык используется в трех случаях, важных с точки зрения социального анализа, однако легко выражаемых посредством нефункционалистских терминов.

Подойдя к выводам, полученным Уиллисом, с позиций функционализма, мы имеем: «В капиталистическом обществе образование выполняет функцию распределения индивидов по позициям в системе профессионального разделения труда». Во-первых, это утверждение приемлемо, если мы рассматриваем его как безусловно контрфактуальное [10]. Именно так стоит подходить ко многим функционалистским утверждениям или так называемым «объяснениям». Фактически, они устанавливают некоторое отношение, требующее объяснения, не объясняя его. Опустив понятие «функция», мы можем сформулировать утверждение по-другому: «Дабы сохранить структуру профессионального разделения труда, система образования должна обеспечивать дифференциальное распределение индивидов по профессиям». Смысл, стоящий за усилением «должна», контрфактуален; речь здесь идет об определении условий, соблюдение которых необходимо для получения конкретных результатов. Он определяет исследовательскую проблему и понимается скорее как вопрос, нежели как ответ, что вполне допустимо. Но использование термина «функция» может вводить в заблуждение, поскольку он предполагает, что «должна» относится к некоторой разновидности потребностей, являющихся свойствами социальной системы, порождающими силы, вызывающие соответствующий (функциональный) ответ. Можно считать, что решение исследовательской проблемы заключается в установлении проблемы, требующей исследования. Во-вторых, утверждение может быть истолковано как имеющее отношение к процессу обратной связи, полностью зависящему от непреднамеренных последствий. Мы уже говорили о том, что фраза «образование... выполняет функцию распределения индивидов...» не дает представлений о различиях, существующих между преднамеренными и непреднамеренными аспектами социального воспроизводства. Следовательно, из этих утверждений не понятно, в какой мере рассматриваемые процессы являются результатом «каузальных петель» и насколько глубоко включаются в процессы, обозначенные нами ранее как рефлексивное

саморегулирование. Социальные потребности существуют в форме причинных факторов, которые участвуют в социальном воспроизводстве, лишь будучи осознаны в своем качестве теми, кто так или иначе вовлечен в этот процесс и действует в соответствии с ними. Надо полагать, что система образования, элементами которой являются «парни», была создана во имя укрепления равенства возможностей. Фактический результат ее деятельности — сохранение тенденций отсутствия мобильности — противоречит поставленной перед ней цели, но, однако, не имеется в виду Министерством образования или другим руководящим органом государства. Если бы он был запланирован — то есть система образования создавалась бы государственными деятелями с целью сохранения классовой системы, — процесс выглядел бы иначе. Конечно, речь идет о сложных проблемах. Все современные системы образования предполагают попытки рефлексивного регулирования, что зачастую приводит к последствиям, противоположным ожидаемым теми, кто формирует образовательную политику. Однако оставив эти сложности неизученными, мы не сумеем понять действительные условия воспроизводства. Результатом может стать своеобразная форма объективизма — все, что происходит, является следствием действия социальных сил, столь же неотвратимых, как и законы природы. Альтернативой является признание теории сговора, согласно которой все происходит так, как это задумано. Если первая позиция типична для функционализма и ассоциируется с недостаточным вниманием к преднамеренным действиям, то вторая проистекает из неудачной попытки понять, что последствия действий постоянно ускользают от их инициаторов.

Дуальность структуры

Мы полагаем, что из наших предшествующих рассуждений очевидно, что понятие дуальности структуры, составляющее основу теории структурации, стоит за многими значениями, приписываемыми терминам «условия» и «последствия» деятельности. Любое социальное взаимодействие выражается «в» и «через» контекстуальности телесного присутствия. Переходя от анализа стратегического поведения к представлениям о дуальности структуры, нам следует

«проникнуть за пределы» времени и пространства, буквально пронизать их. Иными словами, мы должны попытаться понять, как практики, поддерживаемые в данном диапазоне контекстов, встраиваются в более широкие диапазоны времени и пространства — предпринять попытку проанализировать, как они соотносятся с институционализированными практиками. Возвращаясь к примеру, приведенному в работе Уиллиса, — в какой мере, создавая оппозиционную «противо-школьную» культуру, «парни» опираются на правила и ресурсы, существующие вне непосредственных контекстов их деятельности?

На аналитическом уровне мы можем определить переход от анализа стратегического поведения к исследованию дуальности структуры следующим образом (институциональный анализ осуществляется в обратном направлении — на рисунке стрелка, направленная вверх):

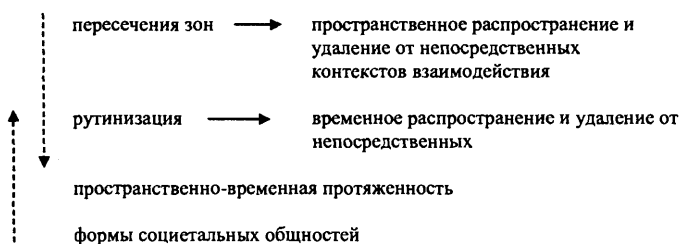


Рис. 24

Смещение акцентов, уход от анализа ситуативных действий стратегически расположенных акторов подразумевает изучение (1) связей, существующих между регионализацией контекстов их деятельности и более широкими формами регионализации; (2) стабильности их действий во времени — в какой мере они воспроизводят общепринятые и освященные временем практики или аспекты практик; (3) форм пространственно-временной протяженности, связывающих рассматриваемые нами отношения и действия с особенностями и свойствами обществ как таковых или с интесоциальными системами.

В своей работе Уиллис всесторонне исследует некоторые из этих явлений, хотя используемая им терминология несколько отличается от нашей. Безусловно, формальная

иерархия, существующая в школе, опирается на манеры поведения и нормативные ожидания, широко распространенные в различных сегментах общества, хотя и находящиеся под сильным влиянием его классовой структуры. Как локальность, школа обособлена от рабочего места в пространстве; как особый отрезок жизни детей, она отделена от трудового опыта во времени. Несмотря на то что школа и рабочее место используют общие модели и принципы дисциплинарной власти, они не являются различными сторонами единой институциональной формы. Уиллис указывает на тот факт, что школьная дисциплина отличается в высшей мере нравоучительным характером, не свойственным ситуации, складывающейся на рабочем месте. «Поддерживая и воспроизводя то, что считается возможным», школьная дисциплина олицетворяет «абстрактную воспитательно-педагогическую парадигму» [11]. Наставительный характер этой оси власти или нормативные требования, на которых она сосредотачивается, определяют сущность и основные свойства оппозиционной субкультуры. Демонстративно пренебрегая элементами рутинности — общепринятого режима школьной жизни, «парни» не просто ведут себя иначе, чем это ожидается от них; они заявляют о своем отказе признавать моральные прерогативы, на которых, по общему мнению, основываются полномочия учителей. Вместе с тем, ресурсы, доступные педагогическому персоналу для утверждения собственной власти, включают в себя нечто большее, чем притязания на ее законный характер. Педагоги являются «ресурсными центрами», ответственными за распространение знаний, рассматриваемых, если не «парнями», то детьми-конформистами в качестве дефицитного товара, и могут напрямую управлять и контролировать пространственно-временную синхронизацию действий, составляющих жизнь аудиторий и формирующих школьное расписание в целом. Конечно, занимаясь этим, педагогический состав косвенно опирается на укоренившиеся в обществе источники институциональной поддержки [12].

С другой стороны, не вызывает сомнений и тот факт, что вся совокупность установок и поведение «парней» не изобретается ими *с чистого листа*; они используют запас опыта, являющегося неотъемлемой частью их жизни за пределами школы и накапливающегося внутри сообществ пред-

ставителей рабочего класса в процессе его исторического развития. Дети, выходящие за рамки школьных норм и ведущие себя иначе, чем того от них ожидают, способны воспользоваться этим запасом. Преобразуя его элементы и используя их применительно к школьной *среде*, они способствуют воспроизводству этих характеристик в широком контексте, несмотря на то, что имеющийся информационный запас применяется ими не механически, но новаторски. Окружности и улица обуславливают символические формы молодежной культуры, также являющиеся непосредственным источником лейтмотивов, артикулированных в «противо-школьной» культуре. Кроме того, Уиллис подчеркивает значимость историй, рассказываемых взрослыми о жизни в цеху или мастерской, особенно тех, что затрагивают отношение к власти и дисциплине. Родители способствуют тому, что культура, распространенная в среде рабочих, передается их детям, однако очевидно, что не все они ведут себя одинаково или разделяют одни и те же убеждения. Более того, мировоззренческие позиции родителей и детей формируются по-разному и в значительной степени независимо друг от друга. Некоторые родители придерживаются взглядов, схожих с представлениями «парней», тогда как другие жестко осуждают их поведение. Родители, относящиеся к достоинствам школьного образования и ценностям, разделяемым в школе, насторожено или враждебно, имеют детей, четко придерживающихся эталонных стандартов школьного поведения. Иными словами, взаимообмен между действиями «парней» и воздействиями со стороны общества опосредствуется «влиянием» всех вовлеченных в процесс индивидов.

Как рефлексивно контролируемый социальный феномен, национальная система школьного образования пользуется результатами социологических исследований и достижениями психологии. И те и другие проникли и были использованы в целях практического устройства данной конкретной школы (вне всякого сомнения, учителя, работающие в ней сегодня, прекрасно знакомы с исследованием Уиллиса). Наметился переход к более «прогрессивным» взглядам на проблемы формирования учебных планов и организации аудиторных занятий. Один из основных контекстов, где «парни» напрямую соприкоснулись с академичес-

кими изысканиями, проводимыми в рамках всего общества — профессиональная ориентация, осуществление которой стало отныне обязательным для всех школ. Профессиональная ориентация и управление карьерой находятся под определяющим влиянием психологической теории и тестирования и воспринимаются в школе весьма серьезно. Уиллис продемонстрировал, что вопреки известной ориентации на равноправие, управление карьерой, несомненно, отражает ценности и устремления среднего класса. Провозглашенная убежденность в необходимости сконцентрироваться на «работе» явно противоречит установкам и представлениям о работе, усвоенным — в собственных целях — «парнями» в процессе общения с родителями, соседями и другими членами сообщества. Они смеются или остаются равнодушными к информации, получаемой на уроках профобразования. Однако их реакцию нельзя однозначно отнести к разряду негативных. «Парни» убеждены, что прекрасно понимают истинный характер работы, недоступный детям-конформистам, и, возможно, так оно и есть. Конформисты вынуждены добиваться своего «кровью и потом», приобретая квалификацию, подтверждающую их право занимать ту или иную должность, ибо они не ведают более простого пути. Выживание в мире работы требует мужества, решительности, сосредоточенности и наблюдательности, позволяющей оценить удачное стечение обстоятельств.

Нетрудно понять, как подобные убеждения, приобретенные и развитые благодаря устоявшейся среде, в которой трудятся представители рабочего класса, способствуют вовлечению «парней» в эту же среду, куда они попадают, окончив школу. Источники расхождений с «официальными» нормами, принятыми в школе, обеспечивают неформальную связность с контекстами работы. Именно «противо-школьная» культура становится для «парней» основным руководством, которому они следуют, вступая в трудовую жизнь. Зачастую и мальчики, и их родители усматривают прямое сходство между властными отношениями в школе и на работе, что приводит к возникновению между этими системами управления когнитивных и эмоциональных связей, отличных от тех, что «формально» санкционированы в каждой из них. В этом просматривается освященная временем и распространенная в пространстве фундаментальная основа

опыта, по-разному возрождаемая каждым поколением, соединяющим несопоставимые и физически обособленные миры школы и работы. Позиция «парней» по отношению к школе ориентирует их относительно будущего, в какой-то мере предопределяя его, однако будущее видится им «однообразным и унылым» — тождественным настоящему, — в нем нет места прогрессу, ассоциируемому с характерными для среднего класса представлениями о карьере. «Парни» не озадачиваются выбором конкретной работы, а плывут по течению, не желая обдуманно взвесить ряд альтернатив, дабы затем выбрать одну из них. Они, поясняет Уиллис, связывают себя с миром обобщенного труда. Не представляя, что есть «обобщенный труд», движимые стремлением заработать немедленно и уверенностью в том, что работа неприятна сама по себе, «парни» воплощают эти убеждения в собственном поведении.

Оценивая происходящее с позиций более широкой пространственно-временной структуры, мы сталкиваемся с процессом воспроизводства культуры рабочего класса, способствующей появлению и проявляющейся посредством ситуативных действий групп, аналогичных «парням». Уиллис пишет:

Неформальные и формальные процессы, протекающие в школе, играют существенную роль в деле подготовки рабочей силы, что, однако, несколько не умаляет значимости дома, семьи, соседей, средств массовой информации и непродуктивного опыта рабочего класса в целом, участвующих в ее непрерывном воспроизводстве и ежедневном использовании в трудовой деятельности. С другой стороны, важно понять, в какой мере цех или мастерская реагируют — посредством объективных характеристик и порождаемой ими оппозиционной культуры — на непродуктивные участки воспроизводства рабочей силы и воздействуют на них таким образом, что — как мы могли убедиться, анализируя «противо-школьную» культуру — приводят к возникновению ряда беспрецедентных и зачастую непреднамеренных представлений и тенденций, ведущих в конечном счете к сохранению и поддержке особой структуры — что, возможно, также не соответствует целям и намерениям официальной политики [13].

Говоря о рабочей силе, мы устанавливаем связь с отношениями превращения / посредничества, упомянутыми в четвертой главе. Не собираясь возвращаться к этому вопросу еще раз, мы лишь продемонстрируем, как имеющиеся структурные соотношения могут быть объяснены исходя из ситуативных действий, осуществляемых в рамках «противо-школьной» культуры. Помимо вышеупомянутых, в воспроизводство промышленного капитализма как глобальной социетальной общности включаются и другие структурные совокупности, которые можно представить следующим образом [14]:

частная собственность : деньги : капитал : трудовой договор : промышленная власть

частная собственность : деньги : преимущество в образовании : профессиональное положение

Преобразования, происходящие в левой части первого ряда, аналогичны обсуждавшимся нами ранее. Однако по мере продвижения к правому краю, превращение структуральных свойств начинает зависеть от способов, посредством которых трудовой контракт «преобразуется» в промышленную власть. Маркс продемонстрировал, что капиталистический трудовой договор существенно отличается от вассальной зависимости — отношений, существующих между господином и крепостным в эпоху феодализма. При капитализме трудовой договор представляет собой экономическое отношение работодателя и наемного работника, символизирует встречу на рынке труда двух «формально свободных» субъектов деятельности. Одна из основных особенностей новой формы трудового договора состоит в том, что работодатель нанимает не «работника», а его рабочую силу. Если говорить о структурных преобразованиях, имеющих место в условиях промышленного капитализма как родового типа системы производства, то здесь существенную роль играет эквивалент рабочей силы — деньги как единое средство обмена. Абстрактный труд поддается количественному измерению в эквивалентных единицах времени, затрачиваемых на выполнение качественно различных заданий, осуществляемых индивидами в разных отраслях промышленности, равнозначных с точки зрения работодателя. Трудовой договор трансформируется в индустриальную власть посред-

ством экономического давления, которое работодатели — выступающие как класс — способны оказывать на работников, благодаря тому, что подавляющее большинство последних не обременено собственностью.

Согласно Марксу, эти отношения могут возникнуть лишь в том случае, если «владелец денег найдет на товарном рынке свободного рабочего, свободного в двояком смысле: в том смысле, что рабочий — свободная личность и располагает своей рабочей силой как товаром и что, с другой стороны, он не имеет для продажи никакого другого товара, гол как сокол, свободен от всех предметов, необходимых для осуществления своей рабочей силы...» [15]*. В данном контексте «необходимость» найти свободного рабочего может пониматься или заключать в себе функциональное «объяснение» рассматриваемых явлений, как будто само утверждение содержит ответ на вопрос, почему они происходят. Формулируя основные положения своих взглядов на развитие капитализма, Маркс, несомненно, склоняется в сторону функционализма. Мы же договоримся понимать эту необходимость таким образом, который, по нашему мнению, не вызывает никаких возражений — как постановку вопроса, требующего ответа. Эти вопросы могут касаться не только первоисточников капитализма, но и его непрерывного воспроизводства как глобального институционального порядка: не существует механических сил, обеспечивающих это воспроизводство изо дня в день или из поколения в поколение.

Анализируя ситуативные контексты деятельности «парней», Уиллис помогает понять, как структурные отношения, определенные выше, поддерживаются и воспроизводятся посредством этой деятельности. Чрезмерно «предвзятое отношение» к реалиям школьной системы, полное безразличие к характеру работы, сочетающееся с готовностью вступить в мир труда, приводят к тому, что «парни» формируют «абстрактную рабочую силу». Убежденность в том, что все работы одинаковы, способствует упрочению условий взаимозаменяемости рабочей силы — структурной составляющей трудового контракта при ка-

* Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. 1. М.: Политиздат, 1973. С. 179.

питализме. В этом и заключается пафос, ибо, если Уиллис прав, то контркультура «парней» приводит к тому, что их деятельность становится элементом системы, которой они противостоят, интегрируется с ее институтами сильнее, чем действия конформистов. Однако сама сложность этих отношений указывает на необходимость отказаться от попыток простого «выведения» действия из структуры или наоборот — иными словами, противостоять дуализму объективизма и субъективизма. Ситуативные действия «парней», усложненные вследствие смешения преднамеренных и непреднамеренных последствий, представляют собой лишь небольшую часть комплексного всеобъемлющего процесса институционального воспроизводства. К тому же выводу можно прийти, проанализировав правую часть второй структурной совокупности — институциональные свойства, способствующие превращению преимуществ в образовании в различные профессиональные позиции. Существует несколько относительно прямых путей, посредством которых обладание деньгами может быть обращено в достойное образование, а затем и в привилегированную профессиональную позицию. В частности, наличие денег позволяет обучаться в частных учебных заведениях, выпускники которых имеют больше шансов получить хорошую работу, чем те, кто учился в государственных образовательных учреждениях. Однако преобразование одного в другое включает гораздо более сложные циклы воспроизводства.

Определение структурных совокупностей — прекрасный способ осмыслить ряд основных характеристик конкретного институционального порядка. Однако, и мы подчеркивали это ранее, структуры представляют собой виртуальный — вне времени и пространства — порядок отношений. Структуры существуют, лишь будучи конкретизированы в осмысленной деятельности поставленных в определенные условия индивидов, которые воспроизводят их в виде структуральных свойств социальных систем, укорененных в промежутках пространства-времени. Следовательно, изучение дуальности структуры предполагает исследование того, что ранее было обозначено нами как измерения или оси структуриации.

Проблема структурального принуждения

Обратимся к проблеме структурных ограничений, рассматривая которую мы вынуждены будем оставить мальчиков из Хаммертаунской школы. Условимся, что мы не разделяем точку зрения тех, кто считает, что этнографическое исследование, подобное проведенному Уиллисом, не позволяет понять суть этой проблемы. Напротив, многое из того, о чем говорил Уиллис, может быть отнесено к разряду детальных, теоретически обоснованных и эмпирически подтвержденных исследований сущности структурных ограничений. Вместе с тем, нам вовсе не хотелось бы утверждать, что этнографические исследования имеют какое-либо превосходство над другими типами социального анализа, и в целях институционального анализа мы зачастую (хотя и не обязательно) обращаемся к более крупным совокупностям, осмысливаемым с позиций этнографии. Сменим страны и научные проекты и возьмем за основу исследование образовательных возможностей в Пьемонте, на северо-западе Италии [16]. Исследование построено на результатах анкетного опроса и интервью, проведенных среди учащихся средней школы (в общей сложности порядка 3000 человек). Исследование состояло из двух частей, в ходе более крупной из которых интервьюировались молодые люди, начавшие искать работу не ранее чем за год до момента опроса.

Таким образом, исследование касалось вопросов, связанных с тем, что обсуждалось в работе Уиллиса, в частности, изучались установки в отношении школы и работы. Кроме того, оно демонстрирует некоторые аспекты столь характерного для современных обществ рефлексивного мониторинга процесса воспроизводства системы, осуществляемого государством. Интервьюируемые индивиды были занесены в списки, учрежденные в соответствии с парламентским законом, направленным на оказание помощи в трудоустройстве выпускникам школ. Закон предоставлял льготы работодателям, предоставляющим работу молодым людям, и предусматривал различные формы тренингов, проводимых на рабочем месте, и т. п. Исследовательский проект был инициирован властями в рамках программы, осуществляемой в целях осмысленного влияния на условия социального воспроизводства. Исследование финансировалось местными властями —

отчасти в ответ на довольно неожиданный результат предшествующей политики в отношении выпускников. Правительство предложило безработным выпускникам средних школ и колледжей 600 хорошо оплачиваемых рабочих мест сроком на один год. Однако треть тех, кому они были предложены, отказалась от них. Подобная реакция привела в замешательство инициаторов программы, которые были убеждены в том, что безработные возьмутся за любую предложенную им работу, оплачиваемую на приемлемом уровне. Дабы прояснить ситуацию, было принято решение профинансировать исследовательскую работу.

Д. Гамбетта (Gambetta), автор отчета о проведенной научно-исследовательской работе, анализирует полученный материал таким образом, что в центре внимания оказывается вопрос структурных ограничений. Его интересует, что движет индивидами, когда они выбирают те или иные варианты образования: «подталкивают» ли их к этому, или они сами «приходят» к определенной альтернативе? Существуют ли силы, аналогичные упоминаемым «структурными социологами», которые вынуждают индивидов придерживаться определенного образа действий? Гамбетта излагает полученные результаты в манере, свойственной мириадам других исследований, стоящих на тех же позициях. Так, например, может быть принята гипотеза, согласно которой на характер предпочтений в сфере образования влияет классовое происхождение. Возможность получить высшее образование, которой располагает ребенок из «высшего общества», в четыре раза превышает тот же показатель, рассмотренный применительно к выходцу из «рабочего класса». О чем говорят нам эти различия? Как таковые они не указывают на механизмы, посредством которых возникают наблюдаемые соотношения; более того, о каких бы воздействиях ни шла речь, их результаты далеки от того, чтобы считаться однозначными, ибо многие дети из высшего общества не получают высшего образования, в то время как определенной части детей рабочих это удастся. Тем не менее, подобные наблюдения обращают внимание на тот факт, что выбор в сфере образования предопределяется чем-то более важным, нежели факторами, представляемыми в виде совокупности отдельно принятых решений. В своем обзоре, посвященном аналогичным выводам, полученным в ходе

исследований, проведенных главным образом в Северной Америке, Лейбовиц (Leibowitz) указывает на то, что исходя из социально-экономических условий может быть «объяснено» от 10 до 47% различий в уровнях полученного образования [17].

Очевидно, что будучи представлены в форме столь общих соотношений, эти связи выглядят весьма неопределенно. Поэтому Гамбетта предпринимает попытку обратиться непосредственно к источникам дисперсии между классами, статистически контролируя ряд потенциально влиятельных факторов. В качестве последних были избраны экономические различия, определяемые величиной семейного дохода на ребенка, и «культурные ресурсы», измеряемые образовательным уровнем родителей. Результаты показали, что помимо этих факторов немалое влияние на предпочтения в сфере образования оказывает также род занятий отца — пожалуй, единственный общераспространенный эмпирический показатель классового происхождения, используемый в исследовании. Кроме того, полученные результаты указывают на то, что все происходящее осуществляется в форме многостадийного процесса. Дети — выходцы из рабочего класса чаще других исключаются на относительно ранних стадиях, покидая школу при первой же имеющейся возможности. Однако те, кто остается, попадают в университет с большей вероятностью, чем продолжающие школьное обучение дети из высших слоев общества; иными словами, последние чаще бросают учебу на более поздних этапах образовательного процесса. Это наводит на мысль о том, что, возможно, семьи, принадлежащие к высшим классам общества, склонны — более или менее произвольно — удерживать своих детей в образовательных учреждениях сверх обычного выпускного возраста. То есть имеют место воздействия, способствующие «продвижению» вверх, а не только вниз, как в ситуации с детьми — выходцами из рабочего класса, родители которых не склонны поощрять образование своих отпрысков за исключением каких-то особых случаев — если речь идет об исключительно одаренном ребенке, человеке, целенаправленно стремящемся остаться в школе и т. п.

Подталкивали ли детей из рабочего класса, или они совершали прыжок самостоятельно? Не случилось ли так, что

«предвзятое отношение» к собственным жизненным возможностям (то, о чем писал Уиллис) «отодвинуло их с периферических позиций»? В ходе дальнейшего статистического анализа полученных данных, Гамбетта сумел установить, что, принимая решение о том, стоит ли продолжать учебу в школе или нет, выходцы из рабочего класса значительно чаще, нежели дети из высших слоев общества, руководствуются успехами, достигнутыми в образовании, будучи гораздо более чувствительны к отсутствию таковых. Таким образом, можно предположить, что дети и их родители из среды рабочих достаточно трезво оценивают свои возможности и осознают трудности, с которыми им придется столкнуться в случае, если они решат «продолжить» школьное образование. Позволим себе предположить, почему выходцы из рабочего класса, принявшие решение остаться в школе, как правило, покидают ее реже, чем другие. Для этих детей, равно как и для их родителей, продолжение учебы подразумевает приверженность (культурно «чуждым» ценностям), обязательства, более значимые, чем в случае с детьми из высших социальных классов. Важную роль играют и значительные материальные издержки, поскольку для рабочих расходы на содержание ребенка в школе представляют большую проблему, чем для семей из высших слоев общества. Таким образом, если решение принято, у выходцев из рабочего класса есть больше оснований защищать собственные культурные и материальные «инвестиции», чем у детей обеспеченных родителей.

Можно предположить, что принятие подобных решений происходит под воздействием представлений о ситуации на рынках труда, а также установок по отношению к работе вообще. Здесь Гамбетта обращается к хорошо известной в Италии концепции поведения на рынке труда — так называемой «теории ожидания (парковки)», согласно которой продолжительность обучения обратно пропорциональна возможностям социального продвижения, доступным в раннем выпускном возрасте. Дабы не оказаться безработными, ученики задерживаются в школе. Мотивационной основой теории ожидания является представление о том, что *при прочих равных условиях* работа предпочитается учебе в школе. Авторы теории [18] описали мотивы и соображения акторов, однако, предложенные ими оценки носят по

большей части неявный, «ограниченный и безосновательный» характер. Тем не менее, теория эта достаточно интересна, ибо открывает перед нами возможности, далекие от сугубо интуитивных рассуждений — например, указывает на то, что при определенных условиях продолжительность образования может быть обратно пропорциональна уровню экономического развития области или региона. Так, М. Барбагли (Barbagli) обнаружил, что в Италии величина среднего дохода *на душу населения* положительно соотносится с показателем посещаемости школы учениками возрастной группы 11–15 лет. С другой стороны, доля продолживших обучение после преодоления возрастной черты, предопределенной законом для возможного ухода из школы, находится в отрицательной корреляционной связи с доходом *на душу населения* и другими показателями местного экономического развития. Из этого был сделан вывод о том, что дети, проживающие в беднейших провинциях, склонны оставаться в школе вследствие значительных проблем с трудоустройством [19].

Вместе с тем, «слабая» мотивационная база теории не позволяет нам рассмотреть всю совокупность возможных истолкований полученных результатов. Например, изменилась бы модель посещения школы, если бы длительное пребывание в ней не приносило никаких экономических выгод? В данном случае теория ожидания предлагает выводы, отличные от тех, к которым приходят сторонники теорий «человеческого капитала», рассматривающие решения относительно образования с точки зрения затрат и результатов. Дабы оценить различные возможности, Гамбетта соотносит решение продолжить образование до университетского уровня с экономическими различиями, встречающимися в области Пьемонте. Результаты указывают на то, что речь идет не только об отрицательном выборе, как это утверждает теория ожидания; отчасти решение остаться является позитивным, «обусловленным» привлекательностью возможностей, открываемых дальнейшим образованием. Однако исследование демонстрирует, что представления о мотивации, свойственные теориям «человеческого капитала», чрезмерно упрощают их. Более того, эти теории не способны постичь непреднамеренные последствия множества взятых в отдельности и в этом своем качестве продуманных

линий поведения. Так, решения продолжить обучение с целью увеличить вознаграждение за труд могут непреднамеренно привести к обратным последствиям. Каждый индивид поступает так в надежде получить большую выгоду, однако, если подобным образом поведут себя многие, предполагаемого эффекта не будет [20].

Вопрос, изначально волновавший Гамбетту, — подталкивали ли детей, или они совершали прыжок самостоятельно — выводит исследование за рамки привычных границ структурной социологии. Автор анализирует собранный эмпирический материал таким образом, что переходит от институциональной перспективы к изучению целенаправленного поведения. Субъекты его исследования — не просто «социологические простофили». Однако вместо того, чтобы обсуждать анализ, проведенный Гамбеттой, мы будем следовать направлениям рассуждений, принятым в предыдущей главе. Еще раз обратимся к тому, что говорилось нами об ограничениях деятельности. Во-первых, ограничения не «вынуждают» человека к совершению каких-либо действий, если его или ее не «подтолкнули» к этому предварительно. Иными словами, считается, что поведение является целенаправленным даже в тех случаях, когда ограничения, предопределяющие тот или иной образ действий, суровы и труднопреодолимы. Во-вторых, ограничения отличаются друг от друга. В этом плане важно различать ограничения, происходящие из факта существования разнообразных санкций, и структурные ограничения. В-третьих, в каждом конкретном контексте деятельности изучение влияния структурных ограничений подразумевает определение соответствующих аспектов пределов осведомленности субъектов деятельности.

Рассмотрим эти проблемы в обратном порядке. Что касается третьего пункта, то здесь очевидно, что многое из того, о чем говорил Гамбетта, в действительности связано с установлением границ осведомленности субъектов деятельности. Например, немало внимания уделяется им определению того, что именно родители и дети знают о локальных рынках труда. Значимость такого рода информации не вызывает сомнений. То же самое можно сказать и об осведомленности относительно школьного *окружения*. Статистический анализ не позволяет получить данные, столь же бо-

гаты на детали, как и в исследовании Уиллиса. Однако мы можем сделать выводы — которые, как показал Гамбетта, подтверждаются результатами исследования — относительно информации о «денежной стоимости» образования, коей, вероятнее всего, обладают родители и их дети.

Что касается второго пункта, то здесь стоит указать на существование нескольких разновидностей санкций, оказывающих влияние на положение детей; они могут быть достаточно просто отделены от источников структурных ограничений. Необходимость посещения школы и минимальный возраст окончания учебы в ней закреплены законом. Иногда родители и дети пренебрегают подобными правовыми обязанностями, что особенно характерно для южных областей Италии. Однако в большинстве случаев эти обязанности устанавливают рамки, в соотношении с которыми принимаются решения, проанализированные Гамбеттой. Кроме того, дети подвергаются воздействию неформальных санкций, применяемых родителями и работниками школы. Поскольку родители вынуждены поддерживать своих отпрысков, оставшихся в школе, в руках у них оказываются мощные экономические санкции, позволяющие им определять, будет ли продолжено дальнейшее образование их детей или нет; помимо этого здесь существует целый ряд других, более тонких механизмов санкционирования. Исследования, подобные тому, что было проведено Уиллисом, делают очевидным тот факт, что в школьном окружении существует множество таких механизмов.

И, наконец, первый вопрос. Определение структурного ограничения в конкретном контексте или типе контекстов деятельности предполагает обращение к соображениям акторов относительно мотивации, лежащей в основе предпочтений. Когда ограничения сужают диапазон (допустимых или возможных) альтернатив настолько, что актор может выбрать только один вариант или тип варианта, скорее всего, он не найдет ничего лучшего, как подчиниться. Данное предпочтение относится к разряду негативных или отрицательных, направляемых желанием избежать последствий, вытекающих из факта неподчинения. Если мы говорим, что в конкретной ситуации субъект деятельности «не мог поступить иначе», — значит, при данных желаниях и потребностях у него существовал лишь один вариант действий. Это

не *следует* путать — и мы придаем этому особое значение — с ситуацией «не мог сделать иначе», которая обозначает концептуальные границы действия; именно эта путаница свойственна рассуждениям структурных социологов. Там, где существует только одна (возможная) альтернатива, основой поведения субъектов деятельности является осознание этих ограничений, сочетающееся с потребностями. Поскольку ограничения — осознаваемые акторами как таковые — являются причиной подобного поведения, речь может идти об эллипсисе структурной социологии [21]. Конечно, ограничения присутствуют в обоснованиях акторов и в ситуации наличия широкого диапазона вариантов. И снова нам стоит быть осторожными. При любом конкретном стечении обстоятельств формальные модели предпочтения или принятия решений могут стать аналитически мощным способом объяснения связей, существующих между структуральными свойствами, однако они не способны заменить более детальный и обстоятельный анализ мышления субъектов деятельности, обеспечиваемый в ходе этнографического исследования. Обратимся еще раз к поведению «парней». Нет сомнений, что «экономическая» модель в какой-то мере проясняет их мотивы и рассуждения. Понимая, что формальное образование практически не обеспечивает им достойных видов на будущее, они принимают решение снизить потери, выходя на работу, как только это становится возможным. Однако подобное изложение их поведения не передает тонкостей или сложностей, обнаруживаемых в исследовании Уиллиса.

В своем исследовании Гамбетта анализирует влияние структурных ограничений, реализуемое в рамках непосредственной ситуации деятельности, с которой сталкиваются выпускники школы. Учитывая неизбежно ограниченный характер любого отдельно взятого исследования, обоснованность и оправданность столь узкого фокуса не вызывает сомнений. Очевидно, однако, и то, что влияние структурных ограничений на конкретный образ действий может быть изучено более глубоко. Так, можно исследовать, каким образом факторы, связанные с воспитанием и предшествующим опытом акторов, воздействуют на или формируют мотивы и процессы обоснования ими собственного поведения; и как, в свою очередь, эти факторы определяются родовы-

ми институциональными характеристиками общества в целом. Однако в принципе подобные «социальные силы» могут исследоваться точно так же, как явления, изучаемые Гамбеттой. Иными словами, структурные ограничения всегда действуют через мотивы и соображения субъектов деятельности, порождая (зачастую размыто и извилисто) условия и последствия, предопределяющие возможности, доступные другим, и то, что они ожидают от имеющихся у них альтернатив.

Противоречие и эмпирическое изучение конфликта

Обращение к взаимосвязанным темам образования и государства обеспечивает последовательный и логически непротиворечивый переход к другим вопросам из области эмпирической работы. Ранее мы предположили, что понятие противоречия может быть успешно соотнесено с представлениями о структуральных свойствах и структуральном принуждении. Тогда наше повествование было кратким и в высшей степени абстрактным одновременно. Мы заявили, что в социальной теории понятие противоречия несет достаточно ясную и недвусмысленную смысловую нагрузку и что его следует отличать от понятия конфликта, символизирующего разновидность активной вражды между акторами и коллективами. Попробуем отстоять это утверждение на практике, ограничив круг наших интересов тем, что ранее было обозначено как «структурное противоречие». Наиболее значимые и интересные, из недавних попыток наполнить понятие противоречия определенным эмпирическим содержанием, следует искать в работах авторов, находящихся под влиянием теории игр и разделяющих точку зрения, очевидно связанную с методологическим индивидуализмом [22]. Один из них, Р. Будон (Boudon), всесторонне изучал образование и государственную политику. Работы другого — Й. Элстера (Elster) — один из основных первоисточников, используемых Гамбеттой в своем исследовании.

Будон и Элстер связывают противоречие с непреднамеренными последствиями деятельности, подклассом «обратного эффекта», который может происходить из заранее

обдуманых, умышленных действий множества индивидов. Элстер выделяет два вида противоречий, понимаемых таким образом, — «незавершенность» (counterfinality) и «субоптимальность» (suboptimality) [23]. Первая ассоциируется с тем, что Элстер именует ошибочной композицией — ложным убеждением, согласно которому то, что при данном стечении обстоятельств возможно для одного человека, возможно одновременно и для всех других, попавших в аналогичные условия. Например, тот факт, что кто-то может положить все свои деньги в банк и заработать на этом, вовсе не означает, что подобным образом может поступить любой.

Элстер считает, что многочисленные примеры ошибочной композиции могут быть рассмотрены как заключающие в себе противоречивые социальные отношения. Противоречивые последствия наступают в тех случаях, когда каждый из совокупности индивидов совершает действия, которые приводят к запланированным последствиям, если предпринимаются этим индивидом в отдельности, но порождают обратный эффект, если осуществляются всеми. Так, например, если вся аудитория, находящаяся в лекционном зале, встанет со своих мест, дабы лучше разглядеть лектора, это не удастся никому. Если каждый фермер, проживающий в конкретном районе, попытается расширить свои угодья за счет вырубки деревьев, приводящей к эрозии почв, наступающей вследствие обезлесения, то в конечном счете количество земли у всех фермеров только уменьшится. Эти результаты не только не планируются, но и идут вразрез с тем, что желательно в данной ситуации для всех и каждого; тем не менее они вытекают из поведения, нацеленного на удовлетворение желаний и потребностей индивидов, которое на самом деле могло бы достичь поставленных целей, если бы не было введено в общее употребление. Рассмотрим подмеченную Марксом тенденцию к снижению нормы прибыли, наблюдаемую в условиях капиталистической экономики [24]. В условиях, когда экономика развивается такими темпами, что поглощает все имеющиеся в наличии источники рабочей силы, заработная плата растет по мере того, как работодатели начинают испытывать нехватку подходящих рабочих рук. Дабы противостоять этому, работодатели внедряют технические новшества, позволяющие экономить

затраты на оплату труда. В то время как отдельные промышленники и фабриканты могут повысить, таким образом, рентабельность собственного предприятия, абсолютная величина прибавочной стоимости, а следовательно, и прибыли, в экономике в целом уменьшается, поскольку соотношение постоянного и переменного капитала увеличивается. Если все занятые в данном секторе экономики вводят одни и те же технологические новшества, они могут оказаться в более затруднительном положении, чем прежде.

Второй тип отношений противоречия — субоптимальность — определяется с позиции теории игр. Здесь все участники теоретико-игровой ситуации выбирают стратегию решения, осознавая, что другие участвующие делают то же самое и что все могли бы добиться того же и много большего, если бы была принята другая стратегия. В отличие от ситуации, когда речь идет о незавершенности, они понимают, к каким последствиям может привести их поведение, по-разному «сопрягающееся» с поступками других людей. Предположим, что фермеры, выращивающие определенную сельскохозяйственную культуру, смогут обеспечить себе большую прибыль, образовав картель. Если последний организован, отдельному фермеру будет выгоднее не подчиниться картельному соглашению, дабы извлекать из него выгоду, не будучи связанным никакими обязательствами. Так как все фермеры отдают себе отчет в том, что дела обстоят именно так, картеля не будет [25]. Аналогичное объяснение было использовано Будоном применительно к исследованию образования и социальной мобильности. В 1960 гг. развитие высшего образования наблюдалось практически во всех индустриально развитых странах. По мере того как образовательный уровень повышался, все больше и больше людей занимали позиции, для которых полученная ими квалификация была явно чрезмерной, о чем свидетельствовали и формальные требования, предъявляемые к работе. В качестве частичного решения проблемы разочарования и неудовлетворенности, возникающих вследствие подобного положения вещей, многие страны ввели так называемые «краткосрочные циклы» высшего образования — курсы, обучение на которых осуществлялось в более гибкой и сокращенной форме. Однако пойти на них решились немногие. Почему? Будон полагает, что провал проекта ускорен-

ного образования следует постигать с позиций, аналогичных тем, что имеют место в условиях дилеммы узника — как субоптимальный результат рациональных решений, принимаемых студентами, осознающими их вероятный исход. Исследование демонстрирует, что в действительности люди, выбравшие краткосрочные образовательные курсы, имеют те же возможности получить высокооплачиваемую работу, что и индивиды, отдавшие предпочтение длительным, традиционным формам обучения. По-видимому, большинство студентов также осознавало этот факт. Поэтому интуитивно можно было бы предположить — как, например, это сделало правительство, учредившее их, — что значительное количество студентов сделает выбор в пользу краткосрочных курсов. Однако, несмотря на кажущуюся очевидность, говорит Будон, подобное предположение ошибочно. Выборы, которые делают студенты, обусловлены, как и в случае с дилеммой узника, тем фактом, что каждый индивид принимает решение, зная, что другие выбирают из тех же альтернатив. Фактически, выбирая традиционную, долгосрочную форму образования, студенты увеличивают свои шансы, даже осознавая, что другие, вероятно, думают таким же образом, и даже несмотря на то, что некоторые извлекают большую пользу, предпочитая краткосрочное обучение [26].

Формулировки, предложенные Элстером и Будоном, весьма привлекательны, ибо дают возможность четко определить противоречие (хотя сам Будон и не использует этот термин), а также потому, что указывают, каким образом понятие может быть наполнено эмпирическим содержанием. Последствия преднамеренных действий противоречивы в тех случаях, когда эти последствия искажены настолько, что сама деятельность, направленная на получение желаемого, снижает вероятность его достижения. Тем не менее, подобное представление о противоречиях сталкивается с очевидными трудностями. Дело в том, что оно непосредственно связано с использованием моделей, заимствованных в теории игр. Нет сомнений, что теоретико-игровые модели могут успешно использоваться в эмпирических исследованиях с целью определения проблем, требующих изучения, а также на стадии интерпретации полученных результатов. Примером может служить исследование Будона в области социологии образования. Тем не менее возможнос-

ти применения теории игр в социальных науках ограничены. Несмотря на то, что будучи представлены в абстрактной или математической форме, теоретико-игровые модели могут выглядеть изысканно и удовлетворять предъявляемым требованиям, их соответствие реальному поведению вызывает зачастую большие сомнения.

Практическая польза теоретико-игровых моделей куда более очевидна в ситуациях, когда речь идет об определенных особых обстоятельствах: когда необходимо принять конкретные «решения»; когда возможные альтернативные последствия определяются достаточно легко; а также там, где решения принимаются множеством индивидов отдельно, а не в ситуации непосредственного взаимодействия друг с другом. Такого рода условия — не редкость для современных обществ, однако существует немало контекстов социальной жизни, не относящихся к этому разряду. Если связь с теорией игр можно считать одним источником ограниченности обсуждаемого нами подхода к понятию противоречия, то другим, несомненно, является приверженность принципам методологического индивидуализма, особенно очевидная в работах Элстера. С точки зрения логики, связь, существующая между ними, может показаться весьма условной, однако, нетрудно понять, почему они имеют тенденцию идти рука об руку. Элстер усматривает противоречие в несоответствии между отдельно предпринятыми индивидуальными действиями и их сложными, комбинированными последствиями. По сути дела, все сводится к тому, что было обозначено нами как анализ стратегического поведения. С этой точки зрения, противоречие невозможно понять как неотъемлемую характеристику структурных условий воспроизводства системы.

Мы полагаем, что речь идет о подходе, гораздо более значимом для социальной теории, чем те, что были предложены Буденом и Элстером, и открывающем широкие возможности для эмпирической работы. Нам хотелось бы не столько опровергнуть значимость идей, выдвинутых этими авторами, сколько дополнить их. Можно предположить, что противоречивые последствия из разряда тех, что обсуждались ими, систематично взаимосвязаны со структурным противоречием (терминология наша). С нашей точки зрения, понятие противоречия следует понимать менее абстрактно,

чем это делают Будон и Элстер, и, кроме того, освободить его от предпосылок и допущений, свойственных методологическому индивидуализму. Иными словами, мы хотим установить связь, существующую между этим понятием и всеобщими типами социетальных общностей, выделенными нами ранее, из условия, чтобы, несмотря на возможное наличие многочисленных примеров вторичных противоречий, эти являлись бы производными от доминирующих противоречивых способов структурирования обществ. Однако первичные и вторичные структурные противоречия — так, как определяем их мы — по-прежнему сохраняют ту же смысловую сущность, которую приписывает им Элстер; условия воспроизводства системы зависят от структуральных свойств, приводящих к отрицанию самих принципов, на которых они основываются.

В качестве уместного примера рассуждений на тему первичных противоречий капиталистических государств приведем ряд работ, написанных К. Оффе (Offe) [27]. В своих основных проявлениях они логически и по существу совместимы с идеями, выдвигаемыми в нашей книге, а также подкреплены солидной эмпирической базой. Институциональная форма капиталистического государства описывается исходя, из следующих (основных) характерных особенностей:

- (1) «Политической власти запрещается организовывать производство в соответствии с ее собственными политическими критериями». Иными словами, крупные сектора экономической структуры координируются не правительством, но деятельностью, осуществляемой внутри «частных» сфер экономического предпринимательства. Институциональной основой этих сфер являются частная собственность и долговременное «владение» рабочей силой.
- (2) «Политическая власть косвенно — через механизмы налогообложения и влияние со стороны рынка капитала — зависит от объема частных накоплений». То есть государство финансируется посредством взимания налогов, извлекаемых в ходе процессов экономического развития, не управляемых государственными органами напрямую.
- (3) «Поскольку государство зависит от процесса накопления, который оно не в силах организовать, каждый за-

нимающий какой-либо государственный пост или должность по существу заинтересован в создании и поддержании благоприятных условий, способствующих накоплению» [28].

Третий пункт — важное дополнение к первым двум. Он помогает избежать последствий и выводов наивного функционализма, ибо делает очевидным тот факт, что люди, занятые в государственных органах и учреждениях, располагают определенным набором знаний о явлениях, определенных в двух первых пунктах, и действуют в свете своей осведомленности.

Почему капиталистическое государство, охарактеризованное подобным образом, представляет собой противоречивую социальную форму? Потому что сами условия, делающие возможным его существование, приводят в действие и зависят от механизмов, идущих вразрез с государственной властью. «Частнокапиталистическая форма присвоения продуктов труда» — в традиционной терминологии — предполагает «обобществленное производство», одновременно отрицая его. То же самое можно выразить и по-другому — путь, аналитически проработанный К. Оффе, — сказав, что хотя государство и предопределяется товарной формой, оно, вместе с тем, зависит от ее отрицания. Непосредственным выражением коммодификации являются покупка и продажа ценностей; когда последние перестают рассматриваться как годные для обмена на деньги, они утрачивают свой товарный характер. Противоречивый характер капиталистического государства выражается в «метаниях» между коммодификацией, декоммодификацией и повторной коммодификацией. Возьмем в качестве примера предоставление здравоохранения и общественного транспорта. Учреждение системы социальной медицины подразумевает декоммодификацию основных аспектов здравоохранения, то есть организацию их на основе принципов, не зависящих от того, может ли индивид, испытывающий потребность в лечении, оплатить его или нет. Однако тем, кто менее всего нуждается в социальной медицине, — речь идет о наиболее обеспеченных слоях населения, которые, несмотря на наличие государственной системы медицинского обслуживания, предпочитают пользоваться услугами частнопрактикующих

врачей, — надлежит (диспропорционально) содействовать ее развитию посредством уплаты прогрессивных налогов. Поэтому, вероятно, они пытаются сделать ряд оказываемых социальной медициной услуг платными, переведя их обратно на коммерческую основу. Аналогичная ситуация складывается и с общественным транспортом. Те, кто, платя высокие налоги, вносит значительный вклад в финансирование системы общественного транспорта, как правило, передвигаются на собственных машинах. Поэтому, скорее всего, они будут сопротивляться такому положению дел, при котором общественный транспорт рассматривается как общественное благо, нежели как жизнеспособный, с коммерческой точки зрения, набор услуг. Поскольку представители групп с более низким уровнем доходов имеют противоположную точку зрения, политика правительства может переходить от тенденций денационализации к идеям ренационализации транспортных услуг по мере того, как партии, представляющие интересы различных классов, последовательно сменяют друг друга у руля власти [29].

Исследование Оффе со всей остротой поднимает проблему отношений между противоречием и конфликтом, но прежде чем обсуждать ее, нам хотелось бы затронуть тему вторичных противоречий. Первичные противоречия могут быть связаны множеством более или менее непосредственных отношений с противоречиями вторичными. Некоторые из них носят весьма общий характер, другие соответствуют определенным контекстам. Рассмотрим следующие примеры, взятые наугад из социологической литературы. Все они олицетворяют собой обратные результаты, но, кроме того, выражают, как нам кажется, противоречия.

- (1) Исследование престарелых и предоставления дополнительных пособий и льгот. В Соединенных Штатах Америки были введены дополнительные страховые льготы, нацеленные на улучшение положения пожилых людей с низкими доходами. Однако небольшие суммы, добавленные к их доходам, привели к тому, что уровень последних повысился ровно настолько, чтобы они утратили свое право на бесплатную государственную медицинскую помощь. В результате им было отказано в медицинской страховке, так что многие оказались даже в более затруднительном положении, чем прежде.

- (2) Исследование полиции. Для того, чтобы снизить расходы на оплату сверхурочной работы полицейских из числа имеющегося личного состава, власти Нью-Йорка приняли решение вывести на улицы города дополнительное количество патрулей. Однако оказалось, что основная причина сверхурочной работы полиции заключалась в проведении и оформлении арестов. Увеличившееся количество полицейских, заполонивших улицы города, привело к росту задержаний, что на самом деле лишь усугубило ситуацию, вместо того чтобы исправить ее.
- (3) Анализ уличных беспорядков в Детройте. Конец 1960-х гг. ознаменовался широкомасштабными усилиями, направленными на предотвращение рецидивов массовых беспорядков в гетто Детройта путем увеличения пособий, выплачиваемых за счет благотворительных фондов, и предоставления гарантий занятости людям, живущим в этих районах города. Эти меры привлекли в город большое количество бедняков, желающих воспользоваться преимуществами предложенных программ. Многие из них не смогли трудоустроиться в городе и пополнили ряды безработных, что привело к дальнейшему увеличению последних. Другие заняли рабочие места, которые в противном случае достались бы страдающим от хронической безработицы коренным жителям города. Таким образом, условия, которые, по общему мнению, способствовали вспышкам беспорядков, были скорее усилены, нежели ослаблены [30].

Подобные примеры помогают понять вероятную связь между структурным противоречием, противоречием, как его понимают Будон и Элстер, и явлением социального конфликта. Итак, нам хотелось бы выдвинуть следующее предположение: по всей вероятности, противоречие и конфликт связаны напрямую в тех случаях, когда индивиды сталкиваются с искаженными последствиями собственных действий или считают их вполне вероятными. Мы не утверждаем, что противоречия неизбежно порождают последствия, обратные ожидаемым, или что все искаженные последствия противоречивы. Однако противоречие является разновидностью структурного искажения и, по-видимому, постоянно борется с обратными последствиями, проявляясь и раскры-

ваясь в поведении поставленных в определенные условия акторов. Вызывая «обратный эффект», искаженные результаты порождают депрессию, чувство разочарования, негодования, удрученное состояние, а потому, по меньшей мере, потенциальную готовность к борьбе. Иными словами, дела обстоят хуже, чем были до того, в обстановке, когда все или большинство присутствующих могли рассчитывать на то, что они улучшатся. Отметим, что исследование искаженных последствий противоречивого характера представляется нам плодотворным с точки зрения изучения источников конфликтов. Однако мы могли убедиться, что практика отождествления противоречий с подобными последствиями *как таковыми* весьма ограничена; ибо, с одной стороны, структурное противоречие не обязательно ведет к обратным последствиям, а, с другой, последние не являются единственными, связанными с противоречием условиями, способными вызвать конфликт.

Можно сказать, что искаженные последствия представляют собой непредвиденные результаты, которые могут быть вызваны ситуацией структурного противоречия. Общие условия, стимулирующие возникновение конфликта, следует искать в связи, существующей между противоречием и коллективными интересами. Капитализм — классовое общество, а противоречие между «частнокапиталистической формой присвоения продуктов труда» и «обобществленным производством» зафиксировано в делении общества на классы, различающиеся своими интересами. Конечно, соотношение между противоречиями и интересами подвержено изменениям. Однако можно вполне обоснованно утверждать, что чем больше сближаются первичные и вторичные противоречия, тем значительнее становится доминирующая тенденция выравнивания различий интересов, и тем более вероятно, что открытый конфликт будет развиваться вдоль «линии сброса» этих противоречий. По-видимому, существуют три типа обстоятельств, особенно значимых для исследования отношений между противоречием и конфликтом: *неопределенность* действия, *рассредоточение противоречий* и доминирование *прямых репрессий* [31]. Под «неопределенностью» действий мы понимаем (терминология Уиллиса) глубину постижения акторами противоречивых свойств социальных систем, в которых они существуют. Проникно-

вание в суть противоречий может инициировать деятельность, направленную на их разрешение или преодоление. Однако было бы ошибочным считать, что осознание характера противоречий связано исключительно с социальными изменениями. Противоречие — источник динамизма, но понимание этого неискушенными акторами может активизировать попытки как стабилизировать существующее положение дел, так и преобразовать его. Важность этого момента заслуживает особого внимания, если мы обращаемся к прогнозам Маркса относительно предполагаемого перехода от капитализма к социализму. Маркс утверждал, что по мере того как представители рабочего класса постигают противоречивый характер капиталистического производства, они мобилизуют свои силы, дабы изменить его. По-видимому, Маркс не придает большого значения возможности того, что господствующие в обществе группы могут овладеть представлениями о системе, достаточными, чтобы в какой-то мере стабилизировать ее. Именно так может быть представлена возрастающая роль государства. Государство не просто находится в тисках первичных противоречий; государственные органы способны контролировать условия воспроизводства системы, сводя к минимуму возможные конфликты.

Степень слияния или рассредоточения противоречий меняется в соответствии с двумя основными группами условий. Одна из них — «скачкообразное развитие», другая — регионализация. Вряд ли стоит углубляться в обсуждение понятия скачкообразного (неравномерного) развития или его практического применения. В большинстве случаев оно ассоциируется с марксизмом и в особенности с работами Л. Троцкого (Trotsky) и В. Ленина (Lenin), однако попытки объяснить и использовать это понятие предпринимались не только представителями марксистской социально-научной мысли. Концепция неравномерного развития имеет более широкую сферу применения, нежели та, что приписывалась ей обычно. Как правило, она употребляется в отношении крупномасштабных процессов изменений; однако, мы не находим никаких причин, препятствующих ее применению и в случаях более ограниченных пространственно-временных контекстов. Существенную роль здесь играет и понятие регионализации. Специфическая региональная «распро-

странность», сочетающаяся с различными темпами изменений, может способствовать наращиванию противоречий и, возможно, появлению искаженных последствий. По мнению Ленина, именно такая ситуация сложилась в России в начале XX столетия. Другие формы регионализации ведут к размыванию или сегментации противоречий. Там, где это случается, конфликты носят фрагментарный и перекрестный характер, так что результаты усилий одних сводят на нет действия других. Под прямыми репрессиями мы понимаем применение силы или угрозу ее использования во имя сдерживания активной борьбы. Обычно считается, что использование силы есть одно из проявлений конфликта, но угроза (или тактическая демонстрация) ее применения вполне подходят для того, чтобы источники разногласий не превращались в неприкрытую вражду. Тем же, кто убежден, что контроль за средствами принуждения и насилия не может использоваться для борьбы с серьезными, глубоко залегающими конфликтами, мы посоветуем поразмышлять над ситуациями, подобными той, что сложилась в Южной Африке [32].

Институциональная стабильность и изменение

В этом разделе мы обратимся к исследованию, которое, в отличие от остальных, рассмотренных нами, находится под непосредственным, хотя и частичным, влиянием теории структуризации. Речь идет о недавней работе Дж. Ингхама (Ingham), посвященной той роли, которую на протяжении двух последних веков играет в Великобритании деловой центр Лондона — Сити [33]. Эмпирическая проблема, исследуемая автором, была сформулирована следующим образом: каким образом Сити — финансовому центру, расположенному в Лондоне, — удавалось управлять английским промышленным капиталом на протяжении столь длительного периода времени? В целом же Ингхама интересовали сущность и основные характеристики современного государства.

Согласно Ингхаму, организации, формирующие структуру Сити, занимаются главным образом деятельностью, которая может быть охарактеризована как «коммерческая»

и включает в себя, помимо всего прочего, финансирование торговли, страхование товаров и транспортных средств, а также биржевые сделки с иностранной валютой. Они имеют дело не только с отношениями и связями, существующими между Великобританией и другими государствами, но и с сетями капиталистических предприятий в мировом масштабе. Наиболее значимой в этом отношении становится роль Сити в управлении английской валютой как «мировыми деньгами», средством обмена, признаваемым на международном уровне. Ингхам критикует теории, рассматривающие Сити в исключительной связи с «финансовым капиталом». Нет сомнений, что деятельность Сити является финансовой в том смысле, что она связана с кругооборотом капитала; вместе с тем, основную позицию занимают здесь разнообразные формы маклерства, получение прибыли за счет оказания посреднических услуг тем, кто непосредственно участвует в производительном использовании капитала.

Ингхам указывает на то, что адекватное понимание могущества и власти, коими Сити обладал с конца XVIII столетия, требует отказа от эндогенного стиля теоретизирования, господствовавшего в литературе прошлых лет, и постижения того, как ведущие организации, формирующие ядро Сити, реагировали на непредвиденные политические события. И Маркс, и поздние марксисты, такие, как Р. Хильфердинг (Hilferding), пытались объяснить (или оправдать) роль Сити с позиций эндогенных концепций развития капитализма. Маркс признавал и неоднократно писал об особом положении Сити в экономической жизни Англии XIX в., исследуя причины подобного положения дел с точки зрения характерных особенностей английской экономики, переходящей от господства торгового к доминированию промышленного капитала. Он считал, что развитие промышленного капитализма приведет в скором времени к вытеснению торгового и банковского капитала с занимаемой ими главенствующей позиции. По мере поступательного движения промышленного производства, производительный капитал начнет преобладать — экономически и политически — над традиционным авторитетом «банкократии». Обсуждение вопроса, в том виде, в каком оно присутствует у Маркса, не позволяет понять, почему

экономическая и политическая власть Сити выдержала испытание временем. Точка зрения Хильфердинга, предложенная им много позже, также некорректна. Согласно ей, образование «финансового капитала» — путем слияния банков и крупной промышленности — происходило в Великобритании медленнее, чем где-либо еще. Однако в конечном счете этой стране не удастся избежать процессов, имевших место в других обществах. Промышленное превосходство Англии в XIX в. сделало возможным временное запаздывание страны; однако механизмы международной конкуренции приведут в конце концов к формированию той же модели [34].

Однако этого не произошло. Почему? Ингхам полагает, что современное английское общество является не только исторически первой промышленной экономикой, но и центром всемирных торговых сделок. Наиболее важные особенности Сити, утверждает он, следует постигать исходя из сущности национальных государств. Государства имеют собственную валюту, но не могут свободно контролировать ее движение за пределами своей территории; более того, достоинства и стабильность различных валют колеблется в широких пределах. Сити быстро — отчасти благодаря тому, что в девятнадцатом веке Англия являлась мощной промышленной державой — превратился в центр общепринятой формы «мировых денег» и международную расчетную палату, занимающуюся урегулированием сделок и соглашений. Фактическая монополия на проведение определенных типов коммерческих сделок, которую сумел получить Сити, а также введение золотого стандарта фунта стерлингов зависели и определялись рядом политических условий. Последние следует отличать от источников и причин промышленного превосходства Великобритании. Значимость Сити и фунта стерлингов сохранилась и после того, как Англия утратила свой статус всемирно признанной, передовой промышленной державы. К концу Первой мировой войны это место заняли Соединенные Штаты Америки, однако, вопреки многочисленным ожиданиям Нью-Йорк так и не сумел вытеснить Лондон с позиции главной в мире расчетной палаты ни в 1920, ни в 1930 гг.

Ингхам считает, что эти явления должно понимать следующим образом. В самом начале XIX столетия в Англии

был проведен ряд денежно-финансовых реформ, основная цель которых заключалась в борьбе с давнишними долгами, накопленными государством и увеличившимися в период наполеоновских войн. Результатом, однако, стала дальнейшая концентрация финансовых кругов, отделенных от промышленных предпринимателей, в учреждениях, составляющих структуру Сити. Растущее благосостояние последних сделало возможным выживание определенной части аристократии, столкнувшейся с уменьшением значимости сельского хозяйства, составлявшего основу ее власти и могущества. В свою очередь коммерсанты и банкиры, заключившие своего рода «джентльменское соглашение», приобрели внешние атрибуты аристократии. Процессы, повлиявшие на развитие Сити в XIX столетии, не только способствовали усилению определенного типа классовой власти; они стали причиной увековечения и, несомненно, упрочения «доиндустриального» коммерческого капитализма. Сити был физически обособлен от промышленно развитого Севера — яркий пример регионализации! — сохраняя экономическое и политическое отличие от центров промышленного капитализма. Речь шла о сверх централизованной системе, находящейся под контролем Английского банка, при этом банковская система ориентировалась в первую очередь на поддержание стабильности фунта стерлингов, исполнявшего роль «доверенной и высоконадежной» формы мировых денег [35]. В дальнейшем важным аспектом этого процесса стала финансово-бюджетная политика государства, направленная на обеспечение формального «веса» английской валюты, которого исключительно экономическая — по сути своей — деятельность Сити не могла гарантировать в одиночку.

В данном контексте оценка экономического и политического развития Англии, предложенная Ингхамом, интересна не столько степенью своей правомерности и обоснованности, сколько общей теоретической позицией, которую она выражает. Критикуя эндогенные модели, автор уклоняется от так называемого эволюционного детерминизма, свойственного многим теориям современных обществ. Под эволюционным детерминизмом мы понимаем такие представления о социальных изменениях, согласно которым в обществе определенного типа существует только «один путь

вперед», при этом каждое общество, относящееся к этому типу, должно в какой-то момент вступить на него. Так, можно предположить, что для «промышленного капитализма» свойственны некие родовые модели развития, повторяющиеся во всех обществах, которые можно охарактеризовать подобным образом. Если в каких-то обществах эти модели не обнаруживаются, это, должно быть, означает, что они (общества) отстают в своем развитии. Зачастую подобные представления приводят к специфическим вариантам функционализма. Если те или иные процессы развития являются «обязательным» условием существования общества (типа обществ), значит, они функционально необходимы для институционального порядка этого общества. Предполагаемые функциональные потребности «объясняют», почему общество «должно» идти по определенному пути развития. Еще раз подчеркнем тот факт, что в данном случае «долженствование» обосновано и оправдано лишь тогда, когда мы понимаем его в контрфактическом контексте. Так, можно утверждать, что в начале XX в. английский Сити «должен» был лишиться своей «устарелой» и ненужной, с точки зрения «потребностей» промышленного капитала, коммерческой роли. Подобные утверждения имеют — по меньшей мере, потенциальную — объяснительную силу, если осмысливаются контрфактически. Иными словами, мы можем задать вопрос: каковы были последствия того, что Сити сохранил свои позиции, для промышленного капитала? Однако если мы попытаемся объяснить произошедшее на основе «долженствования», то «споткнемся» о барьер, мешающий понять, почему все случилось именно так, а не иначе, что было со всей очевидностью продемонстрировано в работе Ингхама.

Кроме того, автор благополучно уходит и от другой тенденции, свойственной эндогенным моделям. Речи идет о допущении, согласно которому общество, где изучаемые социальные характеристики достигли наивысшей степени своего развития, идеально в плане исследования [36]. Так, Маркс и многие другие полагали, что Англия девятнадцатого столетия являла другим обществам образ их собственного будущего; как наиболее продвинутой в промышленном отношении страна она указывала направление развития, по которому должны были проследовать остальные. Совершен-

но очевидно, что в последние десятилетия XX в. подобную оценку дали бы Великобритании немногие... Привел ли уход Великобритании с передовых позиций экономики к исчезновению стиля мышления, представляющего эту точку зрения? Отнюдь нет. В наши дни социальная теория и практика отводит, — хотя и редко столь недвусмысленно, как в версии эволюционизма, предложенной Парсонсом — аналогичную роль Соединенным Штатам Америки как наиболее «развитому, с экономической точки зрения», обществу. Мы не отрицаем того факта, что в ряде случаев ранжирование обществ в соответствии с уровнем их развития по тому или иному критерию, является полезным. Разумными и необходимыми представляются и попытки определить родовые характеристики институционального порядка различных обществ. Однако «сравнительное исследование» должно выполнять возложенные на него задачи, очевидные из его названия. Иными словами, нам следует осознать, что «типичные» процессы развития могут быть оценены только путем прямого сравнения различных обществ, а не посредством предположений, согласно которым одно из них является моделью процессов эндогенного развития.

Ингхам полагает, что изначальное возвышение Сити явилось, по большей части, непреднамеренным последствием финансовых мер, вводимых из других соображений. То, что, по мнению Маркса и его последователей, было связано исключительно с ранними этапами становления капиталистической системы, — речь идет о коммерческом маклерстве и ростовщичестве, — стало устойчивой характеристикой и особенностью английского капитализма. В связи с тем что господствующее положение Сити было исподволь связано с его функциями посредника в международных сделках, аналогичный феномен едва ли мог возникнуть где-нибудь еще. Однако если статус, приобретенный деловым центром Лондона в начале XIX столетия, не был результатом преднамеренных усилий, то последующая политика, направленная на защиту и расширение его власти и могущества, наоборот. В начале XX в. экономика Великобритании столкнулась с растущей конкуренцией со стороны промышленно развитых и развивающихся стран. В этих условиях экономическое господство Сити было поставлено под угрозу, исходящую извне и изнутри. Исследование Ингхама показа-

ло, что, в общем и целом, меры, предпринимаемые представителями банков или министерством финансов (а иногда и сообща), были направлены на эффективную и успешную защиту привилегированной позиции учреждений, формирующих структуру Сити.

Проведенный анализ демонстрирует особую, непреодолимую щепетильность в отношении проблем «мирового времени». Современная модель Сити сформировалась в самом начале XIX в. и была обусловлена спецификой существовавшего положения дел. Устойчивость закрепившегося за Сити статуса центра коммерческой деятельности определялась положением Великобритании как передовой промышленной державы, а также участием страны в процессах глобальной экспансии капиталистических отношений. Те, кто осуществлял финансовые реформы начала XIX в., были уверены в том, что коммерсанты, сумевшие захватить власть над торговлей, осуществлявшейся ранее голландцами и французами, смогут укрепить экономическую мощь Англии на основе объединения политики свободной торговли и приверженности золотому стандарту. Так, президент торговой палаты, Huskisson, пользовался сравнением с Венецией предшествующих веков. Однако эффективность подобных воздействий определялась существованием особого классового альянса, описанного Ингхамом. Более того, условия изначальной консолидации власти Сити, пишет автор, существенно отличались от тех, что способствовали ее поддержанию в последующие периоды. На протяжении XIX столетия экономической основой роли Сити в мировой экономике являлись промышленные достижения Великобритании. Двадцатый век изменил ситуацию; пути развития «промышленного» и «коммерческого» секторов английской экономики разошлись. Тогда международное признание, которое Сити снискал на поприще мирового финансового посредника, позволило ему укрепить собственную власть. Но теперь изменившиеся внешние и внутренние условия привели к тому, что процветание Сити зависело, как это ни странно, от относительного спада английской промышленности.

Исследование Ингхама демонстрирует, что политические условия способствовали развитию, а впоследствии и поддержанию привилегированного положения Сити.

По-видимому, деловой центр Лондона некорректно рассматривать как «часть» государства, но и внешнее, и внутреннее экономическое могущество его в немалой степени зависит от политических факторов. Господствующее положение, занимаемое им в английской экономике, предопределялось тесными связями, существовавшими между «банократией» и высшими уровнями руководства. Вместе с тем, роль Сити формировалась под влиянием его центральной позиции в сфере посреднической деятельности мирового масштаба. Очевидно, что ни одна концепция, рассматривающая государство как единый феномен или некую разновидность коллективного актора, не сумеет справиться с материалами, проанализированными Ингхамом. Немалое влияние на судьбу Сити оказал ряд ключевых политических мер, к числу которых относятся, например, те, что предпринимались в 1930-х гг. и были связаны с золотым стандартом. Адекватное понимание их возможно лишь исходя из непостоянства лояльности и коалиций стратегически расположенных группировок индивидов, приводящих иногда к абсолютно непреднамеренным последствиям.

Абстрагируясь от конкретики, можно сказать, что выводы, полученные в ходе исследования современного государства, сходны с теми, что следуют из анализа традиционных государств. Мы пытались доказать, что тенденция изучать «государственные образования» с позиций квазиэволюционизма или на основе эндогенных понятий ведет к формированию неверных представлений о проблеме. Адекватная «теория» традиционных или современных государств не может походить на большинство теорий, господствующих в литературе наших дней. Уровень обобщений, которого можно было бы ожидать от этих теорий, гораздо ниже, чем предполагают их сторонники. Конечно, существование родовых понятий — таких как «аграрное» или «капиталистическое государство» — предполагает наличие ряда общепринятых институциональных характеристик, разделяемых ими, из чего можно заключить, что, по-видимому, существуют и некие общие динамические тенденции. Однако определить их — не значит объяснить последствия, к которым привели развитие или изменения. Представления о специфике вышеупомянутых динамических тенденций, которыми обла-

дают отдельные индивиды или группы (особенно наиболее влиятельные из них), могут стать частью этих самых тенденций и влиять на процесс их формирования. Факторы, имеющие первостепенное значение в определенном месте и в определенное время или при особом стечении обстоятельств, могут — в силу того влияния, которое они оказывали изначально, — оказаться несущественными в другой ситуации. Так, первоначальные условия, способствующие возвышению Сити над промышленностью, отличались от тех, что поддерживали его статус впоследствии.

Некоторые проблемы, связанные с сущностью теорий и обобщений, будут рассмотрены нами в следующих разделах. Однако, завершая эту часть нашего повествования, мы обратимся к вопросу, который, вероятно, мог возникнуть у читателя под влиянием эмпирических исследований, использованных нами для иллюстрации утверждений теории структуризации. Возможно, эти утверждения оказали определенное влияние на работу Ингхама, однако, остальные проанализированные исследования были написаны независимо от них. Зачем ломать голову над сложными для понимания концепциями, такими как «структуризация» и другие, если социальные исследования вполне обходятся без них? Представления, лежащие в основе теории структуризации, дают возможность — прибегнув к определенным способам — подвергнуть рассмотренные исследовательские работы фундаментальной критике и совершенствовать их. Если это справедливо в отношении того, что считается нами достойным примером научных изысканий, то применительно к исследованиям более низкого качества подобная критика будет, вероятно, куда более жесткой. Более того, упомянутые исследования были проникнуты серьезными и глубокими теоретическими размышлениями на тему изучаемых проблем. Особенно важно помнить это, когда речь заходит о работе Уиллиса. Возможно, кто-то посчитает ее не более, чем познавательным примером этнографического исследования. В действительности, работа Уиллиса основывается на солидном теоретическом анализе проблем социального воспроизводства, который, очевидно, является главным стимулом проведения исследования, а также предопределяет способ интерпретации полученных результатов. Поскольку теоретические изыскания Уиллиса развиваются в том же

направлении и сходны — по меньшей мере, отчасти — с нашими взглядами, его исследование является ценным источником, обращаясь к которому мы видим, как теория реализуется на практике.

Однако мы считаем своим долгом обратить внимание читателя на нечто, несоизмеримо более важное. Конечно, в условиях конкретного локализованного окружения исследователь, занимающийся практической работой, не обязан использовать набор абстрактных понятий, лишь приводящих в беспорядок то, что может быть свободно и экономно изложено средствами обыденного языка. Концепции теории структуризации, как, впрочем, и любой другой теоретической системы, должны восприниматься как некое активизирующее начало и ничего более. Иными словами, они могут быть полезны для обдумывания исследовательских проблем и интерпретации полученных результатов. Но считать, что теоретическая информированность — удел любого, работающего в социальных науках — тождественна постоянному оперированию беспорядочной массой абстрактных понятий, также ошибочно, как и полагать, что эти понятия не представляют никакого интереса, ибо без них можно обойтись.

Объединяя темы: теория структуризации и формы исследования

Предшествующие разделы были посвящены обсуждению различных типов социальных исследований, не поддающихся унификации. Исследовательская работа проводится с целью прояснения множества различных вопросов, определяемых сущностью проблем, которые намерен разрешить исследователь. Говоря о значении теории структуризации в эмпирических исследованиях, мы вовсе не имеем в виду какой-то единственный, обязательный для всех формат исследовательской работы. В какой-то мере желание подчеркнуть это заставило нас обратиться к исследованиям, выполненным главным образом вне сферы прямого воздействия разработанных нами концепций. Ранее мы говорили о том, что не собираемся анализировать значимость и пригодность теории структуризации для оценки конкретных разновидностей методов исследования — включенного на-

блюдения, опросов и т. п. Вместе с тем, на наш взгляд, стоит понять, какие задачи решает социальное исследование (вообще, безотносительно частных его форм), соотношенное с теорией структуризации, равно как и оценить результаты проведенного нами анализа исследовательских работ с точки зрения традиционной полемики между «качественными» и «количественными» методами в социальных науках.

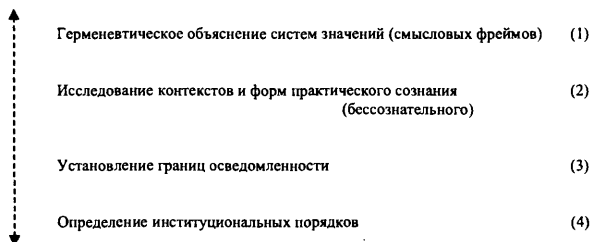


Рис. 25

Методологическое участие исследователя, его «проникновение» в то, что является объектом исследования, может осуществляться на любом из четырех обозначенных нами уровней. Любое социальное исследование предполагает наличие герменевтического момента, который, однако, может пребывать в скрытом состоянии в тех случаях, когда исследовательская работа опирается на общее знание, «не выводимое» на поверхность вследствие того, что исследователь и исследуемое обитают в общей культурной *среде*. Наиболее активные сторонники количественного подхода двояко преуменьшают значимость уровня (1), либо приписывая ему чисто описательные, нежели объяснительные функции, либо вовсе не признавая факта его участия в постановке проводимой ими исследовательской работы. Вместе с тем, исследования этого уровня могут и объяснять, и обобщать. Они призваны отвечать на вопросы «почему?», возникающие вследствие обоюдного непонимания отличных друг от друга систем значений. Подобные вопросы рождаются как внутри отдельно взятого общества — между различными контекстами, так и вне его — между обществами. Исследование, направленное на преимущественное изучение герменевтических проблем, может иметь значительную ценность в плане построения обобщений, ибо помогает пролить свет на характер осведомленности субъектов деятельности, а, следовательно, и понять основания их поступков в

широком диапазоне контекстов деятельности. Будучи взяты в отдельности, этнографические исследования, подобные исследованию Уиллиса или традиционным для полевой антропологии исследованиям небольших общин — не ставят своей целью формулировку неких общих законов, т. е. не являются обобщающими. Однако они становятся таковыми, когда их количество увеличивается настолько, что позволяет судить о степени их типичности.

Герменевтические аспекты социального исследования не всегда очевидны его субъектам, ибо их основной целью является прояснение обстановки деятельности, воспринимаемой в качестве «чуждой среды». Совсем не так обстоят дела, если речь заходит об исследовании практического сознания, то есть того, о чем субъекты деятельности имеют некоторые представления, но — что очевидно из определения — осознают это, лишь когда те получают дискурсивное выражение посредством метаязыка социальной науки. Только этнометодология пренебрегает анализом практического сознания, реализуя его в весьма ограниченной форме. Для остальных направлений научных исследований интерпретация практического сознания является необходимым элементом — неявно понимаемым или недвусмысленно утверждаемым в этом своем качестве — более широких свойств и характеристик социального поведения индивидов.

Мы последовательно подчеркивали тот факт, что установление границ осведомленности субъектов деятельности в условиях меняющихся контекстов пространства и времени является одной из основополагающих задач социальной науки. Однако изучение этого вопроса предполагает наличие достаточных познаний об уровнях (1), (2) и (4). Не обладая таковыми, мы рискуем возвратиться к наивным формам структурной социологии. Обсуждая работу Уиллиса, мы говорили о том, что исследование непреднамеренных последствий и неявных условий деятельности может и должно осуществляться без использования функционалистской терминологии. В большинстве случаев узнать, что стоит за понятиями «непреднамеренный» и «неявный», — задача не из легких, о каком бы контексте или пространстве контекстов деятельности ни шла речь. Невозможно успешно исследовать структуральные свойства социальных систем или интерпретировать полученные результаты, не ссылаясь на

осведомленность соответствующих субъектов деятельности — хотя многие сторонники структурной социологии убеждены, что именно это определяет сферу деятельности «социологического метода».

Уровень (4) — определение институциональных порядков — включает анализ условий социальной и системной интеграции посредством установления основных институциональных элементов социальных систем. Наиболее важными оказываются те институциональные формы, которые, исходя из обозначенных структуральных принципов, могут быть отнесены к разряду глобальных «обществ». Однако здесь мы вынуждены еще раз обратить внимание читателей на то, что в социальных науках «общество» может быть названо основной единицей анализа с большими оговорками. Зачастую институциональные системы выходят за пределы границ и барьеров, существующих между обществами.

Как правило, разногласия между «количественными» и «качественными» методами заключаются в отношении уровней (1) и (2), с одной стороны, и (3) и (4), с другой. Долгое время пристрастие к количественным методам считалось характерной особенностью приверженцев объективизма и структурной социологии. Согласно их взглядам, основной целью социальной науки является анализ условий социальной жизни, выходящих за пределы непосредственных контекстов взаимодействия, а наилучшими методами постижения «закаменевшей» сущности институциональных компонентов социальной жизни — классификация, измерение и статистические методы. Очевидно, что позиция, объявляющая основной задачей социальных наук обнаружение «законоподобных» обобщений, касающихся социального поведения, тесно связана с этой тенденцией. Именно здесь сильно, а зачастую и преднамеренно, проявляются разногласия, существующие между уровнями «макро» и «микро». Те, кто рассматривает количественные методы в качестве основы того, что делает социальную науку «наукой», склонны подчеркивать превосходство так называемого макросоциологического анализа. Те же, кто поддерживает качественные методы, считая их основой эмпирических исследований в социальных науках, придает особое значение уровням (1) и (2), указывая тем самым на неизбежно ситуативный и содержательный характер социального взаимо-

действия. Как правило, они открыто критикуют использование в социальных науках количественных методов, обосновывая это тем, что квантификация и применение статистики наделяют социальную жизнь такими качествами как устойчивость и стабильность, которыми она на самом деле не обладает. В конфликте между этими позициями нетрудно усмотреть методологический «осадок» дуализма структуры и действия; и демонстрация того факта, что дуализм этот ложен и иллюзорен, позволит нам сделать некоторые эмпирические выводы, следующие из дуальности структуры.

Для того чтобы понять, как это происходит, вернемся к тому же понятию в эмпирическом контексте, отличном от тех, что обсуждались до сих пор. Ниже приводится расшифровка стенограммы эпизода взаимодействия, происходящего в зале суда. Участвующие лица — судья, государственный защитник (ГЗ) и прокурор округа (ПО), решающие участь подсудимого, признанного виновным в ночной краже со взломом второй степени; обсуждается вопрос — какой приговор следует вынести подсудимому.

ГЗ: Ваша честь, мы требуем немедленного вынесения приговора и отказываемся от отчета об исполнении probation.

Судья: Каков его послушной список?

ГЗ: Он пил и сидел за кражи в крупных размерах (автомобили). Ничего серьезного. Речь идет об обычной магазинной краже. Он проник в «К-Март» с намерением украсть. Но, в действительности, все, с чем мы имеем дело — обычное мошенничество.

Судья: Что говорит обвинение?

ПО: Также ничего.

Судья: Есть ли возражения против немедленного назначения наказания?

ПО: Нет.

Судья: Как долго он пробыл в заключении?

ГЗ: Восемьдесят три дня.

Судья: Согласно статье 17 Уголовного кодекса, я объявляю Вас виновным в мисдиминоре* и при-

* *Мисдиминор* — категория наименее опасных преступлений, граничащих с административными правонарушениями. (Пер.)

говариваю к 90 дням заключения в окружной тюрьме с учетом времени пребывания под стражей [37].

Этот, да и любой другой, ситуативный эпизод взаимодействия может быть использован для демонстрации того, как незначительное, на первый взгляд, взаимодействие участвует в процессе воспроизводства социальных институтов. Значимость и целесообразность каждого оборота или этапа беседы, происходящей в зале суда, осознается ее участниками (и читателем) лишь посредством соотнесения с институциональными характеристиками системы уголовного судопроизводства. Именно на них ссылаются все выступающие, (справедливо) полагающие, что эти характеристики известны другим участникам взаимодействия. Отметим, что содержание общих знаний предполагает нечто большее, чем простое осознание тактики «должного образа действий» в определенных ситуациях, хотя подобное осознание и является элементом общих знаний. Каждый участник взаимодействия представляет, что такое «законодательство», нормативные судебные процедуры, знает, как ведут себя обвиняемые, адвокаты, судьи и т. п. Дабы «инициировать и успешно завершить» взаимодействие, участники используют свои познания относительно институционального порядка, в рамках которого они функционируют, так, чтобы взаимообмен стал «содержательным». Вместе с тем, активизируя институциональный порядок подобным образом — а у участников взаимодействия *нет другого способа* представить свои действия в понятном и вразумительном друг для друга виде — они вносят вклад в его воспроизводство. Более того, воспроизводя этот порядок, они одновременно возрождают его «фактичность» как источник структурных ограничений (воздействующих на них самих и на других участников взаимодействия). Участники взаимодействия рассматривают систему юстиции как «реально существующий, подлинный» порядок взаимоотношений, в рамках которого они позиционируют собственное взаимодействие, символизирующее этот порядок. Речь идет о «подлинном» (т. е. структурно устойчивом, стабильном) порядке отношений, ибо люди, присутствующие в зале суда, и другие, подобные им, оказавшиеся в аналогичных ситуациях, считают его тако-

вым — причем не обязательно в дискурсивном, но в практическом сознании как части того, что они делают.

Важно не путать это наблюдение со знаменитой теоремой У. И. Томаса (Thomas), согласно которой, если акторы «определяют ситуацию, как реальную, то она реальна по своим последствиям». Утверждение Томаса наводит на мысль о том, что существуют обстоятельства, которые в действительности не являются «реальными» (т. е. относятся к разряду вымышленных или воображаемых), но тем не менее приводят к реальным последствиям, поскольку люди верят в них. Мертон сделал это умозаключение отправной точкой своих рассуждений о самореализующемся пророчестве, когда та или иная ситуация возникает вследствие самого факта ее возведения. Мы не сомневаемся в значимости самореализующегося пророчества и ряда других феноменов, связанных с ним. Однако оно не является прообразом «фактичности» структуральных свойств, заключенной в дуальности структуры. Этот момент гораздо более тонок и основателен, ибо соединяет саму возможность взаимной понятности и слаженности ситуативного взаимодействия с «фактичностью» на широком институциональном уровне.

Обратим внимание на то, насколько тесно «фактичность» институционального порядка связана с властью, которую он олицетворяет и которой содействует в элементах взаимодействия. Ибо «признание подлинности», встроенное во взаимно понятную целостность и непрерывность взаимодействия является основанием законодательства как выражения форм господства. Очевидно, что «признание подлинности», воплощенное в конкретных образах действий, не тождественно дискурсивно одобренной легитимации системы, хотя, несомненно, оно никоим образом не препятствует ей. Как система властных отношений, «признание подлинности» имеет куда более далеко идущие последствия, чем реальная дифференциальная власть, которую участвующие субъекты деятельности могут использовать в процессе взаимодействия, дабы их взгляды были приняты во внимание. Вместе с тем очевидно, что последовательность беседы не подчиняется «демократичным» правилам, свойственным общению на равных, и открыто отражает различия власти и возможностей. Так, судья имеет право внезапно прерывать других говорящих, задавать оп-

ределенные вопросы и управлять ходом беседы, чего не могут — по крайней мере, в том же объеме — сделать другие участники процесса. Тот факт, что в разговоре, происходящем между судьей и другими участниками судебного процесса, не реализуются традиции очередности, становится понятным благодаря общему признанию, что судья обладает определенной институционализированной социальной идентичностью, наделяющей его особыми правами и санкциями.

Дабы прояснить все вышесказанное, попробуем отойти от конкретного примера. Любое социальное взаимодействие (независимо от степени его распространенности с помощью средств информации, таких как письма, телефонные звонки и т. п.) осуществляется в рамках пространственно-временных границ соприсутствия. Ситуативный характер взаимодействий — и это детально обсуждалось нами в гл. 1 и 2 — напрямую связан с индексикальным характером «завершения» обоюдно понятной коммуникации. Но ситуативность взаимодействия не является препятствием на пути институциональной «стабильности» и устойчивости, демонстрируемой институциональными порядками во времени и в пространстве. Она есть их условие, аналогично тому, как существования этих институциональных порядков есть условие возникновение недолговечных форм социальных взаимодействий. Рефлексивный мониторинг социального поведения имманентен «фактичности», обнаруживаемой структуральными свойствами социальных систем, а не является чем-то несущественным или дополнительным по отношению к ней. Т. Уилсон (Wilson) пишет об этом следующим образом (вряд ли можно найти лучшую оценку значимости понятия дуальности структуры):

...социальный мир создается ситуативными действиями, осуществляемыми в конкретных ситуациях, доступных для осознания, понимания, описания и использования участниками в качестве обоснованных причин дальнейших умозаключений и действий в тех же, равно как и в последующих обстоятельствах. Ситуативные действия осуществляются посредством контекстно-свободных, контекстно-зависимых механизмов социального взаимодействия, а социальная структура используется членами общества для приведения

своих действий в конкретных ситуациях к понятной и логически последовательной форме. В этом процессе социальная структура выступает как важнейший ресурс и результат ситуативного действия и воспроизводится как объективная реальность, отчасти ограничивающая деятельность. Посредством этих рефлексивных отношений между социальной структурой и ситуативным действием прозрачность действий (взаимная понятность поведения) достигается использованием контекстной зависимости значений [38].

Если это так, то представление о том, что между качественными и количественными методами существует некая четкая граница или неотвратимое противоречие, утрачивает всякий смысл. Как правило, количественные методы требуются в тех случаях, когда мы сталкиваемся с необходимостью исследовать большое количество «случаев» явления в отношении ограниченного множества обозначенных характеристик. Однако и сбор, и интерпретация количественного материала зависит от процедур, методологически идентичных сбору информации более глубокого, «качественного» характера. Вот почему исследование Гамбетты может использоваться для обращения к некоторым из проблем, которые изучал Уиллис. Результаты, полученные в первом случае, затрагивают большое количество индивидов, материалы Уиллиса — нет. Гамбетта использовал совокупность изощренных исследовательских методов, в то время как исследование Уиллиса строилось на основе этнографических отчетов. Однако и первое, и второе предполагали понимание ситуативной деятельности и значений, без которых формальные категории теоретического метаязыка, используемого исследователем, не имели бы ни смысла, ни практической значимости. Будучи внимательно изучены, все так называемые «количественные» данные оказываются состоящими из «качественных» — т. е. контекстуально систематизированных и индексикальных — интерпретаций, порожденных поставленными в определенные условия исследователями, программистами, государственными чиновниками. Герменевтические проблемы, поднимаемые в этнографических исследованиях, существуют и в количественном анализе, хотя здесь они могут носить более «скрытый» характер, что определяется степенью «воздействия» на данные. По-

пытки создать шкальные меры, устранить ошибки отбора, выработать непротиворечивые выборочные методики и т. п. действуют в пределах этих ограничений. Они никоим образом не компрометируют логическое использование количественных методов, хотя, несомненно, ведут нас к оценке характера получаемых таким образом данных, совершенно отличной от той, что пропагандируют сторонники структурной социологии.

Таким образом, уровни (1) и (2) столь же существенны для понятия уровней (3) и (4), как и наоборот, а количественные и качественные методы должны рассматриваться как дополняющие друг друга, а не противоборствующие аспекты социального исследования. Одно необходимо другому, если мы стремимся «изобразить» реальный характер дуальности структуры с точки зрения форм институционального сочленения, посредством которого контексты взаимодействия координируются в рамках более крупных социальных систем. Один момент, который, на наш взгляд, следует подчеркнуть особо, состоит в том, что исследователи должны быть внимательны в отношении методов представления количественных данных. Ибо, в отличие от движения ртути внутри термометра, социальные данные никогда не являются лишь «показателем» независимо заданного явления, но всегда иллюстрируют, что есть суть процессов социальной жизни.

Общее знание против здравого смысла

Само собой разумеется, что эмпирическое исследование не имеет смысла и логического обоснования в том случае, если так или иначе не порождает новое, не доступное до сих пор знание. Поскольку все социальные акторы существуют в ситуативных контекстах, включенных в более крупные диапазоны пространства-времени, то, что ново для одних акторов, неизвестно другим — включая ученых-обществоведов. Этнографическое исследование приобретает особую значимость именно в этих «информационных разрывах». В широком смысле слова подобные исследования относятся к разряду объясняющих, поскольку используются во имя прояснения вопросов, возникающих тогда, когда индивиды, существующие в одной культурной среде, стал-

квиваются с теми, кто живет в другой, отличной в некоторых отношениях от первой. Вопрос «Почему они поступают (думают) именно так, а не иначе?» является стимулом проникнуть в культурно чуждую *среду* и прояснить ее. Для тех, кто уже находится внутри этой среды, — и об этом писали Винч и другие, — такого рода инициатива может быть не поучительна в основе своей. Однако многие социальные исследования — с точки зрения эмпирических материалов, которые они дают, и теоретических интерпретаций, связанных с ними, — критикуют представления, разделяемые субъектами деятельности. Дабы исследовать содержание этой критики, мы должны ответить на вопрос, в каком смысле социальные науки обнаруживают новое знание и как последнее может сочетаться с критикой ложных представлений и убеждений. Проблемы эти весьма сложны, и мы рассмотрим здесь лишь некоторые из их аспектов.

Критические устремления социальных, как и естественных, наук связаны с логической и эмпирической адекватностью заявленных в отчете результатов и связанных с ними теорий. Как совершенно справедливо подчеркивали Шюц и др., в этом отношении критический характер социальной науки, как правило, резко расходится с убеждениями и используемыми теориями, являющимися частью поведения в повседневной социальной жизни. Можно сказать, что все социальные акторы являются теоретиками-обществоведами, изменяющими свои взгляды в свете собственного опыта, будучи восприимчивы к входящей информации, которой они овладевают, поступая таким образом. Социальная теория не есть особая, замкнутая область академических мыслителей. Однако непрофессиональных акторов интересует, как правило, практическая польза «знаний», применяемых ими в процессе повседневной деятельности, и могут существовать фундаментальные свойства институциональной организации общества (включая идеологию, но не только), которые ограничивают или искажают то, что они считают знанием.

Совершенно очевидно, что «разоблачительная модель» естественных наук не может быть прямо перенесена в науки общественные. Основанные на здравом смысле убеждения относительно естественного мира поддаются корректировке в свете открытий естественных наук. Нетрудно понять,

что происходит в этих обстоятельствах, несмотря на то что могут существовать социальные барьеры, препятствующие восприятию научных идей [39]. Иными словами, непрофессиональные верования открыты для корректировки — в той мере, в которой это необходимо, — путем представления новых научных теорий и результатов. В принципе естественно-научные дисциплины способны доказать, что некоторые разделяемые людьми убеждения относительно материального мира ложны, в то время как другие имеют право на существование. Сложнее, и нам стоит смириться с этим, обстоят дела в общественных науках. Как мы уже говорили, «открытия», сделанные в этой области, не обязательно новы для тех, кого они касаются.

Проблемы, возникающие здесь, весьма неопределенны, что является результатом метаний между объективистскими и интерпретативными трактовками социальной науки. Первая склонна к свободному и неограниченному использованию разоблачительной модели. Иными словами, согласно ей, убеждения относительно социальной жизни, базирующиеся на здравом смысле, легко корректируются на основе открытий социальных наук. Однако те, кто находится под влиянием герменевтики и философии обыденного языка, выдвигают веские возражения против столь наивной точки зрения. Убеждения, основанные на здравом смысле, являющиеся частью повседневного словоупотребления и деятельности, не могут рассматриваться исключительно как препятствие на пути обоснованной или соответствующей действительности характеристики социальной жизни. Ибо мы не можем описать социальную деятельность, не зная, что известно участвующим в ней акторам, что они знают — неявно или дискурсивно. Эмпиризм и объективизм просто подавляют всю проблему порождения социальных описаний посредством общего знания, которым социологические наблюдатели и неискушенные члены общества владеют сообща [40]. Проблема состоит в том, что, придя к подобному заключению, сторонники интерпретативных (объяснительных) форм социальной науки считают сложным или даже невозможным поддерживать ту критическую остроту, на которой при сопоставлении социальной науки и здравого смысла справедливо настаивала противоположная традиция. В таком случае, как нам кажется, задачи социальных

наук жестко ограничиваются этнографией — герменевтическими попытками «слияния горизонтов» [41]. С точки зрения логики, полное бессилие критической воли столь же неудовлетворительно, как и наивное использование разоблачительной модели.

Выход из этого тупика может быть найден посредством дифференциации общего знания и «здорового смысла» [42]. Первое указывает на необходимость признания социальным аналитиком аутентичности убеждения или герменевтического *доступа* к описанию социальной жизни. В данном случае «необходимость» имеет под собой логическую основу. Причина, по которой при обсуждении того, как акторы находят собственный путь в контекстах социальной жизни, имеет смысл говорить о «знании», нежели о «вере или убеждениях», заключается в том, что поколение описаний нуждается в упоминании скептицизма [43]. Убеждения — подразумеваемые и дискурсивные — должны восприниматься как «знание», в тех случаях, когда наблюдатель действует на методологическом уровне описания деятельности. Общее знание как необходимое условие доступа к «предмету», изучаемому социальными науками, не поддается исправлению в свете открытий последних; напротив, речь идет о возможности этих «открытий» как таковых.

Поскольку в большинстве своем общее знание подразумевается, но не выражается словами — то есть существует и функционирует на уровне практического сознания — трудно заметить, что признание аутентичности (достоверности) убеждений является неотъемлемым элементом этнографической работы в социальных науках. Нападки приверженцев феноменологии и этнометодологии на более традиционные и общепринятые концепции социальной науки, несомненно, имеют решающее значение в плане объяснения сущности общего знания. Но, рассуждая о «здоровом смысле» или равнозначных понятиях весьма расплывчато и неопределенно, они не проводят аналитических границ между методологической проблемой и критикой. Отделяя общее знание от здорового смысла, мы стремимся сохранить последнее понятие для обозначения пропозициональных убеждений, используемых в процессе повседневной деятельности. Предлагаемое различие является по существу аналитическим; иными словами, здравый смысл есть общее знание,

рассматриваемое не как таковое, но как ненадежное убеждение. Однако не все общее знание может быть выражено в виде пропозициональных убеждений — убеждений, что дела обстоят так или иначе. Более того, не все убеждения такого рода могут быть дискурсивно сформулированы теми, кто их разделяет.

Различая общее знание и здравый смысл, мы не утверждаем, что в контексте реального социального анализа они представляют собой легко отделимые аспекты или этапы исследования. С одной стороны, описательный язык, используемый экспертами-социологами, всегда в той или иной степени отличается от того, к которому прибегают непрофессионалы. Представление социально-научной терминологии может (хотя и не обязательно) поставить под сомнение дискурсивно сформулированные убеждения (или, если они объединены в некую совокупность, «используемые на практике теории»), поддерживаемые акторами. В тех случаях, когда оспариваемые описания уже применяются изучаемыми субъектами деятельности, любая версия, предлагаемая экспертами — даже та, в которой используются категории самих акторов, — критична в отношении других наличных терминологий, которые могли бы быть в употреблении. То, что с одной точки зрения является «освободительным движением», с другой может считаться «террористической организацией». Конечно, предпочтение одного термина в ущерб другому подразумевает определенную установку или позицию наблюдателя. Гораздо менее очевидно это в отношении выбора «нейтральных» терминов; их использование, однако, также указывает на критическое расстояние, на котором обозреватель держится от концепций, применяемых непосредственно участвующими в процессе акторами.

В любой исследовательской ситуации присутствуют разделяемые участниками убеждения, действующие на взгляды наблюдателя столь раздражающе, что он старается держаться от них на некотором расстоянии, даже если речь идет о чисто этнографических проектах. Антрополог может не испытывать ни малейших сомнений, утверждая, что «Х выращивают урожай, сажая каждую осень зерна», поскольку и он (она), и члены культуры Х обоюдно знают, что высаживание семян в определенное время года приводит к появлению урожая.

Однако тот же антрополог замечает: «Х верят в то, что их ритуальные танцы принесут дождь», и это свидетельствует о разрыве, существующем между представлениями антрополога и взглядами культуры Х на то, что является условиями, вызывающими ливень [44].

Примеры, упоминаемые нами в предыдущем параграфе, говорят о том, что даже чисто этнографическое социальное исследование — то есть исследование, преследующее узкие цели описательного репортажа, — склонно к моментам критики. Хотя логическое различие между общим знанием и здравым смыслом и не заключается лишь в этом, исследование такого типа имеет значение с точки зрения определения составных элементов моментов критики, развиваемой в других типах исследований.

Отметим, что дальнейшая дискуссия носит ограниченный характер. Логический анализ процесса накопления общего знания, равно как и составляющих критики основанных на здравом смысле убеждений, поднимает вопросы эпистемологии, не поддающиеся обстоятельному обсуждению в рамках настоящего издания. Положения, развиваемые нами ниже, есть не что иное как общие контуры, определенный концептуальный взгляд, не уточненный в своих деталях. Мы заявляем, что есть два момента, в которых социальная наука уместна с точки зрения критики ненаучных убеждений, толкуемых как здравый смысл (сюда включается и критика идеологии, не имеющая, однако, никакого приоритета). Критическая деятельность ученых-обществоведов как ядро того, чем они занимаются, имеет прямые последствия для убеждений, поддерживаемых субъектами деятельности, ибо может доказать, что эти убеждения логически непоследовательны или неадекватно обоснованы. Но такие последствия приобретают особую значимость тогда, когда эти убеждения определяют причины, по которым акторы ведут себя так, а не иначе. Лишь некоторые из убеждений, разделяемых акторами, становятся частью тех оснований, исходя из которых они формируют собственное поведение. Подвергая эти убеждения критике в свете заявлений или открытий социальной науки, обществоведы стремятся доказать, что такого рода основания неверны.

Как правило, определение мотивов и соображений субъектов деятельности тесно взаимосвязано с герменевти-

ческими проблемами, возникающими как результат образования общего знания. При условии, что это так, мы должны различать «критерии обоснованности (валидности)» и «критерии правдоподобия», существенные для оценки «качества» соображений. Критерии правдоподобия есть критерии, герменевтические по своему характеру, используемые для указания на то, в какой мере понимание мотивов, которыми руководствуются субъекты деятельности, объясняет, что именно они делают в свете этих мотивов. Под критериями обоснованности имеются в виду критерии основанной на фактах очевидности и теоретического понимания, используемые обществоведами для оценки «качества» обоснований. Обратимся к часто обсуждаемому в антропологической литературе примеру красных ара. Бороро — племя, живущее в Центральной Бразилии, заявляют: «Мы — красные ара». В числе прочих, над этим утверждением размышляли К. фон ден Штайнен (Von den Steinen), Дюркгейм и М. Мосс (Mauss), многие считали его либо абсурдным, либо недоступным для понимания. Однако недавно этот вопрос был поднят антропологом, имевшим возможность повторно исследовать проблему, находясь среди Бороро [45]. Он обнаружил, что подобные заявления делают только мужчины; что женщины Бороро, как правило, имеют красных ара в качестве домашних животных; что в некоторых отношениях мужчины племени напрямую зависят от женщин; и что контакт с духами осуществляется мужчинами и красными ара независимо от женщин. По-видимому, мы можем сделать вывод, что утверждение «Мы — красные ара» есть заявление, посредством которого мужчины иронически комментируют собственную зависимость от женщин и одновременно утверждают свое духовное превосходство над ними. Исследование причины, по которой делается подобное заявление, помогает прояснить его сущность. Анализ критериев правдоподобия — по крайней мере, в отношении дискурсивно сформулированных утверждений — зависит, как правило, от прояснения следующих вопросов: кто и в каких обстоятельствах высказывает утверждения, каковы их дискурсивный стиль (дословное описание, метафора, ирония, т. п.) и цели.

Оценка критериев валидности руководствуется исключительно сопряжением «внутренней» и «внешней критики»,

порождаемой общественными науками. Иными словами, критерии валидности есть критерии внутренней критики, которые, с нашей точки зрения, во многом определяют сущность общественных наук. Основная роль последних в плане критики здравого смысла заключается в оценке качества соображений, определяемого исходя из знаний, либо просто недоступных непрофессиональным субъектам деятельности, либо истолковываемых ими иным образом, нежели это принято в метаязыках социальной теории. У нас нет оснований сомневаться в том, что в этом отношении нормы и образцы внутренней социально-научной критики прямо соответствуют стандартам критики внешней. Это утверждение достаточно прочно, и именно здесь предполагается особая концептуальная позиция. Считается, и мы разделяем эту точку зрения, возможным продемонстрировать, что некоторые заявления, основанные на вере, ложны, в то время как другие истинны, хотя то, что в данном конкретном случае понимается под термином «продемонстрировать», следует изучать так же тщательно, как и то, что мы имеем в виду под «ложным» и «истинным». Предполагается, в том числе и нами, что внутренняя критика — критический анализ, которому ученые-обществоведы подвергают свои идеи и заявленные открытия, — неотъемлемо присуща социальной науке как коллективному предприятию. Рискую навлечь гнев со стороны умудренных философов, мы просто утверждаем, что это так. Однако в другом контексте эту точку зрения необходимо будет отстаивать.

На наш взгляд, можно доказать, что между демонстрацией ошибочности социальных убеждений и практическими последствиями трансформации деятельности, связанной с этими убеждениями, существует неслучайное отношение [46]. Критика убеждений логически подразумевает осуждение любой деятельности или установленного порядка, осуществляемых на основе этих убеждений, и обладает непреодолимой мотивационной силой, ибо является причиной действия. Там, где рассматриваемое убеждение характеризует элемент или аспект поведения в отношении к естественному миру, демонстрация его ошибочности (*при прочих равных условиях*) мотивирует субъекта деятельности изменить свое поведение соответствующим образом. Если этого не происходит, можно предположить, что в со-

знании субъекта деятельности доминируют другие рассуждения, что последствия ошибочности убеждений понимаются неверно, или что на самом деле актер не признает, что его убеждения действительно ошибочны. В отличие от тех убеждений, которые относятся к природе, убеждения социальные есть образующие элементы того, о чем они повествуют. Из этого следует, что (*при прочих равных условиях*) критика ошибочных убеждений есть *практическое вмешательство* в общество, политическое явление в широком смысле этого слова.

Как наше обсуждение утверждений соотносится с заявлением, что все компетентные акторы не только знают (с помощью тех или иных описаний), что делают, но также должны делать это, дабы социальная жизнь была такой, какая она есть? На этот вопрос лучше всего ответить, обратившись к конкретному примеру. Рассмотрим голосование в ситуации «один человек, один голос». Подобная практика определенно предполагает, что все потенциальные избиратели знают, что представляет собой «голосование», что им дозволено голосовать только один раз, что они могут голосовать только под своим именем и т. п. Только в том случае, если участники осознают все вышесказанное и ведут себя соответственно, мы можем говорить о существовании системы «один человек — один голос». Здесь возникает герменевтическая проблема, насколько правомерно говорить о существовании этого феномена, если о соответствующих понятиях и правилах знает лишь определенная часть людей. Считать, что для того, чтобы система голосования работала, акторы «должны» иметь представление о том, что они делают, значит, точно устанавливать обоснованное описание деятельности. Однако нет никаких сомнений в том, что *некоторые* избиратели могут не знать, что представляет собой голосование, или не знать всех его процедур, а также не осознавать, что их действия могут повлиять на результаты голосования. Обобщая, отметим, что индивиды могут ошибаться в том, что составляет суть любых аспектов любых социальных традиций. Но никто не может постоянно заблуждаться относительно того, что он (она) делает — в противном случае этот индивид будет считаться некомпетентным другими акторами; не существует ни одного аспекта договоренностей, в отношении которого большинство

субъектов деятельности могут постоянно ошибаться. Конечно, нам следует рассмотреть и другие возможности. Субъекты деятельности, функционирующие в определенных секторах общества, могут не понимать, что происходит в других; акторы могут полагать, что результаты их действий отличны от того, каковы они есть в действительности; а новое описание контекстов деятельности при помощи понятий социальной науки может представлять происходящее способами, отличными от тех, с которыми знаком субъект деятельности.

Повторим еще раз: можно допустить, что новое знание в общественных науках, как правило, оказывает немедленное преобразующее влияние на существующий социальный мир. Но что скрывается под словосочетанием «*при прочих равных условиях*»? Каковы условия, при которых это будет не так?

- (1) Очевидно там, где описываемые или анализируемые обстоятельства имеют отношение к прошлым событиям и связаны с социальными условиями, более не существующими. Если бы кому-то пришло в голову, что здесь возможно четкое разделение между историей и социальной наукой, то следовало бы указать на то, что даже чисто этнографические исследования вышедших «из употребления» культур могут рассматриваться как анализ, проясняющий текущие обстоятельства, — зачастую посредством тех самых различий, которые он обнаруживает. Мы не можем утверждать, что представления о более не существующих ситуациях неуместны с точки зрения других контекстов, в которых они (представления) могут использоваться в преобразованном виде. Отличным примером является в данном случае влияние «цезаризма» на французскую политику XIX в., раскритикованную Марксом.
- (2) Там, где рассматриваемое поведение зависит от мотивов и оснований, не изменяемых вследствие появления новой информации. Существующие здесь взаимоотношения могут быть гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. То, что представляется двумя совокупностями независимых явлений (например, формулировка обобщения и действия, имеющие отношение к этому обобщению), в действительности может быть

тесно взаимосвязано. Может показаться, что большинство наиболее известных «законов» или общих правил неоклассической экономики являются утверждениями, знание которых не изменяет обстоятельства, к которым они относятся. Иными словами, они зависят от моделей мотивации и рассуждений неискушенных субъектов деятельности, изменение которых маловероятно независимо от степени известности этих обобщений. Однако развитие экономики сыграло существенную роль в деле формирования самих обстоятельств, в условиях которых рассматриваемые обобщения сохраняют свою силу, способствуя исчисляемому подходу к развитию капитализма и т. п., — явление, обсуждаемое нами ниже.

- (3) Там, где новое знание или информация используются для поддержания существующих условий. Конечно, это может случиться даже тогда, когда теории или открытия способны, будучи использованы соответствующим образом, корректировать то, что сами описывают. Например, тот факт, что сильные мира сего пользуются возможностями эксклюзивного обладания социально-научной информацией, может привести к тому, что судьба последней будет совершенно иной, чем если бы она получила более широкое распространение.
- (4) Там, где попытки применить новое знание, не имеют успеха. Зачастую проблема заключается в доступе к ресурсам, необходимым для изменения существующего положения дел. Но следует указать и на то, что, как правило, возможность дискурсивной артикуляции интересов распределена в обществе асимметрично. Обычно представители нижних эшелонов общества сталкиваются с различными ограничениями, мешающими им дискурсивно формулировать собственные интересы, особенно интересы долгосрочного характера. Возможности этих людей переступить через ситуативный — во времени и в пространстве — характер собственной деятельности гораздо менее значимы, чем возможности представителей верхних слоев общества. Возможно, это предопределяется плохим образованием, более ограниченным характером типичной для «низов» среды деятельности (с точки зрения Гоулднера, они более склон-

ны быть «локальщиками», нежели космополитами), или тем, что индивиды, занимающие более высокие социальные позиции, обладают более широким диапазоном ценной информации. Кроме того, те, кто находится в нижних эшелонах общества, как правило, не обладают доступом к логически последовательному и концептуально развитому дискурсу, на основе которого они могут соотнести собственные интересы с условиями их реализации.

- (5) Там, где то, что объявляется знанием, оказывается отчасти ошибочным. Несомненно, что между валидностью идей или результатов социально-научных исследований и их признанием непрофессиональными акторами не существует обязательной и неотвратимой связи. Из этого вытекают различные возможности, включая те, посредством которых изначально ложные идеи могут стать истинными вследствие их распространения (самореализующееся пророчество). Из этого отнюдь не следует, что усвоение непродуктивных открытий будет нелогичным в отношении поведения, на описание которого они претендуют.
- (6) Там, где новое знание банально или неинтересно акторам, к которым оно относится. Эта ситуация гораздо важнее, чем может показаться на первый взгляд, что определяется различиями, существующими между представлениями непрофессиональных акторов и теми, что свойственны социальным наблюдателям. Шюц говорит об этом так: то, что существенно для ученых-обществоведов, не обязательно является таковым для акторов, чье поведение они пытаются объяснить.
- (7) Там, где *форма* порождаемых знаний или информации препятствует их актуализации или скрывает определенные способы, которыми они могут быть реализованы. Безусловно, наиболее важной является проблема реификации. Но возможные возникающие отсюда последствия снова чрезвычайно сложны. Влияние материализованного дискурса, порождаемого общественными науками, различается там, где дискурс непрофессиональных акторов также материализован, и там, где это не так.

Обобщения в социальной науке

Не взирая на тот факт, что повседневное поведение носит преднамеренный характер и отличается целенаправленностью, во многих отношениях социальная жизнь не является заранее обдуманым результатом действий образующих ее акторов. Мы неоднократно обращали внимание читателей на тот факт, что некоторые из наиболее характерных для социальных наук задач реализуются в процессе исследования непреднамеренных последствий деятельности. Именно здесь кроется основной интерес обществоведов, склонных к объективизму и структурной социологии. Те, кто заявляет, что объяснительные цели социальных наук связаны с открытием законов, перестают делать это, когда сталкиваются с более или менее запланированными последствиями. Так, к примеру, водители постоянно останавливаются, когда на светофоре загорается красный свет, и вновь начинают движение, когда включается зеленый. Однако никто не считает, что остановка по сигналу светофора представляет собой закон социального поведения. Речь идет о законах юридического характера. Водители знают, для чего нужен красный свет, какой, в соответствии с правилами дорожного движения, должна быть их реакция, и когда они останавливаются на красный или трогаются на зеленый, они знают, что делают, и делают это намеренно. Тот факт, что эти примеры не рассматриваются в качестве законов, хотя поведение, описанное в них, и носит систематический характер, указывает на то, что в социальной науке проблема законов тесно взаимосвязана с непреднамеренными последствиями, непознанными условиями и ограничениями.

В большинстве случаев приверженцы структурной социологии понимают под «законами» универсальные законы, аналогичные тем, что, как предполагается, существуют в естественных науках. В наши дни мы сталкиваемся с активной полемикой по вопросу, действительно ли естественные науки обладают подобными законами; кроме того, встает и другая проблема — если они есть, то каков их логический статус? Давайте предположим, однако, что они существуют, и будем придерживаться стандартной интерпретации их логической формы. Согласно универсальным законам, обнаружение некоей совокупности определенным образом

заданных условий ведет к обнаружению другой совокупности условий там, где первая совокупность служит причиной второй. Конечно, не все каузальные (причинно-следственные) утверждения являются законами, и не все причинные связи могут быть отнесены к каким-либо (известным) законам. Точно так же не все утверждения универсального характера являются законами. К. Хемпел (Hempel) приводит следующий пример: «Все тела, состоящие из чистого золота, обладают массой менее 100 000 кг». Нам неизвестны случаи, когда бы это было не так, но если бы не был найден некий причинно-следственный механизм, объясняющий почему дела обстоят так, а не иначе, возможно, это утверждение не рассматривалось бы в качестве закона [47]. Существуют ли универсальные законы в общественных науках? Если нет, то почему многие из тех, кто причисляет себя к структурным социологам, как правило, пытаются прибегнуть именно к этой объяснительной схеме? Отвечая на первый вопрос, мы скажем «нет». В естественных науках, или, по меньшей мере, в некоторых из основных естественнонаучных дисциплин, существует множество законов, которые могут быть отнесены к разряду универсальных. В общественных науках — куда мы относим в данном случае экономику и социологию — нет ни одной кандидатуры, которая могла бы послужить бесспорным примером подобных законов в области социального поведения индивидов. Мы уже писали [48] о том, что общественные науки не отстают от наук естественных. А посему представление о том, что дальнейшие научные разработки приведут в конечном счете к обнаружению универсальных законов, в лучшем случае неправдоподобно.

Если в общественных науках таких законов нет и никогда не будет, почему многие убеждены, что они (науки) должны заниматься поиском химеры? В значительной мере благодаря тому влиянию, которое оказывают на общественные науки эмпирические философские доктрины естественных наук. Однако есть и еще кое-что. Существует предположение о том, что единственной стоящей информацией о социальных акторах или институтах, получение которой должно представлять интерес для общественных наук, является знание, которым эти акторы не располагают. Отсюда возникает тенденция сводить к минимуму компетентность и

осведомленность, приписываемые актерам, что расширяет сферу деятельности причинно-следственных механизмов, действующих независимо от причин и соображений, исходя из которых индивиды поступают так или иначе. Если — и мы в деталях обсуждали этот момент в нашей книге — подобная точка зрения не жизнеспособна, нам следует еще раз обратиться к сущности социально-научных законов. Отсутствие в общественных науках известных универсальных законов не является случайностью. Если истинно — а мы считаем, что это так — предположение, согласно которому в условиях «смещения» преднамеренных и непреднамеренных последствий действий причинно-следственные механизмы, лежащие в основе социально-научных обобщений, зависят от соображений и мотивов акторов, нетрудно понять, почему эти обобщения не отличаются универсальностью. Ибо на обстоятельства, в которых эти обобщения сохраняют свою актуальность, влияют сущность осведомленности субъектов деятельности, степень «ситуативности» их познаний, а также обоснованность пропозиционального содержания последних.

Рискуя еще раз огорчить наиболее философски настроенных читателей, мы предлагаем считать, что основания есть причины, признавая, что речь, несомненно, идет о неюмовской оценке причинности. Используя введенную нами терминологию, можно сказать, что непрерывное возобновление повседневной деятельности причинно подразумевает рационализацию деятельности, осуществляемую неизменным и устойчивым образом [49]. Иными словами, рационализация действия есть основной элемент причинно-следственных возможностей индивида как субъекта деятельности. Это так, поскольку делать что-либо из неких соображений, значит понимать «что требуется» в конкретных условиях таким образом, дабы продумывать и приводить в порядок все, что в них происходит. Иметь причины сделать что-либо, не равносильно тому, чтобы делать что-то, исходя из неких соображений; существующее здесь различие проясняет причинное влияние рационализации деятельности. Основания есть причины действий, которые индивид «осуществляет» в своем качестве субъекта деятельности. Однако мы неоднократно говорили о том, что рефлексивный мониторинг действия носит ограниченный ха-

рактически, а потому существуют причинные факторы, воздействующие на деятельность вне контекста ее рационализации. Из наших предшествующих рассуждений следует, что подобные влияния могут быть двух типов: произвольные или подсознательные влияния и влияния, затрагивающие обстоятельства действий, в рамках которых индивиды реализуют собственное поведение.

Нет сомнений, что для целей социального анализа гораздо более важны последние, но поскольку понятие «обстоятельства действия» весьма неопределенно, его следует «расшифровать» хотя бы отчасти. Любые действия происходят в контекстах, состоящих для любого отдельно взятого индивида (актора) из множества элементов, которые он не порождает и практически не контролирует. К такого рода побуждающим и ограничивающим (вынуждающим) характеристикам контекстов деятельности относятся как материальные, так и социальные явления. Что касается социальных явлений, то здесь необходимо подчеркнуть следующее: то, что для одних индивидов является регулируемым (контролируемым) аспектом социального окружения, для других может быть чем-то, что скорее «случается», нежели «целенаправленно осуществляется». Отсюда вытекает множество наиболее сложных для понимания особенностей социального анализа.

Далее, можно предположить, что в социальных науках все абстрактные обобщения явно или неявно относятся к разряду причинно-следственных утверждений. Однако на всем протяжении нашей работы мы неоднократно подчеркивали значимость типа причинно-следственных связей и отношений. Иными словами, ситуации, участники которых «способствуют появлению» надлежащих результатов, существенно отличаются от тех, где события «развиваются» сами по себе, независимо от намерений и планов участвующих сторон. Поскольку то, что субъекты деятельности знают об условиях, влияющих на обобщения, причинно-релевантно самим обобщениям, эти условия могут быть изменены посредством изменения знаний. В качестве далеко не единственного примера этого явления можно привести эффект «самоподтверждающегося пророчества».

Здесь следует быть внимательным и осторожным. В естественных науках действие законов неизменно ограничено

определенными (граничными) условиями. Но они не затрагивают неизменные причинные связи, лежащие в основе объяснительных задач, ради которых мы ссылаемся на законы. Когда речь заходит об обобщениях в социальных науках, причинные механизмы нестабильны по сути своей, при этом степень их непостоянства зависит от того, в какой мере индивиды, к которым относится обобщение, обнаруживают установленные образцы рассуждений, порождающие типичные разновидности непреднамеренных последствий. Обратимся к выводам, предложенным в исследовании Гамбетты: «чем выше ступень системы образования, на которой находятся дети — выходцы из рабочего класса, тем меньше — по сравнению с детьми другого классового происхождения — вероятность того, что они бросят учебу». Здесь непреднамеренные последствия нацелены на создание статистической модели — результата совокупного множества решений индивидов, разделенных временем и пространством. Мы полагаем, что никому не придет в голову считать приведенный нами пример универсальным законом, тем не менее речь идет о потенциально важном обобщении, пригодном для использования в просветительских целях. Предполагаемая им причинная связь зависит от характера принимаемых решений, определенных Гамбеттой. Но, как указывает автор, если родители или дети (независимо от их классовой принадлежности) узнают о существовании подобной закономерности, они могут сделать ее неотъемлемой частью собственной оценки той ситуации, которую эта закономерность описывает, а потому в принципе подорвать ее.

Принимая во внимание множество значений, приписываемых понятию «обобщения», можно сказать, что в социальных науках они носят «исторический» характер. В данном конкретном смысле это означает лишь то, что условия, при которых обобщения остаются в силе, имеют временные и пространственные ограничения и зависят от определенных комбинаций преднамеренных и непреднамеренных последствий деятельности. Учитывая все вышесказанное, стоит ли называть социально-научные обобщения «законами»? Ответ на этот вопрос всецело зависит от того, как точно мы интерпретируем понятие «закон». С нашей точки зрения, поскольку в естественных науках «закон», как правило, ассоциируется с действием инвариантных (неизменных) от-

ношений даже тогда, когда речь идет о законах, не относящихся к разряду универсальных, лучше было бы не использовать этот термин в общественных науках. В любом случае следует избегать выводов, близких сторонникам структурной социологии, согласно которым «законы» обнаруживаются лишь тогда, когда в отношении заданного ряда явлений наблюдаются значительные непреднамеренные последствия. Иными словами, обобщения, касающиеся социального поведения индивидов, могут напрямую отражать принципы деятельности, сознательно используемые ее субъектами. Как мы уже подчеркивали в настоящей главе, понять — так ли это в любой заданной совокупности условий, — одна из основных задач социального исследования.

Практические применения социальной науки

В отличие от естественных, социальные науки неизбежно вовлекаются в «отношения субъект-субъект» с тем, что они изучают. Теории и открытия, сделанные в рамках естественных наук, обособлены от описываемого ими универсума объектов и событий. Это гарантирует, что отношения между научным знанием и объективным материальным миром остаются «технологическими», то есть такими, при которых накопленная информация применяется к независимо образовавшимся совокупностям явлений. В социальных науках ситуация отличается коренным образом. Вот как пишет об этом Чарльз Тейлор (Taylor): «Хотя естественнонаучная теория также преобразует практику, последняя не тождественна содержанию теории... Как правило, в этих случаях мы говорим о «применении» теории». В социальных науках «практика является целью теории. Здесь теория трансформирует свой собственный объект» [50]. Из всего вышесказанного можно сделать весьма существенные выводы, касающиеся нашей оценки достижений общественных наук, а также их практического влияния на социальный мир.

Если бы мы приняли сторону тех, кто полагает, что общественные науки должны стать подобием наук естественных, первые, несомненно, следовало бы считать несостоятельными. В общественных науках нет — и по причинам, ранее упоминавшимся нами — никогда не будет точ-

ных законов, обнаруживаемых в более сложных областях наук естественных. На первый взгляд, кажется, будто утрата стремления создать «естествознание общества» знаменует конец представлений о том, что общественные науки смогут когда-либо воздействовать на «свое царство» — социальный мир — в той же мере, в какой естественные науки воздействуют на свое. Поколениями те, кто поддерживал натуралистическую социологию, делали это на основе представлений о том, что социальные науки должны интеллектуально и практически «приближаться» к уровню естественных. Иными словами, считается, что с точки зрения своих интеллектуальных достижений, а следовательно, и практических результатов, естественные науки явно опережают науки общественные. Таким образом, перед общественными науками встает проблема восстановить утраченные основания, дабы иметь возможность применять собственные открытия во имя обретения аналогичного контроля над событиями, происходящими в социальном мире. Из этой позиции исходила программа, предложенная О. Контом; впоследствии она неоднократно возникала в том или ином виде.

Ниже приводится типичная формулировка ее, предложенная автором, во всем остальном далеком от того, чтобы считаться сторонником идей Конта:

Будучи обществоведами, мы, как и все должным образом образованные люди нашего мира, с волнением осознаем, что, в общем и целом, прогресс в исследуемой нами области происходит гораздо медленнее, чем в естественных науках. Открытия и изобретения последних способствовали радикальным изменениям в обществе, тогда как наши — во всяком случае до сих пор — имели гораздо менее значимые последствия. Опасная, неустранимая «лакуна», очевидная из этого сопоставления, вызывает все большую тревогу. В то время как власть человека над природой прогрессирует быстро, а в действительности очень быстро, возможности его контроля над обществом, то есть, в первую очередь, над собственными установками, позициями и общественными институтами, значительно отстают. По меньшей мере отчасти, это происходит благодаря более медленным темпам развития наших представлений о человеке и обществе, в котором

он существует — знаний, которые во имя проведения социальных реформ необходимо будет облечь в действия [51].

На первый взгляд, несравнимо большее, чем в случае общественных наук, преобразующее влияние наук естественных не вызывает никаких сомнений. Естественные науки обладают собственными парадигмами, общепризнанными открытиями, знаниями, отличающимися высокой степенью универсальности, выраженной с математической точностью. Здесь имена «основоположников» забыты или вспоминаются, если речь заходит о родоначальниках представлений, имеющих исключительно исторический интерес. Слияние науки и технологии породило удивляющие своими масштабами формы поразительных материальных преобразований. С другой стороны, социальные науки постоянно страдают вследствие многочисленных разногласий, не способны игнорировать своих «основоположников», труды которых, как считается, актуальны и поныне. Иногда современные власти обращаются к социальным наукам как к источнику информации, необходимой для принятия стратегических решений; однако все это выглядит мелким и незначительным по сравнению с всеобъемлющим влиянием естественных наук. Нам представляется, что более высокий социальный престиж естественных наук согласуется с достигнутыми ими успехами и их практическим влиянием.

Возникает вопрос, справедливо ли — как это делается по традиции — считать социальные науки «бедными родственниками»? По крайней мере, можно сказать, что подтверждать это становится все труднее, если мы принимаем во внимание значимость двойной герменевтики. Рискуя повториться, отметим, что социальные науки не обособлены от «сферы собственной деятельности» в том смысле, в котором науки естественные обособлены от «своей». Этот факт, безусловно, подвергает опасности получение совокупности абстрактных знаний того типа, к которому стремятся те, кто рассматривает в качестве эталонного образца естественные науки. Вместе с тем, это означает, что социальные науки проникают в самую суть строения «собственного мира», что совершенно невозможно для естественных наук.

Обратимся к следующему высказыванию:

Государь, получивший власть из рук народа, наоборот, должен стараться удержать за собой его расположение; достигнуть этого государю не очень трудно, так как народ стремится только к тому, чтобы не быть угнетаемым. Точно так же, достигнув власти с помощью аристократии, как бы против желания народа, правитель прежде всего должен стараться расположить народ в свою пользу; это нетрудно — для этого нужно только принять его под свое покровительство. Тогда народ становится еще более преданным и покорным, чем даже тогда, когда сам вручил государю власть, ибо люди обыкновенно гораздо более ценят блага, получаемые ими от тех, от кого они ожидают только зла, и считают себя более им обязанными [52]*.

Доктрину, предложенную Макиавелли, нельзя рассматривать исключительно как наблюдения, касающиеся власти и феномена народной поддержки в политике. Она была предназначена и воспринята как вклад в реально действующие механизмы управления. Безо всяких преувеличений можно заявить, что с тех пор как труды Макиавелли приобрели широкую известность, практика руководства никогда не была совершенно одинаковой. Непросто проследить влияние работ этого автора. В какой-то мере уничижительное звучание термина «макиавеллизм» определяется причинами, практически не связанными с фактическим содержанием того, о чем писал Макиавелли — например, известным поведением правителей, по-своему трактующих то, что было сказано в «Государе». Принципы, которые могут быть использованы государями, могут быть применены и их подданными, и оппозицией. Практические выводы и значимость научных трудов, сродни тем, что были написаны Макиавелли, как правило, сложны и многообразны. Они очень далеки от ситуации, когда открытия общественных наук критически рассматриваются и оцениваются в одной среде («внутренняя критика» профессиональных специалистов), а «используются» в другой (в мире практической деятельно-

* *Макиавелли Н.* Государь // Государь; Рассуждения о первой декаде Тита Ливия; О военном искусстве: Сборник / Пер. с ит. Минск: Попурри, 1998. С. 55–56.

сти). Вместе с тем, их судьба куда более типична для социально-научных знаний, чем картина, описанная в последнем пассаже.

Вопрос о том, имеем ли мы право считать Макиавелли «специалистом в области общественных наук», является спорным на том основании, что его работы были написаны в эпоху, когда размышления о сущности социальных институтов не носили систематического характера. Обратимся, однако, к более позднему периоду конца XVIII — начала XIX в. Можно сказать, что это было время, положившее начало обстоятельным эмпирическим исследованиям социальных проблем. Некоторые рассматривали этот период как первую стадию или ступень развития, на которой общественные науки обрели доказательную базу, имеющую некоторое сходство с доказательной базой естественных наук. Поражает, однако, то, что методы проводимых исследований и полученная «информация» незамедлительно становились важной частью общества, для анализа которого они использовались. Признаком и одновременно вещественным результатом этого процесса является расцвет официальной статистики, накопление которой стало возможным благодаря использованию систематических методов социальных исследований. Развитие такого рода методов неотделимо от новых форм административного контроля, допускаемых посредством сбора официальной статистики. Однажды появившись, официальная статистика породила новые типы социального анализа — исследование демографических моделей, преступности, разводов, самоубийств и т. п. В свою очередь появлявшаяся литература по проблеме вновь включалась в практическую деятельность тех, кто занимался получением соответствующих статистических данных. К примеру, работы, посвященные проблеме самоубийств, широко используются коронарами, судебными чиновниками и другими людьми, включая и тех, кто намеревался совершить или предпринимал попытку суицида [53].

Конечно, развитие теоретических метаязыков и специализация, возникшая вследствие интенсивных исследований отдельных областей социальной жизни, гарантируют, что социальные науки не сольются с «предметом своего обсуждения» в единое целое. Но если мы осознаем всю сложность, непрерывность и глубину связи, существующей между «про-

фессиональными» и неквалифицированными социальными аналитиками, то сумеем понять, почему основательное влияние, оказываемое социальными науками на строение современных обществ, находится вне поля зрения. Даже самые интересные и перспективные «открытия», сделанные в рамках социальных наук, не могут существовать в этом своем качестве постоянно; в действительности чем более содержательными они являются, тем выше вероятность того, что они станут неотъемлемым элементом деятельности и, следовательно, общепризнанными принципами социальной жизни.

Теории и открытия естественных наук состоят со своим «предметом» в так называемых «технологических» отношениях. Иными словами, порождаемая ими информация имеет практическую значимость, будучи «средством», применяемым для изменения независимо установленного и автономного мира объектов и событий. В случае с науками социальными такого рода отношение не является исключительно «технологическим»: их проникновение в мирскую деятельность можно считать «технологическим» лишь в самой малой степени. Здесь возможны разнообразные изменения и превращения знаний и власти. Дабы продемонстрировать, что это так, вернемся к примеру, в котором приводятся замечания Н. Макиавелли о сущности и характере политики. Ниже описываются проблемы, возникновение которых связано с его рассуждениями:

- (1) Возможно, по большей части речь идет лишь об особой форме выражения того, о чем многие правители, да и не только они, уже знали — они могли даже представлять это дискурсивно, хотя, скорее всего, не сумели бы выразить свои мысли так же содержательно, как это сделал Макиавелли.
- (2) Написав свои труды и сделав их доступными широкой аудитории, Макиавелли открыл новый фактор, не проявлявшийся ранее, когда те же вещи были (если были) известны.
- (3) Те, кто познакомился с идеями Макиавелли, не обращаясь к первоисточникам, употребляли термин «макиавеллизм» как ругательство. Первая англоязычная версия «Государя» была опубликована в 1640 г., до этого времени англичане считали Макиавелли олицетворением безнравственности и извращенности.

- (4) Разновидность дискурса, использованная Макиавелли в своих трудах, стала одним из элементов или аспектов фундаментальных изменений, происходящих в правовой и конституционной системах современных государств. Особый, по существу новый взгляд на «политику» и политическую деятельность во многом предопределил их дальнейшую судьбу [54].
- (5) Правитель, считавшийся последователем Макиавелли, стремящимся управлять согласно его заповедям и наставлениям, мог столкнуться с большими трудностями на пути использования последних, чем тот, за кем не закрепилась слава сторонника макиавеллизма. Так, например, подданные, знающие заповедь, согласно которой люди обыкновенно гораздо более ценят блага, получаемые ими от тех, от кого ожидают только зла, могут относиться к этим благам с недоверием.
- (6) По большей части Макиавелли осознавал все вышесказанное и недвусмысленно предостерегал в своей работе от неосторожных и некорректных выводов. Некоторые из упомянутых нами моментов еще более усложнились, ибо само осознание их стало частью политической деятельности.

Но почему взгляды Макиавелли остаются значимыми и сегодня и всерьез обсуждаются нами как актуальные с точки зрения современных обществ, по сути поглотивших их? Почему те, кто работает в контексте общественных наук не способны забыть имена «отцов-основателей», подобно тому как это происходит в науках естественных? Ответ на эти вопросы следует искать в конструктивном, созидательном характере идей, формулируемых и излагаемых мыслителями, сродни Макиавелли. Последний снабдил нас средством обоснованных размышлений о понятиях и практических порядках, ставших в современных обществах неотъемлемой частью сущности суверенитета, политической власти и т. п. Обращаясь к трудам Макиавелли, мы начинаем понимать основные отличительные черты современного государства, ибо автор писал об относительно ранних этапах его развития. Нет сомнений, что он обнаруживает или облачает в особую, дискурсивную форму принципы управления, применимые к государствам различных типов. Однако основная

причина, благодаря которой труды Макиавелли не «устаревают», заключается в том, что речь идет о ряде (стилистически блистательных) рассуждений, касающихся явлений, в становлении которых они (рассуждения) принимали непосредственное участие. Мы имеем дело с изложением способов мышления и образов действий, актуальных для современных обществ не только благодаря своему происхождению, но и вследствие неизменной организационной формы. Устаревшая естественно-научная теория перестала быть интересной, стоило появиться более содержательным и обоснованным доктринам. Теории, ставшие частью своего «предмета» (хотя, возможно, в других отношениях они противостоят подобному слиянию) неизбежно сохраняют значимость и актуальность, не доступные «антикварным» естественно-научным теориям.

Развитие критического характера социальных наук подразумевает углубление концептуальных представлений о практическом содержании их собственного дискурса. Тот факт, что общественные науки интегрируются в то, что изучают, указывает на значимость истории идей. Так, например, исследование Квентина Скиннера (Skinner), посвященное возникновению современных дискурсивных представлений о государстве эпохи, последовавшей за средневековьем, демонстрирует, как они (представления) стали основополагающим, неотъемлемым элементом того, что определяется нами как государство [55]. Доказав, что гражданское население современного государства знает о том, что есть государство и как оно функционирует, Скиннер помогает понять, насколько специфична эта форма государственного устройства и как она взаимосвязана с изменениями дискурса, становящимися частью обыденных социальных практик.

Социальные науки не способны обеспечить (релевантное) знание, которое можно было бы «сдержать», подготовив для усиления соответствующих социальных вмешательств в необходимых случаях. В естественных науках критерии очевидности и доказательности, используемые в процессе выбора тех или иных теорий или гипотез, находятся (в принципе и, как правило, на практике, за исключением случаев, аналогичных лысенкоизму) в руках разрабатывающих их специалистов-практиков. Последние могут

продолжить работу по тщательному анализу и отсеиванию доказательств и формулированию теорий, не пересекаясь с миром, к которому относятся эти теории и доказательства. Но социальным наукам это не свойственно — или, если быть более точными, эта ситуация менее всего подходит в отношении теорий и открытий, имеющих наибольшую объяснительную ценность. Во многом именно этим объясняется тот факт, что, как зачастую считается, социальные науки предоставляют политикам гораздо меньше полезной информации, чем науки естественные. Социальные науки неизбежно и во многом опираются на то, что уже известно членам обществ, которые они изучают, а также предлагают теории, понятия и открытия, «возвращающиеся» в описываемый ими мир. «Расхождения», которые могут появиться между профессиональным концептуальным аппаратом, открытиями социальных наук и осмысленными практиками, являющимися частью социальной жизни, гораздо менее очевидны и понятны, чем в естественных науках. Таким образом, с «технологической» точки зрения, практический вклад социальных наук выглядит и является достаточно ограниченным. Однако, если мы оцениваем ситуацию с позиций проникновения в анализируемый мир, практические выводы социальных наук были и остаются весьма основательными.

Критические замечания:

Социальная наука, история

и география

Мы говорили о том, что рассматривать историков как специалистов в области времени также некорректно, как считать географов знатоками пространства; в своем обычном понимании подобные дисциплинарные разграничения указывают на угнетенное положение времени и пространства в социальной теории. Сюда же относятся и представления о том, что социальная наука имеет дело с законами универсального или, по крайней мере, весьма общего характера. Здесь мы сталкиваемся с явно выраженным, традиционным разрывом между социальной наукой и историей, где первая связана с обобщениями, не зависящими от

пространства и времени, а вторая анализирует процесс разворачивания событий в определенных пространственно-временных условиях. В свете основных идей, развиваемых в настоящей работе, вряд ли необходимо подробно объяснять, почему подобное представление является бессодержательным.

Если историков нельзя считать знатоками времени, то как можно оценить точку зрения, согласно которой они выступают специалистами по исследованию прошлого? Это мнение не только интуитивно привлекательно, но и имеет многочисленных сторонников в лице знаменитых историков и философов. М. Оэکشотт (Oakeshott) определяет термин «историческое прошлое» следующим образом [56]*. Мир, воспринимаемый индивидом, говорит он, является «очевидно настоящим». Мы стоим на краю тротуара и наблюдаем, что происходит вокруг нас. Пока мы стоим, время идет, но мы заняты «непрерывным настоящим», где «течение времени сопровождается незаметными изменениями или даже намеком на них» [57]. Вот мимо нас, прихрамывая, прошел человек на деревянной ноге. Он является частью «непрерывного настоящего», если мы воспринимаем его не как калеку с деревянным протезом, но как человека, потерявшего ногу. Оэکشотт утверждает, что подобное осознание прошлого порождается не пренебрежением к настоящему, а специфической трактовкой его, при которой все, воскрешаемое в памяти, сопровождается словом «утраченный». В историческом понимании настоящее формируется так называемыми пережитками или реликтами «сохранившегося прошлого»:

...историк может проникнуть в прошлое лишь посредством этих пережитков. Посему первейшая задача исторического исследования — собрать их в настоящем, где они находятся в разрозненном состоянии, восстановить то, что могло быть утрачено, внести некое подобие порядка, позволяющего ликвидировать неразбериху, восполнить нанесенный им ущерб, дабы устранить фрагментарность, постичь существующие между ними связи, узнать происхождение пережитков и, таким образом, определить их подлинную сущность как устаревшей практической, философской, художественной и тому подобной деятельности [58].

Обращаясь к уцелевшим фрагментам прошлого, историк стремится восстановить то, что было утрачено.

Этот взгляд на сущность исторической науки можно было бы истолковать двояко, рассматривая историю как научную дисциплину, занимающуюся восстановлением несохранившегося прошлого или связанную с особыми приемами и методами герменевтики текста, так или иначе близкими историкам. Согласно первому варианту, история обладает собственным, четко обозначенным «предметом исследования»; в соответствии со вторым, отличительные особенности ее носят преимущественно методологический характер. Однако при ближайшем рассмотрении обнаруживается, что ни первый, ни второй варианты не являются достаточно убедительными. Из примера с индивидом, стоящим на углу улицы, очевидно, что под «настоящим» Оэксхотт понимает нечто, близкое тому, что именуется нами «присутствием». Однако присутствие имеет пространственные и временные границы. Содержательное восстановление утраченного прошлого невозможно, да и не следует отделять от уяснения культурных различий, «разбросанных» по всей поверхности земного шара. Ибо любой анализ такого рода предполагает сложную координацию временного и пространственного. Читатель, не уступающий в этом вопросе, вряд ли согласится с положениями теории структуризации, представленной на предыдущих страницах. С другой стороны, если рассматривать точку зрения Оэксхотта с методологических позиций, она подразумевает, что отличительные свойства истории заключаются в мастерстве историка как специалиста в области интерпретации текстов или реликтов, уцелевших с прошлых веков. Неудивительно, что это представление находит, и не безосновательно, широкую поддержку в кругах историков, ибо очевидно, что квалифицированное прочтение и объяснение текстов или материальных реликтов является важнейшей задачей исторического исследования. Многие обществоведы усматривают здесь своеобразное разделение труда между историей и социальной наукой; акторы, интересные для социологов, живы и находятся в силе, с ними можно общаться напрямую, а те, которыми занимаются историки, — мертвы и по сему недоступны для непосредственного общения. Понятно, что раз-

ница эта весьма существенна не только потому, что живые могут отвечать на вопросы, в то время как мертвые нет, но и в связи с тем, что ныне здравствующие способны также поддерживать обратную связь. Иными словами, они могут активно исследовать, подвергать сомнению и изменять собственную деятельность на основе разнообразных «открытий», осуществляемых вокруг них. Однако все это не позволяет нам говорить о каком-либо достойном и заслуживающем нашего внимания делении между историей и социологией. Во многом социальная, как и историческая, наука создается «в» и «посредством» текстов и других «вторичных» материалов. Усилия, затрачиваемые учеными-обществоведами на непосредственное общение с субъектами деятельности, являющимися объектами научного исследования, вряд ли можно сравнить с теми, что расходуются при работе с текстовыми данными. Более того, мера, в которой понимание текстов — используемых в качестве иллюстраций, а также для описания установленного контекста деятельности — решает проблемы интерпретации и разъяснения, зависит не от «удаленности во времени», но определяется тем, что из чего следует получить, а также степенью имеющихся культурных различий.

В таком случае, двумя дисциплинами, пересечение которых затрагивает структуру и рамки присутствия, несомненно, являются археология и герменевтика: археология — ибо она занимается *главным образом* реликтами или остатками прошлого, «безделушками», прибывшимися к берегу современности и оставшимися там, несмотря на то, что социальные течения, породившие их, ослабли или прекратили свое существование; герменевтика — ибо все пережитки «сохранившегося прошлого» должны быть проинтерпретированы, безотносительного того идет ли речь о горшках или текстах, а также потому, что задача восстановления прошлого неотделима — концептуально и методологически — от предопределения смысловых фреймов, обнаруживаемых в сосуществующих культурах.

Если социальная наука не является, да и не может быть историей настоящего и если она не связана и не может быть связана исключительно с обобщениями вне времени и пространства, что отличает ее от истории? Нам думается, на

этот вопрос можно ответить аналогично тому, как это сделал Дюркгейм (хотя он и пришел к этому выводу иначе): ничего — ничего концептуально связного или интеллектуально оправданного. Если между историей и социальной наукой и существуют противоречия и барьеры, то речь идет о реально существующем разделении труда, а не о логическом или методологическом расколе. Историки, специализирующиеся на особых типах текстовых материалов, языках или «эпохах», не свободны от необходимости использовать понятия социальной теории и вынуждены сталкиваться с дилеммами, неотъемлемо присущими ей. Однако и обществоведы, интересом которых являются наиболее абстрактные и общие теории социальной жизни, не могут отказаться от решения герменевтических проблем интерпретации текстов и других культурных объектов. Таким образом, историческое исследование есть исследование социальное и наоборот.

Утверждать подобное — уже не ересь, как могло бы показаться когда-то. Прежде всего рассмотрим, что происходило со стороны истории. И здесь нам стоит обратиться к Ф. Эбрамсу (Abrams), который говорит о работе историков:

...действительно значимым событием последних двадцати лет стало опубликование основательной массы теоретически осознанных исторических работ, которые постепенно приводили в беспорядок ранние концепции истории, как так или иначе не включенные в теоретический мир общественных наук. Социальные изменения осуществляются людьми, творящими новое. По мере того, как общепризнанные шедевры исторической науки приобретали все большую теоретическую обоснованность и определенность, а единство теоретического метода истории и социологии становилось все более и более очевидным, настойчивая убежденность некоторых профессиональных историков в том, что теория не является их ремеслом, постепенно утрачивала свой статус фактической основы «института» истории, превращаясь в бесплодную ностальгию [59].

Ключевая фраза этого фрагмента — слова «единство теоретического метода». Проблемы социальной теории, де-

тельности, структуры и форм объяснения являются общими проблемами всех общественных наук, независимо от тех различий, которые могут существовать между ними в других отношениях.

О влиянии на историю общественных наук, имевшем место в течение двух десятилетий, упомянутых Эбрамсом, весьма пронизательно писал Лоуренс Стоун (Stone) [60]. Стоун различает несколько направлений, посредством которых общественные науки воздействовали на тех, кто связан с «новой историей». Он согласен с Эбрамсом в том, что историки глубже осознали неотвратимую связь своей дисциплины с социальной теорией. Иными словами, они вынуждены были признать, что не могут оставить теоретические предположения, направляющие их работу, полностью скрытыми; открывая их, они кладут на стол карты, которые ранее предпочли бы держать в руках. Другие вклады со стороны общественных наук носили более методологический характер. Так, к ряду различных исторических проблем были с успехом применены количественные методы — факт, значимость которого определяется хотя бы тем, что использование подобных методов достаточно ново для истории.

Однако этим вкладом противостояло давление со стороны приверженцев так называемой «нарративной истории». В некоторых основных аспектах полемика между сторонниками «новой истории», с одной стороны, и поборниками «нарративной истории», с другой, может рассматриваться как исторический вариант того же самого дуализма действия и структуры, упорно проявляющегося на всем протяжении процесса развития социальной науки в целом. Те, кто поддерживает положения нарративной истории, протестуют против того, как «новая история» трактует основания человеческого поведения, благодаря чему подобное поведение рассматривается как результат действия социальных причин, находящихся вне сферы влияния субъектов деятельности. Делая это, они совершенно правы. Ибо полезность привнесения в историю изначально некорректных стилей теоретизирования вызывает большие сомнения и, кроме того, весьма ограничена. Однако рассматривать «нарративную историю» в качестве альтернативы «истории аналитической» абсолютно неверно, ибо в этом случае мы вынуждены выбирать одну в ущерб другой.

Признавая наличие общих корней у слов «история» (history) и «рассказ, предание» (story), а также то что понятие *histoire* (история) подразумевает и то, и другое, можно предположить, что нарративная история представляет собой изложение событий, историй. Рассказываемые сюжеты должны подтверждаться действительными фактами, однако их сплочение и одобрение читателями определяются логичностью и обоснованностью фабулы, способом, при помощи которого передается преднамеренный и целеустремленный характер деятельности участвующих индивидов, и контекстами описываемой деятельности. Так, рассуждая о том, что представляет собой нарративная история, Джеффри Рудольф Элтон (Elton) отмечает: «Дабы действие могло быть понято, необходимо прояснить его окружение, обстоятельства и источники» [61]; заявление, не вызывающее никаких возражений. В том виде, в котором ее воспринимают Элтон и другие, нарративная история более или менее аналогична тому, что ранее было обозначено нами как этнография. Но точно так же, как нельзя считать, что использование этнографических методов неминуемо связано с субъективизмом, нельзя и полагать, что нарративная история имеет какую-либо логическую связь с теоретической позицией, отвергающей структурные понятия. Сторонники нарративной истории имеют полное основание протестовать против беспорядочного введения понятий структурной социологии в труды историков. Однако они не правы, предполагая, что эти понятия могут быть проигнорированы полностью. Нарратив становится убедительной «историей» не только благодаря логичности и последовательности, но и, как писал Элтон, вследствие осмысления «окружения, обстоятельств и источников» действия. Вместе с тем, окружение и обстоятельства, при которых происходит действие, не возникают безосновательно, из воздуха; они должны быть объяснены исходя из той же логической основы, ссылаясь на которую объясняется какая бы то ни было описываемая и «осмысливаемая» деятельность. Речь идет о том же самом феномене, с которым, по нашему мнению, связана теория структуризации.

Попробуем взглянуть на проблему с позиций недавних открытий в социальной науке, сконцентрировавшись главным образом на социологии. Кто-то может сказать, что про-

исхождение социологии связано с современной историей, понимаемой как анализ источников и влияния промышленного капитализма на Западе. Но там, где подобными проблемами занималось поколение социологов, выросшее после Второй мировой войны, они зачастую становились жертвами форм эволюционизма, критиковавшихся нами ранее. Следует понимать, что эволюционизм является скорее антагонистом истории, нежели ее союзником, как это может показаться вначале. Ибо, «втискивая» человеческую историю в предварительно заготовленные схемы, он выказывает высокомерное неуважение к вопросам исторических подробностей.

В тех случаях, когда эволюционизм не делал особых успехов, наблюдалась ярко выраженная тенденция определять «социологию» и ее отделение от «истории» на основе тех самых терминов, которые осуждались нами как бессодержательные. Показательным в этом плане является описание, предложенное Липсетом (Lipset):

...задача социолога заключается в формулировке общих гипотез, выдвигаемых в рамках более крупных теоретических структур, и последующей их проверке... Удел истории — анализ определенной последовательности событий или процессов. Там, где социолог ищет понятия, относящиеся ко множеству отдельных описательных категорий, историк должен ограничиваться реальными событиями и избегать утверждений, которые, связывая поведение в конкретном месте и времени с поведением, имеющим место в иных условиях, приводят к искажениям описания происходящего в совокупности анализируемых обстоятельств [62].

Однако речь здесь идет о разделении между абстрактными и более специфическими интересами, а не о барьерах, существующих между социологией и историей [63].

Термин «социология» был предложен О. Контом и до недавнего времени сохранял тесную связь со стилем мышления, выдающимся представителем которого он являлся. Многие из тех, кто не признавал эволюционизм и функционализм одновременно, тем не менее связывали социологию с некоторыми основными принципами объективизма. Как правило, «общие гипотезы», о которых рассуждал Липсет,

представляются способом, обсужденным нами выше, — как законы, выражающие причинные связи, функционирующие независимо от воли субъектов деятельности, к поведению которых они относятся. Речь идет не только о противопоставлении «номотетического» и «идиографического», которое в данном случае склонны иметь в виду социологи. Если, согласно положениям структурной социологии, различительная сила социологии заключается в ее доминирующем интересе к структурным ограничениям, можно сделать вывод, согласно которому историки работают в более тесном контакте с контекстуализированными действиями целеустремленных субъектов деятельности. Если при введении в историю «социологические» понятия осмысливаются подобным образом, легко понять, почему сторонники нарративной истории относятся к ним с таким недоверием и как они могут защитить то, что делают *как* «историю» по сравнению с «социологией». Обе стороны поддерживают дисциплинарную дихотомию, не имеющую логического или методологического смысла.

Нет сомнений, что в значительной степени социологию изменил и изменяет конец господства объективизма и функционализма. Пренебрежительное отношение ко времени, свойственное социальной теории, во всяком случае социологии, было определено и подавлением истории — время, история, социальные изменения, все усваивалось в рамках функционализма [64]. Однако имело место и разочарование в двух типах традиций, господствовавших в анализе индустриально развитых обществ два десятка лет тому назад, — речь идет о «теории индустриального общества», с одной стороны, и марксизме, с другой [65]. В период после Второй мировой войны оба направления имели ярко выраженную эволюционную окраску, а также отличались некоторыми вторичными чертами, которые, как мы уже отмечали, были характерны для эволюционизма. В частности, каждое имело очевидную тенденцию к европоцентризму. Проблема, которую теории «зависимости» и «мировых систем» ставили перед этими эволюционными схемами, играла значительную роль в процессе критики посылок евроцентризма. Вместе с тем мы сталкиваемся с очевидными свидетельствами влияния «новой истории», которые указывают на то, что многие из предположений, выдвигаемых социоло-

логами относительно докапиталистической Европы, вероятно, ошибочны в основе своей [66].

Однако социологи могут почерпнуть из работ историков гораздо больше, чем это признается большинством. В качестве ключевого примера можно привести работу Фернана Броделя (Braudel), хорошо известную в среде «новых историков», но все еще по большей части незнакомую тем, кто считает, что работает в «социологии». Труд Броделя демонстрирует раннее влияние, оказываемое социологической традицией, особенно той, что стала известной благодаря группе, сформировавшейся вокруг «Социологического ежегодника», на развитие истории во Франции. Нет сомнений, что в некотором роде он отражает недостатки социологических воззрений этой группы. Однако он также значительно преодолевает ограничения этих воззрений в других отношениях и представляет большой интерес для социологии не только благодаря своему действительному содержанию, но также благодаря своей теоретической изощренности. «Диалог между структурой и положением дел» [67], который стремится зафиксировать Бродель, аналогичен тому, который мы пытались представить более детально в теории структурации. Бродель — историк *долгой длительности*, однако он также явно стремится соединить случайное и краткосрочное с институтами, выдержавшими испытание временем.

На первый взгляд, трудно найти кого-либо более несходного, чем Бродель и Гофман. Кажется, что речь идет о полностью несовместимых личностях и даже упоминание их в одном ряду выглядит курьезным. Бродель исследует историю на протяжении нескольких столетий, в то время как Гофман решительно избегает любого анализа развития институциональных контекстов, которые сопровождают социальную деятельность. Несмотря на это, и тот и другой исследуют события повседневной жизни. Их объединяет преимущественный интерес ко времени не как хронологической протяженности или длительности, но как неотъемлемому элементу сложных систем социального воспроизводства. Мы пытались показать, что, обращаясь к Гофману, можно узнать многое о том, как воспроизводятся наиболее глубоко укорененные в обществе институты; Гофман не к месту рассматривается как теоретик банального или эфемер-

ного. С *другой стороны*, Бродель не должен восприниматься как специалист, предлагающий исследование широкого спектра истории, где индивидуальные акторы выступают в качестве игрушек непреодолимых социальных потоков, «детерминистической, фаталистической истории» [68]. История есть структуризация событий во времени и в пространстве путем непрерывного взаимодействия деятельности и структуры: взаимосвязь мирского характера повседневной жизни с институциональными формами, растянутыми на обширные диапазоны пространства-времени.

Указывая на характерное для наших дней существенное сближение работ историков и социологов, мы не стремимся лишь предположить, что история должна больше ориентироваться на социологию, и наоборот. На карту поставлено нечто большее. Для социальной теории восстановление времени и пространства предполагает теоретическое рассмотрение деятельности, структуры и контекстуальности как средоточия исследовательских проблем в обеих дисциплинах.

Контекстуальность подразумевает пространство, а также время, и здесь мы можем вернуться к отношениям между географией и социологией. Долгое время география считалась менее интеллектуально модным предметом, чем история, а посему вопрос о связи, существующей между географией и социологией, обсуждается в литературе гораздо реже, нежели проблема соотношения социологии и истории. Многих социологов волнует вопрос о том, в какой мере «социология» является, или должна быть, «историчной» — в различных смыслах, в зависимости от того, как понимается каждый термин, — однако, насколько нам известно, почти никто не ощущает подобных волнений в отношении географии. Возможно, это происходит не только благодаря различию интеллектуальной репутации истории и географии, но и вследствие большей прозрачности, которая приписывается понятию пространства по сравнению с понятием времени. Протяженность или отдаленность в пространстве очевидно легче осмыслить и «озвучить» концептуально; протяженность во времени — нет. Опираясь на подобные рассуждения, можно прийти к выводу, что пространство является «вотчиной» географов, а исследование пространственных форм — относительно неинтересно. Од-

нако подобное заключение слишком поверхностно. Может быть это сказано чересчур эксцентрично, но люди действительно «делают собственную географию», аналогично тому, как они «творят свою историю». Иными словами, пространственные формы и структуры социальной жизни представляют для социальной теории такой же интерес, как и временное измерение, и, как мы часто подчеркиваем, в некоторых случаях грамотнее мыслить с позиций пространства-времени, нежели рассматривать пространство и время отдельно.

В конце XIX столетия корни социальной географии имеют нечто общее с корнями социологии; как и в случае с историей, социальная география испытывала значительное влияние идей Дюркгейма и других присоединившихся к группе, образовавшейся вокруг «Социологического ежегодника». На ранних этапах формирования географии двумя наиболее влиятельными фигурами являлись, вероятно, Ф. Ратцель (Ratzel) и П. Видаля де ла Бланш (Vidal de la Blanche). Лозунг Ратцеля гласил: «Человечество есть часть Земли» [69], вместе с тем, автор также подчеркивал значимость социальной организации как независимо укоренившегося явления. Дюркгейм совершенно справедливо усматривал в работе Ратцеля «потенциального союзника» концепции социологии, которую он намеревался создать [70]. Предложенное Видалем понятие *образа жизни* напрямую отражает влияние Дюркгейма; будучи переняты Л. Февром (Febvre), взгляды Видаля оказали значительное влияние на труды французских историков, включая Броделя [71]. Сосредоточенность последнего скорее на бассейне Средиземного моря в целом, нежели на границах, определенных национальными государствами или политическими обозначениями «Европы», четко отражает акценты Видаля. Однако последующее влияние Ратцеля и Видаля внутри социологии было слабым. В десятилетия, последовавшие за Второй мировой войной, социология и география по большей части разошлись по собственным обособленным направлениям.

С тех пор обстоятельства изменились. Возможно, очевидное сближение исследований было не столь заметным как в ситуации с историей и социологией, однако социальная география, несомненно, во многом восстановила ту тесную связь с социологией, которая имела место в предшествующие времена [72]. Подобно «новой истории», «новая гео-

графия» 60-х гг. находилась под воздействием количественных методов, привносимых из сферы общественных наук. Представление о том, что география занимается главным образом исследованием регионализации, постепенно заменялось более абстрактным акцентом на пространственную форму. Подражая постоянному движению идей, происходящему в общественных науках, «новая география» по существу, поддавалась критике эмпиризма, обладавшего весьма сильным влиянием на всем протяжении развития современной социальной и политической мысли. В результате в наши дни работы географов привносят в социологию столько, сколько социологи могут отдать взамен. Ибо социальная география содержит множество тех же понятий и вовлечена в те же методологические споры, что и социология.

В предыдущих главах мы пытались объяснить, как, по нашему мнению, основные аспекты, позволяющие включить географические понятия в теорию структуриации. Конечно, мы не хотим предположить, что работа Хагерстранда и его последователей исчерпывает все возможности, которые география открывает перед социологией. Однако по причинам, которые мы пытались установить, она особенно значима с точки зрения теории структуриации. Будучи подвергнута должной критической оценке, работа эта демонстрирует не только проницательность теоретического характера, но и предлагает исследовательские методы, которые могут быть применены непосредственно в эмпирической работе. Временная география имеет три преимущества над признанными методами социальных исследований, с которыми она, тем не менее, может быть объединена. Первое заключается в том, что она повышает чувствительность исследовательской работы к контекстуальностям взаимодействия, особенно постольку, поскольку они взаимосвязаны с физическими аспектами *среды*, в которой действуют акторы. Большинство социальных исследований, в том виде, в котором они проводились социологами, было нерасположено изучать связи, существующие между физическими и социальными аспектами *среды*; достойное исключение составляют лишь Чикагская школа и теоретики так называемого «экологического» направления [73]. Второе преимущество состоит в том, что она направляет наше внимание на значимость рутинизации по-

вседневной деятельности, составляющей ядро социальных институтов. Третье заключается в том, что, представляя повседневную жизнь как ряд пересекающихся пространственно-временных путей, временная география предлагает способы визуализации и анализа моделей социального воспроизводства [74].

Попытка заменить используемое в географии понятие регионализации более абстрактными моделями пространственной формы считается нами по большей части ошибочной. Мы не думаем, что исследование регионализации представляет собой особый интерес географии. С нашей точки зрения, регионализация есть понятие, которое следует рассматривать с позиций его ведущей роли в социальной теории. Лучше всего трактовать регионализацию не как целиком и полностью пространственное понятие, но как понятие, отражающее группирование контекстов в пространстве-времени. Как таковое, это явление имеет решающее значение для социологии как на теоретическом, так и на практическом уровнях. Понятие регионализации как ни одно другое помогает устранить обманчивое разделение между «микро-» и «макросоциологическими» исследованиями; противостоять предположению, согласно которому «общество» есть неизменно обособленная единица, обладающая четко определенными границами. В рамках социологии проблемы с понятием регионализации заключаются, во-первых, в том, что оно фигурирует главным образом в урбанистической социологии; во-вторых, используется в отношении сопредельных или соседских отношений; в-третьих, в том, что урбанистическая социология традиционно понималась как одна из «областей» социологии.

Каждая из этих традиций должна быть подвергнута сомнению. Мы пытались показать, что регионализация не равносильна «регионалистике», но тем не менее может использоваться весьма широко. «Урбанистическая социология» — один из основных интересов географов и социологов, именно здесь наиболее очевидным становится взаимообмен между двумя дисциплинами. Можно провести интересные параллели между трудами Видаля, построенными главным образом на исследованиях сельской среды, и работами представителей Чикагской социологи-

ческой школы, изучавших городскую среду. Парк знал о существовании трудов французских социальных географов, хотя, по-видимому, разрабатывал свои основополагающие концепции независимо от них. Печально, что влияние Парка распространялось скорее на урбанистическую экологию с бросающейся в глаза формалистской концепцией пространства и подчеркнуто объективистской точкой зрения. В своих поздних работах Парк придерживался позиции, согласно которой, возможность «свети все социальные отношения к отношениям пространственным», предусматривает возможность «применить к взаимоотношениям, складывающимся между индивидами, фундаментальную логику физических наук» [75]. Однако в своих ранних работах он рассматривал сопредельность как в большей степени контекстуализирующее явление, упорядоченное и выражающее социальные особенности — *образ жизни*. Эта точка зрения представляет несомненный интерес и должна быть сохранена при условии, что мы будем иметь в виду регионализацию в целом, а не городские окрестности в частности.

Урбанистическая социология — не просто одна из отраслей социологии. Очень важно подчеркнуть это, ибо, ориентируясь на подобные позиции, новейшие разработки в урбанистической теории способствовали дальнейшему разрушению границ между географией и социологией. Как мы отмечали ранее, анализ сущности городов играет первостепенную роль в деле изучения вопросов, представляемых обычно как исключительно логические по характеру, включая проблемы соотношения микро и макро. В данном случае термин «город» обманчив. Несмотря на то, что фактически везде города играли ключевую роль в процессе становления крупномасштабных обществ, город в классово разделенных обществах не равносителен городу современной эпохи. Поскольку современный урбанизм представляет собой новый тип организации пространства и времени, постольку он отличается от урбанизма традиционного, а его корни соседствуют с корнями капиталистического индустриального общества. Нет нужды соглашаться со всеми идеями М. Кастельса (Castells), чтобы признать, что автор сыграл важную роль в деле смещения акцентов в урбанистической теории от «урбанистической социологии» к

упору на общую значимость урбанизма для социальной теории [76]. Анализ урбанизма как основы «сотворенного окружения», несомненно, займет основную позицию в любой программе эмпирического исследования современных индустриальных обществ, которую может породить теория структуризации.

Что социолог может почерпнуть из трудов географов? Не только понятие регионализации и методов ее исследования, но также и представления о значимости в процессе воспроизводства социальных практик того, что географы традиционно называют местом (а мы — локальностью). В качестве поучительного примера можно сослаться на труды Преда, объединяющие эмпирические исследования урбанизма с ракурсом, находящимся под влиянием временной географии и теории структуризации одновременно [77]. Пред совершенно справедливо указывает на тот факт, что представление о «ситуативном» характере социального взаимодействия может быть адекватно описано эмпирически только в том случае, если мы осознаем, каким образом «воспроизводство конкретных культурных, экономических и политических институтов во времени и в пространстве неизменно связывается с действиями, специфичными для времени и пространства, накоплением знаний и биографиями отдельных индивидов» [78]. Координация траекторий повседневных перемещений индивидов в пределах заданного диапазона локальностей, а также то, что некоторые исследователи именуют «чувством пространства», есть конкретизированные аспекты дуальности структуры. Диалектика «повседневного пути» и «жизненного пути» — форма, посредством которой последовательная целостность биографии индивида выражается и выражает непрерывность институционального воспроизводства. Чувство пространства приобретает особую значимость для поддержания онтологической безопасности, ибо обеспечивает психологическую связь между биографией индивида и локальностями как средой пространственно-временных путей, по которым перемещаются индивиды. Отождествление с крупными локальностями — территориями, нациями и т. п. — отличается от того, что возникает и подкрепляется локализованными контекстами повседневности. Последние, вероятно, куда более значимы с точки зре-

ния воспроизводства масштабных институциональных целостностей, чем первые [79]. Пред предполагает, что исследование должно анализировать двойное значение, подразумеваемое фразой «происходящее» (taking place). Социальная деятельность имеет место в различных локальностях, однако, это не следует понимать исключительно как пассивную локализацию этой деятельности в рамках конкретных ситуаций. Человеческие действия «происходят» путем предопределения и изменения природы, что особенно очевидно в условиях искусственного окружения современного урбанизма.

А что в свою очередь могут заимствовать у социологов географы? На самом деле немного, ибо за последние несколько лет географы хорошо осознали проблемы, свойственные современной социологии. Однако несомненную пользу может принести разрушение представлений о том, что возможна особая «наука о пространстве». В социальной географии пространственные формы есть всегда формы социальные. Обратимся к утверждению, характерному для определенного типа географической литературы, согласно которому география занимается установлением «пространственных связей между совокупностями фактов путем обнаружения пространственных законов», а также объяснением «связей между этими законами посредством сооружения пространственных теорий, являющихся моделями или системами в области пространственных проблем» [80]. Нет сомнений, что подобные формулировки отражают представление о законах, отброшенное нами как неуместное; они олицетворяют попытку сформировать «социальную физику в пространственном контексте» [81]. Однако, что гораздо более важно, они предполагают, что пространство обладает собственной внутренней сущностью: это предположение логически сомнительно и эмпирически бесплодно. Пространство не является бессодержательным измерением, вдоль которого структурируются социальные группировки, но должно рассматриваться с позиций своего участия в становлении систем взаимодействия. То, что мы говорили об истории, уместно и в контексте (социальной) географии: логических или методологических различий между социальной географией и социологией не существует!

Глоссарий: основные понятия и важнейшие термины теории структуриации

Глоссарий включает неологизмы и термины, используемые нами в значениях, отличных от общепринятых. Составляя его, мы стремились свести воедино приведенные в тексте определения основных понятий, не углубляясь в их дальнейшее толкование.

Авторитативные ресурсы (Authoritative resources). Нематериальные ресурсы, вовлеченные в генерацию власти, извлекаемые из способности использовать деятельность человеческих существ; авторитативные ресурсы происходят из господства одних акторов над другими.

Аллокативные ресурсы (Allocative resources). Материальные ресурсы, вовлеченные в генерацию власти (могущества), включающие в себя как природное окружение, так и физические артефакты; аллокативные ресурсы извлекаются из господства человека над природой.

Анализ стратегического поведения (Analysis of human conduct). Социальный анализ, который имеет место в суспензии социально воспроизводимых институтов и сосредоточивается на том, каким образом акторы рефлексивно отражают то, что они делают, и как акторы черпают правила и ресурсы из строения взаимодействия.

Внешняя критика (External critique). Критика убеждений и практических действий неосведомленных деятелей, извлекаемая из теорий и открытий социальной науки.

Внутренняя критика (Internal critique). Критический аппарат социальной науки, посредством которого теории и научные открытия оцениваются с позиций логической аргументированности и наличия свидетельств, подтверждающих их обоснованность.

Гомеостатические петли (Homeostatic loops). Каузальные факторы, которые обладают эффектом обратной связи с системой воспроизводства, где эта обратная связь является в значительной степени результатом непреднамеренных последствий.

Двойная герменевтика (Double hermeneutic). Пересечение двух оснований значения как логически необходимая часть социальной науки, исполненный значения социальный мир, образованный неосведомленными факторами и мета-языками, изобретенными социологами; существует постоянное «соскальзывание» от одного к другому, включенное в практику социологов.

Диалектика контроля (Dialectic of control). Двойственный характер распределительного аспекта власти (власти как контроля); каким образом менее могущественным удается управлять ресурсами таким образом, чтобы установить контроль над более могущественными в сложившейся системе властных отношений.

Дискурсивное сознание (Discursive consciousness). То, что факторы способны сказать о социальных условиях или дать этому вербальное выражение, в особенности — об условиях своих собственных действий; осведомленность, которая имеет дискурсивную форму.

Дуальность структуры (Duality of structure). Структура как посредник и как продукт поведения, которое она непрерывно организует; структуральные свойства социальных систем не существуют вне действия, а хронически подразумеваются в его производстве и воспроизводстве.

Институциональный анализ (Institutional analysis). Социальный анализ, который осуществляется в суспензии умений и знаний факторов, имеющих дело с институтами, хронически воспроизводящими правила и ресурсы.

Интерсоциетальные системы (Intersocietal system). Социальные системы, которые пересекают какие бы то ни было разделительные линии, существующие между обществами и социетальными целостностями, включая агломерации обществ.

Историчность (Historicity). Идентификация истории как прогрессивного изменения, объединенная с когнитивной утилизацией такой идентификации для того, чтобы способствовать этому изменению. Историчность включает в себя особый взгляд на то, что представляет собой «история», который означает использование знания истории для ее изменения.

Классово разделенное общество (Class-divided society). Аграрные государства, в которых имеет место достаточно отчетливое разделение на классы, но где такое классовое деление не является главным базисом или принципом организации общества.

Контекстуальность (Contextuality). Ситуативный характер взаимодействия в пространстве и времени, включающий в себя ряд взаимодействий, одновременно присутствующих факторов и коммуникацию между ними.

Критерии валидности (обоснованности) (Validity criteria). Критерии, к которым обращаются социологи, чтобы выносить суждение о своих теориях и открытиях и оценивать теории других.

Критерии правдоподобия (Credibility criteria). Критерии, используемые деятелями для объяснения причин того, что они делают, осознаваемые таким образом, чтобы помочь обоснованному описанию того, что именно они делают.

Кругооборот воспроизводства (Reproduction circuit). Институционализированный ряд отношений воспроизводства, управляемый или каузальными петлями или рефлексивной саморегуляцией.

Локальность (Locale). Физический регион, охватываемый как часть ряда взаимодействий, имеющий определенные границы, которые помогают сконцентрировать взаимодействие тем или иным образом.

Мировое время (World time). Стечения исторических обстоятельств, которые оказывают влияние на природу эпизодов; эффекты понимания исторических прецедентов по эпизодическим характеристикам.

Общее знание (Mutual knowledge). Знание того, «как идти дальше» в формах жизни, разделяемое непрофессиональными факторами и социологическими наблюдателями; необходимое условие приобретения доступа к валидным описаниям социальной активности.

Онтологическая безопасность (Ontological security). Конфиденциальность или доверие, которые являют собою природный и социальный миры, включая базовые экзистенциальные параметры самости и социальной идентичности.

Осведомленность (Knowledgeability). Все, что факторы знают (или во что верят) об обстоятельствах своей деятельности и деятельности других, черпаемое из производства и

воспроизводства этой деятельности, включая подразумеваемое и дискурсивно доступное знание.

Практическое сознание (Practical consciousness). То, что окторы знают (или во что верят) о социальных условиях, включая, в особенности, условия их собственной деятельности, но не могут выразить это в дискурсивной форме; в отличие от бессознательного практическое сознание «не ограждается» барьерами, основанными на психологической репрессии.

Пространственно-временная дистанция (Time-space distanciation). Протяженность социальных систем во времени и пространстве на основе механизмов социальной и системной интеграции.

Пространственно-временные пределы (Time-space edges). Связи — как конфликтные, так и симбиотические — между обществами различающихся структуральных типов.

Противоречие (Contradiction). Противостояние таких структуральных принципов, каждый из которых зависит от других и тем не менее отвергает другие; деструктивные последствия, ассоциируемые с такими обстоятельствами.

Рационализация действия (Rationalization of action). Умение индивидов — компетентных акторов — находить и объяснять причины и цели собственных действий в том виде, в котором они имеют место быть, а также аргументировано излагать их другим людям.

Регионализация (Regionalization). Темпоральная, пространственная или пространственно-временная дифференциация регионов внутри локальностей или между ними; понятие регионализации представляется нам существенным, ибо уравнивает предположения, согласно которым общества определяются как стабильно гомогенные, унифицированные системы.

Рефлексивная саморегуляция (Reflexive self-regulation). Каузальные петли, реализующие в процессе воспроизводства социальной системы эффект обратной связи, которая в значительной степени определяется тем, что деятели знают относительно механизмов воспроизводства системы и используют в целях контроля.

Рефлексивный мониторинг действия (Reflexive monitoring of action). Целенаправленный или преднамеренный характер человеческого поведения, рассматриваемого в пределах общего потока активности деятеля; действие — это

не вереница дискретных актов, включающих в себя агрегат намерений, а непрерывный процесс.

Рутинизация (Routinization). Привычный, воспринимаемый как данное характер большинства повседневных социальных действий; преобладание привычных стилей и форм поведения, управляющее ощущением онтологической безопасности, равно как и управляемое им.

Система (System). Выстраивание по определенному образцу через пространство и время социальных отношений, понимаемых как воспроизводимые практики. Социальные системы различаются по степени собственной «системности» и редко обладают тем типом внутреннего единства, который можно обнаружить в физических и биологических системах.

Системная интеграция (System integration). Взаимодействие между акторами или коллективностями, простирающаяся в пространстве и во времени, вне условий совместного присутствия.

Социальная интеграция (Social integration). Взаимный обмен деятельностью между акторами в обстоятельствах совместного присутствия, понимаемый как непрерывность и разьединенность столкновений.

Стратификационная модель (Stratification model). Представление о субъекте деятельности, основанное на выделении трех «слоев» (уровней) познания / мотивации: дискурсивное сознание, практическое сознание и бессознательное.

Структура (Structure). Правила и ресурсы, подразумеваемые в процессе воспроизводства социальных систем. Структура существует только как памятные следы, органическая основа человеческой осведомленности и проявляет себя в действии.

Структуризация (Structuration). Структурирование социальных отношений в пространстве и времени на основании принципа дуальности структуры.

Структуральные принципы (Structural principles). Принципы организации социетальных целостностей; факторы, включенные в общее институциональное регулирование общества или типа общества.

Структуральные свойства (Structural properties). Структурные характеристики социальной системы, в особенности институциональные характеристики, простирающиеся через пространство и время.

Структуры (Structures). Ряды правил и ресурсов, подразумеваемые в институциональном выражении социальных систем. Исследование структур, включая структуральные принципы, означает изучение главных аспектов отношений трансформации/посредничества, оказывающих влияние на социальную и системную интеграцию.

Эпизодическая характеристика (Episode characterization). Указание на формы институциональных изменений в сравнительных целях; эпизоды являются следствиями изменения, имеющего определенное начало, тенденции событий и результаты, которые могут в определенной степени подвергаться сравнению в абстракции от конкретных контекстов.

Библиография

1. Abrams, Philip, *Historical Sociology* (London: Open Books, 1982)
2. Alland, Alexander, *Evolution and Human Behaviour* (Garden City: Natural History Press, 1967)
3. Alland, Alexander, *Adaptation in Cultural Evolution* (New York: Columbia University Press, 1970)
4. Amedeo, D., R.G. Golledge, *An Introduction to Scientific Reasoning in Geography* (New York: Wiley, 1975)
5. Anderson, Perry, *Arguments Within English Marxism* (London: Verso, 1980)
6. Anscombe, G.E.M., «The first person», in Samuel Guttenplan, *Mind and Language* (Oxford: Blackwell, 1972)
7. Appley M.-H., *Adaptation-Level Theory: A Symposium* (New York: Academic Press, 1971)
8. Archer, Margaret S., «Morphogenesis versus structuration: on combining structure and action», *British Journal of Sociology*, vol. 33, 1982
9. Ariès P., *Centuries of Childhood* (Harmondsworth: Penguin, 1973)
10. Artaud, Antonin, *Le théâtre et la science* (Paris: Seuil, 1974)
11. Atkinson, Maxwell J., *Discovering Suicide* (London: Macmillan, 1978)
12. Bachrach, Peter, and Morton S. Baratz, *Power and Poverty* (New York: Oxford University Press, 1970)
13. Badie, Bertrand, and Pierre Birnbaum, *Sociologie de l'Etat* (Paris: Grasset, 1979)

288. Winch, Peter, *The Idea of a Social Science* (London: Routledge, 1963)
289. Wittgenstein, Ludwig, *Philosophical Investigations* (Oxford: Blackwell, 1972)
290. Wolf, Dennie, «Understanding others: a longitudinal case study of the concept of independent agency», in George E. Forman, *Action and Thought* (New York: Academic Press, 1982)
291. Wright, Erik Olin, *Class, Crisis and the State* (London: New Left Books, 1978)
292. Wright, Henry T., and Gregory Johnson, «Population, exchange and early state formation in southwestern Iran», *American Anthropologist*, vol. 77, 1975
293. Zerubavel, Eviatar, *Patterns of Time in Hospital Life* (Chicago: University of Chicago Press, 1979)
294. Zerubavel, Eviatar, *Hidden Rhythms* (Chicago: University of Chicago Press, 1981)
295. Ziff, Paul, *Semantic Analysis* (Ithaca: Cornell University Press, 1960)

Содержание

Предисловие	3
Сокращения	4
Введение	5
Комментарии	35
Глава I. Элементы теории структуризации	38
Деятель и деятельность	43
Деятельность и власть	55
Структура и структуризация	58
Дуальность структуры	69
Формы институтов	74
Время, тело, взаимодействия	81
Комментарии	85
Глава II. Сознание, самость и социальные взаимодействия	89
Рефлексивность, дискурсивное и практическое сознание	90
Бессознательное, время, память	94
Эриксон: тревожность и доверие	101
Рутинизация и мотивация	111
Присутствие, соприсутствие и социальная интеграция	116
Гофман: взаимодействия и рутины	121
Сериальность	127
Разговоры и рефлексивность	134
Позиционирование	141
Критические замечания: Фрейд о подтекстах языка	152
Комментарии	168

Глава III. Время, пространство и регионализация	174
Временная география	174
Критические замечания	182
Модели регионализации	186
Передний и задний планы	190
Раскрытие и «самость»	195
Регионализация как родовая характеристика	199
Время, пространство, контекст	202
Против «микро» и «макро»: социальная и системная интеграция	210
Критические замечания: Фуко об образовании времени и пространства	217
Комментарии	235
Глава IV. Структура, система, социальное воспроизводство	239
Общества и социальные системы	240
Структура и принуждение: Дюркгейм и другие	247
Три значения понятия «принуждение»	254
Принуждение и реификация	260
Понятие структуральных принципов	262
Структуры, структуральные свойства	267
Противоречие	277
Сотворение истории	285
Критические замечания: «Структурная социология» и методологический индивидуализм	293
Блау: версия структурной социологии	293
Альтернатива? Методологический индивидуализм	301
Комментарии	311
Глава V. Изменение, эволюция и власть	318
Эволюционизм и социальная теория	320
Адаптация	325
Эволюция и история	329
Анализ социальных изменений	339
Изменения и власть	354
Критические замечания: Парсонс об эволюции	362
Комментарии	376

Глава VI. Теория структуризации, эмпирическое исследование и социальная критика	384
Повторение базовых понятий	384
Анализ стратегического поведения	393
Непреднамеренные последствия: критика функционализма	399
Дуальность структуры	404
Проблема структурального принуждения	413
Противоречие и эмпирическое изучение конфликта	421
Институциональная стабильность и изменение	432
Объединяя темы: теория структуризации и формы исследования	441
Общее знание против здравого смысла	450
Обобщения в социальной науке	462
Практические применения социальной науки	467
Критические замечания: Социальная наука, история и география	475
Комментарии	492
Глоссарий:	
Основные понятия и важнейшие термины теории структуризации	497
Библиография	503